



CREATIVE  
WRITING  
SCHOOL



ПАШНЯ

# Пашня

Альманах. Выпуск 2. Том 1

Издательские решения  
По лицензии Ridero  
2020

УДК 82-3  
ББК 84-4  
П22

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

**Пашня** : Альманах. Выпуск 2. Том 1. — [б. м.] : Издательские  
П22 решения, 2020. — 590 с.  
ISBN 978-5-4485-9423-6

Во второй выпуск Альманаха «Пашня» вошли лучшие работы выпускников литературных мастерских Creative Writing school сезона осень 2016 — весна 2017 года. Первый том составили работы очных мастерских прозы под руководством Ольги Славниковой и Марины Степновой, «Non fiction» Алексея Вдовина, «Фантастики» Андрея Рубанова, «Автобиографии» Екатерины Ляминой, а также мастерских для подростков под руководством Елизаветы Тимошенко и Олега Швеца и «Графического романа» Елены Авиновой.

**УДК 82-3**  
**ББК 84-4**

18+

В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

© Елена Авинова, художественное  
ISBN 978-5-4485-9423-6 оформление, обложка, 2020

# СЛОВО МАСТЕРАМ





1. Мастер по Creative Writing, по вашему мнению — гуру, шаман, учитель, старший товарищ?

2. Какова конечная цель ваших занятий в мастерской и совпадают ли результаты с ожиданиями?

3. Могут ли подобные курсы изменить состояние литературы?



ОЛЬГА СЛАВНИКОВА

1. Мастер — шаман, потому что он побуждает заговорить подавленные жизнью способности слушателя к созданию прозы. В CWS приходят взрослые люди именно с подавленными способностями (семья, работа, неверие в себя и т.д.), и мастер камлает, вызывает духов, а как он это делает — ему самому не всегда понятно. И мастер — старший товарищ, потому что у него есть писательский опыт и опыт жизни в профессии, которыми он делится, чтобы младшие товарищи не набивали лишних шишек.

2. Я работаю с каждым слушателем на максимально возможный для него результат. По итогам трех моих мастерских примерно у половины слушателей такой результат есть.

3. Курсы писательского мастерства могут изменить положение дел в литературе, если будут существовать десяти-

летиями. Пока о заметном влиянии курсов на великую русскую литературу говорить рано.



МАРИНА СТЕПНОВА

1. Все вместе, конечно. Но мне лично ближе всего и по-прежнему товарища — не старшего даже, просто — товарища.

2. Больше всего я хочу помочь своим слушателям распрямиться внутренне. Поверить в себя. В то, что можно и нужно научиться писать лучше. И, к счастью, я очень часто вижу ошеломляющий результат. Слушатели буквально преображаются.

3. Уверена, что — да. Если некоторые мои дорогие романисты все-таки домучают свои романы, многим нынешним звездам придется потесниться на своих полках. Новичкам, чтобы выйти в большое плавание, часто не хватает малого: уверенности себе, связей, — и все это можно получить в CWS.



АНДРЕЙ РУБАНОВ

1. Учитель.
2. Заработок, повышение собственной квалификации, моральный долг. Результаты совпадают с ожиданиями.
3. Могут, ничто не проходит бесследно.



АЛЕКСЕЙ ВДОВИН

1. В жанре биографии и биографических очерков — последнее. Я бы сказал, что он лишь тот, кто в совершенстве владеет ремеслом, технологией, алгоритмом и может сразу выдавать очень качественные тексты.
2. Наша цель — написать хороший биографический очерк, который может быть опубликован либо в альманахе, либо в хорошем издании (на бумаге или в сети). Результаты



с ожиданиями не всегда совпадают: иногда получается гораздо лучше, а иногда — хуже.

3. В жанрах нон-фикшн, думаю, могут. Потому что нон-фикшн в гораздо большей степени технология, чем творчество.



ЕЛИЗАВЕТА ТИМОШЕНКО

1. Мне кажется, мастер, работающий с детьми, должен прежде всего быть старшим товарищем. Позиция «гуру» или «шамана» по-своему хороша и выгодна, но она подразумевает дистанцию и практически исключает возможность научиться чему-то у своих учеников. Преподавание детям похоже на плавание в бурном море: лучше не ставить конкретных целей, не руководствоваться стандартами и клише и просто наблюдать за тем, к чему приведет детей обсуждение книг и совместная работа.

2. У нашей мастерской не было заранее определенных целей. Мы двигались к тому, чтобы перестать воспринимать текст пассивно, начать задумываться о механизмах, работающих в произведении, о том, почему слова производят на нас то или иное впечатление. Мастерская для подростков давала ребятам возможность взглянуть на текст не с позиции читателя, а с позиции автора, и я думаю, этот опыт не прошел даром.

3. Я убеждена, что если школьное преподавание литературы хотя бы отчасти использовало методики, существующие в области creative writing, то на выходе из школы мы получали бы людей, чьи головы не забиты шаблонами и мертвой теорией, чьи души не заражены отвращением к чтению вообще, как это часто сейчас бывает. Мы получали бы людей, тонко чувствующих слово, понимающих, что книга — это не мертвый текст, а экзотическое блюдо, которое надо уметь есть. Чтение подобно геологоразведке: ценный минерал часто спрятан в толще пород, и достать его тяжело...

Безусловно, мы получили бы поколение совсем иных читателей. Но пока об этом приходится говорить только с частицей «бы».



ОЛЕГ ШВЕЦ

1. Конечно, каждый участник занятий воспринимает мастера по-своему. С моей точки зрения, эффективнее всего занятия складываются, если мастер воспринимается как старший товарищ, который может:

а) «показать класс», т.е. продемонстрировать как быстро и точно в литературном виде выразить ту или иную мысль, чувство;

б) путем диалога понять, что именно хотел бы выразить участник занятий и помочь ему это сделать советом и/или с помощью постановки соответствующей учебной задачи;

в) создать в учебной группе среду, которая будет поддерживать творчество и взаимную помощь участников, поможет участникам научиться давать и принимать обратную связь.

Отдельно отмечу, что такую помощь считаю крайне важной, как для тех, кому ее оказывают, так и для тех, кто ее оказывает. По моему опыту, часто глубокое осознание чужих текстов помогает участникам более успешно осознавать и создавать свои, причем важно, чтобы предметом рассмотрения были именно тексты товарищей, живых людей, которых участники знают в лицо, а не примеры из книг. Не менее важно пишущему человеку научиться слушать то, что говорят о его текстах и получать от этого пользу.

2. У участников занятий могут быть разные цели. Когда после одного или нескольких занятий я узнаю группу чуть лучше, то стараюсь так или иначе ориентироваться на цели каждого участника. Если цели задаю я сам, то обычно стараюсь в первую очередь помочь участникам повысить уровень владения навыком творческого литературного письма, иными словами — помочь участникам научиться выражать свои мысли и чувства в литературной форме более точно, чем они делали это до того как поучаствовали в занятиях.

Что касается ожиданий, то, как правило, я ожидаю, что у участников появится осознание того что значит «создавать тексты», и что они как минимум один раз (а лучше — несколько) попробуют это сделать, а те, кто уже что-то писал, почувствуют, что стали быстрее, легче и точнее выражать свои чувства и мысли в литературной форме. Обычно эти ожидания оправдываются.

3. Да, считаю, что большее количество подобных курсов способно поднять средний уровень навыка творческого литературного письма в русской языковой среде, увеличить количество людей, которые готовы и пробуют выразить

свои мысли и чувства в литературной форме, и, как следствие, увеличить количество тех, кто достигнет достаточного уровня писательского навыка для того, чтобы сделать писательство своей профессией. И да, я буду рад и счастлив, если количество читаемых и издающихся русскоязычных писателей в природе вырастет.



ЕКАТЕРИНА ЛЯМИНА

1. Ни одно из предложенных определений. «Мастер» тоже, увы, звучит довольно претенциозно: шапочку с буквой «М», что ли, носить с собой и надевать в подтверждение, как герой известного романа? Себя я вижу, скорее, в роли того, с кем вместе можно сформулировать несколько «стартовых» вопросов к собственной памяти, личной и социальной, увидеть и обдумать ответы, посмотреть, что из этих ответов ложится на бумагу и как лучше это сделать, имея в виду особенности как non-fiction, так и fiction письма. Потом можно идти дальше: ставить новые вопросы, складывать получаемое в более или менее масштабную картину.

2. Поскольку описанный выше процесс бесконечен, то и конечной цели у мастерской, в сущности, нет. Есть открытый ряд промежуточных целей, индивидуальных для каждого, кто приходит в мастерскую. С моей точки зрения, результат почти всегда превосходит ожидания: очень многое, прошедшее отбор и обработку памятью, а затем извлечен-

ное из нее, обдуманное и записанное, обретает право быть фактом литературы.

3. Если число таких фактов достигнет критического, то — да, это возможно.



ЕЛЕНА АВИНОВА

1. Старший товарищ.

2. Конечной цели нет — это только «запуск в открытый космос рисованных историй», главная цель мастерской — чтобы людям хотелось рассказывать истории в картинках и дальше, но на новом уровне, с осознанностью и пониманием процесса.

3. Конечно, могут. Именно сообщество, возникающее у людей в процессе тусовки на нашем проекте CWS — оно изменит будущее литературы, в этом нет сомнений.





**Проза. Мастерские  
Ольги Славниковой  
(осень 2016 — весна  
2017)**





## НАТАЛИЯ ВЕСЕЛОВА

### ТОРЕРО

Виктор Васильевич Колобашкин, тридцати шести лет от роду, а попросту Витёк, проживал свою жизнь в деревне Карасёво с матушкой, Еленой Петровной — Бабленой, старухой тяжелого нрава, которую в деревне уважали и побаивались. Старожилы помнили, что когда-то, на излете советской эпохи, Витёк успел поработать трактористом в местном колхозе. Однако карьера его завершилась, едва начавшись: колхоз развалился, и с тех пор Витёк не работал ни дня. Баблена поначалу плакала злыми слезами и в сердцах несколько раз сильно поколотила сына, но тот с кротостью сносил побои и упреки: да, мол, виноват, не спорю — такой уж уродился, так что скоро Баблена в бессилии отступила. Муж Баблены умер давно, старшая дочь жила в городе с мужем и иногда помогала матери продуктами и деньгами, да и Витёк в хозяйстве был не совсем бесполезен: огород вскопать, воды принести, прибить-починить, хоть и из-под палки, но мог. Баблена смирилась, и зажили они с Витьком спокойной жизнью.

В довесок к невообразимой лени, природа наградила Витька на редкость несуразной внешностью. Был он роста высокого, тощий, к длинному туловищу ненадежно крепились такие же длинные руки, завершавшиеся несоразмерно крупными кистями, ноги были журавлиные, голову украшали огромные, розовые на просвет уши, мелкие, близко

посаженные глазки, а нос напоминал осеннюю перезревшую картофелину. Нужно ли говорить, что Витёк был любимцем деревенской ребятни? Какими только прозвищами его ни награждали, что только ни вопили вслед. «Колобан-балабан, проглотил высотный кран», — это было самым безобидным. Но он только улыбался в ответ, растягивая до ушей без того большой рот и стыдливо обнажая редкие зубы.

С личным у Витька не складывалось, карасёвские женщины на него особенно не зарились, а искать невесту за пределами деревни он отказывался. Может быть, виною тому была его извечная лень, а может, соседка, рыжая почтальонша Дуся, в которую Витёк был давно и безнадежно влюблен. Любовь эта служила неиссякаемым источником шуток для карасёвцев, не исключая Дусинога мужа, который в Витьке соперника не видел и в глубине души ему даже сочувствовал. Каждый раз, собираясь в город, муж Дуси в шутку грозил Витьку пальцем — мол, смотри у меня, с моей бабой не балуй, а Витёк улыбался в ответ, щуря маленькие глазки.

Помимо Дуси, в Витькиной жизни было еще две сильные страсти: водка и коровы. И если с водкой было все просто и ясно — страсть эту, поистине роковую, он делил со всеми карасёвскими мужиками, — то история с коровами была куда интересней.

Карасёво — деревенька небольшая, скотину хозяйки хоть и держали, но на стадо не набиралось, поэтому коровы паслись на деревенском лугу поодиночке, на привязи. Корова — животное стадное, ведет себя смиренно, подчиняясь общей воле стада. Другое дело карасёвские коровы. Одинокость и несвобода со временем делали из них весьма неприятных животных, мечтающих забодать и растоптать любое живое существо, кроме собственной хозяйки. Время от времени коровьи мечты грозили воплотиться в жизнь: какая-нибудь срывалась с привязи. Устрашающе

мотая рогатой головой и волоча за собой обрывок веревки, она, вначале медленно, будто не веря неожиданной свободе, но затем все быстрее и быстрее устремлялась вдоль по деревне. «Корова сорвалась!» — раздавался чей-то истошный крик, его подхватывали еще и еще, и вот уже по всей деревне разносилась весть об опасности. Матери, схватив детей, поспешно уносили их в дома, гремели запорами калитки, деревенские улицы стремительно пустели, а зазевавшиеся карасёвцы в панике искали временное укрытие, взбираясь на заборы и ныряя в первые попавшиеся кусты. Тем временем жаждущее крови животное иноходью несло по деревне, размахивая хвостом и высоко вскидывая ноги, воплощая собой слепую, неподвластную карасёвцу стихию.

Но был, был в Карасёве человек, способный с этой стихией совладать. Хозяйка коровы, благоразумно не решаясь встать в такую минуту у своей любимицы на пути, задворками пробиралась к дому Баблены, чтоб заискивающим шепотом попросить Витька «подсобить маленько с животинкой». Баблена, молча поджав губы, уходила в дом, а Витёк вразвалочку, как бы нехотя, шел в сарай за большим залатанным мешком, долго встряхивал его, складывал хитрым, одному ему известным способом и, аккуратно заткнув мешок за пояс штанов, отправлялся укрощать корову. Это был его звездный час. Он шел по опустевшей деревенской улице, а карасёвцы с восхищением и страхом провожали его взглядами из своих укрытий. Витёк всегда заходил к корове спереди: приблизившись метров на двадцать, останавливался и спокойно ждал, опустив вдоль тела длинные руки с огромными ладонями. Корова, пораженная такой наглостью, осаживалась и некоторое время смотрела на него, опустив голову и шумно втягивая ноздрями воздух, будто размышляя, достойный ли противник перед ней. Витёк наблюдал за ней с безучастным видом. Все больше распаясь от такой наглости, корова начинала мотать головой и взбрыкивать попере-

менно то передними, то задними ногами. Витёк доставал из-за пояса мешок и, насвистывая что-то, помахивал им в такт. Дойдя до крайней точки ярости и издав сиплое «мыыы», животное устремлялось на своего противника, чтоб сейчас же поднять его на рога. Витёк не двигался с места. Когда корове оставалась до цели пара метров, у карасёвцев сердце при-вычно ухало вниз от ужаса и предвкушения, а Витёк легким, упругим движением отпрыгивал в сторону, пропуская разъяренное животное вперед всего в нескольких сантиметрах от себя, ловил большими ручищами обрывок веревки, дергал, разворачивая корову, и молниеносным движением набрасывал ей на голову мешок под одобрительные возгласы односельчан. Вскоре Витёк уже ласково похлопывал по холке ошарашено переминавшуюся буренку, а тем временем к ней уже спешила обрадованная хозяйка, на ходу соображая, не жирно ли будет Витьку литрушку или поднести чего поменьше. Витёк принимал награду со сдержанной радостью и в следующие несколько дней делался совершенно непригодным в хозяйстве, чем приводил Баблену в иступленный, но совершенно бессильный гнев.

Так и жили они, Витёк с Бабленой, не зная до поры, что судьба уже готовится свернуть с наезженной колеи на дорожки, доселе ими не хоженные. Тем временем Витьку исполнилось тридцать семь лет — роковой возраст для мужчины, но Витёк того не знал. Пушкин и Маяковский, Моцарт и Ван Гог, и множество других, великих и не очень, так и ушли в небытие, не переступив этого барьера. Но Витёк стихов не читал, живописью не интересовался, а из музыки предпочитал Русское радио — неведение его было поистине счастливым.

В тот день к Витьку прибежала запыхавшаяся и растрепанная Дуся: ее ласковая черная телка Ладушка, укушенная собакой бабки Нюры, взбесилась и загнала семидесятилетнюю Нюру на дерево, не давая бабке слезть и к себе никого не подпуская. Разомлевший от такого поворота событий,

Витёк сглотнул вдруг набежавший в горле ком, заткнул за пояс мешок и направился навстречу судьбе. Баблена в это время чистила в кухне лук и плакала совсем не луковыми слезами от внезапно придавившего ее глухого материнского страха.

Роя копытами землю и потрясая рогатой головой, Ладушка расхаживала вокруг старой рябины, в развилке которой, в двух метрах от земли, сидела бабка Ньюра, крепко обняв ствол и поджав обутые в зеленые калоши ноги. Завидев Витька, бабка Ньюра заголосила: «Ой, Витенька! Сынок! Спасай бабу! Мочи нет держаться, сейчас упаду!». Оценив обстановку и решив, что бабушку нужно вызволять немедленно, Витёк направился к корове. Ладушка с еще большим остервенением принялась рыть землю, вздымая вокруг себя облака серой пыли — это сулило скорую развязку, и Витёк потянул из-за пояса мешок. Карасёво замерло в восторженном ужасе: перестали лаять собаки, не слышно было птиц, и даже бабка Ньюра, не прекращавшая причитать все это время, примолкла.

Внезапно наступившую тишину нарушил какой-то звук, который все нарастал, и вот в конце улицы показалась легковушка — «Нива» цвета спелой вишни. Под изумленные взгляды карасёвцев «Нива» затормозила прямо напротив дома бабки Ньюры, передняя дверь открылась, и из машины показалась обтянутая джинсой крепкая женская ножка в белой кроссовке, а затем и голова, несомненно, тоже женская, с копной медных кудряшек. Загипнотизированный этим зрелищем, Витёк совершенно забыл про корову.

Такую обиду Ладушка не могла стерпеть. В тот же миг она ринулась на Витьку и, на подлете наклонив голову, вскинула его на рога. В последний миг Витёк понял, что совершил ошибку, но это не имело уже никакого значения. Презрев законы тяготения, он взмыл вверх, перелетел через коровью спину, с глухим стуком ударился о землю и остался лежать неподвижно. Исполнившая свое предназначение ко-

рова спокойно отошла в сторону и, миролюбиво помахивая хвостом, теперь с любопытством наблюдала, как к Витьку со всех сторон бегут люди, а бабка Нюра, косясь на Ладушку с опаской, проворно слезает с рябины.

Этого Витёк уже не видел. Таяло в воздухе Карасёво, и неведомый город, плавающийся в зыбком, жарком мареве, вставал перед ним. И слышался Витьку ликующий рев трибун, в котором тонул предсмертный хрип поверженного противника, и видел он, как прекрасные женщины, крича восторженные слова на неведомом языке, кидают ему цветы. И одна из них, самая прекрасная, полнорукая, сдобная, с богато вьющимися волосами цвета меди, склонившись над ним, проговорила низким голосом: «Эй, мужик, ты чё? Ты живой?». А потом все померкло.

Витёк провалялся в больнице месяц: голову ему врачи подлатали, кости срослись сами. Медноволосая красавица оказалась племянницей бабы Нюры Машей, приехавшей навестить тетушку в неурочный час. Маша была фермершей. Муж сбежал от нее два года назад, проиграв в битве характеров. Хозяйство у Маши было большим, прибыльным, управлялась со всем она сама и слыла бой-бабой, но в глубине души мечтала о каком-никаком — пусть тощеньком, но мужском — плече. Маша ездила к Витьку в больницу, кормила его с ложки домашним куриным бульоном, а когда тот поправился, увезла к себе. Уж что она в нем разглядела, кроме нее самой никто не знал.

Баблена страдала и даже ездила на ферму вызволять сыночка, но вернулась ни с чем и со временем смирилась. Витёк с Машей вскоре расписались. В свадебное путешествие вначале думали ехать в Испанию — уж очень Маше хотелось посмотреть на корриду. Но Витёк, когда узнал, что быков там убивают, наотрез отказался. Отдохнули в Геленджике, да так хорошо — лучше всех европ, вместе взятых.

Маша определила Витька заведовать коровником, чтобы без дела не сидел. Коровы в стаде смиренные, укращения

не требуют, поэтому Витёк былую сноровку совсем растерял и даже нагулял кое-где жирок. Характер у Витька так и остался мягким, командует фермерскими работниками он нехотя и только для виду. Те его любят и ни в грош не ставят, но из страха перед Машей зовут уважительно Виктором Васильевичем. Маша мужа тоже любит и называет ласково Витюшей. Бывает, Витёк добудет водки, напьется и рабочих подпоит, тогда Маша сильно сердится и гоняет его граблями по двору. Потом, конечно, прощает — живут они, можно сказать, в полной гармонии.

Иногда Витёк приезжает в Карасёво навестить мать. В деревне над ним больше не смеются. Дусин муж при встрече уважительно жмет ему руку, а Дуся вдруг пунцовеет лицом и тайком о чем-то вздыхает. У Витька при виде Дуси сердце привычно сжимается, но быстро проходит — свою Машу он любит и побаивается немного.

Случается, Витёк вспоминает свое видение: раскаленный на солнце город, кровавый песок и чей-то предсмертный хрип, сливающийся с ревом толпы в оглушающий непостижимый поток, и кажется ему, что вот-вот ухватит он конец веревки и поймет что-то важное, но нет — все опять ускользает, оставив в душе Витька неясный, тревожный след. Тогда он идет к Маше, кладет голову ей на плечо, и его отпускает.



## ЮЛИЯ ГЕБА

### ДЕСАНТНИК

Кира не любила День ВДВ. Она его опасалась. Ей всегда казались странными профессиональные праздники, а если они к тому же сопряжены с опасностью для окружающих... Впрочем, если не пойти второго августа прогуляться к фонтану в Парк культуры или на Поклонную гору, то можно этот день благополучно не заметить. Так она полагала. Наивная.

В тот вечер она возвращалась с работы и, как обычно, нырнула в метро на станции «Охотный Ряд». Поток служащих мощно устремлялся под землю, теснился и бурлил — и вдруг поверх голов возникло Нечто. Двухметрового роста верзила в камуфляжной форме, в тельняшке и голубом берете, с рюкзаком за необъятными плечами. Источая запах крепкого алкоголя, он отдувался, разрезая локтями толпу. Подойдя к турникету, служивый играючи перекинул через него ножищи в суровых армейских ботинках. Не обратив внимания на подскочившего работника метрополитена, подобострастно распахнувшего перед ним бесплатный проход. Не взглянув на полицейского, так же услужливо просиявшего. Все службы страны были крайне предупредительны к героям дня. И старались делать все, чтобы не задеть чувств празднующих, не раздражать, не побеспокоить нечаянным жестом.

Верзила двинулся вниз по эскалатору, сшибая пассажиров заплочным мешком. Жуткий тип. Живописен до анек-

дотичности. Таких огромных людей вживую Кире видеть не приходилось. Великан. Кинг-Конг. Циклоп. Могучий безобразный Полифем... «Наверное, спецназовец — бывший, а может, и сейчас служит. Думала, такие персонажи только в сказках встречаются или в античной мифологии. В любом случае, надо отстать от него», — размышляла она, замедляя шаг.

Машинально перейдя на «серую» ветку, Кира втиснулась в вагон, достала книжку, — путь предстоял неблизкий. Она почти уже вернулась к оставленному утром сюжету, жадно вгрызлась в строки.

Неожиданный удар в спину завалил ее на сидевших. Она с минуту побарахталась на чьих-то неопрятных коленях, успев подготовить гневную речь. Поднялась, собираясь разобраться с пассажиром, которому непременно хотелось пробраться в серединку вагона, но вовремя подавилась фразой, увидев, кто был этим неучтивым медведем. «Ну, естественно, приятель с „Охотного Ряда“ — надо ж было попасть с ним в один вагон», — с досадой поморщилась Кира.

Десантник пробирался по переполненному составу явно к определенной цели. Которой вот точно не было комфортное местечко для поездки! Целью оказалась молодая пара двадцати с небольшим лет. Ярко одетые, раскованные, они весело щебетали у дверей. Молодой человек носил очки в стильной оправе, которые, похоже, и привлекли внимание громилы. Он навис над ребятами и, судя по скупым движениям губ, обронил несколько слов или фонем. Пара ошутимо напряглась, но старательно имитировала дружелюбие и отвечала с демонстративным энтузиазмом. Совершенно очевидно, что собеседнику их ответы не требовались. Не слушая, своей громадной башкой он боднул молодого человека куда-то в переносицу. Раз-два-три. По звуку это напоминало колку орехов. Лицо жертвы моментально превратилось в мессиво: нос, глаза, губы образовали кровавый виногрет, приправленный осколками очков. Парень скулил как щенок, да-

же не пытаюсь обороняться. Девушка отчаянно подвывала. Верзила казался невозмутимым. Его глаза — мерзлые глаза рыбы с белками, испещренными красноватыми прожилками, — были безжизненны.

Кира растерянно завертела головой. Сиденье напротив, рассчитанное на шесть человек, традиционно занимали мужчины разных возрастов. Женщины с сумками стояли рядом. Услышав заполoshные крики, сидевшие, как по команде, прикрыли веки — знать, устали очень, мысленно съехидничала Кира. Женщины подняли гвалт, стали искать кнопку вызова машиниста. Нашли, но механизм не срабатывал. Откуда-то выскочила и забилась в истерике сильно беременная дама, требуя немедленно ее выпустить из подземки, пригрозив в противном случае родить тут же.

На станции пострадавшая пара вывалилась в открывшуюся дверь.

Десантник смачно, с коротким всхлипом, утер кулаком лицо, смахнув чужую кровь, поднял и нахлобучил на бритую голову свалившийся берет. Поезд тронулся. Вояка принялся обводить вагон стеклянным взором, выбирая новую жертву. «Защитники» еще плотнее прикрыли очи, еще крепче уснули, но лавка под ними чувствительно подрагивала, и эта пляска страха выдавала их — не так и крепок был дорожный сон.

Итак, взгляд верзилы скакал по лицам пассажиров, как шарик американской рулетки, пока не остановился... Кира проследила, на какой ячейке застряло чертово колесо, услышала довольный хмык удачливого игрока. Выбор был предсказуем — с очкариками и маменькиными сынками разобрались, пора заняться «черножопыми». В фокус бойца попал азиат, лет тридцати, худой до черноты, бедно одетый, с полиэтиленовым пакетом в руках. Из тех, что с недавних пор заволокли Москву по самые маковки. Одних приезжих Кира жалела, другие вызывали раздражение. Они елозили по подъездам грязными тряпками, зимой

скребли лопатами тротуары, летом мели те же тротуары и рыли бесконечные ямы. Они составили персонал всех продуктовых магазинов в округе, вывешивая на товары ценники с чудовищными надписями, вроде «марков» или «кифир». Они готовили несъедобное варево в неопрятных кафешках и в дорогих ресторанах столицы. Этот азиат, скорее всего, таджик, был нетипичным представителем своего этноса из-за приличного роста — не меньше метра восьми-десяти пяти, прикинула Кира. Однако рядом с солдатом гляделся годовалым малышом. Он не видел предыдущего избиения, поэтому удивленно воззрился на надвигающегося громилу и даже застенчиво ему улыбнулся.

На этот раз десантник обошелся без разговорных прелюдий и сразу опустил кулак на голову таджика. Он орудовал им как кувалдой — методично, основательно. Будто сваи вбивал. Кира никогда не видела таких мощных рук. Верзила обладал нечеловеческой силой, дополненной навыками профессионального убийцы. В отличие от первой жертвы, таджик яростно сопротивлялся. Он размахивал кулаками и даже изредка попадал в чудовище, несмотря на то, что глаза его уже после первого удара были залиты кровью. Для верзилы это были комариные укусы. Более всего Киру вновь поразили его эмоциональная невовлеченность, отсутствие азарта — он как бы просто выполнял свою работу. Во время душегубства он не произносил ни звука — только планомерно бил, молотил, посапывая, а стеклянные глаза были все так же пусты и даже равнодушны. Таджик превращался в отбивную, женщины верещали, мужики «спали». На очередной станции азиат на четвереньках выполз из вагона. Его потертый пакет, рассыпавшись нехитрым скарбом, поехал дальше.

Вместе с таджиком на платформу вывалился практически весь вагон. Кира помчалась к полицейскому. Субтильный мальчик (верзила бы пятеро таких — на один зуб), не торопясь, безглаголиво осмотрел изувеченного таджика

и вызвал «скорую». «Скажите, чтобы его арестовали!» — кричали тетки. «Сообщу, чтобы задержали по ходу поезда», — флегматично отбивался блюститель порядка. Но выполнять обещанное не спешил.

Таджик сидел на полу и плакал. Тихо и горько. Кира его поняла, почувствовала, что рыдал он не столько от боли, сколько от обиды, внезапного незаслуженного унижения, от бессилия. Три минуты, располозовавшие жизнь. А ведь мог сесть в другой поезд. Что это — случайность, рок?..

И не рука ли судьбы направляла еще одного участника драмы?

К злополучному поезду, готовому тронуться, на всех парусах неся человек. Молодой смазливый азиат, маленький, ладно скроенный, в брючках по моде их региона — строго в облипочку. «Стой! Нельзя!», — завопили свидетели недавних событий. Пока парень удивленно вертелся, двери поезда прямо перед ним захлопнулись. Но не успели зрители облегченно выдохнуть, как они снова буквально на мгновение приоткрылись, и азиат впорхнул внутрь. Легко. Как бабочка. Точнехонько в объятия современного Минотавра.

Ловушка захлопнулась.

Десантник уже успел надеть наушники — видимо, собираясь немного расслабиться. А тут такой подарок...

Последнее, что Кира увидела сквозь стекло убегающего вагона, было рыбье лицо верзилы, на котором впервые появилось выражение — тень легкого удовлетворения.

А потом во всю ширь расплзлась садистская улыбка.

## НОННА ГУДИЕВА

### ПОЭЗИЯ

Поэзия вылетела из стойла, рванула вперед, отталкиваясь сильными ногами, сразу, почти с места, набирая скорость.

Тра-та-та-та, тра-та-та-та — она выбивала резкую дробь, разгоняясь все сильнее. Клещ приподнялся в стремени, убрал вес с крупа, пригнулся, заработал поводом, перестроился с десятого места на третье.

Дробь учащалась. Поэзия была сухой, легкой, сразу уходила на максимум. За спиной гас плотный рокот копыт соперников, и лишь справа еще держался, пытался не отстать вороной Фокстрот, основной противник. Через плечо Клещ заметил, как Фокстрот, повернув голову, косит глазом на Поэзию, любопытничает.

— Глупый, — и Клещ, поддав шенкелей, вынес Поэзию далеко вперед.

— Ну, теперь любуйся! — оглянулся насмешливо на превратившегося в застывшую скульптуру Фокстрота.

Он знал, что бывают лошади, не терпящие соперничества на беговом круге, которые, едва увидев кого-то рядом, тут же вырываются вперед.

Но то великие лошади, презрительно подумал Клещ, Фокстроту же никогда не сравниться с Поэзией...

Клещ родителей потерял рано, во время войны, остался один, вырос на конюшне, все его предки были конниками,

более века с рук на руки передавали вожжи. Привык вставать затемно, кормить лошадей, чистить стойла, больше его ничто не интересовало. Таких ребят, как он, на конюшне хватало, их так и называли — конмальчики. Только не каждому из них удавалось стать великим наездником, но мечтали об этом все. Клеща же в жокейском деле ничему учить не пришлось, голова, руки, чутье всегда были при нем, все знал, понимал необъяснимое. Он был жокеем прирожденным, без математики умел в галопе высчитать ту секунду, когда пора пойти на рывок, увеличить пейс, дать лошади посыл! И комплекцией вышел подходящей — мелкий, метр шестьдесят, ни капли жира, хотя женщинам всегда нравился. С утра, на завтрак, выпивал яйцо и до ужина уже не ел, голодал, на скачки даже кальсоны не надевал, чтобы быть легче. Характер въедливый — уж если во что вцепится... Одним словом — Клещ.

В первый же год, как начал соревноваться, участвовал в пятидесяти забегах и все выиграл, получил звание жокея. Потому что бесстрашный был и злой, резал всех на дорожке, человек-лезвие.

Тренер Дорофеев, учил Клеща:

— В чем сила жокейства, знаешь? В слитности с лошадью, вы как один организм должны быть, а еще чуйку надо иметь и спросить с коня ровно то, на что он способен...

Но в жокейском деле быть мастером недостаточно — Клещу нужна была лошадь.

И Клещ искал — быстрюю, безудержную, отважную, чуткую, как музыкальный инструмент, с бойцовским характером чемпиона, словом, подобную себе.

После войны лошадей не хватало, они частью погибли, много племенных угнали немцы, надо было заново поднимать породу, заниматься селекцией. Вечерами, в квартирке при конюшне, ужинали с Дорофеевым, пили чай, и любой разговор непременно переходил на лошадей. Дорофеев рассказывал:

— Надо искать потомка по линии Марселя и Резвой, были бы деньги, я бы годовичка этой линии у англичан искал. Одного мне даже предлагали, с рахитом немножко, но ничего, для породы сгодился бы. Или спермы хорошей достать, пару колбочек, подобрать кобыл известных кровей, из наших старых почтенных линий, где видны еще Пуля, или Грымза, вот тебе и Флоризель, в пятом колене...

— Но в России была эта линия, через Дерзкого, внука Флоризеля. Где же она?

— Война! — припечатал Дорофеев. — Как я детей Флоризеля искал! Их угнали во время оккупации. Линия эта вся ушла у нас в матки, а нам нужен жеребец из этого семейства. Так и знай, если Флоризель в родословной сидит, там настоящий класс.

Клещ слушал, запоминал, представлял, как конюшню наполнят верховые чистокровные, ведь жизнь таких лошадей просчитана по племенным книгам еще до рождения. Наблюдал жеребых кобыл, зная, что кровная лошадь воспитывается еще в брюхе матери. Клещ чувствовал все заранее — и масть, и приметы, и сложение еще не родившегося жеребенка. Следил за новорожденными, сосунками, и стоило жеребенку показать норы, проявить свой характер, присматривался особенно, вдруг растет победитель? Вокруг жеребят на конюшне всегда круговерть, священнодействие — глаз с них не спускают, берегут, ухаживают. Но детство лошадиное короткое, скоро наденут ему недоуздок, затем уздечку, а только исполнится ему полтора года, узнает он, что такое седло. С двух лет лошадь на ипподроме, а в три-четыре года должна быть готова к решающим испытаниям, крупнейшим призам...

Дошли до первого поворота, и на повороте Клещ прибавил еще. Трибуны взревели, кто-то вскакивал с мест, бежал к ограде: не каждый день увидишь такую лошадь. Поэзия, будто почувствовав энергию трибун, сбилась на секунду



и сразу взвилась в бешеном карьере, вытянула круп, ноги едва касались земли. Тррра-тррра-тррра – чистили копыта. Они летели первые, привычно оставив всех позади.

А ведь еще несколько лет назад никто не поставил бы на Поэзию и копейку, настолько слабый, захудалый родился жеребенок, с распухшими коленными суставами. Хотя мастью удалась, яркая, красно-каштановая, с тремя белыми носочками и узкой звездочкой на лбу. Тренер Дорофеев отвел Клеща в сторону: «Ты на нее время не трать, хоть и чистокровка, но сам видишь, что с ногами. Оглядишься, может, еще кого присмотришь».

Но Клещу в душу запала эта кобылка. Он сразу заметил, что колени выпирают, только когда она стоит, но как переходит на аллюр, сразу появляется статья. И характером была пылкая, отзывчивая, Клещ это всегда в лошадях ценил. Товарищи подшучивали: «Хромает Поэзия?»

Клещ молчал, что с дураков взять.

То, что Поэзия хромает, Клеща не смущало, у него на этот счет была собственная теория разработана, он считал, что у настоящей чистокровной любой дефект — это особый шик, отличие. Но главное, что искал Клещ в лошади — любовь к резвым аллюрам, бойцовский характер, благородство темперамента — всего этого было в Поэзии с избытком!

И не ошибся — первую же скачку Клещ с Поэзией выиграли.

Дорофеев удивлялся: «Надо же, какая мать у нее была бесцветная, а вот на тебе, выстрелила порода, дала!»

Дальше пошло по нарастающей, ни одного соревнования Поэзия не проиграла. Последние скачки, Всесоюзный кубок, взяли легко, Клещ понимал — соперников им нет. Поэзия на финише обошла всех на четыре корпуса.

Уже их знали, были свои поклонники, Клещ слышал, как на трибунах кричат, поддерживают. Конмальчики в конюшне шептались за спиной, цитировали Клеща, копировали его посадку, пришла известность, слава...

И впервые, как выиграл Клещ чемпионат, посмел он вслух произнести сокровенное: значит, можно готовиться к международным скачкам? Это была его мечта, да об этом каждый жокей мечтает.

И все сбылось, месяца не прошло, как Дорофеев сказал: «Удача поперла, тебя выбрали, поедешь на Гётеборгский гандикап!» Клещ заволновался, но больше злой азарт его захлестывал, хотелось ему помериться силами с лучшими европейскими наездниками, проверить, так ли высок их класс.

Ехали на поезде, потом на пароме. Против самолета Дорофеев возражал — температура после перелета у лошадей поднималась до сорока градусов.

В поезде приготовили для Поэзии отдельный вагон, соорудили стойло, натаскали сена, поставили бочку с водой, бросили в нее деревянный круг, чтобы вода в пути не расплескалась. Клещ повесил фонарь, прикрутил фитиль, привел Поэзию — вагон ожил. Путь занял неделю.

Поэзия в поезде застаивалась, приходилось останавливаться, делать кобыле проводки. Клещ с Дорофеевым тревожились, утро начинали с проверки — поела ли Поэзия овес? Если перестанет есть — это плохой знак.

На пароме Поэзии выделили нижний трюм, команда приходила на нее смотреть, никто из шведов раньше такой масти не видел. Капитан больше всех к ней прикипел, спускался в трюм любоваться, приносил морковь, яблоки. Как-то похвалился перед Дорофеевым: «У меня на ферме тоже есть лошадь!»

Дорофеев ухмыльнулся: не все то лошадь, что хвост и гриву имеет!

Наконец, пришли в Гётеборг, команда на пароме выстроилась прощаться. Клещ по трапу вывел Поэзию. Кобыла, почувствовав землю, неожиданно заиграла, затанцевала, подошла, положила морду Клещу на плечо. Клещ по-

трепал ее за ухом — настроение у кобылы хорошее, это к удаче!

Жить их определили на ипподром, всего день дали с дороги на отдых. Клещ внутренне собрался, сосредоточился: близость скачек чувствовалась вокруг, даже сам воздух наэлектризовался. Лошади это понимают раньше всех, они даже угадывают, кому сегодня скакать, начинают нервничать. А у Клеща тянущая боль поселилось под сердцем. Вида Клещ не показывал, но знал, что все жокеи так, переживают.

Успокоился только перед самой скачкой, решил сделать легкую размашку, проехаться, открыть у Поэзии дыхание. Посмотрел на трибуны, на прибывающую под музыку нарядную публику, сел в седло. Знал, что выглядит эффектно, в шелковом камзоле, в жокейском шлеме. Чувствовал, что иностранцы смотрят на него, обсуждают. Поехал вдоль трибун, щека, обращенная к публике, горела.

Разогревать особенно Поэзию не стал: она пылкая, ей это не нужно, ей стоит шепнуть на ухо — она в карьер, мигом принимает посыл!

Наконец, завели в стартовое стойло, настолько тесное, что колени Клеща прижались к стенкам. Поэзия нервно водила ушами, тоже ждала сигнального выстрела.

Выстрел!

Клещ не мог бы объяснить словами, как действовали тогда его руки, управлявшие поводом, как упирались они в мокрую от пота шею лошади, как нога держала стремя. Повис в воздухе. Резвость предельная, но, кажется, все замирает, как в замедленной съемке.

Соперники дышат сзади, сбоку, земля летит из-под копыт, ряды трибун закрыли небо.

Шведы идут впереди и справа, кучно. Ясно, договорились между собой, зажали Клеща в коробочку, перекрыли беговой круг. Думают, что возьмут на выносливость, а вот и нет, Клеща не возьмешь, он померяется силой!

Второй круг так и прошли, рядом, ноздря в ноздю. На трибуне мелькнуло взволнованное лицо Дорофеева. «Что медлишь, так и за флагом остаться недолго!» — читалось на нем.

Но на третьем круге Клещ достал хлыст, поставил параллельно крупу, хотя он лошадь не бил, он обозначал удар. Пригнулся к Поэзии: «Ну, милая, пора!»

Трибуны выдохнули: «Ааах!»

Мгновенная передышка и бросок, как бросок хищного зверя. Клещ навис над лошастью.

Пейс приличный.

Мистер, каурый англичанин, захватил голову бега. Но и его первенство оказалось недолгим, потому что пегий Чарли, в белых яблоках, вылетел вперед. Он делал бег не для себя, явно резал Мистера ради соконюшенника своего, который уже подбирался к ведущим лошадям.

Трибуна гудела, фаворит выходил на последнюю прямую. Но двое других не уступали, и три лидера шли голова в голову, ноздря к ноздре, отчаянно резались они между собой. Вдруг немыслимый вопль разорвал воздух, Клещ мызгнул, завизжал, как в детстве, и Поэзия, в повороте державшаяся где-то пятой, вдруг высунула у самого столба полголовы впереди соперников. Еще рывок, и все, летим одни, рядом никого...

У Поэзии ходили ходуном ноздри, бока в пахах, Дорофеев, размахивая руками, бежал к Клещу:

— Наш, наш приз, победили!

Тогда, после Гётеборга, Клещ решил, что нет им равных. Почти сразу, перерыв небольшой, поехали в Кёльн, на Кубок Европы. Предстояло сразиться с самим Люцифером.

Люцифер был феноменальный, выдающийся, талантливый, не знавший проигрышей. Статью он не вышел, круп у него был настолько покатый, что ни один жокей не мог на нем усидеть. На Люцифера махнули рукой, пока не по-

явился Рыжий Смит, жокей, решивший, что они с покатым конем очень похожи. И действительно, была между жокеем и лошастью какая-то особая связь, и с этого момента началось восхождение Люцифера. Соперников ему не было — да никто и не стремился с ним состязаться, знали, что проигрывают.

Клещ перед скачками подготовился, выработал стратегию, решил, что будет бороться до последнего, что бы ни случилось...

Он был уже у полукруга, когда услышал и понял: вот он!

На них надвигался Люцифер — «лошадь века». Только что он был позади, и вот уже глотает Клещ пыль из-под его копыт.

Собирался Клещ резаться, выматывать Люцифера, бить на силу. Но лошадь, чей класс измеряется «веком» — это другой масштаб... Клещ понял, им не выиграть, и уступил сильнейшему, пусть Люцифер делает скачку...

После скачки к Клещу подошел переводчик.

— Мистер Частэн устраивает прием и просит Вас быть у него сегодня вечером. Он хочет познакомиться с русским наездником!

— Это еще кто? — Клещ повернулся к Дорофееву.

— Частэн, крупный коннозаводчик, надо идти...

На приеме Частэн, после первых приветствий, подошел к Клещу, пригласил посмотреть конюшню.

Конюшня Клеща потрясла: чистота, как в больнице, для жеребых кобыл закрытые денники, красиво, стояла с резными деревянными воротами, рядом процедурная, даже операционная своя есть. В стойлах лошади, всех мастей, любовно собранные Частэном со всего мира.

Дорофеев шел позади, всплескивал руками, охал, переводчик тараторил без умолку, рассказывал про скакунов.

— А это Келсо, внук вашего русского жеребца Флоризеля, — и переводчик, влекомый Частэном, двинулся было дальше.

Дорофеев схватился за сердце, другой рукой вцепился Клещу в плечо: потомок Флоризеля!

Остановились. Дорофеев, размахивая руками, стал объяснять, как нужен им для селекции потомок именно этой линии.

Частэн кивал, вежливо улыбался, пригласил в дом.

После ужина, когда все поели и выпили, вышли на террасу, в сад, расположились в шезлонгах вокруг низкого стола.

— Идет, — сказал Частэн. — Я могу продать вам Келсо, за хорошую цену, но только потому, что моя жена русская, из России.

Дорофеев побледнел, сжал кулаки:

— Эх, мы бы горы своротили, будь у нас Келсо!

Наутро пришел переводчик с письмом от Частэна. Цена была неподъемной, конюшня такую лошадь купить не сможет...

С Частэном расстались дружески, на прощанье Клещ пожал ему руку, посмотрел в глаза:

— Я вернусь за Келсо, хочу его купить...

— Хорошо, у вас есть два месяца. Если вы не выкупите его за это время, я продам его другому, у меня на Келсо есть покупатель.

Клещ перестал есть, потерял сон. Его будущие победы зависели теперь от Келсо...

Идея появилась не сразу, но, когда Клещ додумал все до конца, немедленно начал действовать. Время утекало стремительно. Решил участвовать в Стокгольмском гандикапе. Дорофеев возражал, Поэзии нужен был отдых, но Клещ слушать ничего не хотел, настоял на своем. Изучил программу скачек. Единственным достойным соперником был вороной Фокстрот, под шведским жокеем. Нужный человек, барыга, игрок на тотализаторе, тоже нашелся, гарантировал, что в Стокгольме, через третьих лиц, поставит

на Фокстрота, обозначил Клещу предполагаемую сумму выигрыша.

Дело оставалось за малым. Чтобы получить деньги, Клещ должен был проиграть Фокстроту.

...Вышли на третий круг. Поэзия устала, дышала тяжело, ее шея была мокрой от пота. Клещ не оставил ей сил, измотал в самом начале скачки, и она выгорела, выдала все возможное.

Клещ обернулся. Швед размахивал хлыстом, догонял, набирал скорость, увеличивал пейс. Остальные лошади шли плотно, далеко, силы примерно у всех были равные.

Беговой круг после дождя утопал в воде, отчего скакать было вдвойне тяжело. Клещ неприметно, но настойчиво тянул повод на себя, осаживая Поэзию. Ее галоп прореживался, замедлялся.

Клещ уже слышал тяжелое дыхание Фокстрота, видел, что вороной показывает максимальный пейс, уже пару раз его обдало веером брызг из-под его копыт. Расстояние сокращалось, швед добавил шенкеля, хлыст свистел в его руке, жокей лупил Фокстрота сплеча. Впервые шведу удалось так близко подойти к Поэзии. Еще чуть-чуть поднажать, еще рывок, и он выйдет вперед. Остался корпус, потом полкорпуса, вот они идут ноздря в ноздю, бока Поэзии ходят как мехи, ходуном, вот сбоку выплывает лицо шведа, сосредоточенное, с плотно сжатыми губами, вытянутая вперед морда Фокстрота устремлена к цели.

До финиша осталось немного, полкруга, Фокстрот обошел их почти на три корпуса. Комья мокрой земли из-под его копыт ударили Клеща в лицо, и швед, обернувшись, ликующе мызгнул, показал зубы. Швед, как и Клещ, знал, что нет такой лошади, которая смогла бы сделать два резвых броска на дистанции, а Поэзия исчерпала силы еще в начале скачки.

— Тише, тише, — Клещ наклонился к уху Поэзии, работая поводом.

Поэзия дышала тяжело, с хрипом, потная шея горела, бока вздымались, она то и дело сбивалась на мах, расстояние между ними и шведом неумолимо увеличивалось.

И вдруг Клещ почувствовал, что настроение Поэзии изменилось. Шаг стал ритмичней, она выровнялась, и заработала так, будто у нее открылось второе дыхание. Вот уже до Фокстрота осталось два корпуса, один, полкорпуса, они опять выходили вперед, в голову скачки. Клещ тянул повод на себя, но Поэзия, прижав уши, как заведенная, упрямо набирала скорость...

Клещ растерялся, Поэзия словно не замечая жокея, делала свою скачку, продолжала борьбу, ведь по-другому она не умела...

И тогда Клещ достал хлыст, прицелился, ударил сильно, метко, по голове лошади, как только он мог... Поэзия взвилась от неожиданности, будто выпрыгнула с места, и в бешеном карьере понеслась вперед, наперерез Фокстроту.

Трибуны орали, безумствовали — лидер менялся у столба, перед самым финишем, Фокстрот, почти победивший, вороной Фокстрот с каждой секундой уступал Поэзии по сантиметру. Клещ взмахнул хлыстом, ударил еще раз, пытаясь осадить лошадь. Поэзия рванулась, и в этот момент раздался треск, как будто сломалась деревянная палка. Поэзия, с болтающейся, сломанной передней ногой, наконец-то замедлила ход.

Клещ будто оглох и ослеп, но все видел и слышал — и застывшие, замолчавшие трибуны, и Фокстрота, финиширующего в полнейшей тишине, и машины скорой помощи, несущиеся к упавшей Поэзии.

В отеле, подходя к номеру, Клещ услышал, как надрывается телефон. Вошел, поднял трубку. Звонил барыга.

— Ну братан, ты мастер, не знал бы — никогда бы не поверил! Я сегодня чуть не поседел — сколько деньжищ на кону было, думал все, уйдут! А ты молоток, как будто взаправду проиграл! И то, что лошадь не пожалел, пра-



вильно, теперь ты таких лошадей с десятков купишь! Жди, через полчаса с деньгами подъеду!

Клещ не дослушал барыгу, тихо положил трубку на рычаги, вышел в коридор, закрыл за собой дверь.

## АЛЕКСАНДРА ДИАС

### ВЫ ОШТРАФОВАНЫ

Ни одна голливудская киностудия не обладает таким количеством камер, какое есть в любом торговом центре. Они везде: в подсобках, в коридорах, в торговых залах, на парковках, на фудкортах, на кухнях, в местах для курения, в подвалах, в технических помещениях, в лифтах, в детских комнатах, в примерочных и в туалетах.

Но тебе, покупатель, не стоит переживать по этому поводу. Большой брат следит не за тобой. Он следит за нами — работниками торговых центров.

9:27. Я бегу по торговому центру и проклинаю архитектора, проектировавшего эти бесконечные ряды. Если правильно дышать и беречь силы для последнего рывка, я добегу до магазина ровно за три минуты. Я не могу опоздать. Если опоздаю — влепят штраф.

9:30. Я достаю из кармана ключ, открываю замок, поднимаю железные двери ровно до половины (как прописано в правилах). Вот и оно — мое царство шелка и кружев. Полчаса на то, чтобы переодеться, привести зал в порядок, вытереть скопившуюся за ночь пыль и настроиться на десятичасовой рабочий день.

9:55. В зал входит Яна — менеджер. Опытным ревизорским глазом она оценивает готовность магазина к приходу посетителей.

— Саша! Мы забыли надеть трусы!

Блин! Новый комплект белья лежит в подсобке, хотя еще вчера его нужно было надеть на манекен. Пластиковая женщина возмущенно смотрит с постамента: мол, первое июня на дворе, а я тут стою как дура в весенней коллекции.

Если будет проверка по камерам — точно оштрафуют.

Оскальзываясь на белом кафеле, бегу в подсобку за новым комплектом.

9:56. У меня ровно четыре минуты, чтобы переодеть манекен. Надеть трусы — не такое уж сложное дело. Но надеть трусы на пластиковую женщину, которая, несмотря на свои идеальные параметры, весит как танк, — задача потруднее. К тому же, манекены не склонны проявлять гибкость в вопросах переодевания. За четыре минуты надо открутить ступни с подставки, потом стащить манекен на пол, открутить левую ногу (потому что она изогнута в колене для более естественного вида), затем уже снять старое исподнее и натянуть новое.

10:01. Пластиковая женщина все еще распластана на полу в совершенно бесстыдной позе, с растрепанными волосами и без одной ноги, а я с видом похотливого сатира остервенело стягиваю с нее последнюю одежду. В двери заглядывает охранник и грозит мне пальцем: «Открывать пора уже!».

Готово! Хотя не совсем... Еще одна сложность в переодевании манекенов состоит в том, что таких худых женщин в природе не бывает, а если и бывают, то они точно не расхаживают по торговым центрам, а усиленно лечатся от ленточного червя, язвенного колита или еще чего похуже. Поэтому белье на манекене надо подоткнуть и кое-где заколоть булавкой, чтобы оно смотрелось призывно и соблазнительно, а не как сейчас — повисший парус на измученном долгим штилем корабле.

10:04. Я ставлю манекен обратно на подставку, вытираю пот со лба тряпкой, которой десять минут назад вытирала пыль, и удовлетворенно распахиваю двери своего царства. Добро пожаловать!

10:10. Как же. До часу дня сюда даже мухи не залетают. Я стою за кассой и молюсь о блуждающем покупателе, который зайдет за какой-нибудь мелочью и украдет хотя бы парочку из моего бесконечного запаса минут.

Потому что: телефон — нельзя, читать — нельзя, курить — нельзя, в туалет — нельзя, оставлять кассу — нельзя, а еще нельзя сидеть и вообще принимать удобное телу положение. Иначе — штраф.

10:40. Я уже проспргала в голове все французские неправильные глаголы, а до прихода второго продавца еще один час двадцать минут. Ровно через один час двадцать минут я смогу отойти покурить. А если очень потороплюсь — успею забежать в туалет.

13:30. Обеденный перерыв. Ровно полчаса, чтобы:

— добежать до «Ашана», и там, протискиваясь между домохозяйками, придирчиво изучающими калорийность всего содержимого гипермаркета, схватить булку с изюмом;

— метнуться в противоположный конец зала, мимо отделов с макаронными изделиями, крупами, мясом, овощами, заморозкой, чаем, десертами, алкоголем, детским питанием и товарами для дома, до полок с молочкой, и схватить холодный тетрапак с ряженкой внутри;

— подойти к кассе и попытаться влезть без очереди;

— добежать до ближайшего выхода из торгового центра, по пути заталкивая в себя купленную только что булку;

— покурить, запивая сигаретный дым сладкой ряженкой;

— вернуться обратно в магазин.

Опаздывать нельзя. Вы помните — штраф.

14:00. Я на месте. В зал входит первый за день посетитель. Мужчина. Я подхожу к нему, натянув рабочую бесстрастно-вежливую улыбку: «Вам что-нибудь подсказать?» (Эту сакраментальную фразу мне выдали вместе с трехсотпятидесятистраничной инструкцией поведения продавца-консультанта).

— Да, вы знаете, я хочу купить комплект для своей девушки. Ну там, лифчик и все остальное. Вот этот мне нравится.

— Отличный выбор! Может, вы знаете, какой у нее размер?

— 80В, но можно, в принципе, попробовать 75С.

Ну, тут я наврала немножко. Конечно, он так не ответил. Ни один мужчина в истории не ответил на этот вопрос правильно. Обычно, когда я спрашиваю у покупателя о размере груди его жены, он даже не пытается вспомнить, что написано на ярлычке ее бюстгалтера. Вместо этого он направляет взгляд на ближайшую грудь в поле зрения — то есть, на мою. Смотрит долго, секунд десять, потом немного щурится, настраивая глазомер. А в конце выносит вердикт: «Ну, примерно чуть побольше вашей», — для пущей наглядности складывая ладонь чашечкой.

14:10. Мужчина ушел, шелестя подарочным пакетом с розовой ленточкой. А в примерочной меня ждет новый клиент — женщина с утягивающим бельем.

14:15. Я уже пять минут пытаюсь натянуть утягивающие шорты на совершенно не утягивающуюся женщину. Белая плоть живота угрожающе нависла над резинкой пояса, как подоспевшее дрожжевое тесто над краем кастрюли. Кое-как мы заталкиваем живот в шорты, но тут же вываливается складка на спине — видимо, так работает закон сохранения энергии. Черт бы побрал этот глянец, утверждающий, что женщина может быть только одного размера, а если уж параметрами не вышла — будь добра, милочка, упакуйся как-нибудь покомпактнее.

14:25. Женщина расплачивается на кассе и забирает из моих рук розовый пакетик. Вечером, сидя на юбилее мужа в красном атласном платье и новых утягивающих шортах под ним, она будет, проклиная, вспоминать меня и не съест даже крошечной канапешки, чтобы вся эта тугая конструкция не разлетелась с треском по банкетному залу.

18:00. Второй перерыв на полчаса. Хочется есть. Повторяю свой забег. Опаздывать нельзя. Ну, вы помните — штраф.

21:55. Пять минут до конца смены. Время самых ненавистных клиентов: мы именуем их «ябыстры». Эти ураганные женщины объявляются в последний момент и с криками: «Я быстро, только гляну!» — разносят весь магазин, чтобы продавец не смог уйти как минимум до полуночи, устраняя последствия их нашествия. Мечтаю когда-нибудь встать у них на пути и провозгласить: «Ты не пройдешь!». Но не могу — штраф.

Так я и знала! В зал входит усталая женщина с продуктовой тележкой, нагруженной туалетной бумагой, подгузниками и кулками с крупой. На детском сиденье тележки спит мальчик. Второй ребенок — девочка лет шести — плетется за матерью, задумчиво пожевывая соломинку, торчащую из давно опустевшей пачки сока: «Мам! Пойдем домой! Маааааааа!»

Я подпрыгиваю к замороженно озирающейся женщине. «К сожалению, с тележками нельзя», — говорю я ей и делаю грустную мину, в которой нет ничего от настоящего сожаления. Женщина вздыхает, еще раз обегая взглядом такое близкое, но так быстро ставшее недоступным дамское счастье, и поворачивает тележку к выходу.

А так, наверное, хотелось купить, наконец, что-нибудь для себя. Забыть про списки дел и покупок и запорхать среди вешалок с атласом, муслином, шифоном, ажуром, гипюром и органзой. Но последняя надежда потратить оставшуюся тысячу рублей на себя разбилась о холодную стену моего профессионализма.

Ее ноги в зеленых кроксах тяжело ступают по полу. Девочка повисает на тележке, так что маме приходится тащить и ее тоже. Я смотрю им вслед, пока, наконец, не выдерживаю.

«Женщина! — заговорщицки шиплю я, — Жеенщина! Идите сюда!» Она оборачивается и улыбается широ-

кой доброй улыбкой, какая бывает только у тех женщин, которых кто-то называет мамой. Я подвожу ее к комбинации из кружева, белого и легкого, как молочная пенка. Они — женщина и комбинация — осторожно знакомятся друг с другом, пока девочка бродит по залу и с интересом рассматривает трусики-стринги.

22:05. Последняя клиентка выходит из магазина, толкая перед собой тележку с детьми и долгожданной обновкой. В дверях она сталкивается с администратором, который за-явился на ревизию именно сегодня. Именно сейчас.

22:10. «...К сожалению, вы будете оштрафованы».

# АНДРЕЙ ЗАГОРУЙКО

## ГОРОД П

Город был молодой. Его жители, переехавшие из одноэтажных деревенских домов, привыкшие к собственному хозяйству, первым делом разделили поле за дорогой на участки и весной вскопали огороды, под окнами засадили цветами клумбы и огородили их шатким, деревянным штакетником. За огородным полем простиралась еще не тронутая лапами экскаваторов пашня, и каждый весенний день, пока новоявленные горожане подставляли свои согнутые спины рассветному солнцу, мимо них пастухи прогоняли стада животных, давно ставших членами семей и переехавших в многоэтажку вместе со своими человекоподобными родственниками.

Помимо деревенских жителей, квартиры заселяли те, кто уже примерял на себя механический каркас мегаполиса и, наконец, воплотил мечту о собственной квартире, оказавшись на волне городского выдоха, вынесшего жителей за свои границы. Первым делом они узнавали расписание общественного транспорта, знакомились с траффиком, интересовались наличием школ, детских садов, магазинов, торговых центров, баров, кино, спортзалов и прочим.

В городе была одна улица с единственным домом. Улица называлась Первой, а на доме висела табличка с тремя единицами — самой большой, говорящей о номере дома, и дву-



мя другими, следующими за стрелками, предназначенными обозначать направления нумерации улицы. «Прямо, направо, налево пойдешь, все равно к первому дому придешь», — шутили жители. Вокруг дома, как мы уже упоминали, была построена двухполосная дорога, от нее ответвлялась другая, начинавшаяся со знака с перечеркнутым названием города — П.

Такое странное и одновременно лаконичное название город получил из-за формы своего на тот момент единственного дома. Дом заселялся постепенно. Квартиры, получившие своих жильцов, можно было отличить от пустующих по снятым со стекол заводским наклейкам или по кондиционерам. Большинство квартир были сквозными, то есть окна комнат выходили как наружу, так и во внутренний двор с видом на детскую площадку и на другие окна, смотревшие ответно в упор. Днем они казались одинаковыми, серыми и безучастными, но с наступлением темноты жизнь города преображалась.

Окна — стекла аквариума. Рыбья жизнь, где рыбы наблюдают за рыбами. Еще не отделенные от внешнего мира занавесками, люди включают свет по вечерам в комнатах и живут на расстоянии, далеком для вытянутой руки, но близком для глаз других жителей.

\*\*\*

У города было два талисмана: петух и поросенок. Сначала хотели выбрать одно животное, однако после голосования победителя выявить не удалось. Количество голосов получилось неравным, и формально талисманом должен был стать поросенок, однако, большинство проголосовавших за петуха оказались физически сильнее своих оппонентов, и после подсчета бюллетеней назревал серьезный конфликт. Во избежание его силового разрешения и потенциального переворота во власти, администрация города приняла муд-

рое решение о двух талисманах, подчеркнув этим дружбу и единение жителей.

Когда деревня стала городом, появилась необходимость придумать ему логотип. Сначала выбрали букву «П» по названию города. Однако через несколько дней в администрацию пришло письмо из Перми с протестом по поводу выбранного в П символа. Не желая нажить себе врагов в начале городской жизни, администрация приняла решение о разработке нового современного логотипа, подключив к работе местного художника.

Через несколько дней художник представил законченную работу.

Логотип состоял из прямоугольного щита, края которого изображали дорогу, построенную вокруг дома. В центре щита стоял сам дом, стилизованный под перевернутую букву «П». Строго говоря, стилизации не требовалось, и к рисованию логотипа, который больше был похож на герб английского аббатства, стоило подходить, следуя принципу «Не навреди».

На букве «П» по разные стороны сидели два талисмана города: петух и поросенок. Петух был застигнут в момент, когда, набрав полную грудь воздуха, он вот-вот должен был извергнуть из себя сакральное «Ку-ка-реку», приветствуя сияющее над ним солнце. Для яркости образа художник даже нарисовал язык, в струнку вытянутый из клюва, и выпучил талисману глаза. При этом казалось, что петух собирается съесть солнце или же он от него перегрелся, поэтому открыл клюв и, как лохматый пес в июльский полдень, высунул язык. Солнце было мелким, втиснутым в угол прямоугольного листа, как сильно проигрывающий боксер, который пытается достоять до гонга. Его образ пришел в голову художнику в самом конце работы, и недостающий размер светила он компенсировал жирным до выпуклости ярко-желтым пятном люминесцентной краски.

С другой стороны, закинув ногу на ногу, сидел поросенок. Штанов на нем не было, и поэтому он казался до порочности голым и стыдливым. Над поросенком светила полная луна, слегка скрытая облаками, и синеватый лунный отсвет был очень реалистично нанесен на правое поросячье ухо, выделяющееся на фоне остальной нежной эротической розоватости его кожи.

Кроме дома, дороги и двух талисманов, художник учел основные отрасли, представленные в городе: аптеку, продуктовый магазин и тренажерный зал. Аптеку традиционно символизировала чаша, обвитая змеей. Так как места для этого символа уже не оставалось, то чашу художник поместил в лапу поросенка, а змею обвил вокруг ветви дерева, растущего из нижней части буквы «П» и развесившего свою крону между двумя талисманами. Змея, обвивая длинный сук, свисала над чашей, и, пока томный взгляд поросенка был обращен на петуха, она воровато лакала языком содержимое сосуда. Тренажерный зал был символически нанизан на мускулистые петушиные ляжки в виде блинов на его сапогах. Кроме этого, на сапогах висела красная бирка с надписью «Скидка 50%».

\*\*\*

Годовщина со дня закладки фундамента дома. Почти как день рождения самого города, но больше напоминающий день зачатия. По этому случаю жителям было объявлено о грядущем празднике с салютом на центральной площади и праздничным концертом самодеятельности, составленным из выступлений местных талантов. Также в концерте должна была участвовать приглашенная звезда, но в день праздника выяснилось, что она заплутала и не смогла город найти. Еще когда город был деревней, ежегодно в тот же день, первого апреля, жители собирались по случаю дня рождения своего населенного пункта, после чего происходи-

ла не то ярмарка, не то карнавал, не то сабантуй, которые, впрочем, заканчивались всеобщим беспорядочным братанием жителей. Поэтому отсутствие приглашенной звезды вызвало в городе скорее приятную ностальгию по прошлой жизни, нежели досаду.

В этом году, в отличие от прошлых, все было иначе. В городе появилась администрация, состоявшая из бывших старейшин деревни, и ее выступление должно было открывать праздник. Затем начиналась торжественная часть, состоявшая из концерта, запуска талисманов города на воздушных шарах, стаи голубей в небе и торжественного салюта.

После окончания концерта на сцену вынесли небольшую корзину, в которую, под сочувственными и немного голодными взглядами толпы, посадили молодого петушка и юного поросенка, покрытого белесым пушком. К корзине по углам привязали по связке воздушных шаров, от чего та приподнялась над землей, удерживаемая синей и белой лентами, связанными посередине большим красивым бантом. Из корзины раздалось беспокойное хрюканье и хлопанье крыльев. По сценарию, корзина должна была подняться в небо, немного пролететь, а затем медленно спуститься. К ней был присоединен gps-маячок, по которому можно было определить место ее приземления. Чтобы животные не выпрыгнули во время полета, корзину плотно закрыли сверху, а поросенка еще и привязали, чтобы не раскачивал.

Мэр города вместе с женой — его заместителем — взялись за концы ленточек и под аплодисменты и крики зрителей потянули их в разные стороны. Корзина слегка качнулась и начала медленно подниматься. По мере ее подъема из окон первых этажей выпускали белых голубей, которые, сбиваясь в стаю, кружились вокруг корзины — мирный полет талисманам города. Вечерело, и на голубеющем небе уже появились бледный месяц и ранние звезды. Зрители молчали, вприв взгляды в дно удаляющейся корзины.

Когда корзина достигла уровня седьмого этажа, от сцены донесся странный шум, как будто кто-то включил телевизор без антенны на полную громкость. Через несколько секунд шум прекратился, и сразу же вслед корзине и голубям с земли вырвалась белая полоса, одним резким рощерком пополам разрезавшая небо. Через миг она исчезла, и в небе раздался первый взрыв. Вторя разлетающимся брызгам первого залпа салюта, в разные стороны разлетелись голуби. Небо разрежала вторая полоса, а за ней третья, взорвавшись по бокам от корзины, все также медленно плывущей ввысь.

Зрители закричали — кто восторженно, кто с ужасом. Корзина заметно раскачивалась из стороны в сторону. Салют продолжал бить, залпы рассыпались близко от корзины, больше напоминавшей ковчег во время бури, и зрители, как и петух с поросенком, могли лишь наблюдать за происходящим, не чувствуя в себе способности вмешаться. Одни начали яростно болеть за невольных воздухоплателей, другие, скрещивая пальцы, робко молились, третьи делали ставки, четвертые радовались салюту, думая, что все так и задумано. Еще несколько залпов — в одной из связок, поднимающих корзину, лопнули несколько шаров. Она накренилась и нырнула, одновременно откинулась ее крышка, из-под нее выскочил петух. Отчаянно размахивая крыльями, он полупетел-полупадал на толпу. «Петенька!», — раздался крик, и к месту падения выбежала женщина, держа перед собой натянутый подол. Петух сделал еще несколько взмахов и забился в складках юбки своей спасительницы. За женщиной из толпы выбежал мужчина и устремился туда, откуда бил салют. Подбежав к запалам, не зная толком, что с ними делать, он пнул их ногой и тут же в прыжке бросился на землю, опасаясь, что один из снарядов может в него попасть. Пачка качнулась и замерла, накренившись, залпы продолжали бить, но уже по окнам дома, расхлестывая их

с тщательностью, с какой ребенок вынимает шоколадные конфеты из подарочной коробки.

Из корзины тем временем высунулся поросенок. Упираясь передними лапами, он накренил корзину настолько, что выпал и повис на веревке, которой был привязан. Салют продолжал выбивать стекла, поросенок плавно спускался, перебирая в воздухе лапами и оглашая окрестности отчаянным визгом. Толпа ринулась за корзиной.

\*\*\*

Никто так и не узнал, что произошло на празднике. Одни говорили, что пиротехник был пьян и зажег фитиль, бросив тлеющий окурок возле батареи салюта, другие уверяли, что он был трезв и просто перепутал время залпа, которое было указано в расписании праздника, при этом не посмотрел на небо. В любом случае, пиротехник был не из местных, и до праздника, как и после, никто его не помнит или не видел.

## ЕЛЕНА КАМЕНЦЕВА

### НЕНАВИЖУ МЕТРО

Тусклый октябрьский вечер разливался по вокзальной площади. Водители на стоянке такси стояли, образовав темный неровный полукруг, и скучали в ожидании пассажиров. Молча курили, делая глубокие затяжки и обдумывая свои тягучие, как машинное масло, мысли. На другом конце площади, по ту сторону мокрой блестящей брусчатки, косо перерезанной трамвайными рельсами, бурлило вечернее метро. Встречные потоки пассажиров вливались в бетонный зев и поднимались наверх, в холодную сырость вечера. Там, в отличие от стоянки, кипела жизнь.

Один из водителей, плотный, коренастый мужчина, поднял голову, вынул желтыми прокуренными пальцами изо рта сигарку и сплюнул себе под ноги. «Вот, блин, понастроили. Без куска хлеба скоро останешься. Такое кольцо, сякое кольцо.... Копают, как кроты, мля...»

Остальные водители дружно, как по команде, подняли головы и посмотрели в сторону метро. Переглянувшись, решили, что тема заслуживает обсуждения.

«А че, конечно, теперь куда хошь можно на метро доехать!», — открыл дискуссию белобрысый дрыщ в потрепанной кожанке не по размеру.

Разговор начался. Теперь можно было высказаться, отвести душу, попутно вкручивая истории «на бис», слушанные-переслушанные по сто раз, но работающие в любом

разговоре, как смазка в моторе.

Потрепавшись вдоволь, пришли к выводу, что метро, конечно — зло, но вообще-то штука полезная. И разговор уже угасал, когда обычно молчаливый Витёк — молодой парень, не так давно присоединившийся к местному таксистскому братству, — не обращаясь ни к кому конкретно, отчетливо сказал: «А я ненавижу метро».

Мужики переглянулись, и пожилой с сигаркой спросил: «А это еще почему?»

И Витёк рассказал.

...Был он тогда моложе, чем теперь (мужики ухмыльнулись), закончил ПТУ на автомеханика, работал в автомастерской и ездил на метро. Все у него было хорошо, только вот девушки любимой не было. Ну, не лежала душа ни к кому конкретно. Так, на дискотеку сходить, ну, может, пару-другую месяцев встречаться, а чтобы серьезно — ну не находилась она.

И вот однажды, в самый обычный день, на своем обычном маршруте, на кольцевой, он увидел ЕЁ. «Я сразу понял, что это она. Не знаю, как. Ничего особенного в ней не было. Не фотомодель. Невысокая. Волосы уложены так... шапочкой. На щеке — родинка. Книжку читает. Пальчики тоненькие, а книга толстенная... Как же, думаю, она умудряется ее держать на весу? — Витёк зажег сигарету, затянулся и выпустил во влажный воздух облачко дыма. — Ну, я, конечно, к ней. Девушка, говорю, можно с вами познакомиться?»

— Ммм? — общий вдох.

— А она голову слегка так повернула, посмотрела. Нет, говорит, я в метро не знакомлюсь. И отвернулась.

— Ммм, — общий выдох.

— Девушка, — говорю. — Я же вас всю жизнь искал. Что ж теперь поделать, если мы с вами в метро встретились? Вы мне оставьте свой телефон, я вам обещаю — в следующий раз мы с вами встретимся, где хотите! Хотите — в теат-



ре, хотите — в зоопарке, хотите — в ювелирном магазине!  
А хотите — в ЗАГСе встретимся!

Мужики одобрительно закивали — молодец, мол, Витёк, проявил фантазию.

— Смотрю, смягчилась, улыбается. Я свой телефон вынул — как раз тогда самую последнюю модель купил, собирал на нее три месяца. Вот, думаю, вовремя — не стыдно при девушке телефон достать! Она подняла глаза, на меня смотрит. А они такие! Искорки там бегают, сверкает что-то, переливается... До мурашек ее глаза меня пробрали, честное слово! Ну, мы еще парой слов перекинулись, посмеялись, лед вроде тронулся, и продиктовала она мне свой телефон. Я обещаю ей позвонить сегодня же вечером, провожаю к выходу из вагона. На следующей станции она вышла. Катей ее звали...

Витёк замолчал, погрузившись в воспоминания.

Мужики постояли, переминаясь с ноги на ногу, потом кто-то нетерпеливо тряхнул головой — дальше-то чего?

Витёк моргнул, возвращаясь к реальности, вынул из пачки еще одну сигарету, покрутил между пальцами, продолжил:

— Ну, как она вышла, на меня волнение какое-то напало. Захотелось бежать, прыгать, кричать во все горло! А как кричать, я в метро! А внутри прямо горит все! Вот он — телефон, а в нем ее номер! И так я разволновался, сам не знаю, руки дрожали, что ли, я его как-то так крутанул, и он у меня упал — батарея отдельно, корпус отдельно. А я у двери, мне выходить, люди сзади напирают — на кольце же всегда давка. Я скорей все похватал и из вагона.

Отшел в сторонку, собираю телефон — и тут у меня все внутри просто оборвалось: симки нет! Я еще раз все разбираю, ощупываю куртку, шарю по карманам — может, как-то случайно туда упала. Нету. Бросаюсь к платформе — может, там выронил. Нет!

Витек замолчал, всем своим видом передавая охватившее его в тот момент отчаяние.

— И чего? — спросил, наконец кто-то. — Не нашел?

Витёк помотал головой:

— Не нашел, — убитым голосом ответил он. — Я...я целый год потом по кольцевой ветке катался... Чуть психом не стал. Все вагоны на колесках облазил, меня даже в милицию сдавали, думали, ворюга. Ждал ее на остановках... в переходах... в поездах ждал...

— Так больше ни разу и не встретил? — с искренней жалостью переспросил белобрысый. — Совсем нигде?!

— Нет, — ответил Витёк, окончательно разламывая нераскуренную сигарету. Потом добавил: — Вы не представляете, как это — искать человека в метро. Сколько там людей. Ты стоишь на станции, а мимо тебя идут... отряды... Бесконечные. Все в одну сторону, у всех одинаковое выражение на лицах. Они тебя не замечают. Они все — чужие... Как будто они — мертвые, а ты — живой. Или ты — умер, а они все — живые. Ненавижу метро!

Мужики притихли. Вот ведь как не повезло парню. Да и то верно — как найти человека в метро! Иголka в стоге сена....

Разрядил обстановку пожилой таксист. Звучно хлопнув Витька по плечу, с чувством произнес:

— А и все к лучшему, Вить! Найдешь ты еще свою Катю, обязательно найдешь! Зуб даю!— и улыбнулся, сверкнув в свете фонарей золотым зубом.

Мужики заржали. Витёк улыбнулся:

—И с аллергией на метро жить можно — ничё!.. Мы на что?

—Да, уж ты-то, на что!— ответил кто-то. — Пять раз объяснял уже, как к этому тоннелю выкруливаться, никак не допрет!

Мужики начали поддевать друга, каждый невольно старался ободрить Витька — да и чего в ней только не бывает, в жизни-то!

Зарядил мелкий дождичек, посыпая водяной крупой их гладкие кожаные плечи и непокрытые головы...

А на противоположной стороне площади красными карнавальным огнем призывно светилась буква «М», приглашая всех желающих испытать свою судьбу.

## НАДЕЖДА КЛЕПАЛОВА

### СОЧИНИТЕЛЬ

Уставший Венедикт Тимофеевич встречал закат очередного весеннего дня в офисе. Он аккуратно откатился на стуле от монитора и, не отрывая взгляда от таблицы с цифрами, пошарил под столом рукой. Наткнувшись на ботинки, поставил их рядом с обутыми в туфли ногами, и все так же, продолжая проверять глазами статистические данные, начал переобуваться. Коллеги по отделу уже давно убежали, а дотошный Венедикт Тимофеевич все пытал своим взглядом подготовленный отчет. Ошибки в его деле были недопустимы, поэтому лучше немного задержаться на работе, чем потом опозориться перед начальством.

«Ну, пора и честь знать», — подумал Венедикт Тимофеевич и обнаружил стрелку настенных часов на цифре семь. Но тут зазвонил телефон.

— Добрый вечер! Слушаю вас! — вежливо и неспешно проговорил наполовину переобутый Венедикт Тимофеевич.

Звонила Ирочка, неземной красоты девица и по совместительству маркетолог предприятия. Голос ее был измученным и хрипел столь странно, что Венедикт Тимофеевич не сразу признал свою коллегу. Ситуация, которую описывала простудившаяся Ирочка, была критической. Оказалось, головной офис предприятия, который находился в Москве, срочно запросил пресс-релиз по акции, прошедшей в Женский день. Совершенно забыв, что на местах, то есть в Бар-

науле, времени на четыре часа больше. Да и сама Ирочка, как назло, загрипповала.

— Венедикт Тимофеевич, только вы можете меня спасти! — сипела в трубку красавица-маркетолог. — Наверняка в офисе, кроме вас, никого не осталось. Ну напишите хоть какой-нибудь текстик про это Восьмое марта, а они там сами подправят!

— Но, Ирина Андреевна, я же по части цифр... — попытался возразить опытный статистик.

— Москва очень просила, понимаете? Если не сделаем, влетит по полной. Вы напишите и отправьте им по почте!

Подводить Ирочку и уж тем более предприятие Венедикту Тимофеевичу не хотелось — и, несколько раз проведя ладонью по закругленной седой бородачке (этот жест означал крайнюю степень волнения), он согласился. Быстро высвободил ноги из ботинок, сунул их в узконосые черные туфли и достал чистый лист.

— Ну-сссс, — произнес он, взявши серебристую ручку с логотипом компании. — Приступим-с.

Набирать текст на компьютере, под неритмичный треск клавиатуры? Ну уж нет, на такие звуки муза не приходит! Чтобы написать действительно красивый текст, повествующий о чести родной компании, необходимо перо. И хоть авторучка на роль пера подходила не совсем, но, по мнению Венедикта Тимофеевича, как инструмент исполнения важной творческой задачи была лучше бездушных клавиш.

Отступив немного от края белого листа, Венедикт Тимофеевич задумался. Так... И о чем же писать? Начать с заголовка, или, может, логичнее придумать его к уже сочиненному тексту? А если начать с текста, то что должно быть первым: дата мероприятия или название компании? Как будет солиднее и, что называется, правильнее? Поразмышляв, он все-таки начал аккуратно выводить на бумаге имя родного предприятия. Три заглавные буквы ООО, кавычки открываются, далее слово, еще раз кавычки, шесть

букв, дефис, еще семь букв, кавычки закрываются. Ура! Начало положено. Что там дальше?

Ах да, дальше, по идее, должен идти глагол. Но постоит, какой глагол? Документ-то официальный! А значит, глаголом жечь сердца людей не надо. Пресс-релиз пусть даже праздничного мероприятия — пища для ума, а не для сердца. И Венедикт Тимофеевич начал писать, пытаюсь не потерять ускользающий слог: «Приняла участие в проведении выездного мероприятия в рамках поздравления женской части населения...» Bravo! Переходим к следующей строчке...

Венедикт Тимофеевич так увлекся придумыванием правильных синтаксических конструкций, что совсем не заметил, как стемнело за окном. Город погрузился в сумеречный туман, и лишь кое-где поблескивали теплые огоньки жизни. Домой хотелось нестерпимо. Заварить любимый черный чай в своей большой литровой кружке и усесться с газетой в могучее кресло, под вечерний выпуск федеральных новостей просматривая региональные... Гнать! Гнать метлой эти поганые мысли, крадущие силы у вдохновения! «Текст-то хоть и написан, но требует редакторских по-о-оправок», — важно провозгласил Венедикт Тимофеевич, обращаясь к своему отражению в зеркале на противоположной стене. Зеркало висело прямо под неумолимо тикающими часами.

Ну что поделать, задержался немного. Зато во всем будет порядок. Порядок Венедикт Тимофеевич любил в своей работе больше всего. И пытался приучить к нему всяких не уважающих компанию личностей.

Вот, например, из недавнего. Готовились к приезду важных персон из краевой администрации. Все как положено, грамоты разноцветные достали, благодарности клиентов развесили. Уборщица Елена Васильевна полдня по коридору с мотками туалетной бумаги бегала, все беспокоилась, чтоб хватило. Даже Мишка-программист, бестолковщина эдакая с серьгами в ушах, в рубашке на работу явился и украшения

из ушей изъял. В общем, в полной готовности все предприятие, при параде. Чтоб дорогие гости не потерялись в просторах офиса, выставили указатель: «Конференц-зал». А кто-то больно умный взял и этот указатель к туалету пододвинул! Ух, как Венедикт Тимофеевич разозлился! Быстренько давай все возвращать на положенные места, а тут как раз генеральный идет. Чуть не пришлось за чужие проказы отдуваться! Пытался шутника разыскать, да все бесполезно — кто ж признается?

В общем, Венедикт Тимофеевич ценил во всем точность. Отчасти этого требовала его профессия, отчасти — характер. «Все должно быть четко, по полочкам, по правилам, согласно стандарту», — объяснял он новым молодым сотрудникам.

Вот и пресс-релиз в итоге получился аккуратненький, красивенький, статистически усредненный. Венедикт Тимофеевич подправил кое-где пару-тройку слов, поставил на всякий случай пять запятых — ну, надо будет, в Москве уберут! Лучше борщ наваристый, чем жижа водянистая. И переписал окончательный вариант на фирменный бланк. Ну вот, теперь сканируем, отправляем и можем идти домой.

Следующим утром Венедикт Тимофеевич по пути на работу заскочил в крайстат. Но уже к обеду преодолел блестящую вертушку проходной и зашагал по сверкающей плитке длинного коридора, мимо распахнутых дверей в рабочие комнаты. То и дело из комнат возникали коллеги. Кто-то ронял «Здрасьте», кто-то бодро выкрикивал «День добрый!», а кто-то горячо пожимал руку... Но было в этих приветствиях что-то общее, таинственное, незаметно переходящее от одного человека к другому. И уже войдя в свой отдел, Венедикт Тимофеевич понял, что.

— Бесподобно, бесподобно! — заверещала Вера Ильинична, коллега и старший товарищ Венедикта Тимофеевича. — Боже, какой слог, какой текст!

— Благодарю, польщен, — отчеканил Венедикт Тимофеевич, поправляя на переносице слегка сползающие, в золоченой оправе, очки.

— А смыыыыысл! — распевала Вера Ильинична и закатывала глаза, как будто вновь пыталась испытать тот самый оргазм, который посетил ее при чтении текста. — Москва оценит, Москва в восторге будет!

Оказалось, пока Венедикт Тимофеевич забегал в край-стат, весь офис успел оценить результаты его вчерашних творческих трудов, которые, кстати, скромно остались лежать рядом со сканером. На протяжении всего дня в адрес опытного статистика поступали признания в любви к его легкому и выдержанному в корпоративном духе тексту.

Москва текст и вправду оценила, даже запихнула в какой-то глянцевоый журнал, посвященный отрасли. Маркетолог Ирочка, выйдя с больничного, этот журнал по почте получила, прочитала и, довольная, показывала каждому, кто заглядывал в ее офис. Правда, обнаружилась в тексте Венедикта Тимофеевича небольшая ошибка: мягкий знак внезапно встроился в слово «провОдится». Москва не заметила, редактор журнала просмотрел...

«Да, в общем-то, какая разница? — подумала грамотная Ирочка, увидев ошибку. — Мероприятие проводится или проводиться? Что же теперь, Венедикта Тимофеевича огорчать? Текст-то вон как хорош!»

С тех самых пор Венедикт Тимофеевич стал по совместительству главным редактором на предприятии. Денег от этого в его кармане не прибавилось, зато уважение коллектива выросло. Все тексты непременно несли к нему: будь это инструкция к новой запчасти или же анонс предстоящего совещания. Именно Венедикт Тимофеевич мог привести совершенно простой и голый текстик к надлежащему знаменателю, обогатить его корпоративной лексикой, обыграть серьезными оборотами, превратить два существительных в цепочку из десяти, туго прошитых родительным паде-



жом... И обязательно исправить строчную букву в должности на заглавную — «а шоб уважали».

Как-то раз Венедикта Тимофеевича даже попросили сочинить текст для размещения в туалетах. Потому что кого-то из главных замучил неприятный запах и разбросанные бумажки. Дело серьезное и важное, пришлось отложить сведение обновленных статистических данных и ждать музу. Текст получился впечатляюще эмоциональным. Теперь все обитатели офиса знали, что в туалете «имели место быть вопиющие случаи неуважения к коллегам». И что в связи с этим «руководство компании обращает внимание на то, что нужно сохранять туалетные комнаты в чистоте». И далее: «Перед тем, как выйти из туалета, проверьте, будет ли в него приятно войти!»

Кто-то из не уважающих компанию личностей над этим объявлением издевался:

— Ну вот вышел я, проверил. Нет, не нравится! Потом опять зашел, опять проверил — неприятно входить! Так и день рабочий закончится, а я все в уборной торчу!

Но мнение шутов гороховых не волновало серьезных статистиков, на пятидесятом году жизни обнаруживших в себе писательский талант.

# КОНСТАНТИН КОЖУХИН

## ОПУХОЛЬ

*Сентябрь 2015*

Новенький какой-то не такой. Молодежь — она, конечно, вся не такая, но этот — вообще. Даже с виду — вырядился: костюм, галстук — точно начальник, а не простой инженер. Куда лезешь? Взяли тебя, дали стол, компьютер — посиди лет пять, умных людей послушай, мы всяко больше видали. Там, глядишь, и до галстука дорастешь. Начальник уйдет на пенсию, вот и место, ты так-то, вроде, толковый...

Опять опоздала. Пробки. Вышла, как всегда, транспорт едет, а не влезть. Оно понятно — никакого уважения. Но могли бы и больше пустить, с утра-то. Куда администрация смотрит? Позвоню-ка я мэру, сообщу. А что? Выбрали — пусть разбирается. Меня, глядишь, в конце месяца спросят — что ты, Павловна, так часто опаздываешь? Пиши объяснительную. А я не виновата, выхожу, как всегда. Пусть администрация объяснительные пишет, почему автобусов не хватает! Точно, позвоню! Да и чай я уже попила, до обеда все одно — время свободно.

Совсем обнаглели, никакой управы! Говорю, звонит Марина Павловна, жительница нашего города, соедините с мэром, а мне — он на совещании, расскажите, какой у вас вопрос. Пять раз звонила — всё на совещании. Понятно, занят — начальник. Только мне обедать скоро. Что

поделаешь, рассказала, но фамилию-имя-отчество-должность той, с кем говорила, записала, не дура. В течение трех дней перезвонят, отчитаются, какие меры предприняли. Дала городской, все равно на меня выведен. Понятно, мне нужнее — дочке позвонить, сыну... Не перезвонят — им же хуже! День не пожалею, до мэра дозвонюсь. А то и дойду — через дорогу, за воротами. Должны же они свою работу делать, жителям помогать...

Одиннадцать. Час сорок пять до обеда. Надо посмотреть, что сегодня в меню в столовой. Совсем обнаглели — салаты вчерашние продают! Я что, должна помнить, сколько они вчера стоили? Да и вообще: продаешь вчерашнее — давай скидку! Ночь в холодильнике, а дерут, как за свежие. Да и хлеб — подумать только — два рубля кусок, а в заводской столовке — рубль пятьдесят! Что мне теперь, туда топать? Не девочка, да и время на обед всего сорок пять минут, когда я поспать успею? Совсем о людях не думают. То ли дело при советской власти! Вот позвоню директору комбината питания... Или нет, сразу лучше жалобу начальству, пусть знают!..

Новенький — ты глянь! В двенадцать обедать ушел! Говорю — у нас с двенадцати сорока пяти. «Ничего, — смеется, — Марина Павловна, есть работа — работаю, нет — обедаю». Это что ж за подход такой? Никакого порядку. Мне что — теперь с утра обедать? Так после завтрака не хочется... Ничего — после обеда объясню, как у нас принято. Кто, кроме меня? Сорок лет на предприятии, ветеран труда, федеральные награды имею. Поймет, что к чему, пообтешется...

После обеда обзванивала аптеки. Диабет у меня, надо за сахаром следить. Полоски-то: в одной аптеке — восемьсот рублей, в другой — почти тысяча. Совсем никто за ними не смотрит, за аптеками. То ли дело при советской власти — везде одна цена была. Хорошо, хоть позвонить можно, узнать. Сегодня вот — пятнадцать аптек обзвонила. В «Тво-

ем Здоровье» дешевле всего — восемьсот тридцать два рубля сорок копеек. Я в прошлый раз в «Ригле» за восемьсот сорок семь пятьдесят брала. Пятнадцать рублей экономии! Только идти к ним далеко, неудобно. Звоню в «Риглу», продавайте, говорю, за восемьсот тридцать два, как в «Твоем Здоровье», мне у вас удобнее брать. Не можем, говорят. Ну ничего. Записали жалобу. На следующей неделе позвоню управляющему аптекой. Пусть принимают меры. Что мне, за полосками каждый раз незнамо куда ехать?

Новенького-то, кстати, Андреем зовут. Как, спрашиваю, по отчеству? Опять смеется. Молод, говорит, Марина Павловна, чтоб меня по отчеству звать. Понятно, что молод, только у нас так не принято. Человек — не собака, отчество имеет. Как же тебя без отчества уважать-то будут? Ради интереса позвонила Тимофеевне в кадры. Иннокентьевич он. Андрей Иннокентьевич. Необычное отчество-то...

Семнадцать пятнадцать. Дорогие коллеги, говорю громко, пятнадцать минут до конца рабочего дня. Пора собираться. Новенький ноль внимания. Вперился в экран, долбит по клавишам. Собирайся, говорю. Пока компьютер выключишь, оденешься, до проходной дойдешь — конец рабочего дня. Не могу, говорит, надо доделать. Чудак! Завтра доделаешь, никто ж тебе за переработку не заплатит. У нас так не принято.

Ну, да делай, что хочешь. Зеленый еще!

Собираюсь. Хорошо сегодня поработала. Завтра тяжелый день — конец месяца. Нужно табель проверить и журнал опозданий. Правда, кроме меня никто особо не опаздывает. Но у меня оправдание — автобусы плохо ходят. Интересно, что скажут в администрации? Долго я из-за них еще страдать буду?..

*Ноябрь 2015*

Купила полоски, сахар меряю каждый день. Скачет. Вроде, с чего бы? Я и так конфеты не ем почти. Не больше трех в день. Ну, если только не день рождения у кого-нибудь... Чай без сахара уже пью. Все одно — скачет. Нужно следить...

Новенький — ну наглец! Говорю — принтер к твоему компьютеру подключен, будешь отвечать. А он мне — за кем по инструкции записано? Понятно, за мной, да где ж это видано, чтоб я отвечала, раз мне не надо? Печатаю два листочка в месяц, когда работа есть, или, там, документ скопировать в поликлинику. Ты ж шарашишь на нем целый день, а если что случится — я отвечай? Говорю: у нас так принято, кто печатает, тот и отвечает. Улыбается. Ну, никакого уважения к опыту! Расскажу за обедом Тимофеевне. Ой, не приживется он здесь...

После обеда звоню с городского дочке, потом сыну. Каждый день им звоню. Нужно ж знать, как у них дела. Что мне, после работы звонить, что ли? Вечером с мобильного — дорого, да и заняться есть чем. Внук придет, для него чипсов припрятано полпачки. Сразу все не даю, он хоть три пачки сожрет, не напасешься. Лучше так, разделить, экономно, да и заходить почаще будет...

*Декабрь 2015*

Новенький подходит, дайте, говорит, Марина Павловна, номер исходящий на письмо. Понял — без Павловны никуда! Ни одно письмо официальное без меня не отправишь, номера-то я выдаю. Кому пишешь, спрашиваю, от кого? Главному конструктору, от себя. Со мной чуть кондратий не приключился. Где ж это видано, говорю, чтоб самому главному конструктору от себя писать? Это ж от начальника подразделения должно идти, с визой начальника отдела. Ну и что, что конструктор ждет? Если каждый станет от себя

писать, так и начальство не нужно будет! Челюсть отвесил, глаза выпучил. Не понимает. Номер не дала — не имею права. Ушел.

После обеда разговорились. Новенький ничего так, мотает на ус. Может, и будет толк. Главное, внушаю ему, слушай, что говорит начальство. Начальству виднее. Записано в инструкции — делай. Не записано — смотри сам. Сделаешь — может, премию дадут. Поперек не ходи. Я вот сорок лет уже тут, грамоты имею, льготы. В рост пошла бы, да образования нет.

Что он все улыбается? Дурак, что ли? Ему умные говорят, как лучше. Ну, да бог с ним. Молодежь воспитывать — у меня в инструкции не записано. На то начальство есть...

Опять сахар. Пора мерить. Потом чайку с конфеткой, последней на сегодня, подремать и домой...

### *Январь 2016*

Что ж творится-то? Звонок по городскому. Трубку беру — матушки родные, секретарь первого вице-президента! Позовите, говорит, к телефону Андрея, первый вице-президент говорить будет. Это ж когда такое было? Сам первый — простому инженеру звонит! Новенький трубку взял, вытянулся весь, слушает, деловой такой. Вот времена чудные настали! Чтоб такой начальник... Раньше-то вице-президенты нормальные были, звонили начальству, все и решали. Не иначе, новенький родственник чей-то. Надо у Тимофеевны спросить, тридцать лет в отделе кадров, все знает.

Тимофеевна говорит, не родственник он ничей. Но я-то знаю. Не может быть, чтоб не родственник. Не выведала что-то Тимофеевна. Старееет...

Что-то с диабетом меня совсем прихватило. Конфет еще меньше есть должна. А как меньше? Они ж вкусные, конфетки-то, и бесплатно на работе, их Сергеевна приносит. Я и так: одну, ну две-три... ну, и торт по праздникам. Палец

на ноге опух, чернеть начал. Ходить больно. Дочь, хорошо, медучилище закончила, посмотрела — опухоль, говорит. Это когда вредные клетки появляются, инородные, все больше их, больше. До медсанчасти пока не пойду, боязно, знаю этих врачей, им там лишь бы... Авань так пройдет...

*Апрель 2016*

Во времена! Новенькому — главного специалиста дали! Полгода всего, как появился! Паша вот у нас, пятнадцать лет уже на предприятии-то, отец пристроил. Растет, конечно, Паша-то: пришел — второй категории, сейчас уже ведущий. Жизнь понимает. Давеча, на праздник, сидели в кабинете у начальства, стол накрыли. Паша-то подвыпил, говорит, правильно мы все здесь собрались, у нас социальное предприятие, руководство нас должно работой обеспечить, а если работы нет, сидим и ждем. И что его не двигают? Все делает: договор какой подписать, сходит, отнесет, подпишет. Исполнительный. Да и отец у него толковый был, все его знали, сколько пользы предприятию принес!..

Всё новые веяния. Как директора сменили, новый всех повычистил. Сколько лет работали, заслуженные люди, по семьдесят уже, и — всех на пенсию. Куда?! Они ж больше тебя знают, опытные! Ан нет — везде своих расставил. Это ж надо? Финдиректору — сорок пять! Конструкторам главным — по пятьдесят, а то и по сорок! Директор завода — сорок пять! Что они в своем возрасте видали? И все со стороны! У нас дети, внуки работают еще тех людей, которые все это начинали. Двигай молодежь, они опыта уже поднабрались, некоторые по двадцать лет сидят. Так ведь своих везде. Правильно дочка говорит — опухоль это! Эх, угрожают предприятие, работать некому станет...

Премию, правда, за квартал хорошую дали, давно таких не было. Сергеевна говорит, контрактов новых много назаключали. Только кто их выполнять будет, эти контракты?

Всех сокращают вокруг. Особенно пенсионеров, кто работает...

Тимофеевна говорит, нас тоже сокращать всех будут. Я посмеялась. Кто согласится вкалывать-то за мою зарплату?

### *Май 2016*

Что за напасть? Тимофеевну сократили! Ей еще и шестидесяти пяти не было. Взяли какую-то молодуху. Чья, спрашиваю, родственница? Ничья. С улицы взяли. Зачем брали? Что ж она умеет, ей и сорока нет? Все новый директор. Новая метла... Точно говорю, доведут предприятие! Обедать ходим с Сергеевной...

Палец разболелся, мочи нет. Вчера до хирурга дошла, говорит, Марина Павловна, резать, без вариантов. Опухоль иначе не остановить. Ложусь в больницу, что делать. Сколько пролежу, не знаю. Как тут они, без меня-то, на работе?..

### *Сентябрь 2016*

Три месяца пролежала, как палец отрезали. Вот же зараза, эта опухоль! Ну ничего, прошла восстановление, опять ходить могу. Первый день сегодня. Даже не опоздала — автобусы ходят, вот что значит, мэру позвонить! На работе — батюшки! — столько всего, без меня-то! Пошли обедать с Сергеевной, что, говорю, нового?

Петра Семеновича, начальника отдела нашего, на пенсию отправили! В шестьдесят пять! Думал, до семидесяти посидит, ан нет. Андрея на его место двинули! Сразу с главного специалиста. Год как пришел! Тимофеевна еще говорила, не родственник. Племянник финдиректора, не меньше! Пашу не двигают, Валентина, зама начальника отдела нынешнего, тоже обскакали, а по порядку Валентин должен был начальником стать. И после этого мне будут говорить — не родственник? Я что — девочка, что ли?



Палец отрезали, вроде все зажило, а иногда все равно — ноет...

### *Ноябрь 2016*

Хорошая новость! Зама в нашу службу нового назначили. Племянник зама директора по производству! Правда, он до этого чаем торговал, да какая разница? Такой человек — и вопрос решит, и службе дополнительный почет и уважение, кто ж с ним спорить будет-то?

А Андрею все — потолок! И так — до начальника отдела прыгнул, хватит ему. Петр Семенович, бывший-то — к должности сорок лет шел. Да Андрей, гляжу, и сам понимает. Вон — хмурый ходит...

Новый зам. начальника службы — хорош! Видала в коридоре. Кабинет выбил, секретаршу. Говорят, сам нашел. Любовница, наверное. Ну, да мое какое дело, начальник большой, имеет право. Племянник...

### *Январь 2017*

Эх, не потяну. Вроде зажило, а все равно ходить тяжело. Пора мне на пенсию. И так пять лет пересидела. Вот и новенькую на мое место подыскали. Риточка — внучка главного конструктора. Вот это я понимаю — смена. Обедать с нами ходит. Я ее наставляю — слушает! Замуж недавно вышла. Посижу, говорит, и в декрет. Правильно. А там и второго. На предприятии ей самое оно — и садики, и в пансионат от предприятия со скидками съездить. Дедушка подсуетится — глядишь, квартиру выделят. Заботятся у нас о людях пока. Дочке сколько говорила — иди к нам. Ни в какую!..

Хорошо, опять своим дорогу дали. Я уж думала, с этой молодежью совсем предприятию конец пришел. Понабрали — как опухоль инородная. А новое руководство — оказывается, тоже люди! Как все. Всем своих пристроить надо.

И правильно — кто работать будет, ежели не свои. Победили опухоль-то. Теперь можно и на пенсию. Дело в надежных руках...

*Январь 2027*

Тимофеевна звонила. Поздравляю, говорит, десять лет на пенсии. Как дела, спрашивала. А то не знаешь? Конечно, не каждый день обедаем вместе, как на предприятии, но все равно часто, а что делать-то еще, в нашем возрасте? Все ты знаешь, а что не знаешь, не нужно знать, значит.

Ой, непросто жить-то, Тимофеевна. Цены бешеные! Раньше, помнишь, на предприятии, кусок хлеба два рубля, а сейчас — буханка в магазине уже за сотню. Это ж на сколько кусков мне ее разрезать, чтоб по два рубля? Суп сварить — косточки говяжьих, там, картошки, морковки, лучку, капусты, чтобы щи, или макароны добавить. Не меньше тысячи выходит, если с хлебом-то считать! Мне с моей пенсией куда теперь? Мало что награды федеральные имею, это доплаты, да половину за квартиру только, а все равно. Чайку с печеньками попить только и хватает, а на конфеты нет уже. Да и нельзя мне конфеты больше. Диабет совсем разлютовал.

Раньше хоть могла брать, где дешевле, позвонишь по магазинам, съездишь (проезд-то бесплатный, даже в Москву), теперь сложнее. С плохим здоровьем много не наездишь. Внукам говорю, съездите, купите продуктов, бабушке-то, два раза в неделю, найдете время. А у них — то учеба, то гулянки разные, вечно забывают все. Бери, говорят, у тебя все магазины под боком. Так дороже ведь тут! Там десять рублей, там еще двадцать, вот и набегает сто — уже буханка хлеба. Мне лишние сто рублей — не лишние.

Ничего, перебиваюсь. Смотрю, где акции какие. Слава богу, магазины про акции на телефон присылать стали. С интернетом ихним я не очень. Да и то — не отследишь все.

Я сначала жалобу в магазин написала. Сделайте, говорю, всегда хлеб по восемьдесят, что ж вы через неделю-то акции проводите, я приду за хлебом, а у вас крупа дорогая, а в следующий раз наоборот — крупа по акции, а хлеб дорогой, мне в другой магазин приходится. Они не то, чтобы сделать — вообще ничего не ответили! Я до директора самого главного дозвонилась, что за продажи во всем городе. Жалобу, говорю, приняли, не рассмотрели, не ответили, хлеб дорогой. Пойду, говорю, на телевидение, совсем о людях не думаете. Он послушал-послушал, ждите, говорит, ответ. Ответ пришел — жалобу получили, рассмотрим, меры примем, с виновными разберемся. Звонила еще, как, говорю, что? Когда хлеб дешевле будет, кого уволили? С главным директором не соединили больше. На совещаниях. Хлеб дешевле сделать нет возможности. И не уволили никого. Работать, говорят, и так некому. Да я в магазине смотрела, и впрямь — все на месте, рожи такие же наглые...

*Февраль 2027*

Пошла на телевидение местное, у меня племянница там. Отговаривала меня, правда, да она вечно такая, стыдится чего-то. Сама добралась, вот, говорю, снимайте, что магазины делают, о пенсионерах не заботятся, хлеб то дороже, то дешевле, пора рассказать о них всю правду. На телевидении послушали-послушали, да снимать ничего и не стали. Объясняли что-то про свободный рынок, что магазины коммерческие, имеют право сами цены устанавливать. То ли я не понимаю? Испугались на телевидении! Понятное дело, магазины — какая махина, у них и с администрацией, поди, завязано все, куда телевидению местному против них. Все как везде. Ну да ничего, здоровье поправится, в Останкинскую телебашню поеду, на Первый канал, там уж точно не побоятся!

Со Светкой, дочерью, три года уже не общаюсь. Это ж надо было такое вытворить! Пришел Кирюшенька, меньший внук, пять лет ему тогда было, знает, у меня конфеты припасены. И как выдаст: бабушка, а когда ты умрешь?! Я тогда чуть со стула, где сидела, не сверзилась. Что ж ты, говорю, внучек, у бабушки такое спрашиваешь. А он мне: мама с дядь Гришей разговаривала, это хахаль ее тогдашний, говорит, вот умрет бабушка, мы ее квартиру продадим, себе больше купим. А мне, Кирюшенька говорит, комнатка новая будет, и место, куда игрушки складывать.

Я тогда Светке все высказала. Как так можно-то, ладно, Кирюшеньке пять лет, ничего не понимает, а у тебя совести ни капли, родную мать! А она мне, ты бы давно продала квартиру-то, к нам переехала, вместе бы жили, не так тесно. Ты одна, мол, в двухкомнатной, я в такой же с тремя детьми, помогла бы внукам-то. Да разве ж я виновата, что ты трех детей от разных мужиков прижила, а квартиру не нажила?! Мы с моим Сережей, земля пухом, честным трудом зарабатывали двухкомнатную, имею права, никому ничего не должна. Это дети должны родителям на старости помогать. Плюнула бы в лицо, не будь дочь! Слава богу, Сережа не видел, и то, небось, в гробу переворачивается. И в кого Светка такая у меня? Ума не приложу...

Тимофеевна, правда, про это ничего не знает. Не ее это, Тимофеевны, дело. Спрашивала, конечно, что это дочка заходить перестала. Чует, точно собака прям. Да я ей, ты мол, пойди, позаходи, попробуй, когда дома семеро по лавкам. Успокоилась, вроде.

Осерчала я тогда страшно. Семёну позвонила, сыну-то. Говорю, на тебя завещание перепишу. Он так серьезно: что случилось, мам? Не выдержала, рассказала. Головой только покачал. Что бы ни было, говорит, у тебя два ребенка — я и Светка. Все должно быть поровну. Дело твое, говорит, пи-

ши, но я все равно все поделю. Отказался, в общем. Эх, не воспитала нормально! Рохля он у меня, Семён. Хоть и начальник уже, и жена у него есть, и внук мой, Серёженька. Весь в отца пошел, не в меня точно. Тот такой же рохля был. Говорю, бывало, бери, тебе ж положено. А он все по справедливости хотел...

*Август 2027*

Здоровье ни к черту. Я уж старалась, да все одно. Усталость постоянная, одышка. Ходить тяжело, не могу. Вроде слежу за сахаром, чай несладкий, печеньки соленые. Похудела даже. Думала, лучше будет, без лишнего веса-то, а тут меня еще прихватило. Тошнить начало, пару раз совсем выворотило. Семён примчался, к врачу отвез. Тот руками разводит, что ж вы, говорит, Марина Павловна, совсем себя запустили. Диагноз какой-то поставили. Я не запомнила, Семён все с ними больше разговаривал. Положили, в общем, лежать.

Тут еще вот какой случай произошел. Лежу, значит, в палате. Меня сначала в общую положили, на шесть мест, да я к главному врачу пошла. Это где ж такое видано, заслуженный пенсионер, ветеран труда, и наравне со всеми? Спорили, так я потом жалобу в администрацию написала. Поняли сразу, нашли все. Перевели кого-то, а меня — в нормальную, двухместную, значит, для ветеранов. Так вот, лежу, и заходит к нам батюшка. Если есть у кого потребность, говорит, при больнице открыта часовенка, а еще комната для моления, чтобы можно было обратиться к Богу.

Я, конечно, не верующая особо, но для здоровья лишним-то не будет. Дошла, смотрю, комнатка, алтарь перед иконой, столик в углу, за ним батюшка, а на столике свечки разные в стаканах стоят — потолще и потоньше. К батюшке обратилась, хочу, чтоб здоровье получше стало, вдруг Господь поможет чем, а то на врачей надежды особой нету уже.

Как, говорю, лучше сделать, чтобы услышали меня, помогли чтобы?

Тогда мне батюшка все и рассказал. Свечку на алтарь поставить, да помолиться, вот Бог и услышит искреннюю молитву-то. Записочку за здоровье, чтобы имя твое помянули в прощении. Какую свечку лучше, спрашиваю. Тонкие-то по сто, а толстые по двести. Толстым, наверное, приоритет есть? Батюшка улыбается. Нет, говорит, приоритета. Главное, молиться искренне. Ну, я тут все и поняла. Беру тонкую. Скидки, спрашиваю, есть ветеранам труда? Он так и обомлел. Нет, жмет плечами, перед Богом все равны. Как же равны? И бугай молодой, и я, столько лет честным трудом спины не разгибала? Да не может такого быть! Он на меня смотрит болванчиком, будто человека первый раз видит. Но я все же своего добилась. Протягивает мне еще свечку. Вот, возьми, говорит, дочь моя, бесплатно. Какая я ему дочь?! Хотя и в бороде, а я ж все раза в два постарше буду. Ну, да понятно, так принято. Свечку, однако, взяла. Бесплатно же.

Помолилась, свечи поставила. Записочку тоже заказала. Пятьдесят рублей, да мне свечку за сто бесплатно дали, получается, я пятьдесят рублей сэкономила. Хорошо. Лишний раз за здоровье замолвят. Ходить, даже, вроде полегче стало. Рассказала Семёну. Он в церковь сходил, заказал ежедневный молебен на полгода. Дорого, правда. Напиши, говорю, лучше церковному батюшке жалобу, чтобы ветеранов труда бесплатно в молитвах поминали. Да он разве напишет... Серёжа, как есть мой Серёжа. Эх, жалко, в сыне моя кровь силу не взяла!..

*Январь 2028*

Полгода как из больницы, а лучше не становится. Зря Семён молебен заказывал. Тимофеевна говорит, если заказываешь не в церкви, а в часовенке, то молится простой ба-

тюшка, а не главный священник. Наверное, поэтому и не работает. Надо будет сказать, чтобы сделал все по-правильному.

Сердце шалить начало. Давление зашкаливает. Ходили с сыном к врачу, говорят, на фоне сахара. Тошнит все время, недели не проходит, чтоб не вывернуло. Ноги подкашиваются, голова, бывает, как пойдет ходуном, потолок и стены в комнате так и кружатся, кружатся... Сахар давно уже не в норме, и не привести его в норму-то. Колю инсулин. Вроде как помогает. Только от сердца инсулина нет. Сколько протяну, не знаю...

### *Апрель 2028*

С дочкой помирилась. То есть, не помирилась, не разговариваю по-прежнему. Но приходит, внуков приводит. Видимся. Я в итоге Семёну так все и отписала. Не могу простить. Мое слово крепкое. А дальше сами, что хотят, пусть решают. Слупит Светка с брата долю свою, вот в чем не сомневаюсь. Да оно уж без меня...

### *Июнь 2028*

Господи Боже! Всю жизнь тебя не вспоминала, и вот пришла. Чувствую, скоро время мое. Прими без боли, как Серёжу моего двадцать лет тому. Хуже мне, хуже. Врачи отворачиваются, Семён — и тот молчит, хмурый ходит. Понимаю я. Тебе сколько свечек поставила, сколько молитв заказала... Видимо, люди не те, батюшки не в почете у тебя, не слышишь ты их. Не смогли отмолить. Работают плохо. Да тебе виднее, ты им судья. Прими душу, знаешь ведь все. Столько лет работала, честь по чести, никого не обманывала, ветеран труда. Позаботься о Семёне и Свете.

Не обдели милостью своей...

## ЕВГЕНИЯ КОРЕЛОВА

### ЦВЕТOK ЛОТОСА

Тонкой изящной девочкой с прозрачной кожей была Джиао. Высокие скулы ее, обещавшие с возрастом закаменеть, подпирали щелевидные глаза с ровными, словно подрезанными веками. Джиао была подвижной и непоседливой, что вызывало у матери беспокойство за ее будущее, и она часто восклицала:

— Джиао! Не бегай так быстро! Сиди спокойно! Почему ты опять танцуешь?

Пятилетняя Джиао не боялась матери, но старалась ее не волновать и сдерживалась, а волю себе давала, лишь играя в саду их большого дома. Убедившись, что ее никто не видит, кроме старой бабушки, уже несколько лет не покидающей кресла для калек, Джиао пыталась повторить движения, которые она увидела на картинках в старой маминой книге. Там была нарисована танцующая молодая девушка в красивом, длинном, разлетающемся воздушном платье. Рукава платья были так восхитительно широки и длинны, они спускались шелковыми волнами, сливаясь с пестрым струящимся подолом. Ее белые руки, похожие на тоненькие веточки сливы мэйхуа, частью утопали в роскошных рукавах, частью были обнажены и стремились к небу, венчаясь причудливым изгибом пальцев. Но самым восхитительным в танцовщице были ее крохотные ножки, обернутые нежной тканью. Сложно было представить себе,



как девушка удерживается на таких ненадежных, хрупких стебельках. Джиао завистливо вздыхала над картинкой. Она очень испугалась, когда мать однажды застала ее за этим занятием. Но та не заругалась, а сказала только:

— Скоро и у тебя будут такие ноги, Джиао.

С тех пор Джиао упражнялась в саду, разучивая танец, домысленный ею из волшебства рисунков. Джиао возносила руки к небу, стараясь чуть повернуть стан и наклонить его, как на картинке. Она поднималась на цыпочки и скрещивала ноги, воображая, что скоро так же сможет танцевать и будет вызывать зависть у других, не столь талантливых и красивых девочек.

Юби, старшая сестра, и Дэйю, младшая, не видели ни разу, как танцует Джиао. Юби большую часть времени сидела в своей комнате, она не очень любила Джиао. Юби исполнилось шестнадцать, и ножки ее были крошечными, как у младенца, но не настолько, чтобы не беспокоится о красоте лица, не очень привлекательного. Если бы ноги Юби были безупречны, никто никогда не упрекнул бы ее за недостаточно тонкие черты. Джиао слышала, как мать говорила бабушке:

— Я сделала все, что могла, для Юби. Найдется ли человек, который ее выберет? Ноги грубые, Юби с ними намучилась. У меня больше надежды на Джиао. Ее ноги изящны, уже готовы для бинтования.

Вероятно, Юби тоже слышала мамины слова, поэтому невлюбила Джиао и почти не замечала сестру. Младшая, Дэйю, которая только начала говорить, напротив, была общительной девочкой и тянулась к Джиао, часто украдкой обнимала и улыбалась ей.

Брат Донгэй был старше всех, в восемнадцать лет он полностью поглощен был делами отца и не разговаривал почти со своими сестрами, понимая, что пользы в семью они никогда не принесут и скоро покинут дом.

На пятую зиму Джиао получила подарок от родителей — туфли для ее прекрасных будущих ножек. Во всем мире

не было красивее обуви для Джиао. Расшитые разноцветными дорогими шелковыми нитями, крошечные, не длиннее ладошки, с острыми носиками и небольшими изящными каблучками. Чудесные были туфли, и Джиао знала, что скоро начнет священную процедуру подготовки ног для счастливой жизни в браке с женщиной. Мать часто с гордостью говорила свекрови, прикованной к креслу:

— Мы можем себе позволить для девочек хороших мужей.

Свекровь мелко кивала, но сложно было сказать — слышала ли она невестку. Много лет она надменно приказывала жене сына, помыкала ею по своему усмотрению и прихоти. Но однажды настал роковой час: пожилая женщина вдруг перестала вдыхать воздух, сделалась лиловой, и глаза-щелки, всегда недобро следившие за невесткой, вдруг необычайно округлились и вытаращились на одну точку, словно увидели что-то важное. В тот же миг свекровь упала замертво, а когда очнулась, не могла больше говорить и стоять на ногах.

Мать, беременная Джиао, быстро сменила свекровь у власти, взяла руководство домом в свои руки. Став новой хозяйкой, она усадила свекровь в кресло и наняла женщину ухаживать за парализованным старческим телом, два раза в неделю очищать его от испражнений. Ни разу мать не припомнила старухе прежние обиды, много теперь разговаривала с нею, потому что лучшего слушателя сложно было себе представить.

Вместе с туфлями Джиао получила в подарок собственный стульчик для процедуры, и мать нашла возможность и ей нанять прислугу для ухода на первые месяцы. Еще она потратилась на мастерицу по бинтованию из дунганского народа, которая плохо говорила по-китайски, сама была простоволоса, не забинтована, но славилась своей работой, пользовалась уважением и доверием во всей округе. Мать решила оплатить ее недешевые услуги, так как со старшей

она попала впросак — сама бинтовала ноги дочери и не справилась, что обернулось несчастьем для Юби.

Джиао подходила к своему стульчику, когда никто не видел, и с интересом разглядывала его. Он был из черного красивого дерева, с высокой спинкой и специальными ящичками, в которых лежали блестящие ножницы и еще какие-то диковинные инструменты, тряпочки и таинственные бутылочки. Всем своим маленьким колотящимся сердцем Джиао чувствовала приближение новой прекрасной жизни.

Мать высчитала по календарю благоприятный день начала бинтования. Коренастая дунганка пришла в их дом молча, опустив глаза. Джиао с радостью прибежала из сада на зов матери. В комнате, в углу, рядом с высоким стулом, мать поставила два небольших корытца, одно пустое, второе с водой, разложила много матерчатых полос, еще какие-то склянки с лекарствами. Дунганка принесла с собой сумку, в которой тоже были принадлежности для процедур. Она достала большую бутылку с вишневой жидкостью и протянула матери, сказав на ломаном китайском:

— Разогреть!

Мать засеменила с бутылкой на кухню. Джиао по знаку женщины уселась на стул и протянула ей правую ногу. Та выудила из сумки плотный непромокаемый фартук, надела его, завязав крепко на спине, села перед девочкой на низкий стульчик и приняла ее ножку себе на подол. Она гладила ступню Джиао своими сухими крепкими пальцами и удовлетворенно покрывала. Видимо, ей нравилось строение ноги, и она предвкушала удачную процедуру. Мать задерживалась, и дунганка начала тихо бормотать незнакомые слова, значение которых Джиао не могла разобрать, но быстро поняла, что слышит чужую мусульманскую молитву. Гортанная речь дунганки немного напугала ее, но тут вошла мать, с разогретой бутылкой в руках, и женщина сразу смолкла. Она взяла бутылку у матери, вылила красную жидкость в пустое корытце. По комнате распространился

сладковатый незнакомый запах, и девочке стало нехорошо. Дунганка поместила правую ногу Джаио в корытце с кровью и начала омыwać и с силой разминать ступню девочки. Движения ее были умелыми и приятными, Джаио понравилось таинство. Она с радостью подумала, что все опасения матери были напрасными. Мать говорила — девочка должна будет терпеть и надеяться, что ножки ее превратятся в цветки лотоса, и тогда хороший муж возьмет ее себе, обеспечив на всю жизнь. Массаж ступни был абсолютно безболезненным, и Джаио с гордостью посмотрела на мать, пытаясь молча поделиться с ней радостным моментом.

Дунганка закончила разминание и переместила распаренную ногу Джаио в корытце с чистой водой, отмыла, осушила тканью и обработала прозрачным раствором из другой бутылки. После она вылила в корытце с кровью зеленоватую жидкость из третьей бутылки и замочила в получившемся растворе хлопковую материю. Пока бинты отмокали, дунганка аккуратно и очень коротко подрезала ногти Джаио, что было уже немного неприятно. Вынув замоченную ткань и тщательно отжав ее, женщина приступила к бинтованию. Она крепко зажала ногу Джаио своими бедрами, затем одной рукой согнула все пальцы, кроме большого, и прижала их к подошве. Девочка испуганно вскрикнула, но ногу отнять не смогла. Дунганка быстро и методично, второй рукой, начала наматывать на скрюченную ступню пропитанные бинты. Джаио заплакала от боли. Мать резко бросила в ее сторону:

— Будь взрослой, Джаио! Это все делается для тебя, будь благодарна!

Джаио не могла пошевелить ногой, сжатой сильными бедрами дунганки. Она понимала, что выдергивать ногу нельзя ни в коем случае, но боль становилась все сильнее, и слезы сами текли по щекам.

— Джаио! — услышала она возмущенный оклик матери.

Дунганка, надо сказать, не медлила, она уже закончила бинтовать пятку, закрыв полностью тканью всю стопу де-

вочки, и пришивала концы бинта для пущей крепости. Одна нога была готова. Джиао не могла вздохнуть от боли, она стиснула зубы как можно сильнее и молчала. Но, когда дунганка взяла ее левую ногу и поместила в корытце с кровью, куда перед этим добавила горячей воды, Джиао не выдержала и заплакала навзрыд. Тогда мать начала рассказывать Джиао о том, какой мужественный и красивый будет ее муж, как он будет любить тонкие крошечные ножки Джиао, как соблазнительно они будут выглядеть в ярких маленьких туфельках. Еще она пообещала, что купит Джиао еще несколько пар. Девочка плакала, не останавливаясь, но сопротивляться не думала и дала дунганке завершить все процедуры и с левой ногой. Закончив, та быстро собрала свои причиндалы в сумку, получила оплату и ушла.

Девочку подняла на руки служанка и отнесла в постель. Боль в забинтованных ступнях была тупой и начала расти. Джиао плакала, боясь даже пошевелить ногами. Она отказалась от чая, принесенного служанкой. Всю ночь Джиао не сомкнула глаз. Один раз она заплакала в голос и навлекла на себя гнев матери. После девочка старалась сдерживать рыдания, направляя их в подушку. Но под утро боль стала невыносимой, и когда снова прибежала рассвирепевшая мать, Джиао начала умолять ее снять бинты. Она не стеснялась своих слез, пыталась разжалобить. Но вышло обратное: мать с размаха несколько раз вытянула Джиао по спине, и девочка поняла, что послабления не будет. Мать вышла на кухню и что-то повелительно сказала служанке. Та через несколько минут принесла чашку с теплой, резко пахнущей жидкостью и заставила Джиао выпить. Жидкость обожгла горло, Джиао закашлялась и с трудом сделала пять-шесть глотков. Скоро ее сморило. Когда девочка проснулась через пару часов, служанка принесла туфли — нужно было начинать ходить.

Дунганка появлялась через день — снимала бинты и обрабатывала ноги Джиао квасцами и другими травяными на-

стоями. Каждый раз новая перевязка делалась все туже. Ежедневно девочку заставляли ходить какое-то время в маленьких туфельках, которые натягивали на ее забинтованные ноги. Передвигаться в таком состоянии Джао могла только по сантиметру, семенящими шажками. Мать подбадривала девочку, обещала, что скоро походка ее станет как у прелестной дамы из высшего общества, а бедра от постоянного напряжения нальются кровью и приобретут чарующие формы.

Джао научилась плакать в одиночестве, когда никто не видит, иначе ей грозил материнский гнев. Через три недели, несмотря на то, что бинтование начато было в зимнее время и в правильный лунный день, случилась неприятность. Второй и третий пальцы правой стопы стали красными и немного набухли. Дунганка сменила бинты, обработала все квасцами и сказала с сильным акцентом, что скоро будет нагноение. Джао не знала, что она имеет в виду, но боль в правой ноге стала сильнее. А когда через пару дней дунганка легко убрала отслоившиеся от гноя ногти, девочке полегчало. Мать радовалась, что на этот раз наняла знающую работницу — у Юби пять лет назад нагноение перешло на пальцы, и они омертвели, потом воспаление перекинулось на ногу, и несколько недель никто не знал, сохранится ли у девочки нога и останется ли она в живых. Это было, по сути, одно и то же: одноногая Юби мертвым грузом легла бы на плечи родителей.

Джао лучше справлялась с процедурами, и уход за ней был более умелый. Заживление шло почти без неприятностей, что предвещало хороший результат. Даже переломы косточек, позволяющие сделать ступни почти идеальными, прошли у Джао удачно, заставив ее пострадать совсем недолго.

Через год Джао уже потихоньку, мелкими шажочками, передвигалась по саду. Ноги ее были обуты в разноцветные чудные туфельки с острыми носами, и личная служанка бы-

ла больше не нужна, тогда как Юби первые два года могла передвигаться только с поддержкой помощницы. Да и сейчас сестра редко вставала со своей кушетки, словно ожидая, когда ее переложат на свадебный паланкин и отнесут в дом мужчины.

Однажды Джиао застала старшего брата у приоткрытой двери в комнату Юби.

— Что ты здесь делаешь? — спросила она.

Донгэй дернулся от неожиданности и резко повернулся к девочке.

— Не твое дело! — грубо рявкнул он и быстро пошел по коридору.

Джиао восемь лет, но она уже понимает, что могло привлечь юношу к дверям обездвиженной девушки. Юби обычно сидела на плетеной кушетке в углу и вышивала или просто смотрела в окно. Ножки ее в крошечных туфельках были вытянуты и хорошо видны. Джиао знала, что нет объекта желаннее для молодого мужчины, чем девичьи ножки-лotosы, обмотанные тканью. Она ощутила телесный жар Донгэя, когда он сбегал после томительного разглядывания таких близких и в то же время недоступных цветков.

Иногда Джиао смотрит на веселую Дэйю, которая бежит по саду, и радуется детской свежести и непосредственности. Однако себе она не может позволить быть такой несмышленной. Наступает девятая зима Джиао, и деревья в саду чуть припудривают снегом, а бабушку уже не выкатывают в кресле во двор, чтобы та не простудилась. Джиао сидит в своей комнате с вышивкой, боль в ногах уже не так сильна. Боль стала как добавочный орган, нужный для будущей жизни. «Я — сад, — думает девочка, — а боль — это деревья в саду. И сейчас деревья совсем голые, но красивые из-за снега, а весной каждая веточка выпустит нежные лепестки, и сад так и останется красивым и живым. И весной, и летом, и осенью. Я — сад, а деревья — это моя боль. И без деревьев сада не будет».

Джиао знает, что сегодня важный день для Дэйю. Смутно слышала она про восстание дунганского народа, которое началось в провинции. Это мало волнует Джиао, двери ее дома закрыты для посторонних, и она не задумывается о том, что происходит на соседних улицах. Знает только, что женщина, бинтовавшая ей ноги, спешно покинула Юньнань и уехала в далекую неведомую страну под названием Россия. Самой лучшей бинтовальщицей она была на родине Джиао, а теперь пришлось найти другую. Джиао слышит громкий плач Дэйю из другой комнаты и резкий окрик матери:

— Прекрати немедленно!

Джиао радуется. Скоро Дэйю станет настоящей женщиной, как и она сама.



## ЕВГЕНИЯ КОСТИНСКАЯ

### БАБУШКА

— Ты пойдешь со мной? — Вадим Андреевич быстро глянул на жену. Александра Львовна, Алечка, сидела, поджав ноги, на диване, одной рукой придерживала толстый, медленно перелистываемый том, а другой стирала со стакана выступавшую испарину. Лед бултыхался в стакане и воевал с долькой лимона.

— С меня и прошлого раза хватило, нужен перерыв, — она еще секунду задержалась на странице и посмотрела на мужа. Футболка, которую он занес уже над головой с продуктами в рукава руками, обмякла и повисла. Он продолжал так стоять, полуголый, глядя на Александру Львовну и одновременно сквозь нее.

— Это же твоя бабушка, в самом деле. Возвращайся скорее, ходим, прогуляемся вечером. Не забудь для нее халат, в пакете, рядом с вешалкой лежит.

Вадим Андреевич резко надел футболку. Взял со стола наушники, подключил, вставил в уши. Мысли смазались и отступили за забор басов.

Идти было недалеко. Даже близко. Пыльный раскаленный асфальт. Помятая к концу лета зелень. Вечно кричащие в парке дети. Мои так орать не будут. С чего им орать? Он повернул на знакомую с детства улицу. Старый помпезный дом в тусклой лепнине задышался и ждал вечера. Он выключил музыку.

На детской площадке у дома звенел мяч. Перед подъездом, как охрана, восседали старухи. Когда стал приближаться, они замолчали и уже не отрываясь следили, и он шел, как атлант, под ношей их сплетен.

В подъезде было прохладно. Пахло супом и плесенью. Он подождал лифт, посмотрел, как красный огонек обещающе замигал, и двери надсадно, по-стариковски, открылись.

\*\*\*

— Вадик, внучок, наконец-то! — Нина Сергеевна ждала его, быстро открыла дверь, и, открыв, придержала, не отпуская, и за Вадиком сразу захлопнула, повернула два раза ключ и до упора задвинула шпингалет. И уже затем развернулась полностью к внуку.

Загар неровно запекся на лице, не проникая вглубь морщин. Как будто поправилась. Она была маленькая и кругленькая. Круглое лицо с высокими скулами, круглые щеки, и за ними бесцветные маленькие глаза, такие же, как у Вадика. Он тоже еще недавно был почти круглый и теперь изо всех сил старался стать другой геометрической фигурой.

— Вот, смотри, я тут вам ягодок привезла.

На полу ждали приготовленные сумки. В каждой теснились разрезанные пластиковые бутылки, наполненные черной смородиной. Тара стояла плотно-плотно, в два этажа. Нина Сергеевна хотела быть полезной.

— Бабушка, да не нужно было столько на себе везти.

Говоря «бабушка», Вадим Андреевич делал голосом небольшой нажим и проглатывал слоги, так, что получалась «баушка», и даже короче. Как произносил в детстве. Это выходило немного искусственно, но он все равно продолжал так говорить. Ему казалось, это должно придавать его словам что-то мягкое, послушное, чего давно не было. Он думал, что бабушке это должно нравиться. А она привыкла, и почти не замечала.

— И вот, это тебе Аля передала, халат.

Нина Сергеевна осторожно взяла пакет, заглянула, как в колодец. Там был хлопковый цветастый халат, на молнии, удобный.

— Это, наверное, Аля себе купила-та, но ей не подошел, и она мне отдала. Спасибо передавай, — бабушка понесла халат в комнату, разложила на диване. Стояла, разглядывала, не поворачиваясь к внуку. Чувствовалось, как она ждет ответной реплики, и ожидание быстро скапливалось и начинало звенеть.

— Ты бы посмотрела, какой размер, Алю можно два раза в него обернуть.

При жене бы она так не сказала, наверное, хотя могла. С Алей бабушка воспринимала их отдельно от себя, отрезанной семьей. А без жены — внук снова становился ее частью, тем же, кого она водила в детсад, заставляла летом полоть грядки и только потом отпускала на речку; он ощущал бабушкины права; «навестить» звучало, как «вернуться домой».

— Ну пойдем, чаем тебя, что ли, напою. Или супом угощу. Я еще пирожков напекла, думала, вы с Алей придете. Может, она бы покушала пирожка-та, она такая худющая у тебя.

«Не могла не прокомментировать», — подумал Вадик, и тут же промелькнуло воспоминание. Алечка жаловалась, пока жили все вместе, что бабушка ходит за ней с блюдом пирожков (пригорелых и пресных), пока не припрет к шкафу, и хоть ори на нее.

Вся кухня была заставлена мебелью, иногда в два ряда. Перед шкафчиками стояли тумбочки, все в пустых трехлитровых банках, на шкафах громоздились старые советские сервизы («Это все вам достанется, кому же еще? Вам и достанется»). Электрический самовар, электрический мангал, кактусы, большие и маленькие, которые то засыхали, превращаясь в плоские колючие тряпочки, то оживали или за-

менялись новыми, рассажеными в обрезанные коробки и баночки из-под йогурта. Посуда рядами была выставлена на всех поверхностях, и, чтобы что-то выложить на стол, нужно было сначала отодвинуть какую-нибудь банку, кактус или вазочку с конфетами (нельзя ей конфеты, вот же ж бабка).

— Налей небольшую тарелочку.

Жена супов не готовила, и Вадим Андреевич решил не упускать возможности съесть супчику. Куриного, бабушкиного.

Нина Сергеевна засуетилась. Включила газ — разогреть кастрюльку. Половник казался корявым в коротких пальцах, она пролила немного на плиту, газ зашипел («Ничего, вытеру все»). Поставила тарелку перед внуком. Отхлебнув с ложки, Вадим Андреевич отметил про себя, что суп пересоленный и слишком жирный. Смотреть, как бабушка размешивает и разливает, было приятнее, чем есть. И пирожок взял. Пирожков жена тоже не делала. Он оказался такой, как всегда, с капустой и яйцом. И это его обрадовало.

Нина Сергеевна села рядом с внуком и стала смотреть, как он ест.

— Вы ко мне этим летом приедете хоть на дачу-та? Я наняла рабочих, они мне крыльцо переложили. Старые доски сгнившие поубирали, ты бы видел, какие черные уже доски-та. И новые свежие положили. И взяли недорого. Они соседу моему, Антону Палычу, помнишь Антона Палыча? Ему тоже делали, вот и я их наняла. В следующем году еще забор поменяю, а то ведь сколько не меняли.

Вадим Андреевич хлебал и слушал настороженно, не перебивая, глядя себе в тарелку, на круги жира и картошку. Антон Палыч? Нет, он не помнил. Дом, крыльцо, речка, велик — каждое его детское лето спрессовалось до немногих, оставшихся в памяти, картинок.

— Ты знаешь, эти рабочие, отец с сыном, они хорошие, такие, деловитые. Но за ними нужен глаз да глаз. Понимаешь?

Нина Сергеевна долгим взглядом посмотрела на внука. Ну вот, сейчас начнется. Нина Сергеевна погладила глянцевою клеенчатую скатерть, как будто расправляя.

— Они мне в кофе что-то подсыпают, — и торжественно замолчала.

— Во-первых, тебе врачи запретили кофе, бабушка! Забыла про множественные язвы? А во-вторых, никто тебе ничего не подсыпает, запомни, — Вадим Андреевич и разозлился, и успокоился одновременно. Будто гнойник нарывал и зудел, и вот лопнул.

— Ну, ты же не видел. В банке с кофе такой белый налет, это они. Я знаю. Им, конечно, ничего не сказала. А только высыпала кофе, полбанки. И на огурцах. На огурцах засоленных тоже. Белый такой налет, это все они, я знаю. Ты бы приехал и посмотрел.

— Глупости говоришь. Кому это нужно?

Вадим Андреевич знал, что только усугубляет, но хотел поскорее достичь дна, чтобы все закончилось. Он злобно переводил взгляд с одного шкафчика на другой. На подоконнике лежал нераспечатанный комплект нарядных полотенец, которые они с женой еще весной дарили Нине Сергеевне. Так и не раскрыла, бережет. Для чего? Он отвернулся от окна.

— А вот ты мне и скажи, кому это надо? Они, — пауза, — не просто так это делают, у них заговорщик есть, он тут живет, этажом выше, ты его знаешь.

Кто там, этажом выше, живет-то, Вадик уже и не помнил, жильцы менялись несколько раз за последние пару лет.

— Я там, наверху, и Алин голос слышу часто, ты ей передай, пусть спускается ко мне-та, и ты вместе с ней приходи, — спокойно продолжила Нина Сергеевна. Вот из-за

таких моментов Вадим предпочитал навещать бабушку с женой, чтобы не слышать подобных гипотез.

— Кажется тебе все, какой заговорщик? — Вадим Андреевич брякнул ложкой и отодвинул тарелку так, что остатки супа расплескались, и Нина Сергеевна отшатнулась.

— Сергеем, кажется, зовут. Этот сосед, сверху, он недавно спросил, как у меня здоровье? Чего ему о моем здоровье спрашивать-та. Отравить меня хотят, точно. И чтобы дача им отошла, ты им часть дачи и отпишешь. Я все равно скоро умру. Так что уж, годом раньше, годом позже. И врачи тоже в сговоре, они мне таблетки такие в прошлый раз выписали, что только хуже стало, я, когда к ним приходила, во вторник-та, приносила свои лекарства, чтобы мне мои ампулки кололи, а медсестра взяла и унесла их, и колола уже другие, я знаю, она их подменила. Зачем уносить-та. Они тоже в сговоре. Никому старики не нужны, я знаю, в передаче о таком рассказывали, как стариков травят, чтобы квартиру переписать.

— Я пойду, раз ты всех обвиняешь. Поэтому и мать с тобой не общается, невозможно все время обвинения выслушивать. Вот ты все говорила, что к тебе кто-то в квартиру заходит, вещи перекладывает. Я же поставил камеру. Не ходит никто. Не ходит!

— А они знают, когда камера не работает, и приходят, когда выключена, у меня постоянно что-то пропадает, и не найти.

— Забываешь, куда кладешь, бабушка. Никого тут нет, кроме тебя. Подумай, кому нужна твоя дача, до которой три часа ехать, и все равно не доедешь? Я пошел, — Вадим Андреевич медленно, демонстративно встал.

— Ну, Вадик, попей еще чаю, — Нина Сергеевна скатилась со стула и зашаркала за внуком. — И переезжайте ко мне обратно. А что я должна думать-та? Все огурцы пленкой покрылись, все огурцы...

— Не знаю, что ты должна думать, но уж точно не это. Не нанимай никого, если боишься. Сдалась всем твоя дача.

— А я тебе вот еще чего не сказала. Я этот кофе отравленный выпила, пожалела выкидывать, и мне плохо стало. Плохо, Вадик!

— Да нельзя тебе кофе! Выкинула, и правильно, наконец-то. Буду теперь приходит, и проверять, чтобы ты его не пила.

— Да, да, и приходи почаще, — Нина Сергеевна, как ни в чем не бывало, улыбнулась. Вадим Андреевич стоял уже в коридоре, обувался. Строго, по-воспитательски смотрел на бабушку. Она топталась нахохлившаяся, покрасневшаяся.

— Ну ладно, Вадик, ладно. Я тебя не обвиняю. Приходи. И сумочки-та возьми, это я вам с Алей привезла. Ладно, Вадик?

— Только, если не будешь глупости говорить.

— А огурцы я тоже выкинула, раз они отравленные.

Вадик взял пакеты, осторожно их поднял.

— А смородина тоже отравленная, может быть, это ты нас травмишь?

— Зачем же мне-та, Господи помилуй.

— Откуда я знаю, зачем. Тебе виднее, ты же это все придумываешь.

— Ну прости меня, — Нина Сергеевна придерживала внука за руку чуть выше кисти и поглаживала легонышко. — Я старая, глупая. Приходи почаще. И Але спасибо передавай, — она помолчала, а потом добавила: — Передавай, передавай, и на дачу ко мне приезжайте.

Вадим Андреевич вышел из квартиры и остановился у лифта. Он смотрел себе под ноги и сердился, что лифт остановился где-то этажом ниже, поскрипел, потом опять затрясся и только после этого пополз вверх.

Бабушка стояла у открытой двери, как она всегда делала, когда провожала, и ждала, когда он уедет.

\*\*\*

Нина Сергеевна осталась одна. Прислушалась, как грохочет, спускаясь, лифт. Торопливо и громко закрыла дверь, провернула дважды ключ, затем клацнула задвижкой. На цыпочках прошла в комнату и села на диван. Через минуту встала, перед глазами запрыгали зеленоватые зигзаги и цветные мушки. Она подошла к окну, которое глядело во двор. На детской площадке звенел мяч, кто-то истошно орал. Вадик в детстве никогда не орал, а эти что? Вот сейчас должен выйти. Дверь подъезда открылась, Вадик в полпрыжка спустился по короткой лестнице и быстро зашагал вдоль дома. На окна не посмотрел. А раньше махал ей, бабушке, когда за дом убежал. Чем дальше он уходил, тем более пусто становилось в комнате. И вот завернул. Но Нина Сергеевна ощущала его присутствие, слабеющее, но реальное, физическое.

Она еще постояла перед окном, глядя то на кроны деревьев, то на мелькающих внизу подростков. Это полезно, тренировать зрение — то на близкие предметы смотреть, то на дальние. От скамеечки отделилась и поплелась в свой подъезд Настасья Ивановна. И Нина Сергеевна тоже отошла от окна. С книжного стеллажа, из-за стекла, браво смотрел ее покойный муж и еще маленькая, такая же бравая, круглолицая дочь. Вадик, щекастый и послушный, был цветной и приветливый на детсадовском снимке. Этажом выше что-то шлепнуло, потом загудело, стало слышано, как возят по полу пылесосом. Нина Сергеевна замерла, прислушалась. Это они теперь специально будут пылесос включать, чтобы я Алькин голос не могла различить-та, проходимцы. И, постояв еще немного, вышла из комнаты.

На кухне Нина Сергеевна поставила чайник. Послушала бормотание пузырьков, сначала маленьких, а потом больших и злых. Открыла шкафчик и достала металлическую рифленую банку. Насыпала в чашку две ложки растворимо-



го кофе. Вот бы Вадик ругался, но он не видит. Потом достала из шкафа сахарницу с отбитым краешком. И насыпала ложку. Врачи запретили ей сахар. Она остановилась, поводи́ла ложкой по сахару — не зря песком зовут. И насыпала еще две. А если хочется, что же теперь. Вода шипящей струей запузырила кофе. Всю жизнь пила кофе и сахар кушала, ничего не будет. Она подошла к плите, попробовала кастрюльку — суп был еще горячий. Она налила себе в Вадикову тарелку, поставила на стол, немного пролив. Развернулась и посмотрела на нижний шкафчик. Будто ожидая, что дверца может открыться сама. Но дверца только мозолила глаза, расплываясь по краям, и только посередине узор, имитирующий срез дерева, становился все четче и четче, выпуклее. Открыла. С полки на нее смотрели одинаковые, набитые хрустящими огурцами банки, огурцы были переложены крупной петрушкой, на дне желтели зубцы чеснока. Она достала банку аккуратно, поддерживая одной рукой снизу, другой за горлышко, поставила на стол. Открывала долго консервным ножом, а потом доставала огурец Вадиковой ложкой, помогая пальцем, коротким и толстым.

\*\*\*

— Ну что, как? — спросила Алечка, открывая мужу. В комнате пахло бабушкиными ромашками, которые вот-вот собирались увядать, их Нина Сергеевна привезла с дачи на прошлой неделе.

— Да как обычно, — Вадим Андреевич аккуратно поставил пакеты, посмотрел на свои руки с красными вмятинами. И как она столько носит на себе? — Опять травят, выбросила все огурцы, которые засолила. Говорит, в банки что-то подсыпали, они белым налетом покрылись.

— Вечно у нее все скисает. Жалко. У нас еще несколько банок осталось, — Александра Львовна заваривала зеленый чай, она могла его пить сколько угодно, в любую погоду.

Вадик постоял посреди комнаты и вдруг произнес:

— А к кому ты в гости ходила, в квартиру над бабушкиной? — И пожалел, что спросил.

— Я даже не знаю, кто там живет. Рехнулся, что ли?

Вадик поднял пакеты и понес их на кухню, в холодильник ставить. За белой прохладной дверцей, в углу, стояла открытая и наполовину только съеденная банка огурцов. Он взял ее аккуратно и заглянул внутрь. Мутноватый белесый налет тонкой пленочкой плавал, касаясь болотных пупырчатых тел.

## ОЛЬГА ЛУШНИКОВА

### НИЧЕГО

Всю ночь шел дождь с порывами шквалистого ветра. Лето никак не начиналось. На дворе стояла середина июля, пора сбора ягод. Зинаида Андреевна натирала ноги мазью. День выдался пасмурным. Часы тикали. Желудок подсасывало. Давно пора бы завтракать.

Дверь закрипела, и в дом Зинаиды Андреевны вошла соседка.

— Ну, будь здорова Зина. Чего расселась? Не кушала еще, смотрю.

— Все гудят и гудят ноги-то. Дождь какой был давеча. Под дождь спится хорошо.

— Дорогу размыло. Ветки посшибало. Деревья повалило. Рога все антенные посворачивало. Телевизор не работает!

— Да что ты, Шура?

Зинаида Андреевна всплеснула руками и обхватила ими щеки. Крышечка от мази покатила по полу. Баба Шура остановила крышечку своей палкой, но наклоняться и поднимать не стала.

— Зашла проведать тебя.

— Дождь-то все поливает? Как-то там садик мой, не сходила еще. Дети с внуками приедут, а их и угостить будет нечем.

— Я уж смотрела.

— Шура, не говори мне только, неужто чего? Сама я пойду погляжу.

Зинаида Андреевна схватилась одной рукой за грудь, другой оперлась о сетку кровати, тщетно ища в ней опоры для подъема.

— Чего ты? Тю! У тебя ж все цветет да пахнет. Ни одной ветки ветер не тронул. Как у Христа за пазухой живешь!

Зинаида Андреевна так и не поправила платок после сна. Волосы седыми свалывшимися прядями лезли на лоб, свисали вдоль мятых щек, словно бы волглых от бесконечного дождя. Гольфы, что служили лечению ног, если бы их только дотянуть до колен, так и болтались у щиколоток, спадая на шерстяные тапочки со сбитым и вылезавшим наружу овечьим мехом. На щеках стали медленно расплзаться багровые пятна — мазь со змеиным ядом вступила в реакцию с кожей.

— Шура, а тебе, я смотрю, беспокойно спалось-то? Ждала все, что мой садик с лица земли ветер сотрет?

— Сад мне твой не мешает, пусть. А сарайчик вот не у места своего раскорячился. Дорогу посередь всей улицы водищей вымыло, не пройти по ней, не проехать. А сарайчик твой, паразит, что погода ему, что непогода, так и стоит на участке моем, чтоб ему пусто было.

— Шура, опять свою шарманку старую завела? Сколько можно-то? Это забор твой поставлен ближе положенного. Давнишнее дело-то.

— А документы?

Зинаида Андреевна молча посмотрела на Шуру. Та продолжила:

— Сама говорила, что нет у тебя в документах никаких построек, кроме дома-то. Вот и его, сарайчика, паразита, получается, что и нет.

— Ты это к чему?

— Так, вспомнила.

Зинаида Андреевна поставила чайник, положила виш-

невое варенье в вазочку. Блины ждали гостей еще со вчерашнего вечера.

— Садись, позавтракаем. Куда нам торопиться-то?

— Вишь ты, какая деловая, Зина! Блинов наготовила. А мне болтаешь, что спится тебе под дождь хорошо. Варенье этого года? Вишни у тебя много, смотрию.

— Шура, ну что ты? Сколько лет-то мы с тобой знакомы? Сказать страшно, сколько.

— На возраст мой намекаешь?

— Чай давай пить будем.

Шура попробовала блин, накапала варенья на платье и не заметила. Сделала пару глотков чаю, обожгла нёбо.

— И чего я расселась тут с тобой? Пойду. Кто мне поможет вишню вот распилить упавшую? Больше двадцати лет росла. А тут в одну ночь упала.

— Шура, не переживай, попей чайку. Сережка с отпуска приедет завтра, мой старший, и тебе ее распилит. Завтра, как чувствую, завтра.

— Зина, какая же ты все-таки...

Шура больше ничего не добавила. Встала и вышла, скрипнув дверью.

Зинаида Андреевна осталась одна. Ноги все гудели и гудели. На улицу за весь день так и не собралась. Борщ приготовила к приезду сына, да спать легла. Зинаида Андреевна не вспоминала больше о Шуре. Шестой десяток бок о бок живут, обиды соседкины не новость.

\*\*\*

Всю ночь опять лило. А утром в дверь постучали.

— Шура, заходи, открыто у меня.

— Ну, мам, ты даешь, сына не признала?

Зинаида Андреевна спешно поправила платок.

— Сереженька, приехал! Сметанки нет у меня. Борща вот стоговила, как ты любишь. Знала ведь, что сегодня!

— Не надо было, мам, еле же ходишь. А бабу Шуру чего вспомнила? Вишня вон у нее, смотрю, в огороде упала.

— Сережа, ну сколько лет-то вместе мы с ней? Больше, чем с тобой, вон. Человек она одинокий, понимать надо, родная она мне.

— Ну, ты как скажешь, мам. Такая родная, что взяла твою сарайку, да разобрала по доскам. Куда она только хлам весь из нее дела вековой? Сама ночью таскала да за-капывала? А утром чай пить к тебе пришла, как ни в чем не бывало!

— Сарайку-то? Да что ты говоришь, сын? Давеча Шура корила, что мешает он ей. Но чтоб без спроса снести? Не стала б она! Всю жизнь мы с ней.

— Мам! Да ведь бабы Шуры нет в живых. Не стали говорить тебе, что похоронили ее месяц назад.

— Ну, ты, сынок, и скажешь. Борщ будешь? Только за сметанкой схожу. Не сказали они. Каждый день мы с Шурой чай пьем.

Зинаида Андреевна вышла из дома, шаркая ногами. В одной руке у нее болталась заштопанная холщовая сумка с литровой банкой для сметаны. В другую она ухватила крышечку от банки.

Остановилась у самой калитки и оглянулась на Шурин дом.

Рядом с забором, что разделял соседские участки, стояла вишня с тонким кривым стволом, стыдливо прикрытая ее же, обломанными непогодой, ветками. Ветки были усыпаны ягодой, так и не доклеванной птицами. И больше ничего. Не было парника. Огуречные усы не вились по колышкам, не заготовленным с весны. Не было грядок со свежей зеленью. Лишь среди перепутанных сорняков кое-где проглядывали клубничины: опухшие, подгнившие, одного цвета с суглинком, они были склизко поедены лягушками. Не было и сарая. Как не было и кота, обычно добывающего себе прикорм под его порожек.

Крышка от литровой банки выпала из рук Зинаиды Андреевны и покатила по светло-коричневой глади лужи напрямиком к забору.

Соседка Шура стояла на месте бывшего сарая и глядела на подругу. Она остановила прикатившуюся к ней крышку своей палкой, но наклоняться и поднимать не стала.

## ФЕДОР ЛЮДОНОВСКИЙ

### ГРУСТНЫЙ ПАКЕТ

Я смотрю в окно. Это одно из главных моих занятий в последние недели. Я сижу, смотрю в окно — и никуда не спешу. Да и куда спешить, к чему суетиться? Обычная дневная программа выполнена: мы сходили в магазин, взяли немного замороженных овощей, сухарей, воды. В квартире тепло, сухо. Олечка накормлена. До вечера можно ничего не делать. Сиди себе, читай книжку. Но штука в том, что книжек нет. Совсем. И я не знаю, какой в этом смысл. (Да и есть ли смысл во всей этой истории?) Так или иначе, читать мне нечего. И вот я сижу и смотрю в окно.

В окне — знакомая картинка. Беспольные машины. Тот самый продуктовый магазин, в который я теперь хожу каждый день. Пустая детская площадка. А между зданием магазина и моим домом — дерево. На нем только что распустились листочки. «Еще не запыленная зеленая листва» — как пелось в одной детской песенке. Зеленая радует глаз. Но диссонансом на одной из веток торчит грязноватый полиэтиленовый пакет. Утром этого пакета еще не было. Видать, принесло ветром. «Снять бы его», — лениво думаю я. Но я знаю, что лестницы у меня нет, лазить по деревьям я давно разучился, да и вообще как-то неохота напрягаться. Пусть висит, что поделаешь... Может быть, ветер будет сильнее, и тогда пакет отцепится и полетит себе куда-нибудь дальше.



— Что это тут висит? — раздается рядом со мной Олечкин голос. Я не заметил, как она появилась на кухне. Ей, наверное, года четыре, так что на самом деле она говорит примерно так: «Тито ето тють висить?» Но я прекрасно ее понимаю, да и сам разговариваю с ней без всякого сюсюканья.

— Это, — говорю я, — висит пакет. Кто-то его выбросил на улице, а потом ветер его поднял — и понес по воздуху. Ну и он зацепился за дерево. Теперь висит вот.

— Он что, злой был? — Это, стало быть, второй вопрос. Теперь я уже забросил это занятие, а в первые дни я всерьез занимался подсчетами Олечкиных вопросов.

Я увидел ее в магазине. Она сидела в тележке, на такой специальной приступочке, чтобы возить детей. «Ты кто?» — спросила она спокойно и безо всякого испуга. Ну что бы вы ответили на такой вопрос? Наверное, что-то вроде *hotosit*. Но я решил не нырять в философские глубины, а вместо этого представился: «Гоша». — «Пойдем домой!» — сказала Олечка. И мы пошли домой.

Пока мы дошли до моей (моей? — да, смешно) квартиры, Оля сумела задать мне ровно сорок два вопроса. Про тележки в магазине, про луну, про солнце (в тот день на небе можно было видеть оба светила одновременно), про ворону, которая купалась в луже, про мои кроссовки... При этом та дурацкая ситуация, в которой мы оказались, ее, по всей видимости, совсем не удивляла и не интересовала. Она не спрашивала, где ее мама, где папа, как она тут оказалась... А вот я к тому времени уже по которому кругу задавал себе одни и те же вопросы: почему я здесь? что это за квартира, в которой я проснулся за пару дней до встречи с Олей? Да и вообще — что это за город? И куда делись все люди? А главное — это тот самый вопрос, который задала мне моя маленькая подруга: кто я?

Я помнил свое имя — Георгий, Гоша. Я откуда-то знал, что мне тридцать пять лет. И что у меня есть высшее обра-

зование. И я даже знаю, в какой именно области: я историк. Но кто я по сути, что за жизнь у меня была до всего этого — тут я не помнил практически ничего. Так, какие-то обрывочные образы, всплывающие преимущественно в снах. Историк без истории. Ирония судьбы, так сказать.

— Он что, злой был? — повторяет свой вопрос Олечка.

— Кто злой? — спрашиваю я, совсем потеряв нить разговора.

— Человек пакета выбросил — он злой был? Он хотел обидеть пакета?

— Нет, — говорю я. — Человек, наверное, был не злой. Он просто не подумал. А может, он просто что-то достал из пакета, а тут налетел ветер и вырвал у него пакет из рук.

— И теперь он тут всегда будет висеть?

Всегда... Суровое слово. Олечка, я не знаю. Я вообще не понимаю, идет ли тут время. То есть второй закон термодинамики никто не отменял: мы оба с тобой, надо полагать, становимся старше; молочные продукты в нашем магазине начинают портиться; лето, похоже, постепенно приближается к своей середине... Но — всегда? Тут я отказываюсь что-либо предполагать.

— Не знаю, — отвечаю я вслух. — Может быть, ветер унесет его дальше. А может, его утащит какая-нибудь птица.

— А птица сможет в нем жить? А она сможет его съесть?

Оля начинает задавать вопросы один за другим, уже не дожидаясь ответа. Пакет, висящий на дереве, пробудил в ней фантазию, и она просто говорит вслух все, что приходит ей в голову. А вопросы — это просто привычная ей форма для мыслей.

— А его с самолета видно?

Хороший вопрос. Кстати, за все эти дни не видел в небе ни одного самолета. А надо бы понаблюдать. Вдруг тут еще кто-то есть, кроме нас двоих, — ну пусть хотя бы на высоте десяти километров?

— А когда будет темная-темная ночь, он будет светиться?

— Это вряд ли.

— А если снизу хорошенько подуть — он отцепится?

Попробуй, девочка, попробуй...

— А почему вон другой пакет летит высоко, а этот зацепился?

Да, почему все люди куда-то исчезли, а мы тут с тобой застряли?

— А если станет жарко-жарко, он растает, да? И будет капать — как будто слезы?

А температура-то и в самом деле с каждым днем повышается. Как бы нам самим не растаять.

— А если ночью ангел полетит, он заденет за пакет?

Ну, разве что это будет какой-то очень неуклюжий ангел.

— А ему там одному не грустно?

Ему — не знаю. А мне... Мне как-то странно. Нет, пожалуй, не грустно. Тем более рядом с этой егозой-стрекозой. Но странно, очень странно.

— А ему там не грустно?

Ага, понятно, тут от меня уже требуется активное участие. Видимо, этот вопрос важен для нее.

— Тебе как сказать — честно?

— Честно, — энергично кивает головой Олечка.

— Честно — я не знаю, — отвечаю я. — Но, может быть, ты права. Может быть, ему там и в самом деле грустно и одиноко. Он висит там без дела, совсем один. Мог бы приносить пользу — но вот зацепился за ветку и просто висит.

Я собираюсь развить эту мысль дальше, но замечаю, что уголки рта у девочки опустились, и она вот-вот заревет. Я лихорадочно собираюсь с мыслями — нужно как-то исправлять свою оплошность. Зачем мне понадобилась эта дурацкая честность? Навязываю свою меланхолию ребенку.

Но Оля не успевает заплакать.

— Смотри, — возбужденно кричит она, — смотри!

Пакета на дереве уже нет. Он свободно парит в воздухе. Вот он уже над магазином. Вот он уже взмыл выше соседнего дома. Вот он уже скрылся из виду.

— Видишь, — говорю я, — ему уже не грустно. Разве можно грустить, когда ты летишь высоко-высоко и оттуда видишь весь мир?

В некоторой растерянности и задумчивости мы смотрим на дерево, на котором минуту назад был пакет.

— Пакет улетит далеко-далеко, увидит там маленькую девочку и с ней подружится, — говорит Оля.

Да, дружок. Как знать: возможно, и в самом деле нашему приятелю повезет больше, и он где-то найдет людей.

Оли уже нет на кухне. Я тихо подхожу к двери ее комнаты.

— Давай, — обращается Олечка к своему медведю, — давай я была грустный пакет, а ты веселый пакет. И мы летели вместе по небу.

— А давайте я был вороной, — осторожно вступаю я в игру. — И мы летели все вместе.

Оля-пакет и медведь-пакет радостно соглашаются.

И вот мы втроем летим по небу. И нам совсем не одиноко и очень весело.

## КРИСТИНА НЕВСКАЯ

### АФРИКА

«Луи Армстронг звучит в нашем белом фургончике на бесконечной африканской дороге. Феня дремлет у соседнего окна, мы в пути, скоро наступит Новый год, молчим, спим, читаем, болтаем, люди улыбаются нам из попутных машин, впереди еще много километров, голосов не слышно за шумами и музыкой, 220 до первой цели, большие города позади, впереди дикая природа, короткие остановки на заправках — маленьких точках на карте тех, кто едет. Дождь, под которым мокли вчера, поворотники вместо дворников, дворники вместо поворотников, сырой воздух, и бабочки, бабочки...»

На этом я закрыла планшет и прислонилась головой к окну. Мысленно поблагодарила себя за то, что не забыла самолетную подушку: очень уж она оказалась кстати в этой поездке, когда проводишь в машине большую часть дня.

День уже кончался, всем очень хотелось добраться до отеля, поесть, принять душ и выпить вина. При всей любви к автомобильным путешествиям, мы все признавали, что катить по африканским пейзажам интересно, здорово, но утомительно. К тому же нас шестеро, и в замкнутом пространстве за все десять лет дружбы мы оказались впервые. Каждый день возникали ссоры по мелочам: кто-то боялся трусоб, кто-то не хотел питаться на заправке, а кому-то срочно нужно было отведать свежей клубники или купить

сувениров. Примиряли, конечно, вечера, когда, усталые от дороги и впечатлений, мы собирались в ресторане или баре отеля и заново переживали день, уже вспоминая его.

Завтра нас ждут очередные семьсот километров пути, пролегающие мимо парка носорогов и небольших местных деревень. Сейчас мы находились в той части Южной Африки, где почти не было белых резиденций, поэтому питались, в основном, на заправках, а надписи на дорогах с текстом «Не убивайте нас! Мы дорожные рабочие» останавливали от того, чтобы надолго выходить из машины на шоссе.

Вечер шел плавно. Тело стало немного легче и расслабленнее от вина, словно сбросив оцепенелую усталость дороги. Жаркий воздух оседал на коже, улицы почти не были слышно, только насыщенные густые звуки цикад, кузнечиков и, возможно, еще каких-то неведомых и, к счастью, невидимых насекомых вмешивались в наш разговор. В такие вечера я всегда принимала Африку целиком, несмотря на то, что временами было трудно, иногда напряженно, зачастую слишком красиво, или устало. Но все вместе складывалось в какую-то полную, до конца не разгаданную мной историю про полупустую землю, где живут самые красивые и большие животные, шумят два океана, горы кажутся выше, чем они есть на самом деле, а звуки африканских барабанов отстукивают заданный много веков назад ритм.

На следующий день мы выехали из отеля не как планировали, а часа на два позже. Это означало, что в следующий на нашем маршруте городок мы приедем уже ночью. Почему-то каждый день происходило одно и то же: мы стабильно выезжали на несколько часов позже намеченного времени.

— Народ, давайте заправимся, — предложила Феня, посмотрев на датчик бензина, — хватит еще километров на сто-сто пятьдесят, а мы в парк сначала. Вдруг там не будет заправок?

— Это все же туристическая местность: у парка должна быть, — ответил Антон. — Сейчас тридцать километров

крюк по городу получается, если на заправку заезжать, а мы и так от графика отстаем.

— Да будут на трассе заправки, — уверенно произнес Костя, поворачивая ключ зажигания, — если что, дотолкаем.

Крутиться в городе не хотелось никому, поэтому решено было заправиться на трассе после того, как мы сделаем сто пятьдесят удачных снимков с африканскими носорогами.

Носорогов, однако, мы встретили всего пару: они стояли неподвижно, глядя вдаль маленькими слеповатыми глазами, и чутко реагировали на щелчки фотоаппарата, поводя ушами на звук. Я пристально вглядывалась в большое чудное существо, которое дышало всего в нескольких метрах от окна машины: морщинистая грубая кожа, два рога, из которых передний, прокладываящий животному путь, был отшлифован травой и кустарником, словно бутылочное стекло морской волной. Потомок мифического единорога, пришедший на землю тысячелетия назад, вечно сопутствуемый птицами и вынужденный расплачиваться жизнью за людские суеверия. Мать и ребенок почти бок о бок безмятежно жевали траву, изредка поворачивая причудливой формы головы в сторону непрошенных гостей.

— Поедем дальше искать, или обратно на шоссе? — спросила я.

— Давайте возвращаться, — предложил Миша, — надо уже поиском заправки озаботиться.

— Я предлагаю все-таки через парк, — ответил Антон, изучая карту в планшете, — небольшой крюк получается, если верить гуглу, и, может быть, еще встретим кого-то, не просто же так мы сюда завернули.

Костя с ним согласился.

— Посмотри хоть по карте, там заправки есть? — попросила Феня. — А то, если насквозь ехать, мы вообще на нуле будем.

— Да, показывает, что есть две, так что не ссы, не остаемся на африканских просторах.

Знакомый гул дороги снова слился с музыкой в моих наушниках. Смотреть за окно уже было неинтересно, я почувствовала, что глаза слипаются, и красная поверхность какой-то другой земли, по которой свободно разгуливали носороги, зазвучала африканскими звуками.

Я, должно быть, видела сон. Насыщенный густой воздух окружил маленького человека в цветной юбке, голого по пояс. Кожа его была черной, высохшей на солнце, в руке мужчина держал то ли палку, то ли посох и отстукивал им плотный, утробный ритм. Вторя ему, сотни рук били в разноцветные кожаные барабаны, почти сплетая между собой розоватые, словно нефтью промасленные ладони. Глухие, точные удары звучали все чаще. Руки мелькали так быстро, что было уже непонятно, и не видно, как возникают звуки: ритм, созданный самим естеством — рождение, жизнь, смерть, рождение, жизнь, смерть. Скорость все нарастает, и вдруг дробь обрывается, остается лишь тишина — все вокруг замирает.

Человек двигался к пещере, я видела, что ему предстоит длинный спуск. Белый носорог послушно шел за ним, робко касаясь морщинистой кожи своим сказочным рогом.

Мне казалось, что проспала я где-то полчаса. Пейзаж за окном не изменился, микроавтобус все так же плутал по извилистым дорожкам парка. В машине чувствовалось напряжение. Феня придвинулась ко мне поближе и шепнула на ухо: «Мы, видимо, заблудились, карта перестала подгружаться, бензин почти закончился, но не говори это вслух, а то Лена сейчас начнет истерить, Миша подключится, и все переругаемся в итоге». Я молча кивнула.

С заднего сиденья раздался встревоженный голос Лены: — Ребят, что там с картой? Антон ты в курсе, куда мы едем? Вы понимаете, что есть риск вообще здесь остаться?

— Успокойся уже, — миролюбиво ответил Антон, — появился интернет, скоро выедем.



Теперь уже все мы поглядывали на приборную панель, лампочка бензина горела красным, то есть запас хода — от пятидесяти до шестидесяти километров.

— А далеко заправка от парка? — спросил Костя

— На трассе нет, — ответил Антон — показывает, что в какой-то деревне есть, она вроде как нам по пути.

— Деревня — это, конечно, не очень здорово, а следующая?

— Следующая — через двести километров, выход только один — заправляться там.

Мне идея останавливаться в черной деревне тоже не очень нравилась. С одной стороны, за все наше путешествие ничего страшного с нами не произошло. Пару раз в больших городах полицейские предупредили о том, что пора возвращаться в отель, так как после шести вечера на улицах опасно. Однажды мы явно привлекли к себе внимание проститутки и компании черных в баре, но гостиница находилась за углом. По пути к ней слышали, как кто-то идет за нами, однако добрались без приключений.

С другой стороны, каждый раз, выезжая за колючую проволоку белой резиденции, где на заборах сверкали битые стекла, наблюдая километры трущоб с перекошенными лачугами, нищими, которые спят на обочинах или стучат в стекло на светофорах, мы чувствовали, что здесь отчетливо существуют два мира. Да, они как-то ужились на этой бескрайней земле, но ужились очень условно, и разграничительная линия постоянно колеблется, постоянно напряжена.

Я посмотрела на часы, было около трех дня. Мы уже миновали указатель на нужную деревню и пробирались по узким улицам в поисках бензоколонки. Улицы были частично заасфальтированы. Редкие, грязного цвета, дома прятали внутренности за оборванными тряпками на окнах. Прошедший недавно дождь заполнил выбоины дорог тяжелой водой, смешавшейся с глинистой почвой. Вымахавшая высоко зеленая трава скрывала покосившиеся ко-

робки, которые служили нищим постоянным пристанищем. Иногда в поле зрения появлялись кошки, меланхолично созерцавшие привычную местность голодными глазами.

Заправки в таких деревнях, как правило, располагались в центре, рядом с рынком. Здесь было шумно, бойко, сновали местные, изредка проезжали груженные пикапы. Женщины, казалось бы, лишенные всякого изящества — обладательницы тяжелых, словно вылепленных из темного пластилина, тел — несли на головах сетки с фруктами или с домашней утварью. Но я невольно засматривалась на плавное движение больших бедер, безупречно прямые спины и легкую, но твердую поступь, видимо, усвоенную ими с рождения, перенятую от древних прародительниц.

Дети бегали от прилавка к прилавку, бесцеремонно разглядывая и щупая быстрыми движениями выставленный товар.

— Что-то на заправке очередь: машин двадцать стоит, хвост отсюда вижу, — произнес Миша, указывая рукой на вереницу пикапов.

Антон вышел из машины расспросить местных о том, что случилось.

— Остаемся ждать, — сказал Антон, снова залезая на переднее сиденье, — два дня бензина не было, но вроде сегодня должны привезти.

— Вроде? — переспросила я. — Когда привезут-то?

— Сказали, к шести, — ответил Антон

— То есть, когда уже стемнеет, — подключился к разговору Миша.

— Не вариант ждать до темноты, — беспокойно сказала Феня, — давайте попробуем у кого-то перекупить? Вон полиция стоит, может, продадут за двойную цену?

— Предлагаю спокойно ждать, — не согласился Антон. — Привезут, заправимся и поедем дальше. Никто нам тут ничего не делает.

— Фотики с планшетом хотя бы уберите от окна, — предложила я, — зачем лишний раз любопытство у людей вызывать.

Закрыв машину изнутри, мы остались ждать на заправке. Время тянулось медленно. Вокруг происходила все та же, не особо интересная жизнь. Ближе к четырем часам дня солнце стало менее ярким, и тени изменили свое положение.

— Пойду все-таки к ментам схожу, — сказал Костя, — и, пока светло, поищу еще кого-то, кто может продать. На рынке, думаю, могут желающие найтись. Телефон с собой беру, так что на связи, — с этими словами, он вылез из микроавтобуса и подошел к полицейской машине. Из окна мы видели, что переговоры успехом не увенчались. Костя махнул нам рукой и зашагал прочь от заправки по направлению к рынку.

— Антон, может, тебе с ним сходить? — предложила Феня. Но Антон промолчал, и разговор на этом прекратился.

Кости не было уже с полчаса. По мере того, как надвигался вечер, наша машина привлекала все больше внимания. Местные проходили мимо и не стесняясь заглядывали в окна, кто-то стучал и знаками просил открыть дверь. Я заметила человека, стоявшего на противоположной стороне улицы. Казалось, он не выделял нас в гуще других машин и людей, но я почему-то была уверена, что он прекрасно видит автобус. Станный был человек: одет в лохмотья, через плечо яркая котомка, жесткие черные волосы с проседью свалены в густые дреды, нелепые украшения свисали с шеи, обуви на нем не было. Казалось бы, обычный бродяга, которые встречались нам каждый день, но было в нем что-то, что заставляло меня непроизвольно возвращаться к нему взглядом. Через несколько минут он перешел дорогу и направился в сторону заправки, отчего мне стало совсем не по себе. Мысленно я уговаривала себя успокоиться. Конечно, стоило проштудировать африканские мифы, чтобы

потом мне снились духи, переходящие из мира живых в мир мертвых, а в каждом бродяге виделись мифические существа, которые должны завершить свою миссию на земле. Иногда хорошее воображение очень мешает трезво оценивать реальность.

— Ты видишь его? — спросила Феня, легко дотронувшись до моей руки.

Я почему-то сразу поняла, кого она имеет в виду, и молча кивнула. Человек подошел к нашей машине, бесцеремонно заглянул внутрь, приложил руки к окну и начал что-то говорить, широко открывая беззубый рот.

— Народ, давайте отъедем? — предложила Лена. — Позвоним Косте и скажем, где его заберем.

— А ты, кажется, забыла, что мы тут не просто так вечер коротаем, а бензин ждем, — огрызнулся Антон.

— Но, чтобы отъехать-то, он у нас есть, — продолжала настаивать Лена.

— Давайте панику не разводить, прицепился сумасшедший, скоро отвалит.

Тем временем африканец продолжал свое, как мне показалось, уже ритуальное хождение вокруг машины. Его движения привлекли к нам внимание других местных. Он выстукивал по капоту какой-то ритм, произносил еле слышные слова, иногда снимал с себя украшение и подносил его к стеклу. Двое крепких мужчин подошли и встали за ним, указывая пальцами на нас и громко о чем-то разговаривая. Миша сел за руль, чтобы перегнать машину поближе к полицейским. Однако те, угадав наши намерения, быстро уехали. Станный человек, с уже сильно разросшейся толпой местных, снова подошел к машине и схватился за ручку.

— Все, сваливаем, срочно Косте звоните! — занервничала Феня. — Скоро стекла бить начнут.

Уже несколько пар рук выстукивали по машине однообразный ритм: медленно, медленно, быстрее, еще быстрее,

красный цвет, сердце, земля, рождение — как будто уже знакомые мне звуки. Я судорожно набирала номер Кости.

— У меня связи нет.

— Ни у кого, видимо, нет, — почти одновременно сказали Миша и Лена.

— Надо уезжать, — чуть не плача, продолжила Лена. — Ребята, заводите машину!

— А как же Костя? Он же сюда вернется! Мы не можем без него уехать! — закричали мы с Феней.

Машина уже начала немного раскачиваться, множество черных рук барабанили по капоту, не умолкая. Паника лишала возможности быстро соображать. В голове вертелись абсолютно странные мысли, которые никак не были связаны с ситуацией, в которой мы оказались.

— Уезжаем, — сказал Антон, перелезая на водительское кресло.

— А Костя? — снова возмутилась Феня.

— А Костю придется оставить здесь.

— Ты рехнулся? Как мы можем оставить здесь человека? Чтобы его тут убили? Да и куда мы поедem в темноте и без бензина? — поддержала я Феню.

— Выберется, позвонит, а мы, может быть, остановим кого-то на трассе. В любом случае, здесь нам всем крышка.

— Может, отдать им деньги и технику? — предложила Лена.

— А ты уверена, что им только это нужно? — криво усмехнулся Антон.

Спорить было бессмысленно. Сумбурные мысли разрывали голову на части. Я напряженно вглядывалась в темноту, надеясь увидеть на дороге Костю, или бензовоз, или добрую, как в американских фильмах, полицию. Лена тихо рыдала у Миши на плече, который, в свою очередь, безуспешно набирал Костин номер. Краем глаза я увидела капельки пота у Фени над верхней губой, Антон судорожно вцепился в руль. Первый камень попал по корпусу маши-

ны. Я не думаю, что кидавший промахнулся. Попасть в окно с такого расстояния не стоило труда. Мы отчаянно не понимали этого долгого действия, которые производили местные во главе с сумасшедшим гуру вокруг микроавтобуса. Гораздо проще было уже разбить окна и взять все, что им было нужно. Но, возможно, эта отсрочка имела какое-то ритуальное значение.

Резкий поворот ключа, свет фар, и, рискуя передавить людей, Антон вывел машину с заправки, вслед нам полетели камни и громкие крики, часть мужчин побежали за автобусом. Мы резко набирали скорость, стремясь быстрее попасть на трассу. Вдруг впереди на дороге показалась знакомая фигура.

— Это Костя, тормози! — закричала я.

Почти на ходу он запрыгнул в машину. Лицо было в крови, рубашка порвана. Мы в ужасе переглянулись, и вопросы посыпались один за другим.

— Еле сбежал, в общем. Антон, быстрее отсюда гони, — тяжелым голосом сказал Костя. — Почти договорился о бензине, но вовремя понял, что меня куда-то не в то место ведут. Драться пришлось, чтобы свалить, думал, крышка, — он все еще тяжело дышал, вытирая рассеченную бровь салфеткой.

— А что они от тебя хотели-то в итоге? — спросила Феня.

— Я не понял. Деньги, которые в кармане были, сразу отдал, но им не только деньги были нужны, — ответил Антон.

Проехав еще несколько километров, машина остановилась. Мы припарковались на обочине и вышли посреди абсолютно пустой местности. Трое закурили, с наслаждением затягиваясь сигаретами. Телефоны по-прежнему не работали, ночь уже полностью поглотила трассу, распространяя свои права на эту странную огромную землю. Полная тишина накрыла нас вместе с ночью. Мы были окружены Африкой и ее огромным беззвучием. У всех было много вопросов друг к другу, к тому, что произошло в городе, и к этой доро-

ге. У всех было много вопросов — что делать дальше и чего ждать. Но мы как будто застыли в точке, которую даже еще не нашли на карте, невероятно счастливые тем, что остались живы. Я сосредоточенно вглядывалась в белую отчетливую линию разделительной полосы на шоссе. Сверху яркие звезды расположились на плотном небе в привычном порядке, еще больше подчеркивая бесконечность окружающего нас пространства. Дым от сигарет сладковатым запахом немного резал нос. Но этот дым и белая линия на шоссе говорили о том, что мы все еще здесь, что телефоны скоро заработают, и что, возможно, кто-то появится на дороге.

Через несколько минут впереди забрезжил огонек встречных фар.

## ЕКАТЕРИНА ОСЬКИНА

### ЧЕРТОВЫ ВЗРОСЛЫЕ

Я проснулась утром и решила, что сегодня ни с кем не поссорюсь. Я буду послушной девочкой, буду делать все, что мне скажут. Тем более, сегодня я иду в новый садик. Я очень волнуюсь и представляю, как я приду и меня все сразу полюбят.

Мама заплетает мне косички перед зеркалом. Больно дергает.

«Ай!» — думаю я про себя, но молчу, она еще раз сильно дергает, я опять молчу. Это просто испытание, чтобы меня проверить. Нет, я не буду с ней ссориться, не буду ссориться ни с кем.

Мы выходим из подъезда. Только что был дождь. Колеса машин, проезжая, шелестят по воде.

Я загадала: если увижу по дороге красную машину, все будет хорошо. Мимо жужжат черные, белые, проехала темно-синяя, даже розовая, и ни одной красной. Мы уже повернули к садику, дорога остается за спиной, а я без конца оборачиваюсь. Неужели я ее так и не увижу?

И тут пронесится пожарная машина с кричащей сиреной. И она ярко-красного цвета.

Мы толкаем скрипучую калитку, и мама закрывает ее за нами. Очень страшно. После нас заходит мама с мальчиком, и калитка скрипит мягко и приветственно, как будто они — ее хорошие знакомые. Мальчик бежит к какой-то те-



тенке, которая стоит на крыльце, и виснет у нее на руках. А мне почему-то хочется плакать.

Но скоро мы заходим в новую группу, и меня знакомят с моими новыми взрослыми. У нянечки доброе лицо, и на нем улыбаются ярко-сиреневые губы, как у моей куклы Монстер Хай. И вообще она выглядит как принцесса. В белом халате, белых носках и белых сандалиях.

А воспитательница Нина Алексеевна еще лучше. У нее большой нос, похожий на клюв. И она красиво запрокидывает голову вместе с ним, как лебеди на озере в парке. Носит длинную юбку, и кажется, что она не идет, а как будто плывет.

Они втроем с мамой встали вокруг меня и улыбаются, как на групповой фотографии, и я им тоже улыбаюсь.

— Ты уже завтракала?

— Да-да, я уже завтракала!

— Катенька, съешь кашку, тебе же целый день тут еще быть, — Нина Алексеевна говорит таким добрым голосом. И я думаю: неужели она меня уже полюбила?

Это манная каша, она холодная и похожа на толстый белый блин, который скользит по тарелке, если ее чуть наклонить.

Я представляю ее клейкий вкус у себя во рту.

— Хорошо, — говорю я и улыбаюсь воспитательнице. Я очень хочу ей понравиться.

Нина Алексеевна подбирает юбку и садится спиной ко мне кормить какого-то малыша. Я смотрю на это как на чудо. Мне кажется удивительным, что она, такая величественная, сидит на таком маленьком детском стульчике. Кажется, что она должна восседать на троне или хотя бы в большом кожаном кресле.

А потом она берет ломтик хлеба и кусает его. И это второе чудо: она жует хлеб, и ее губы мнутся, а щеки шевелятся, как у обычного человека.

Я тоже начинаю есть, отламываю ложкой кусочки, кото-

рые похожи на липкие вареники, и пытаюсь проглотить их так, чтобы они не коснулись языка.

— Ну что, вкусно же? — радуется няня.

— Ош-шень, — говорю я, старательно делая улыбку. И случайно задеваю языком этот клейкий кусок.

Он сразу же вываливается на стол.

— Ты что такое делаешь? — у няни стали круглые глаза, и она оборачивается посмотреть, не видела ли Нина Алексеевна

— Давай сюда скорее тарелку, — шепчет она, быстро стряхивает остатки каши в мусорку и ставит тарелку в раковину.

— Ну что, все съела? — спрашивает у меня Нина Алексеевна. Я вжимаю голову в плечи.

— Ну! Посмотрите, как котенок облизал, — няня достает пустую тарелку из раковины, и у нее такое лицо, как будто она, правда, радуется, как я чисто все съела. Она, видимо, что-то перепутала.

Я хочу сказать ей об этом, но нянечка ловит мой взгляд и плотно сжимает губы, как будто это наш секрет.

Нина Алексеевна одобрительно кивает. Я молчу, но мне очень хочется сказать, что я ничего не съела. Пусть лучше она меня поругает, чем похвалит, но не *меня*.

После еды мы идем в актовый зал.

Нина Алексеевна садится за пианино. У нее красиво подняты плечи и подбородок, и она смотрит на себя в зеркало, тоже любитесь.

— Сейчас мы представим, что мы все стали певцами и стоим на сцене, — говорит она торжественно.

Мы подравниваемся по носкам сандалий, тоже поднимаем подбородки и поем первую песню.

— Нина Алексеевна, а вы кем мечтали стать? — спрашивает какой-то мальчик.

— Я собиралась стать оперной певицей, — говорит воспитательница и почему-то отворачивается. Мне кажется, что ее глаза блестят, как будто она хочет заплакать.

«Это от радости, что ее мечта сбылась», — догадалась я. Она ведь сейчас поет вместе с нашим хором, и сразу понятно, что она настоящая певица и поет лучше всех.

Потом мы идем гулять, и на улице Нина Алексеевна рассказывает мне правила:

— За этот забор нельзя выходить!

— А руку вот так высунуть можно? — спрашиваю я, потому что хочу точно знать, что можно, а что нельзя, и просовываю руку сквозь мокрые металлические прутья.

Но она мне не отвечает.

— Перед верандой надо снять обувь, — говорит она и уходит.

Я снимаю обувь и встаю на мокрую половую тряпку голый ступней, так прохладно и приятно щекочет. И даже по спине прошел холодок до самой шеи.

Мимо проходит нянечка с тазом для мытья игрушек, формочки из песочницы стучат друг об друга в тазике и блестят красным, желтым, как пластмассовые ракушки. Она не видит меня за этим тазом. Спотыкается об меня, и вся вода вместе с формочками выливается на пол, затекает между досок веранды, на ковер. И игрушки лежат в луже как разноцветные рыбки.

— Что же ты встала на дороге! Ой, ну пенек с глазами! — говорит няня с досадой.

Я пытаюсь сдержаться, но слезы уже катятся по щекам, и из горла выходит противный скрип.

— Ну что же ты какая-я, не скажи тебе ничего-о, — наклоняется ко мне няня. Она растягивает последние буквы и смотрит на меня с сочувствием. Как будто ей жалко меня, что я какая-то *такая*.

— Ну. Да не реви ты, — и шепотом: — Сейчас Нина Алексеевна услышит, хуже будет.

— Пенек с глазами! — слышу я снова. Это рядом смеется какой-то мальчик и подпрыгивает от восторга. «Пенек с глазами». Прыжок. Его смех звучит как колокольчик. Он очень-

очень рад, а мне хочется ударить его совочком, и я замахи-ваюсь над его головой.

— Ты посмотри, какая! — воспитательница ловит мою руку, тянет меня до скамейки и резко отпускает. Я шлепаюсь попой о доски.

— Сиди здесь. Здесь у нас «скамейка добра».

Какая же это скамейка добра, если я стала гораздо злее!

Я сижу, ни на кого не смотрю. Я чувствую, что все остальные на меня смотрят и знают, *какая я*. И только я одна не знаю.

А ко мне подходит тот самый мальчик, который прыгал. Протягивает мне совочек и садится рядом.

— Иди отсюда!

— Прости, мне ужасно понравилось, что ты пенек с глазами, это же класс!

Говорит он очень радостно, словно, хочет подарить мне кусочек этой радости. И замирает вытаращившись, изображая глазастый пенек, то есть меня.

Этот мальчик здесь самый противный из всех! Даже холодная манная каша и какао с пенкой лучше, чем он.

— Ну, не обижайся, давай тебя будут звать Вселенная, это очень красиво, — он разводит руки в стороны, показывая что-то очень большое. — Вселенная, ты сможешь мне вырыть ров?

Я озираюсь. Нина Алексеевна про меня забыла. У мальчика в песочнице уже начато строительство. Я беру совочек. Мне хочется сделать подкоп, чтобы можно было просунуть руку, это будет мост. Я вырыла ямку и делаю теперь дырку в песочной стене одной рукой, а другой проверяю, держится ли песок. Рука проходит и выглядывает с другой стороны.

Мальчик смотрит на это с восторгом:

— О, это же мост! — Он округляет глаза. — Вселенная, во ты мочишь!

Я не понимаю, я ничего не намочила. Но по его лицу вижу, что мост ему нравится.

— А меня зовут Вадик, — говорит он. — Мне вот столько, — он показывает ладошку с растопыренными пальцами и мизинец на другой руке. — Пойдем, я скажу тебе секрет.

— Какой?

Секрет — это интересно.

— Тебе надо встать здесь. Нет, не здесь, вот здесь.

Он ставит меня под высоким кустом сирени. И со всей силы дергает за ветку.

Сирень шебуршит, и капельки дождя падают мне на макушку, на руки и затекают за шиворот, а там ползут по спине. Это очень приятно. И я смеюсь, хотя и знаю, что он меня обманул. Вадик тоже хохочет и еще раз дергает ветку, и опять на нас льется сиреневый душ.

— Прогулка закончена! — кричит воспитательница. — Кто первый, тот понесет чайник.

Я бегу, чтобы помочь воспитательнице.

— Я хочу, я хочу! — и вырываю чайник у нее из рук. Вместе с чайником вылетает полотенце, похожее на тонкую белую вафлю, которую раскатали скалкой.

— Да возьми ты этот чайник, господи, — воспитательница морщится. Я задела ее юбку рукой, и она теперь торопливо отряхивает ее от песка. «Вот повезло с новенькой», — наверное, говорит она сама себе.

— Извините, — бормочу я. Мне уже не так хочется нести чайник.

Мы заходим внутрь. Пол только что помыли, пахнет тряпкой, хлоркой и рыбными котлетами. Я хочу на улицу, там небо потемнело и дует ветер с песком, это значит, скоро опять начнется дождь. Будет вкусно пахнуть асфальтом, после дождя хорошо набирать воду из луж, рвать одуванчики и готовить суп.

Но в группе меня ждет совсем другой суп. Рыбный. Как же мне могло так не повезти, я ненавижу рыбный суп.

Я беру ложку, опускаю ее в жидкость и вижу, что там плавают косточки и маленькие кусочки раскрошенного яйца.

Я кладу ложку на стол, — что я могу сделать, если я знаю, что не смогу.

— Ложку в правую руку, хлеб в левую, — уточняет воспитательница, словно я маленькая и не знаю этого. Я молчу и ничего не беру.

Она всё смотрит на меня.

— Я не люблю рыбный суп.

— Немедленно взяла ложку, — говорит Нина Алексеевна металлическим голосом. Мне страшно, но я не беру ложку, зачем ее брать, если я все равно не стану есть.

— Лидия Ивановна, можно я не буду? — Смотрю я с надеждой на нянечку. Может, она суп тоже выльет, как выбросила кашу.

И по лицу нянечки понимаю, что я сделала что-то ужасное. Нина Алексеевна вся покраснела.

— Я тебя сейчас из-за стола выкину, — у воспитательницы какой-то осипший голос.

— Это я вас сейчас выкину, — говорит очень тихо Вадик и опускает лицо.

Все замерли. Даже я уже поняла, что воспитательница здесь самая главная.

Она рывком встает со стула, берет Вадика за ворот рубашки и тащит по полу. Он молчит, упирается ногами и не тащится. Все остановили ложки и смотрят.

Воспитательнице все-таки удастся его одолеть. Оказывается, в группе тоже есть «скамейка добра». Нина Алексеевна сажает его туда, и Вадик тоже очень сильно злится.

— Я не буду здесь сидеть, — он ловко выворачивается он и спрыгивает со скамейки. И видит нянечку, которая спешит на помощь воспитательнице.

— Чертовы взрослые! — кричит он и трясет кулаками в воздухе. Но опять оказывается в руках Нины Алексеевны.

— Я буду стоять, — говорит он отчаянно, выпархивает из ее рук, как бабочка из сачка. И встает солдатиком рядом со скамейкой.

Воспитательница сама садится, чтобы передохнуть. Видно, как она устала и выбилась из сил.

Обед закончился, и все дети, кроме меня и Вадика идут спать. Меня должна забрать мама после обеда. А Вадик стоит наказанный.

Воспитательница говорит мне:

— Иди мой руки, сейчас мама придет. Потом поможешь убирать игрушки.

Она включила свой добрый голос, но лицо еще не успела сменить на доброе. Это еще страшнее, чем если бы она просто была злой целиком.

Начался дождь, и слышно, как капли снаружи барабанят по оконным карнизам. Я убираю игрушки и гляжу на Вадика. Мне хочется к нему подойти, а он почему-то отвернулся, когда увидел, что я смотрю. Ему уже очень скучно стоять, и он возит грузовиком по полу.

— Синявский, ты наказан. Немедленно убери машинку на место, — командует Нина Алексеевна. И уже мне, ласково: — Катя, возьми у него машинку.

Она уставилась на меня строго и выжидательно. И хотя у нее добрый голос, я знаю: стоит мне послушаться, я опять попаду на «скамейку добра».

Я смотрю на Вадика: он вцепился в свою машинку и ждет. У него так сердито горят глаза, будто мы сегодня не делали вместе ров. Наверное, он думает, что я предатель.

Я оборачиваюсь к Нине Алексеевне, она все еще смотрит. Я чувствую: ей очень важно, чтобы я забрала грузовичок. Потому что это будет значить — мы с ней вроде как заодно.

«Ну что за день сегодня такой, что меня ни попросят, я все не могу», — думаю я.

Я отворачиваюсь от них и иду к выходу в раздевалку. Мельком вижу, как Вадик спрятал машинку за спину, чтобы ее защищать.

Сзади что-то кричит Нина Алексеевна. Но мне уже все равно. Наказывайте меня, делайте что хотите.

Как же я удивляюсь и радуюсь, когда вижу, что в раздевалке уже стоит мама. Я утыкаюсь в нее носом, чувствую запах мокрого пальто и мамин запах. Неужели это все закончилось? Мне хочется поскорее уйти из садика.

— Давайте сделаем фотографию, сегодня же твой первый день! — говорит мама гордо и радостно. — Нина Алексеевна, давайте вместе с Катей.

Воспитательница держит меня за плечи, а я изо всех сил держу кончики губ, чтобы вышла улыбка. Мама смеется:

— А то меня все спрашивают, как ты тут.

Потом мы идем с мамой вдоль сетчатого забора, который хочется зацепить рукой и тренькнуть. Я иду и делаю: трень, трень. А мимо меня с растопыренными руками проносится Вадик, за ним тоже рано пришли.

Мама идет слева, держит меня за руку, а другой рукой нажимает на экран телефона.

Как бы сделать так, чтобы она на меня посмотрела. Надо сказать что-то такое интересное, чтобы она не смогла не ответить.

— Мама, меня Лидия Ивановна сегодня обозвала плохим словом, — говорю я торжественно.

— Не выдумывай! — Мама смотрит в телефон, она так всегда делает после того, как выложит фотографию. Хочет знать, кто поставил лайки.

— Я никогда не выдумываю.

— Ты, наверно, сама была виновата, — говорит мама рассеянно и снова утыкается в телефон.

В голове мелькает мысль: «Я же не хотела ни с кем ссориться». Но я уже отпустила мамину руку, остановилась, и у меня слезы брызнули из глаз.



— Я не виновата! — я топаю ногой и по маминым глазам вижу: все пропало.

— Истеричка, — шепчет мама, озирается по сторонам, наклоняется ко мне и говорит: — Тихо. Надоела уже на людях скандалы закатывать.

Она опять берет меня за руку, и мы идем домой молча.

Я очень расстроена. Я, видимо, совсем не могу не ссориться с людьми. Почему я такая злая?

Мама возится на кухне, а я захожу к себе в комнату, открываю тумбу стола, просовываю руку под все книжки, альбомы, карандаши и достаю наощупь половинку тетради. Розовую с тонкой линейкой внутри и с косой полосочкой. Раньше это был словарь для логопеда, а теперь это мой личный словарь.

Я вспоминаю, что нового сегодня узнала про себя.

«Истеричка» — листаю страницы, это уже есть.

«Пенек с глазами» — это новое.

Я отступаю красную строку. И пишу красиво, здесь нужно писать красиво, потому что это словарь. Заканчиваю выводить и люблюсь. Хорошо получилось. Уже собираюсь спрятать словарь в стол, но вспоминаю еще одно слово.

Это слово хочется держать на языке, как леденец. Я чувствую, как оно перекатывается за щеками и тихонько стучит о зубы. Его нужно хорошенько спрятать.

Я откладываю ручку, беру карандаш, потому что карандашом незаметнее, открываю словарь в середине, там, где мама точно не будет искать, и пишу с большой буквы: «Все-ленная».

## ХАЛИМАТ ТЕКЕЕВА

### СЕСТРЫ

— Мурат, кьой! Она отношения к этому не имеет!

— А ты молчи! Вырастила, дура, дочь: американскую шпионку!

— Папа!

— Что «папа»? Так и есть: американская шпионка.

У Рады будто отнялся слух. В черепной коробке что-то гудело и мешало думать. Ослабли руки, кровь по сосудам будто стекла к подушечкам пальцев. Телевизор верещал что-то злое — Рада никогда не вслушивалась.

«Хорошая кавказская дочь не спорит с родителями. Будь хорошей кавказской дочерью. Успокойся. Молчи», — сказала себе Рада. Если уж честно, то она не была хорошей кавказской дочерью: поступила на филологический, а не в медицинский, как того хотели родители, больше внимания уделяла любимому итальянскому, а не родному карачаевскому языку. А в конце прошлого года устроилась в организацию по защите прав женщин. Независимая маленькая контора с названием на латинице, всего несколько человек в штате. Рада была там и фотографом, и пресс-секретарем, и составителем бесконечных заявок на гранты. Зарплата маленькая — ремонт в родительском доме на эти копейки не сделаешь, а как в неотремонтированном доме женихов принимать? Позор! Да еще вот акция эта. Коллеги Рады вывесили баннер «Бьет — значит, убьет» на здании Госдумы (депутаты как раз

принимали закон о декриминализации побоев в семье). И эту акцию почему-то уже целую неделю обсуждали в медиа. По телевизору рассказывали, что девушки не то дуры, не то экстремистки, не то враги России, которые хотят подорвать доверие к власти. Лица Рады не было ни на снимках, ни на видео. Она не хотела расстраивать родителей, поэтому спряталась от телекамер, была фотографом, а не участником действия. Но не помогло — родители вспомнили, где она работает. И вот Рада уже полчаса слушала вопли отца и уговоры матери, пытавшейся его успокоить.

Рада усмирила гул в голове и попробовала вмешаться:

— Папа, как раз я патриотка. Для меня это важно. Мне жаль, что ты думаешь иначе.

Ее слова звучали еле слышно. Как другие люди срываются на крик, так Рада переходила на отстраненный шепот, будто боялась, что, сказав что-то во весь голос, не сможет сдержаться и наругает.

— Я пойду к себе.

Мать кивнула, Рада ушла в другую комнату. Там младшая сестра Рады, Бэла, паковала вещи в большой рюкзак. Она собиралась в очередную поездку: в ее университете уже привыкли, что девятнадцатилетняя студентка заваливает сессии, а потом очаровывает преподавателей историями про свои путешествия. Родители не знали, сколько времени дочь проводит в дороге, — Бэла жила в общежитии в Москве и умудрялась скрывать свое отсутствие, а старики оставались в Подмоскowie. Рада тоже жила в столице, в съемной комнате, но чувствовала себя так, будто родители видят каждый ее шаг.

Веселая девушка откинула темные волосы с лица и посмотрела на сестру.

— Проводишь до вокзала?

— Я же обещала. Деньги на поездку нужны?

— Сама знаешь. Мне за фриланс за два месяца не заплатили до сих пор, вот и просчиталась я по расходам.

— И не просчитывала, наверное, — усмехнулась Рада. — Как в университете?

— Ну, так. Хрыч этот все никак не ставит зачет по теории. С зимы гоняет на пересдачи. Надоел. Что, тяжело? — переменяла разговор Бэла, кивнув в сторону комнаты, где мать с отцом продолжали выяснять, кто хуже воспитывал Раду.

— Ага.

— Успокоятся, — Бэла поставила на кровать раздувшийся от маминых гостинцев смешной ярко-розовый рюкзак и навалилась на него, чтобы покрепче застегнуть.

«А я не успокоюсь», — подумала Рада.

В комнату вошла мать.

— Радмила, говорила я тебе, не надо устраиваться туда! Ты видишь, до чего отца доводишь?

— Это я-то довожу?

— Сил моих никаких на вас двоих не хватит. Он считает, что я виновата, ты все время огрызаешься, будто я что-то сделала — всем вокруг я плохая!

— Мама, ты очень хорошая, мы все тебя очень любим! — улыбнулась Бэла матери, как ребенку. — А теперь я украду у тебя Раду, она меня на поезд до Новгорода посадит.

— Ты тоже молодец: постоянно где-то мотаешься!

Бэла закатила глаза, и мать стушевалась.

— Позвони мне обязательно, когда сядешь в поезд. И когда на ночлег устроишься, тоже позвони. Не жалея денег на роуминг!

— Да-да, хорошо!

— Давай. Рада, проводи ее. Ты же вернешься сегодня? Сколько можно жить по чужим углам, переехали бы обе к родителям, как нормальные люди.

— Мам, в нашем доме нет места: ты в одной комнате спишь, папа уже давно в другой, а нам с Радой где, на кухне поселиться? И на учебу и работу долго добираться, много

раз уже обсуждали, — Бэла поправила на плече лямку рюкзака, взяла сестру за руку и повлекла в коридор.

Сестры вышли на улицу. Были майские праздники, время, когда и в Москве можно радостно гулять и ни о чем не думать. Рада не понимала Белкиного желания в такую погоду уезжать из дома. Белка вечно где-то колесила. Вот и сейчас...

Они залезли в автобус до вокзала.

— Ну и бабий бунт устроила твоя контора! Горжусь, сестра.

— Да я же не вешала баннер, только фотографировала.

— О чем наверняка жалеешь, — улынулась Бэла. — В нашем доме тоже нужна революция, я одна за вас с матерью отдуваюсь.

— Ой, Белка, прекрати.

— Нет, я серьезно. Давай начистоту: как тебе это все еще не осточертело? Ты все детство меня растила почти одна, потому что родители работали. Да, я знаю, они не виноваты, надо было на что-то жить, как-то зарабатывать. Но тебе двадцать три года. Ты лет с двенадцати несла полную ответственность за меня. Кормила, штопала мне вещи, готовила со мной уроки. Как взрослый человек. И никогда не тревожила родителей. В этом и проблема. Дети должны тревожить родителей. Ты не они, тебе хочется не того, что им. Это нормально.

Рада молча сощурила глаза, будто вглядываясь в обочину дороги.

— «Американская шпионка», ну охренеть же. Как же люди обожают размазывать по стенке тех, кто им не отвечает, — добавила Бэла.

У Рады дрогнули губы. Родители часто били ее — и никогда не трогали Белку. Белка всегда была оторвой, но это замечала только Рада. Чем тяжелее было Раде, тем больше ей хотелось свободы для Белки, чтобы детство ее длилось по-

дольше. Она не говорила Бэле, что лазать по деревьям, давать сдачи пинающимся мальчикам — не для благородной дочери Кавказа. Она не пыталась сделать из нее идеальную горянку. Мать вмешиваться не успевала, отец воспитанием детей не занимался из принципа, а Рада потакала сестре. Тем более, что и сама не понимала, зачем переделывать Белку.

Мать потом винила Раду, что Белка не поддается никакому влиянию, но было уже поздно. Та уже научилась и спокойно давала понять, что делает что хочет и никого слушать не будет. Родители только беспомощно разводили руками.

— Мне кажется, то, что я отдельный человек, — это они понимают. Не станут же они себя называть американскими шпионами, — хмыкнула Рада.

— Ну, это другой разговор. Им надо себе сейчас как-то объяснить, как ты такая выросла. Все Госдеп виноват.

— Белка, они любят нас. И меня, и тебя.

— И что, тепло тебе от их любви? Ты не сегодня-завтра сама заберешься куда-нибудь повыше с баннером против патриархата.

— Ну, любовь — это не всегда легко.

— Почаще себе это говори, «американская шпионка», «пустое место», как там они тебя еще называют?

От слов сестры боль была, как если бы Рада порезала пальцы острым ножом. Не страшно и не опасно, но надолго. Как ни пытайся не обращать внимания, будет ныть, тягуче и тупо.

Долго ехали молча. Белка заснула. Рада злилась больше на жизнь, чем на сестру. «Почему сколько я ни стараюсь, я всегда недостаточно хороша? Почему Белка делает что хочет — и ей всегда потакают? Ее не контролируют, как меня, ее не ругают за плохие оценки в вузе, ее не донимают разговорами о женихах и правильном поведении. Мне бы и деся-

той доли ее вольностей не простили. Да, она умеет так ласково говорить, так все обставить, что родителям неловко с ней ругаться. Она такая счастливая и солнечная, а про меня все говорят, что я холодная и надменная, или что я хамка».

— Бэла, мы приехали.

— Отлично, еще полчаса есть, пошли в забегаловку за кофе.

Сестры сели за пластмассовый столик. Бэла вертела в руке одноразовый стаканчик.

— Так вот. Мне кажется, тебе надо отдохнуть. Прямо сейчас. Иначе ты с ума сойдешь. Ты уже выглядишь как ходячий труп. Сколько ты работаешь? Сколько часов обсуждаешь с матерью, как ты к ней жестока? Ты помогаешь ей чем можешь. Научись наконец-то жить для себя, за тебя жить никто не будет. Поехали со мной в Новгород. Погуляешь, посмотришь город. Там природа такая, закачаешься! Ты фотограф, в конце концов, тебе надо много путешествовать, делать съемки.

— Нет. Я не поеду. Я обещала родителям помочь по дому на этих праздниках. Нам с мамой пригодилась бы твоя помощь, кстати. Но ты же не я, ты отдыхать едешь.

Бэла отвернулась, достала из рюкзака влажные салфетки и вытерла руки.

— Рада, я не буду на тебя давить. В конце концов, только ты знаешь, как хочешь прожить свою жизнь. Окей? Только не жалуйся потом.

Бэла погладила ладонь сестры. Радины пальцы резко растопырились, и сестра отдернула руку.

— Я и не жалуюсь.

— Рада, котенок, я желаю тебе добра, но, кажется, ты безнадежна.

— Ну так и не мучай меня больше! Вообразила себе, что ты такая умная, все знаешь, — огрызнулась старшая сестра.

Кажется, их слышали все в привокзальном кафе. Голова Рады снова загудела.

— С какой стати ты решила, что можешь указывать мне, что делать? Ты в своей жизни сначала разберись! У тебя с зимы хвосты тянутся, и денег вечно нет. Постоянно сбегашь из города, никогда серьезно с родителями не говоришь. От тебя нет никакой помощи мне. Ты же сливаешься в любом споре. Только мне перечить научилась.

— Говорю же, безнадежна.

Бэла встала, придерживая стул, чтобы он не завалился под тяжестью повешенного на спинку рюкзака, переложила его на сиденье и вышла в туалет. Время тянулось очень медленно, Рада смотрела по сторонам и пыталась отогнать мысли о своей неблагодарности. Вернулась Белка, молча подхватила рюкзак и кивнула: пора. Сестры вместе вышли из кофейни.

— Напиши мне, когда доедешь и поселишься, хорошо?

— И не подумаю.

— Ну, эй, ты обиделась, что ли?

— Иди к черту. Выкарабкивайся сама из этой лужи с дерьмом. Себя я туда затащить не позволю.

Бэла с улыбкой протянула билет и паспорт проводнице, села в поезд, через минуту он вздохнул тормозами и тронулся. Рада осталась на перроне. Что-то навсегда поломалось в их с Белкой дружбе, поняла она. И поплелась к автобусной остановке.



## СТЕФАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ

### ЖИВОЙ

— Март, ты что, оглох? Куда ты там уставился? Ты помнишь, что завтра в школу?

«Я не верю, не верю. Там должно быть что-то другое...» — думал Март, всматриваясь куда-то вдаль за окно.

— Тебе уже двенадцать, шестой класс. Тебе уже думать надо о будущем, как ты школу будешь заканчивать, Март?! Ольга Александровна весь прошлый год на тебя жаловалась, что ты постоянно отвлекаешься на уроках.

— Вот, замечание так замечание: читает книги на уроках литературы, — съехидничал Март.

— Март! Есть определенный регламент, образовательная система, и, в конце концов, взрослые лучше знают, что нужно их детям. Мы о тебе заботимся.

«Мне иногда кажется, что вы никогда не были детьми», — подумал Март.

— Да, да, да, — сказал он вслух и задернул занавеску. — Яйцо курицу не учит, и прочее, и прочее.

— Отец, будь добр, вразуми своего сына.

Услышав оклик, отец семейства, заполнявший собой натруженные выемки дивана, вынырнул из-за газеты, как страус из песка. Сходство со страусом дополняли непропорционально большой живот, длинная шея и маленькая голова, которую венчали очки. В течение нескольких секунд он смотрел на объект беспокойства недоумевающим, отсует-

ствующим взглядом.

— Сын... — Очки упали на нос, отчего отец вздрогнул. — Слушай, что тебе мать говорит. — Сделав замечание, тут же засунул голову обратно в газету.

Тут же опять резко вынырнул и воскликнул:

— Ты гляди, Ида! Опять террористы теракт устроили в Европе. Куда катится мир? Близится война, Ида, ты понимаешь?! Нам не избежать Третьей мировой войны!

— Опять заладил, — прошептала мать, закатив глаза.

— Кстати, — лицо отца переменялось, будто кто-то случайно переключил канал, — что у нас сегодня по телику? Может, какой новый сериал вышел... — отец впал в кому, лишь мерное нажатие на потертые кнопки пульта выдавало в нем жизнь.

— Видишь, и отец говорит, что тебе пора подумать о будущем, — лукавила мать.

«Больно надо. Что я там не видел: ящик для жизни, ящик для работы, ящик для развлечений?» — подумал Март.

— Я к бабушке — сообщил он.

— Ты никуда не пойдешь! — строго сказала мать — Тебе завтра в школу.

— Это всего лишь первое сентября, там даже уроков нет! — возразил он, собирая вещи.

— Если ты уйдешь, то можешь домой больше не возвращаться!

— Не волнуйтесь, — раздраженно процедил Март, — не вернусь!

И хлопнул дверью.

\*\*\*

Недалеко, за обездоленной городом рекой, стоял приземистый одноэтажный дом, словно слепленный наспех из грязно-красного песка, с накинутой набекрень высокой крышей. Из глубины его раздавался металлический гром,

возвещая о битве.

Барабанной дробью застучали ножи — ошметки врага летели на кафель. Били молотки. Стучали сковороды и кастрюли. Конфликт только казался локальным, кухонным, но потряхивало весь дом. Первыми выбежали крысы, потом дед, и в доме остались только мыши, робко выглядывавшие из норок, не решаясь на побег. Крыша дома ерзала из стороны в сторону, и, казалось, она вот-вот слетит, оголит пыльный чердак, где хранятся законсервированное лето и частичка осени, бережно откладываемые на зиму.

Мимо Марта промелькнула бабушка, даже не заметив его. Ее хрупкие и прозрачные руки порхали, как крылья бабочки, по всей кухне поднимался густой пар. На кухне стоял запах вареной свеклы, чеснока, ржаного хлеба и всяких неведомых Марту специй и трав. Как опытный воин и полководец, не раз горевший в боях, бабушка берет высоту: вскакивает на табурет, хватает несколько цветных баночек и безжалостно опрокидывает их нутро в бурлящие котлы, где кипит багровое месиво. Спрыгнув, подкидывает снаряды в зев печи, подогревая поле брани.

Затем бабушка, оседлав ветерок, порожденный множественством щелей и створок дома, исчезает и появляется в разных его частях. Чердак. Лестница. Подвал. Улица. Сарай. Прихожая и снова кухня. И не было бы конца этим перемещениям, если бы Март, не привыкший к такой стремительности, уставший вертеть головой, не крикнул:

— Баб Ань!!! Я пришел.

— О, внучок, привет!!! — раздался откуда-то бабушкин голос. — Это ты? Опять через забор перелез, ну ты даешь!

Март улыбнулся — ему нравилось, когда бабушка удивлялась простым вещам.

— Я как раз супчик сготовила. Будешь?

— А какой? — урча желудком, спросил Март.

— Твой любимый — борщ. Наваристый, пальчики оближешь.

— Конечно, бабуль, налей.

Запах, подхваченный ветром, ворвавшимся в открытую дверь, разнесся по всему дому.

— Аххх, что у нас сегодня на обед. Борщ с чесноком и хлебом. Вкуснотища! — безошибочно угадал дед, разуваясь в прихожей.

Он стоял на пороге кухни, и чуткий его нос улавливал каждый оттенок запаха.

— Ах, и наваристый же суп получился, правда, соли маловато, но ничего, ничего...

— Дед, ты же еще не попробовал? — удивился Март.

— Да, нет, я уже наелся. Спасибо тебе, моя старушка. Вкуснятина! — он приобнял бабушку и чмокнул ее в щеку.

Казалось, что дед никогда и ничего не ест. На рассвете он хватал кусочек сала и баночку свежей росы. В полдень заходил в дом, дышал запахом только приготовленной еды. С вечера надаивал звезд с Млечного Пути. Такой малости, на которой, казалось, не выжить ни одному современному человеку на Земле, деду хватало сполна.

Жилистый, упругий, как сверчок, дед ловко скакал по сараям, чердакам и гаражам. Летом, он впитывал жар солнца, обманывал это языческое божество, ловко крал его лучи, закатывал их в стеклянные банки и быстро прятал. Бабушка была его тайным сообщником. Март знал это, но никому не рассказывал.

Зимой они, опытные мошенники, выдавали ему эти лучи за фруктовый компот или ягодные варенья; но Март ясно ощущал сладко-кислый привкус солнца, которого ему особенно не хватало в феврале, когда зима порядком поднадоедала, а весна все не приходила, только иногда ложилась белыми отблесками на облупленный подоконник класа, делая томительное ожидание еще более невыносимым.

Накидывая чоботы на тонкие ноги, дед, по своему обычаю, напевал: «Побегу, так много дел, так много работы! Столько еще надо успеть».

— А сколько? — решил полюбопытствовать Март.  
— Как сколько? А ну-ка! Пойдем, покажу!  
— Куда ты мальчика-то потащил, пусть отдыхает! Старый ты черт! — упрекнула старуха деда, но Март, облизав тарелку, запихивая в рот последний кусок хлеба, обувался.  
— Ну, ну, не подавись только. Эх... — вздохнула она, и каждая морщинка на ее лице улыбалась.

\*\*\*

— Вот, Март, смотри! Козы: Аглаша, Марья, Ньюша, им же надо сено есть. А сено где взять? Надо на дачу ехать, траву косить. Заготовки на зиму делать. Потом, подоить, погладить, поговорить. Знаешь, какие козы собеседники, заслушаешься! Она тебе такое понарасказывает!

— Да ладно? — Март посмотрел на деда недоверчиво.

— Ну, ты чудак, Март! Вы там, в городе, совсем жизни не знаете. Ты послушай ее, она тебе расскажет, какие сегодня яблони цветут; какой силы ветер; будет или нет дождь. Козы прогноз тебе скажут поточнее всяких там баранов по телевизору.

Март засмеялся.

— Да, да. Это я тебе серьезно говорю. Правда, взамен их надо выслушать. Они тебе пожалуются, как им было холодно зимой; что их бесит соседский кот Тигроша; что Тузик вечно кусает их за бока. А курицы? Ах, ты бы слышал! Насплетничают, кто их дерет, кто яблоки, вишни и сливы ворует из нашего сада. Уши закладывает, сколько накудахтают тебе, новостей на весь день хватит.

— А потом?

— А что потом, возьмешь велик, да покатишь по холмам и тропинкам, мимо серебряных ручейков, мимо зеленых лугов, мимо леса. Ах, хорошо! Дышишь. Понимаешь? Дышишь! Одно журчание да щебетание в ушах.

Март сразу вспомнил, как гнал, что есть мочи, вдавли-

вая педали своего новенького горного амортизированного велосипеда с двадцатью четырьмя скоростями, а дед спокойно катил на своем древнем шоссейном «Аисте», взлетая на гору, легко и свободно, одним взмахом крыльев, еще и покрикивая назад: «Слаба-а-а-к!!!»

— Дед, ты так интересно рассказываешь! А расскажи еще.

— Да, что толку рассказывать? Тут показывать надо, понимаешь. Жизнь — ее показывать надо.

Тузик неистово вилял хвостом, как щеткой сметая паутины со всех углов. Пришлось взять его с собой. Калитка прощально скрипнула, провожая три силуэта: мальчика, деду и собаку. Они шли в ярком закатном свете солнца, уменьшаясь, пока совсем не исчезли, не превратились в три крошечных пятнышка на ровном фоне желтого диска.

\*\*\*

— Вот ты дышишь, а чем дышишь? В городе грязь, слизь, выхлопные газы. Щупаешь, а что щупаешь? Гладкие тетрадки, портфели, ручки, парты, доски — это все мертвое, понимаешь? А на природе — оно все живое. А что слышишь? Шум клаксонов, моторов, заводов, вечное гудение, как в трансформаторной будке. Кто может жить в трансформаторной будке? А здесь, видишь? — Они вышли к зеленым лугам, где виляла небольшая, но быстрая река.

— Но есть же... — Март хотел было возразить, что в городе есть парки, аллеи, пруды, фонтаны, деревья и многое другое, и что, в общем, жизнь в городе лучше и изобильнее. Но слова заглушило чирикание дюжины воробьев, севших в ряд на большую ветку дерева, названия которого Март не знал. Ласточка мелькнула белым крылом и улетела. По полю, рядом с небольшой заводью, важно шел аист, заглатывая лягушек. А вдалеке, над сосновой рощей, куда вела широкая тропа вдоль речки, постепенно сужая круги, парил сокол.

Март никогда прежде не видел сокола, поэтому заворонено наблюдал, как крылья плавно разрезают слои атмосферы, как птица делает крен, идет по спирали вниз, а потом резко взмывает, и так по несколько раз. Мешает ли соколу ветер, или тугие воздушные слои держат, не дают снижаться? И было непонятно, что он делает здесь, вблизи города, где соколы не обитают, где можно лишь одиноко парить, а на землю спуститься нельзя.

Глядя на полет сокола, Март вспомнил сварливый голос вороны, что поклевывала огрызок яблока, ругая ворона за то, что он опять пришел с пустым клювом, а птенцы их голодают; вспомнил серых голубей, что глупо таращат глаза, кивая, будто на все соглашаясь, лишь бы им и дальше кидали крохи еды.

— Смотри, какой пейзаж, — прервал размышления дед — Простор! А в городе что? То в забор упрешься, то в тупик, то в здание серо-коричневое. Заглянешь в окно: все ртами шамкают, уставившись в телевизор. А жизнь-то, вот она, Март! Понимаешь!?

— Да, дед! — восторженно воскликнул Март.

— Ну, тогда побежали, раз понимаешь!

— Куда бежать?

— Просто побежали. Куда ноги несут, туда и беги; далеко-далеко, Давай! Главное — ничего не боятся. Ничего не бойся Март. НИ-ЧЕ-ГО, Ма-а-арт, слышишь НИ-ЧЕ-ГО!.. — прокричал дед и рванул вместе с Тузиком вперед по тропинке.

«Да куда там, его даже Тузик перегнуть не может», — подумал Март, но устремился вслед.

— Ну, что Март, устал? Запыхался?

— Нет... супер.... Класс, дед... — тяжело дыша и морщась, кричал Март, подбадривая сам себя.

— Вот тебе поле, речка, луга, холмы, равнины! Смотри!!! Простор.

— Да, дед... — зажимая бок, ноющий от боли, отвечал Март.

Они бежали по широкой гравийной дороге, и Март, как впервые расправивший крылья птенец, превозмогал страх, боль и усталость, лишь бы держатся наравне с дедом; судорожно трепещет крылышками, но вдруг ощущает воздух, мах становится уверенней, и вот — полет.

Боль внезапно пропала — бежать стало легче, движения стали плавные. Весь мир вокруг преобразился, приобрел какую-то целостность. Тропинка постепенно сужалась — по локтям хлестала трава. Март не заметил, как пронесся мимо быка с мощными, заточенными, как рапиры рогами, как бык ненадолго увязался за ним. И не заметил он, как снова остался один.

Опьяненный чувством свободы, гонимый неведомой силой, исходящей откуда-то извне, он бежал, не сбавляя ходу, пытаясь догнать стремительно уплывающее солнце. Словно несли его не ноги, а кто-то, подхватив под локотки, проносил над землей — никогда он так быстро не бегал. И бежал бы, кажется, до грани дня и ночи, не давая дню уйти, будто вцепившись в луч солнца, пытаясь за него потянуть, отчего желтый клубок, укатывался все дальше и дальше. Речка резко вильнула, вместе с ней и тропа, такая узкая и травянистая, что Март не заметил ее исчезновения, не успел затормозить перед предостерегающим от опасности кустом, а там раскрылся обрыв; и солнце утонуло.

\*\*\*

«И это все?» — только успел подумать Март, падая в бурлящий шумный поток. В этом месте дикая речка была особенно глубока, повсюду, то тут, то там, закручивались маленькие черные воронки. Марта охватила паника. Морозная вода сразу попала в горло, он начал кашлять, барахтаясь, заглатывая все больше и больше тяжелого холода. Инстинктивно закидывая руки все дальше, казалось, вот-вот он достигнет берега, но он все не приближался — Март стоял



на месте. Руки-плети, как чугуны. Силы заканчивались, становилось все холодней, тело немело и тянуло на дно. Гулкий стук сердца отдавался в ушах, замедлялся. Пустота — будто невесомость. Тело перестало сопротивляться, а потом и Март.

Его сознание угасало, только успев проснуться. И словно кто-то, опускавшийся рядом на дно, думал за него, что если бы повернуть все вспять, то он бы берег каждую секунду своей жизни, каждое мгновение. Нет, он бы не тратил время зря. Он бы вставал в пять утра, чтобы вдохнуть свежий запах росы, увидеть холмы в рассветном тумане, омочить ноги в некошеной траве. Он бы до вечера бродил по полям и лугам, чтобы ощутить прохладу свободного ветра; скакал бы по холмам, пытаясь допрыгнуть до облаков; кричал бы, не боясь, что его кто-то услышит, и был бы счастлив, провожая закатное солнце. Он бы мог... да-да, все что угодно, но...

\*\*\*

Неведомая сила тормозила и тянула тело Марта, выталкивая к берегу.

Март очнулся, закашлялся, выплевывая воду из легких. Обессиленный, продрогший, он лежал у кромки воды, раскинув руки в стороны, его потряхивало. Он не понимал, жив он или мертв.

Все облака куда-то улетучились, и он остался один на один с темнеющим океаном неба. Его глазам открылся необъятный безграничный простор. В тоже время Марту чудилось, что он замкнут под прозрачным куполом, как в кокон, отгораживающим, будто оберегающим его от опасного мира. Он хотел вырваться, избавиться от этой всеобволакивающей заботы, окружающей среды. Выражая это в мальчишеском раздражении: отмахиваясь от ласки матери, особенно, перед лицом своих сверстников. И вот —

при первом соприкосновении с реальным миром он чуть не погиб.

Кто-то лизнул ему руку.

— Тузик!!! — воскликнул Март. — Так это ты!

Март переживал нечто странное. Возможно, он никогда не сумеет это осмыслить. Но здесь были ответы на все вопросы. Он вдруг вспомнил, как дед зашел босыми ногами в муравейник и стоял минут десять, глядя на Марта, а тот в ужасе смотрел на ноги деда, по которым бегали полчище муравьев. «А, Март?! Ну! Как тебе мои новые калоши? За деньги такие не купишь. Давай! Что боишься? Трусиха, не бойся, Март!»

Рядом с ним, выпустив язык, дышал Тузик. Нет, теперь он не боится. Мир сохранил свои размеры, а он свои, но что-то изменилось, что-то невидимое и неуловимое. «Я живой!» — кричал он каким-то внутренним голосом.

Эти два слова приобрели для него совсем новый оттенок, иной смысл. Он открыл для себя целый мир, который всегда лежал под ногами, но он его никак не замечал. Перепрыгивая от компьютера к книгам, гоняя футбол во дворе с друзьями, он не успел вдохнуть запаха лета, и вот, уже последний день... а он, оказывается, живой.

Сейчас, когда грудь вздымалась высоко над травой, жадно вбирая воздух после недавнего потрясения, он чувствовал живительный сок лета ноздрями. Он был как Винни-Пух, вспомнивший о тайном горшочке меда, жадно глотающий, выскребающий остатки с самого доньшка.

«Но ведь еще не поздно, столько еще рассветов и закатов, и ничего, что школа, ее можно терпеть, пока там есть Алла Михайловна, учитель математики, и Татьяна Григорьевна, учитель истории. Пока они есть, школу можно терпеть».

Ему стало любопытно: а что происходят с теми миллионами и миллиардами людей, где-то там? Знают ли они, что живут?

«Вот бы была возможность всем рассказать. Я бы мог стать инженером и изобрести такую штуку, по которой можно было бы всем все сообщить. Но ведь есть! Есть телевизор, интернет. Почему же тогда им никто не скажет? А может они уже все знают? — недоумевал Март. — А может, мне стать путешественником или исследователем? Я бы мог открывать новые земли и вдохновлять людей. Теперь я знаю: чтобы начать путешествие, достаточно выйти из дома. Я бы мог объехать весь мир, а потом вернуться и рассказать остальным, что там, за горизонтом».

Но тут он вспомнил плоские карты и шарообразные глобусы без единого пустого места. Весь мир уже исследован. От этих мыслей ему сделалось тоскливо. Тогда он посмотрел вверх и, наконец, понял, о чем говорил дед.

Звезды с неба свисают гроздьями белого винограда. «И все это скрывал от меня искусственный ламповый свет города. Зачем?» Как же ему хотелось оказаться на той или на этой звезде. И увидеть лазурь Средиземного моря, и северный свет берегов Гренландии; почувствовать жаркое пламя Сахары и холодные ветра Сибири; побывать на вершине Альпийских гор и в степях Казахстана; услышать тишину прозрачных вод Байкала и шум реки Ориноко. Прикоснутся к небу над головой, к земле под ногами, чтобы ощутить жизнь — тонкую невидимую грань между ночью и днем.

Мурашки пробежали по коже, будто свет звезд проходил насквозь. По щеке стекала слеза. Он понял, что больше всего в жизни хочет стать не ученым, не инженером, не путешественником, а коллекционером. Коллекционером впечатлений. Он откроет банк «Впечатления», заведет сберегательный счет и каждый месяц будет откладывать туда все новые и новые ощущения, чтобы жить на это в старости. Но это все для себя.

А для других он будет исследователем жизни. Он откроет еще немало тайн, но первую тайну, которую он узнал, он

постарается всем раскрыть. Он даже заведет блокнот, когда придет домой, и запишет: «Тайна №1: Я живой!»

Лимонная луна скользит по наклонной за темные вершины деревьев. На несколько часов небесный трон пустеет — анархия миллионов звезд. Одни формируют созвездия, другие одиноко светят, третьи падают по дуге и вмиг гаснут. Земля остывает, становится все холодней, и поля накрывает росой. Закинув голову, высунув язык, Март идет домой, пытаясь облизнуть звезды. И ему кажется, будто дорога бесконечна — потому что небо над головой никогда не кончится.

\*\*\*

За забором дед вовсю колот чурбаки, кидая дрова в большую кучу.

— Без меня, дед? — возмутился Март.

— А, Март! Ты куда пропал? За тобой прям было не угнаться. Будто с цепи сорвался. Хорошо хоть Тузик тебя догнал. Он мне все рассказал, — загадочно подмигнул дед. — Но ты давай беги, твои родители уже обзвонились. Волнуются. Хех, — ухмыльнулся дед.

— А ты мне дров колоть оставишь?

— Так приходи.

— До субботы не могу, мне же в школу надо.

— О, уже осень?! — удивился дед, — А я и не заметил. Это надо поторапливаться. Столько дел еще, столько дел, — и тут же исчез, ускакал куда-то между гаражей, сараев, чердаков.

— Я на выходные приду!.. — кричал Март ему вслед. Но дед уже не слышал.

\*\*\*

— Где ты был? Мы уже все морги обзвонили, в полицию хотели писать заявление, — сердито выговаривала мать.

— Да так, гулял.

— Гулял? — Мы всю ночь не спали. Всех на уши поставили. Переволновались, а он, видите ли, гулял. Тебе повезло, что сегодня первое сентября, праздник, а так бы получил бы по полной. Правда? — Адресовалась она к страусообразному отцу, который почитывал очередную газету, попивая чай и заедавая шоколадным печеньем.

— Угу, — кивнул он.

— И где ты только так извалялся? О господи, опять штаны изорвал. Где я тебе столько денег наберусь, новые штаны покупать, или ты считаешь, что у нас с папой денег куры не клюют?

— Извини, мамуль, я теперь все понял. Я живой, — неожиданно для себя Март обнял маму и поцеловал ее в щеку.

— Конечно, живой. Что за глупости ты несешь. Снимай лучше штаны, зашью.

Он смотрел на маму совсем другими глазами. Глазами путника, вернувшегося из далекого путешествия, узнавшего то, что возможно, родители никогда не знали или давно забыли.

— Одевайся, я тебе говорю. Ты в школу опаздываешь.

## ИВАН ЯКУНИН

### ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН

В голове крутилась только одна мысль: успеть. Фонари станции, турникеты, зазывное «шаурма, лючшая на вокзале» — все мимо. Успеть, успеть. Я уже влетел в тамбур вагона, услышал за спиной шипение захлопнувшихся дверей, а призыв «успеть» продолжал стучать в голове. Глубокий вдох для успокоения. Признаться, единственное, что меня успокоило — это столбы вдоль железной дороги, сменяющие друг друга за окном, и постукивание колес где-то у меня под ногами. Все же глубокий вдох не помешает, чтобы сбить бешеный ритм сердца после пробежки.

Последняя ночная электричка развозит поздних пассажиров, раскачивая на своем хвосте последний вагон. В вагоне едко пахнет чем-то знакомым любому, кто проводит часть своей жизни в поездах и на вокзалах. Источник запаха издает протяжный рык, пытается перевернуться на другой бок, мелькнув грязной шапкой-петушком. Бомж не желает беспокоить соседей по вагону и снова исчезает за спинками сидений. Будто пытаясь укрыть бомжа от глаз, в вагоне гаснет свет. В черных окнах проходят контуры построек. Стоит свету вспыхнуть, как оконные стекла заполняются лишь отражениями грязного убранства вагона.

В середине вагона небольшая компания балагуров разливала пиво на пол и громко смеялась, не обращая никакого

внимания ни на мигающий свет, ни на бомжа, ни на меня. Несколько молодых людей, очевидно, припозднившихся студентов, отлично провели день. Им оставалось допить свое баночное пиво, доест чипсы, громко обсуждая только им интересную хрень. То ли какое-то устройство в автомобиле, то ли эпизод очередного блокбастера. В своем маленьком мирке им было уютно.

А мне в вагоне становилось не по себе. Снова мигнул свет. Пока было темно, я успел разглядеть огни приближающегося поселка. Резкий запах спящего бездомного ударил в нос, однако поежился я не от вони. Мне стал неприятен гогот компании, перебивший мерный шум вагонных колес. Лампы загорелись, осветив жирную струю пролитого пива, потянувшуюся по полу в сторону дверей. Определенно, стоит уйти на пару вагонов вперед. Там наверняка можно найти чистый и тихий уголок с соседями, мирно спящими или читающими книжки.

— «Ховрино», следующая станция «Химки» — прохрипел голос машиниста. Его дежурная просьба не прижиматься к дверям пропала в шипящем хлопке створок этих самых дверей. Легкий толчок, и мигающий вагон послушно трогается. К Химкам. Вагоны «Мытищинского вагоностроительного завода» никогда не отличались долговечностью и качеством, и вот сейчас я по натужному скрипу представил, как тяжело пассажиру дается открывание двери из тамбура. Будто следуя приказу «Умри, но с места не сойди», дверь противилась усилиям нового пассажира. Борьба двери и незнакомца пришлась на темную фазу шалого вагона. Тем сильнее был эффект того, что открылось моему взору и вниманию нетрезвых балагуров.

Вспыхнувшие лампы осветили девушку, словно взявшуюся ниоткуда. Пьяницы одобрительно загудели. Сморщив носик, очевидно, на запах бездомного бедолаги, что по-прежнему храпел на сиденье, девушка прошла к свободному месту у окна. Я мог видеть и разглядывать ее через проход.

Признаться, даже не думал прятать взгляд. Что может привлечь в девушке так, что невозможно оторвать глаз? Длинная юбка полностью скрывала ноги, в стройности которых я и не посмел бы сомневаться. Кожаная куртка прятала фигуру, и только полурасстегнутая молния позволяла предположить, что ее грудь с трудом уляжется мне в ладонь. С этой мыслью я впервые оторвал взгляд от девушки и уставился на свои руки, вообразив в них объект этого секундного вождения. Однако привлекал не только вырез куртки, взгляд невольно стремился выше. Вот оно. Я не мог оторваться от ее миловидного, слегка округлого личика, румяного после ночной прохлады. Глаза на этом личике казались встревоженными. Это было бы не удивительно, принимая во внимание спутников в вагоне. Но то была тревога естественная, живущая в глазах всегда, не зависящая от обстановки вокруг. Вот эти магнетические глаза встретились с моими, в них мелькнула искра, девушка улыбнулась. Мне посчастливилось уловить движение губ, и вагон снова погрузился в темноту, оставив меня наедине с фантазией о ее улыбке. Вспыхнувший свет не оправдал моей фантазии — девушка смотрела в окно. По-моему, мне снова нужен глубокий вдох, чтобы успокоится. Я смотрел на ее волосы, угадывал очертания лица в неясном образе, что отражался в оконном стекле. А перед глазами стояла ее улыбка в последний момент встречи наших взглядов.

Нетрезвые ребята и прелый бомж, что-то бормочущий во сне, больше не беспокоили. В надежде на продолжение нашего молчаливого знакомства я уже и не думал уходить из последнего вагона. А если нет... тогда я просто буду наслаждаться ее присутствием, рыжими волосами и тревожным взглядом, пока нас не разлучит нужная станция. Снова погас свет.

И вспыхнул — вздрогнули и она, и я, таким неожиданным оказалось появление нетрезвого паренька рядом с незнакомкой. Криво улыбнувшись, как умеют только силь-



но пьяные люди, паренек плюхнулся на сиденье рядом с девушкой. Ничего в ее взгляде не поменялось. Пьяный мальчишка не испугал и не вызывал интереса. Впрочем, сам нетрезвый ухажер так не думал. Наверное, ему казалось, что он произносит что-то очень романтическое и уже вполне зацепил себе знакомую. Появление второго претендента, пригласившего за «свой столик» и попытавшегося сунуть банку пива, стало перебором. Будто выходя из оцепенения, девушка тряхнула головой и бросила на меня взгляд. Тревожный уже не от природы — наглость пьяных парней ее испугала.

— Привет, Ир. Не узнал тебя, — зачем-то ляпнул я, подсаживаясь к незнакомке. Повернувшись, улыбнулся двум ухажерам: — Парни, не против, мы поболтаем.

— Привет — улыбнулась она. Парни молчали.

Я не знал ее имени, не знал, кто она и куда едет, но чувствовал, как благодарна мне та, кто заставила остаться в этом вагоне. А вот сидящий рядом парень был совсем не благодарен. Я заметил это не сразу, погасший свет скрыл взгляд, который метнул в меня ухажер, проигрывавший эту любовную дуэль. Вероятнее всего, он уже считал жертву схваченной и отдавать просто так не собирался. Возмущенный паренек вскочил, словно в такт с вагоном, качнувшимся на повороте, и промычал что-то грозное. Выглядело это не так устрашающе, как ему хотелось бы, но знакомое «эй, алё» и прочие высказывания за спиной пьяного товарища указывали на то, что обидчика во мне увидели все друзья хмельного ловеласа. Жалко, в этот момент не погас свет. Так хотелось спрятаться от нависшей угрозы. Показалось, что даже бомж перестал бормотать и пахнуть, чтобы не мешать зреющей разборке. Об отступлении не могло быть и речи. Я с трудом представлял, что смогу сделать против пятерых упитых гопников, считающих своим долгом отстоять честь товарища, но твердо решил закрыть девушку спиной. Хотя бы для продолжения знакомства. В тот момент, когда

к пылающему претензией ухажеру приблизился самый смелый из компании, в глазах которого читалось желание размять кулаки, наконец-то погас свет. Но теперь темнота ничего не меняла, драки было не избежать, и мы с названной мною Ирой не исчезнем, как кролики в шляпе.

В этот драматический момент лишенный освещения вагон вдруг заполнился пассажирами, и меня, уже насупленного, изготовившегося, деловито подвинула женщина в темном пальто. А за ней подсел металлист с длинными волосами, а потом еще люди, и еще. Я уже слышал, как кто-то из компании пьянчуг призвал не связываться. Вспыхнул свет, предоставив возможность разглядеть своих неожиданных избавителей. Они совершенно спокойно рассаживались по лавочкам, ближе к задним дверям. Никто из них никак не высказал своего «фи» по поводу ворочающегося бездомного или потеков пива на полу вагона. Их больше интересовала крупная, облаченная в доспехи работника РЖД, женщина. Та властно закрыла за собой двери вагона и приказным тоном, словно тюремная надзирательница, попросила безбилетников выйти в тамбур. Контролерша, наверное, и не догадывалась, что в этом вагоне есть люди, благодарные ей за появление.

Электричка подъезжала к станции. За окном поплыли домишки. Зайцы и часть пьяных гопников во главе с заводилой сгрудились в тамбуре.

— Моя остановка, — тихо улыбнулась «Ира». — Спасибо.

Девушка ушла. Я смотрел в окно, пытаюсь в последний раз увидеть ее в толпе, не обращая внимания на контролершу, которой машинально протянул билетик. «Ира» растворилась среди суеты перебегающих зайцев, так и не показавшись в окне. Перевел взгляд на сиденье. Вдруг бумажка с номером, именем, что-то? Ничего. Она не захотела оставить ни единого следа, подарила только воспоминания и нерешенную проблему с пьянью. Да и из тех в вагоне осталось двое, смиренно сидевших у окна. Им уже было не так ве-

село, и редкие их возгласы беспокоили не больше, чем храп бездомного пассажира, которого я так и не разглядел.

Электричка остановилась на конечной станции. Дальше она не идет. Машинист просит освободить вагоны, что, конечно, никак не относится к мирно сопящему бомжу. Над головой ночное звездное небо. Замер в тишине, обычно оживленный днем, мост через железную дорогу. Дома вокруг подсвечивают темноту спального района редкими желтыми окнами. Город уже спит. Не спят те немногие, кто вернулся на последней электричке. Запах битума едва слышен в ночной прохладе, и станция сразу кажется неживой без этого привычного запаха.

— Эй, парень, — послышалось сзади, едва неосвещенный состав двинулся спать в депо.

Даже не хотелось поворачиваться: я и так предчувствовал, с кем встречу лицом к лицу на темной пустой платформе. Юркая тень мелькнула по застывшей луже, словно сигнал к обороне. И я пригнулся. Ощутил только волну прямого перегара и едва слышное шуршание рукава. Пьяным. В драку. Зачем, паренек? Даже не прикоснувшись ко мне, противник вертанулсЯ вокруг своей оси, едва успел выставить ногу, чтобы не упасть, и угрюмо обвис на перилах, собираясь с силами в пьяном изнеможении. А я восторжествовал, не видя ничего устрашающего в этом мешке с алкоголем. Смутила только пустота под ногой. Я забыл о пьяном, вяло возившемся на платформе. Зачем-то замахал руками — мне казалось, что вот где-то рядом есть поручень, или перила, за которые я смогу ухватиться. Так не хотелось падать на грязную землю, в лужи, уже подмерзшие. Поручня не было. Нахлынула вселенская тоска при мысли об испорченной падением одежде, о гопнике — живом памятнике всему мерзкому, что я только мог себе представить. Затем голова глухо ударилась о рельсу и погасла, как лампа. Всё.

А за изгибом полотна, уходящего в депо, сверкнул красными огнями мой последний вагон.

## НАТАЛИЯ ЯНТЕР

### ГОРОШИНЫ

Тест: заветные две полоски. Необъятно круглый живот, приятная, обещающая боль, первый крик малыша, пеленки, распашонки, кормления по часам, бессонные ночи, первые зубки, первые шаги — вот оно, женское счастье. Простое, даже банальное, но такое понятное, доступное каждой. Или нет.

Я плакала от радости. Вот они, мои полосочки. Розовенькие. Две. А это значит, во мне новая жизнь — так странно, так удивительно и волшебно.

Почему-то была уверена, что будет девочка. Представляла, как буду ее баловать, плести ей косы, наряжать словно куколку. Моя принцесса. Я гладила свой уже чуть выпуклый живот и говорила: «Мама здесь, мама очень-очень тебя ждет.»

На восьмой неделе моя принцесса ушла. Растворилась в месиве боли и крови. А за ней следом еще одна, и еще. Пять моих нерожденных дочерей. Пять куколок с забавными косичками, в прелестных платьицах. Пять моих девочек. Слез не хватало, изнутри душили рыдания, спазмы раздирали грудь, тугой ком стоял в горле, но глаза — глаза оставались сухими, и день за днем в них копилось невыплаканное отчаяние. Но всемо есть предел...

Я решила, что хватит. Хватит хоронить детей. Нет больше ни девочек, ни мальчиков. Все это чушь, бабские бредни.

В тебе нет жизни. Не прорастает. Не дано. Только горох везде приживается. Жизнь — нет.

— Вы беременны, — улыбаясь всем лицом, сказала мне девушка-врач.

Я кивнула. Мне это было неинтересно. Я ничего не чувствовала.

— Вот, смотрите, это ваш малыш.

Она ткнула пальцем в белесую, похожую на горошину, точку на сером экране монитора. В голосе звучали нотки умиления.

У меня внутри горошина, а докторша, глупая, радуется. Я откинулась на кушетке, изучая идеально белый больничный потолок. Неинтересно.

— Ой, их двое... У вас будет двойня! Смотрите скорее!

Докторша возбужденно указывала на еще одну белесую точку рядом с первой.

«Не опидайся от восторга!» — подумала я. Надо же, не одна, а целых две горошины, большое дело!

— У нас две горошины, — сказала я вечером мужу.

— Что? — не понял он.

— Неважно.

Действительно, какая разница. Скоро их не будет.

Проснулась посреди ночи — на простыне кровь. Тоскливо и знакомо тянуло где-то внутри, там, где горошины. Не испугалась, даже почувствовала какое-то облегчение — вот и все. Муж вызвал «скорую».

Дальше по накатанной: холодное зеленоватое мерцание больничных ламп, койка в палате на шестерых, озабоченные лица врачей в выглаженных на скорую руку халатах, катетер в вену и уколы, уколы...

— Когда меня выпишут?

Осмотр проводила дородная заведующая в коротком халате, до предела натянутом на самых выдающихся местах ее

пышной фигуры. Взгляд у заведующей добрый, понимающий, как у воспитательницы в детском саду.

— Пока, милая, придется полежать. Но детки целы, а это самое главное.

Вяло огрызнулась про себя на ее «деток», и потом только удивленно подумала: это что же, получается, горошины на месте. Никуда не делись...

Осеклась.

— Ну и ладно.

— Вы не торопитесь. Я вот здесь уже в третий раз, теперь, наверное, до самых родов. У меня мальчик, нам двадцать восемь неделек.

Пациентка на соседней кровати — не в меру говорливая маленькая брюнетка с острым, но милovidным личиком. С идиотскими советами и расспросами пристаёт по очереди ко всем в палате, то и дело оглаживая худенькой, цепкой ручкой свой выпирающий живот, похожий на баскетбольный мяч. Добралась и до меня:

— А вы кого ждете?

— Никого.

На птичьем лице брюнетки отразилось трогательное недоверие, и тут же по палате разнесся ее неуместно-звонкий смех:

— Какая вы шутница! И скрытная тоже. Но я-то знаю! Слышала, как заведующая с вами разговаривала: у вас двойняшки! Счастье-то какое! Божий дар!

— У меня горошины, — процедила я сквозь зубы.

Вот же дуреха, что за наказание. Но брюнетка не унималась:

— Ну да, они у вас сейчас маленькие совсем, и правда с горошинку. Но скоро-скоро подрастут, с божьей помощью, и превратятся в очаровательных ангелочков!

— У меня горошины, дура ты несчастная! И они не подрастут! И никаких твоих чертовых ангелочков не будет!

Не будет, и не надо! Ты поняла?!

Брюнетка обиженно зашмыгала носом.

— Девочки, ну что я такого сказала, а?

— Оставь ты ее. Не до тебя человеку, — ответила ей другая беременная, кто именно, я уже не видела. Отвернувшись к стене, я ожесточенно строчила мужу смс: «Делай что хочешь, но завтра у меня должна быть отдельная палата!»

По дороге домой после двухнедельного добровольно-одиночного больничного плена меня вырвало в машине, видимо, от радости.

Вырвало в метро по дороге на работу — я забила в угол у самых дверей, сидела на корточках, отчаянно зажимая рукой рот, а сквозь пальцы лезли утренние, недопереваренные мюсли.

Вырвало на прогулке в парке — перепугала всех местных собачников. Вырвало дома от сквозняка, занесшего с лестницы запах соседского курева. Чуть не вырвало от приторно-сладкого аромата духов подруги — сбежала от нее на балкон, пообещав перезвонить.

От одного вида свежесваренных пельменей — муж приготовил на ужин — вырвало немедленно прямо на кухне. На этот раз на балкон вместе с тарелкой сбежал муж.

Яблоки. Крепкие, хрустящие, зеленые. От них было особенно плохо. Но буквально вывернутая наизнанку, обессилено отползая от унитаза, вдруг с ужасом поняла, что снова хочу этих дурацких яблок.

Тошнота прошла, словно и не было вовсе, но живот распух, раздулся, как от горохового супа. По форме он стал похож на небольшую дыню, «торпеда» называется. Дыню с горошинами внутри.

Вечером что-то почувствовала.

Нет, показалось.

Наутро снова. Теперь точно. Как будто что-то сдвинулось внутри и уперлось на секунду в мой левый бок. Разбудила мужа.

— Потрогай. Чувствуешь что-нибудь?

Он положил свою большую, теплую ладонь поверх моей «дыни», замер и вдруг прошептал:

— Да... Чувствую...

Улыбнулся, посмотрел на меня пристально и так странно. С умилением? Нет, не то. С благоговением. Невыносимо.

— Ладно, хватит! — оттолкнула его руку, отвернулась. Подумаешь, горошины перекатываются, эка невидаль!

— Как себя чувствуете?

— Теперь нормально.

Девушка-врач просияла.

— Это хорошо. Пол деток узнавать будем?

Я пожалала плечами, откинулась на кушетку изучать потолок.

— Все равно.

У горошин нет пола, я-то знаю.

— Смотрите: это девочка. А вот тут пока непонятно, но похоже, что тоже девочка будет. Сестренки, значит.

Сердце екнуло, пропустило удар и вдруг помчалось галопом. Отрезвили глаза докторши, лучившиеся раздражающим счастьем. Захотелось ее придушить. Захотелось крикнуть этой вечно улыбающейся дуре: «Какая девочка? Какие, к черту, сестренки? Ты не видишь, идиотка несчастная, это просто горошины!»

Но я вежливо попрощалась и вышла из кабинета.

За ужином сказала мужу:

— Говорят, горошины подросли.

Он посмотрел на меня с беспокойством, но, промолчав, просто кивнул.



Проснулась от тупой, тянущей боли. Ощупала живот — никакого движения. Попыталась заснуть — не смогла. Боль усилилась, накатывая волнами, сжимая внутренности как в тисках. Испугалась. Муж вызвал «скорую».

Дальше по накатанной: холодное зеленоватое мерцание больничных ламп, озабоченные лица врачей в выглаженных на скорую руку халатах, катетер в вену и уколы, уколы...

Внутренний голос истошно вопил: «Рано! Слишком рано!» Не хотела его слышать, сопротивлялась, но понимала — он прав. Рано! Боже, как же рано!

Мужа выгнали, а вокруг меня столпились врачи, перекидываясь страшными фразами:

— Преждевременные роды. Двойня.

— Срок?

— Тридцать недель.

— Раскрытие?

— Полное.

— Нельзя терять ни минуты!

— Недоношенные, риск слишком велик!

— Будем кесарить! Готовьте операционную! — И уже мне: — Женщина, у вас начались преждевременные роды...

— Что?

Я тупо уставилась в наполовину скрытое маской лицо врача, пытаюсь осмыслить, понять...

— Вы рожаете, и...

Быстро-быстро заговорил, я не успевала, не могла разобрать.

Спросила невпопад:

— А как же мои горошины?

Но никто уже не слушал. Меня раздели, уложили на каталку, в непослушные пальцы всунули ручку и какие-то листки — на автомате подписала их ватной, налившейся свинцовой тяжестью, как в кошмарном сне, рукой, — и меня повезли.

Пучеглазая круглая лампа уставилась на меня, ослепляя. Руку выше локтя сжал широкий жгут тонометра. Я старалась отгородиться от ужаса происходящего, не думать и просто дышать. Но просто не получалось — легкие сжала чья-то невидимая и сильная рука. Я задыхалась, жадно, как рыба, хватая ртом воздух — без толку. Вот и все — подумала устало и, с укором посмотрев на маячившее рядом равнодушное лицо в маске, уплыла в темноту.

Очнулась в предрассветном сумраке незнакомой палаты. Голая, с пересохшими до кровавых трещин губами, с подкатывающей к горлу тошнотой. Живот осел, словно сдулся, внизу саднила, пронзая болью все тело, скрытая от моих глаз рана. Внутри глухая пустота.

Подхватилась медсестра, смочила губы, что-то спрашивала, и я что-то отвечала, а в сознании крутился вопрос, который надо было задать, но я не могла, не смела.

По длинным безликим коридорам, печально позвякивая колесиками каталки на порожках, перевезли в другую палату. Муж уже ждал здесь. С серым от усталости и нервов лицом, с запавшими глазами, вместо губ — суровая тонкая линия. Увидев меня, попытался улыбнуться. Не вышло.

Дальше суета: выдали ночнушку и нелепые панталоны в сетку, сменили повязку на животе, на мгновение обнажив уродливую, багрово-синюю поперечную грядку шва, вкололи обезболивающее, заставили встать, сделать шаг, другой...

— Деток, наверное, не терпится увидеть?

Голос медсестры прозвучал словно через ватную стену. Поняла не сразу. Кивнула. А в голове вертелось: «Горошинки... мои горошинки... ГОРОШИНКИ!»

И мы пошли.

В двух прозрачных кюветах, в путях тонких, извивающихся трубок лежали два маленьких, красных тельца. Го-

ленькие грудки трепыхались, как две птички в силках — вверх-вниз, вверх-вниз.

Глаза заволокло соленой влагой. Дыхание, оборвавшись на миг, зашлось всхлипом. Но нельзя, нельзя... Вот и врач — высокий, сухопарый, с гривой седых кудрей, говорит спокойно так, буднично:

— Никаких гарантий мы дать не можем. Девочки очень слабенькие, хотя вес у обеих неплохой. Но угроза инфекции, общая недоношенность... Да вы и сами все понимаете.

Смотрю снова на два тельца с грудками-птичками. Нет, не верь глазам — это горошины, все те же, просто похожи на деток, но все-таки горошины. Горошин нельзя любить, нельзя потерять, горошины не умирают.

— Смотри, наши горошины, — неуверенно оглянулась на мужа.

— Нет! — почти крикнул, во взгляде суровая жестокость. — Хватит! Не горошины, поняла меня! Не горошины — дети! Наши дети! Их нужно любить, понимаешь, нужно!

Разревелась. Кивнула. Уже.

И будь, что будет...

**Проза. Мастерские  
Марины Степновой  
(весна — осень 2017)**



## ИРИНА БАЗАЛЕЕВА

### ДА ОБИТАЮТ В НЕМ АНГЕЛЫ...

*Вот старый дом. В нем печка,  
дым ластится к земле.  
Два добрых человека,  
и догорает свечка  
в бокале на столе.*

#### *Старый дом*

И бурчит, и ворчит себе старый дом, не находя покоя. То, мучаясь, поскрипит половицами, то хлопнет с досады форточкой, то на крыше переберет в раздумьях шифер. «Ну, не горюй», — полоща листву на ветру, уговаривают его шумные ветлы. «Да забей», — роняет яблоня пригоршню пепинов, и те красными мячиками отскакивают от земли и прыгают вниз по террасам огорода. «Давай, отвлекись», — округлившаяся за лето сирень, охнув, размахивается, дотягивается и скребет в оконное стекло отцветшей веткой. «Не могу», — в ответ вздыхает дом, осыпая известью на неповинные макушки ногтей.

У дома беда. Двое, чье счастье и быт он хранил четыре года, в конце лета поссорились. Поругались мучительно, грубо и даже грязно. Наговорили такого, от чего душок из углов нескоро выветрится, что будет цеплять взгляды, тут и там навязчиво подбрасывая вещи, то до боли любимые, то до раздражения ненужные. Двое, став одинокими,

теперь разбегаются по утрам на работу, к друзьям, в неприятные осенние улицы. К ночи возвращаются и всякий раз, чувствуя этот душок, перебивают его уговорами и обещаниями. И будто верят. До утра. А дом знает, что этих двоих он вскоре выпустит по одному, и останется ему лишь вспоминать их нежность и недоверчиво приглядываться к новым жильцам.

«О себе заботься», — обмахивают влажной прохладой вѣтлы осевший от печали дом. «Новые хозяева лучше будут», — обещает яблоня, стараясь стряхнуть пепины ближе к крыльцу. «И не то переживали», — напоминает сирень, выпрастывая обрезанные по весне культуры, теперь обросшие свежими побегами. «Не могу я», — плачет дом, размазывая дождевые капли по стеклам.

Чтобы себя занять, она варит душистое варенье из пепинов вперемешку со слезами и зачем-то подписывает банки, хоть эту осень ей не забыть и так. Он выводит пальцем снаружи на запыленном окне кухни «ЛЮБЛЮ», а потом со всех сил пинает стену и выплевывает — «сука». Неполная банка с вареньем остается забытой на подоконнике прямо под его признанием. А когда стихают звуки отъездов, дом порывом ветра захлопывает ставень, оставляя себе в подарок и банку, и надпись, и погружается в томительный сон до весны.

### *История из домовой книги*

Дом на краю заросшего вѣтлами оврага был построен еще в начале прошлого века. Прошлый у нас теперь двадцатый. Дом сладили крепко: большая печь, окна на все стороны, небольшой двор и сад, тут же хозяйственные постройки, колодец, — все чин чинарем. Одно только было не понято в поселке: зачем ставить дом у вечно осыпающегося, по весне переполненного мусорной водой оврага, когда вокруг полно свободного места — хоть в самом поселке, хоть выше по горе. Не иначе, что-то нечисто — и местные после

во всех бедах подозревали неправильный дом. То в нем белые останавливались, то красные разграбили. По правде, разграбили тогда всю деревню — до пятидесятих поселок считался еще отдельной деревней — но вспоминали только про дом у оврага.

В войну дом стоял заколоченный, однако и тогда местные находили «ненашенским» то, что место пропадает, а эвакуированных некуда девать. А после войны в него вселилась семья: отец-фронтовик, мать, школьник-сын и малая дочь. О них и история.

Когда же присоединили деревню к городу и назвали поселком, зашла в верхах речь, чтобы овраг засыпать, дом снести, и на их месте разбить парк с фонтаном и беломраморными статуями. Да только где те планы? И дом стоит, и овраг по-прежнему выносит по весне стыдный хлам на окраину поселка. А теперешние хозяева в привычном ожидании сноса и компенсации третий десяток лет сдают дом на съём. Вот и этим, с их любовями и вареньем тоже сдавали.

А что дом? — А то, что он тоже живой и за всех волнуется: то охнет, а то и порадует. Но больше скрипит воспоминаниями о тех, самых любимых, послевоенных.

*Саня*

Так кто же они — любимцы задушевного дома?

Вот главный персонаж: юный, росток невелик, нахмурен лоб и упрямо закушена губа. Шерстяная гимнастерка, подпоясанная ремнем с бляхой и сползающая на глаза фуражка с кокардой. Вот он, третьеклассник Саня: пальцы в чернилах теребят бляху, сутулая спина — извечная тема родителей, сам посвистывает сквозь криво выросший зуб.

— Саня! — мать из окна. — Что в дом не заходишь? Сколько ждать можно?

Саня вжал плечи и поморщился.



— Иду, — помахал он маме и Маруське на маминых руках. Маруська выпучила глазки и радостно подпрыгнула, держась за форточку.

Саня широкими шагами мерил двор.

С ребятами из класса — Пашкой и Вовкой — вышло стыдно. И плохо, что завтра идти в школу — терпеть издевки, и потом, и еще сколько лет. Да лучше не жить, сбежать на край света!

Дети послевоенного времени, не знавшие отцов, воспитанные скученными — все на виду и все криком — бараками, сентиментальностью не отличались. Сорвать с отличника фуражку, накидать вонючей грязи из лужи. А лужи тогда стояли смачные. Дороги укатаны телегами да досыта удобрены козами и лошаадьми.

Саня не сдался. Весь вечер, таясь от родителей, отчищал фуражку содой, замывал, отскребывал ножичком и проветривал на дворе. На второй перемене подошел на негнущихся ногах к Пашке и Вовке — ухмылки, сочные сплевывания — и чего нашему неженке нужно?

— Ребята, — вымученно произнес. — Давайте лучше дружить. Я вот в ножички... умею.

— А-аа! Дурик! Дуй-ка ты к папеньке и маменьке, пока не навалили! — лыбящиеся хари, его деревянный от страха шаг, не выдержал — бег — гады, зачем унижался, гогот за спиной. Мимо девочек — и тут смешки. Со школьного двора, спрятать предательски багровое лицо и больше не возвращаться.

Последние два урока он прогулял, шатаясь по холмам и оврагам. Искал куда присесть, отдышаться, отреветься. Но тут — тетка Нина с ведрами: «А ты что не в школе, а? Матери скажу!». Там пьяный дед Матвей без ног на самодельной инвалидной тележке: «Эй, малец!».

Нигде, нигде нет ему покоя.

## Рисунок

— Да ты, Саня, большим художником вырастешь! — Антон Семеныч взял Санин рисунок в вытянутую руку, подошел с ним к окну и прищурился. Третьеклассники столпились за спиной, загалдели:

— Санька, дом — как настоящий!

— Точно, прям баб Ксенин!

— Сюда б еще Пульку с будкой пририсовать!

— Тихо, — Антон Семеныч повернулся к Сане. Тот встал, бухнув крышкой парты: красные пятна по лицу, улыбка на одну щеку — это восторг и это стыд.

— Саня, ты что-нибудь слышал о законах перспективы? Нет? Сам сообразил? Молодец! Я тебе книгу по линейной перспективе принесу, — Антон Семеныч одобряюще кивнул, класс заерзал вокруг рисунка. Его, Сани, рисунка. — Только смотри: эти линии должны сходиться вот тут, да ты меня слушаешь?

Учитель взял карандаш и быстро-быстро, объясняя, на бумаге поправил конек крыши, чуть изменил линию забора и:

— Ух, Тон-Семеныч, здорово! — это Валька.

— Ребята! Смотрите, баб Ксения из домика вот-вот выйдет! — Вовка.

— Красиво, — прошелестел улыбкой девичий голос над Саниным ухом. Катя?

Он вскинул голову, дико взглянул — смутился. Махнул рукой объяснить — запутался в ее фартуке. Отскочил в панике — «чё по ногам-то?!» — Валька небожно пихнул его. Рассыпался вдребезги звонок на перемену, и класс разом тоже рассыпался из дверей.

А после, а после... Саня еле высидел математику, а после домчался — гордый открывшимся горизонтам — в гору до дома. А-а! Зачем? Там мама, Маруся, ведра и недопиленные ветви ветел. Обратно? Нет! Еще в гору, тропой по-над

оврагом, выше — «да шо ж ты по помоям носисси, ирод!». Ногой в компостную яму — черт! Башмаком потер лопухи — ладно, сама грязь отпадет. Выше, и вот уж поселок под ним. Саня меряет пустырь шагами — Тон-Семеныч, сам Тон-Семеныч назвал его молодцом! И это начало, вот увидят все: и Валька, и Вовка, и Катя. Катя... Она сказала «красиво». Теперь она с ним сядет за одну парту, а Тоня... куда-нибудь Тоня тоже сядет, с Валькой, например! Как же они сказали про баб Ксенин дом? Что Пульку надо нарисовать? А и Пульку нарисуем, дело нехитрое!

И солнце к западу, и устал Саня, выходил-выплеснул весь восторг. Облако накрыло холм, прохладой обернуло жар. Он побрел вниз, цепляя репейник и путаясь в диком огурце, что зван здесь чаще дураком, — как только вверх забежал, ничего не цепляя? И ветлы пилить, Маруська лезть начнет, и мама вечно суровая, вечная тоска его — мама. А Катька? Размечтался, нужен он ей!

Опять Саня ногой в компост — «и ходют, и ходют тут целыми днями!». «Надо и хожу!», — сорвался он в крик, рванул в овраг и бегом понизу до самого дома.

### *Девчата*

Примерно раз в месяц мама брала Саню и Маруську, и они втроем шли «к девчатам погугорить». Девчатами семейно назывались мамины тетки и Сани с Марусей бабушки: баба Аня, баба Таня и баба Маня. Девчата дружно и шумно жили втроем, двое просидели жизнь в девках, а третья лет пять побыла замужем до войны, а потом... и не спрашивайте.

Саня каждый раз уточнял у мамы, кто есть кто из сестер. Не запоминал и путался. Объяснения для него походили на вводные условия из задачника по логике, и задачка решения не имела. Замуж выходила точно не старшая сестра. Младшую звали Маней, и черная длинная коса была не у нее. Вопрос: как звали каждую из бабушек?

На всякий случай, когда Сане что-нибудь было нужно, он обращался к матери. А маленькая Маруся просто бормотала «баба», чему умилялись и Аня, и Таня, и Маня независимо от старшинства и цвета кос. Мама же никогда не умилялась, была рассудительна, справедлива, нередкий раз резка словом и на руку. И за то ее уважали — времена неласковые, детей бы прокормить.

Много позже, на склоне лет Саня исследует и составит генеалогическое древо, куда впишет всех без ошибок назад до шестого колена и вперед до долгожданных своих внучек: нежной Оксаны и улыбчивой Алисы. И именно та, с черной косой ему в этом предприятии больше других и поможет.

А в это их гостевание девчата были не одни. В кухне кроме них сидела седая с неубранными космами старуха, держа в руках пластмассовый гребень с наполовину выломанными зубьями.

— А и то я тебе говорю, Татьяна, не выйдет толку с нашего разговора! Сало ты солишь, за окно вывешиваешь, синицы вертятся, проклюнуть не могут, а гадят! Гадят вниз прямо мне на окно!

— Та сколько их там, тех синиц? Будет весна, сама приду к тебе и вымою твоё окно, Галина! О чем лаяться?

Бабка Галина громко икнула, стукнула по столу — дрожащий крапчатый пергамент рук, дребезг стаканов в подстаканниках, и швырнула гребень через прихожую в дверь в тот самый миг, когда входила мама с Марусякой на руках. Гребень вяло ударился о Марусякин валенок, та, конечно, запищала, затормошила мать: «Мама-домой-домой-мама». Саня, стаскивая шапку, возник следом.

— Что же это за плакса к нам пришла? — Старуха придвинулась темным пахучим ртом, и Марусяка захныкала еще жалче. — Гребень подыми, что стоишь? — это уже Сане.

Подскочил, нащупал рукой распяленное и гибкое в луже тающего снега с калош, и протянул старухе.

— В грязи извозякал, — прошипела она на Саню.

— Ты, Галина, тут правил своих не разводи, хватит детей пугать! — баба Аня или баба Таня или... Нет, эта с черной косой, значит, не Маня. — Пооди до дому, опосля придешь.

Бабка Галина, однако, внезапно быстрым движением забрала волосы под гребень и сунула руку в бездонный, кажется, карман застиранного фартука во весь свой широченный живот. Позвенела там. «Ключи от сундуков? Флорины, эскудо, кроны?», — Саня в то время зачитывался Стивенсоном и Сабатини. Так вот, нет флоринов, и ключ только на красной резинке — от квартиры, остынь, Саня. А бабка Галина извлекла из кармана жестяную с налипшей пылью коробочку леденцов.

Маруська перестала плакать и потянулась к коробочке.

— Галина, это есть-то можно? Она у тебя с каких таких времен? — баба Аня или Таня перехватила коробку и, сжав в ладонях, открыла. Саня просунул голову между взрослыми: розовые, желтые и зеленые леденцы. Как всегда, желтых больше всего, а за розовые придется спорить с сестрицей.

— Да внуку, внуку покупала с пенсии! А он, москвичонок балованный, шоколад ему подавай, — Галина подозрительно мокро шмыгнула носом, подвинула плечом Саню и вышла на лестницу.

— Переживает, — закрыв за ней дверь, доверительно сказала бабушка маме, — ее-то все уехали, только мальчонку иногда на лето присылают. А мальчонке в нашей глуши, да с бабкой весело ли? Он ей дерзит — она не знает, что ответить. Своему бы влупила, а этого тронь — потом и его не пришлют. Детей у ней трое, а, ишь, совсем одинокая. Жалко ее.

### *На похороны*

Саня сидел в своем летнем «кабинете», под который он переоборудовал сарай. После смерти отца денег сильно

не хватало. Мать пускала квартирантов в дальние комнаты, а сами втроем теснились в двух других. Саня спал в проходной на раскладном кресле.

В «кабинете» пахло нагретой пылью и сережками-червячками вётел над оврагом, что засыпали задний двор. Вётелы шумели, как шумели всегда, даже в безветренную погоду. И на всю жизнь Сане родной дом запомнился в первую очередь этим шумом. Шумом и необходимостью лезть на верхотуру, спиливать нависшие над домом ветви, а то проломит крышу. Это давно уже стало его обязанностью.

Саня раскачивался на стуле и штриховал карандашом дырку в дерматине стола. Вспоминал недавнюю их с матерью и Маруськой поездку в Екатериновку.

В Екатериновку гостить у материнной старшей сестры тетя Марфы ездили обычно летом. Но вдруг умер от удара Марфин муж, пожилой мужчина, потерявший на фронте ногу. Вернувшись с войны, часто уходил в запой. Буйно, с криками, с проклятиями Гитлера и... жутко подумать даже кого еще. Тогда Марфа валилась на него полным телом, заслоняла, затыкала пьяный рот, чтоб не слышали дети.

Долгой вышла поездка. Передали о смерти ночью. Мать решила ехать — с сестрой они держались друг друга. С Саней укладывали вещи, под утро растолкали Маруську — теплую, мягкую, с кошкой в обнимку. Кошку — на двор, Маруську — в сапоги, не куксись, торопимся. Дальше с узлами: трамвай, вокзал, билеты с рук. В поезде сидели по очереди, на узлах. Хлеб с салом, яблоки, вот и конечная, и день к вечеру. И разлившаяся Медведица, нужно искать перевозчиков, потому что апрель, кроме похорон ехать незачем. Мать ругается с мужиками — жулики, у людей беда. Наконец, поплыли. Деревья растут прямо из воды, Медведица, Аткара — все слилось. Ночевка в какой-то деревне, с раннего утра на телеге уже до места.

Сразу на кладбище, грязь, всюду грязь. Вой Марфы над могилой, хмурые овалы — лица взрослых сыновей. Помин-

ки, Маруська, наконец, наелась, да и Саня мел пироги под тяжелым взглядом матери. Их разморило, вспомнил себя на сундуке, сквозь сон женщины пели. «Ничь яка мисячна, зоряна, ясная» — что на свадьбы, что на поминки, одни и те же песни, и вновь уснул. Проспал до вечера следующего дня, а наутро уже уезжали. Реки опали, опустились, высохла объездная дорога. Добрались быстрее, веселее. Солнце вышло, выстрелило из облаков — весна! Пролески сиреневели подснежниками-хохлатками. Попутчики ожили, голоса зазвенели, забубнили, загундосили простудой, запищала-затараторила детвора.

Отощавшая на вольных хлебах кошка встретила ором. Орала, как тогда, когда отец лежал уже посеревший, твердый. Когда Сане пришлось выбить створку окна — замутило, окатило холодом сердце — на ватных ногах подойти, открыть изнутри дверь все понявшей матери.

Хрясь! Стул, крякнув, развалился под Саней, карандаш улетел под стол.

# ЛЮБОВЬ БАРИНОВА

## ЛЕТО ЕВЫ

Весной 1990 года жизнь Германа внезапно вернулась в колею, с которой когда-то сошла, и покатила легко, быстро и весело, точно звенящий от полноты своей силы и красоты новенький трамвай. О травме ноги, столько лет державшей Германа на костылях, теперь напоминала лишь легкая хромота, которая возникала после долгой ходьбы, да россыпь шрамов-точек от стрел аппарата Илизарова.

Герман взял в привычку, не заходя домой после школы, гулять по Москве. Наугад, отдаваясь всецело во власть города. Это уже позднее, много позднее он купит карту и будет выстраивать маршруты. А пока, совершенно сойдя с ума от счастья, бродил без всякой системы, снова и снова убеждая себя: то, что с ним происходит — не очередной детский сон. Он сворачивал с одной залитой жарким майским солнцем улицы на другую, отдыхал в прохладных переулках с застоявшимся запахом старых московских домов. Пересекал дворы, где весело били вверх фонтанчики цветущих каштанов, а на балконах, поддерживаемых облупленными львами, текло мягкими вечными волнами выстиранное белье.

Памятники в синей и белой пене цветущей сирени. Подземные переходы с пыльными ступеньками, усыпанные тополиными мохнатыми гусеницами. Ажурное от молодой листвы бульварное кольцо. Две хихикающие девушки, их быстрые взгляды на Германа. Одинокий старик с газетой



«Аргументы и факты». Трехлетка на велосипеде с мороженым. Фасады домов с колоннами и совами, с которых яростное весеннее солнце медленно сдирает шкурки, пока Герман залпом выпивает газировку из автомата. Мосты. Киоски «Союзпечати». И, конечно, высотки.

Герман смог, наконец, увидеть сестричек родной Краснопресненской высотки. Да собственно и ее саму рассмотрел в первый раз со всех углов и ракурсов. Долгие годы он видел ее только из окна своей комнаты. Все детство эта высотка была его утешительницей. Бессчетное количество раз Герман хватался взглядом за ее шпиль, молился, а иногда и жаловался (ей одной, больше никому), а она с готовностью и любовью подставляла каменное плечо. Прямая и устремленная вверх, Краснопресненская высотка все эти годы учила Германа не сдаваться. Став снова ходить, Герман первым делом навестил ее. Прикоснулся нежной пятнадцатилетней ладонью к нагретому пыльному боку, облитому солнечным маслом, погладил. Еще и еще.

В ту весну город околдовал Германа. Так и этак заманивал мальчика на свои улочки и скверы, манил, окуривал цветным воздухом, полным сладковатой пыльцы; дразнил запахами и видами площадей, соблазнял церквями и стенами монастырей, купающимися в облаках вишен и яблонь. Влюблял в себя, свою архитектуру, историю. Герман даже записался в Историческую библиотеку, где, сам не зная зачем, благоговейно листал старые московские газеты. Он был так увлечен, что даже не заметил не только, как треснула и начала осыпаться советская империя, но и как изменилась Ева. Сестра почти перестала бывать дома.

Он и сам возвращался поздно, зачастую уже в сумерках. Наскоро делал уроки. Бабушка сильно сдала, почти все время полулежала в кресле и дымила. Курить она не только не прекратила, но напротив, наращивала обоймы пустых пачек. «Мне недолго осталось, — говорила она, выпуская ко-

лечко. Может, только это лето. И мое дело, как я его проживу. Ясно? Вы с Евой и без меня справитесь. Еще колечко. Герман, я-таки поставила тебя на ноги, а?» На улицу она не выходила, а по квартире перебиралась маленькими шажочками, шаркая подошвами по полу.

Когда вечером Герман входил, хлопал входной дверью, в квартире витали запахи сигарет, цветущей под окнами сирени и пыли. Заглядывал к бабушке. Она плыла в кресле в полумраке долгих майских сумерек, дымила и разглядывала фотографии или читала в очках старые письма. На круглом столике рядом с креслом — неизменная бутылка ликера и рюмка в серебряной оправе. Цветы в гжельской вазе — те, чей черед был цвести под Москвой. Ландыши, садовые нарциссы или луговые купальницы. Цветы таяли, истончались в закатных сумерках и медленно роняли на круглую скатерть лепестки.

Иногда бабушка не сразу узнавала Германа. Видимым усилием воли возвращала себя в весну 1990-го.

— А, Герман... На плите рыба под маринадом. Подогрей.

— Ева приходила из школы?

— Не видела. Герман, подай мне вон тот альбом, — бабушка показывала на третью полку в книжном шкафу, — с зеленым толстым корешком. Да, его, спасибо.

Она брала из рук Германа альбом с фотографиями, раскрывала его и снова ныряла в волны прошлого. Герман шел на кухню. Ужина на плите не было. Рыба под маринадом была позавчера.

Ева приходила уже ночью. Герман сквозь сон слышал хлопок двери, быстрые, веселые шажки. Как-то раз в начале июня, открыв глаза, он увидел сестру у себя в комнате. Она стояла с керосиновой лампой в руке, разглядывала пол и тихонько смеялась.

— Ева?

— Слышал, какая гроза была?

Ева подошла к окну и поставила лампу на широкий подоконник, закрыла окно. С ее волос капало, джинсы и кофта были мокрые и тесно облепляли шестнадцатилетнюю фигурку.

— Гроза?

— У тебя лужи на полу, а в моей комнате и на кухне вообще потоп — окна распахнулись, — она хихикнула. — И электричества нет. Я у тебя пока побуду. Найду только чего-нибудь поесть.

Она вышла. Герман, исходивший за день полгорода, снова заснул. Когда он опять открыл глаза, Ева ставила на подоконник, где уже дымилась тарелка с яичницей, бабушкин ликер и две фамильных рюмки. Ева переделалась в длинную вельветовую юбку и рубашку с рукавами.

Раздразнившись запахами, Герман встал, натянул штаны и уселся на подоконник рядом с сестрой. За окном проступала темная гравюра Москвы. На небе изредка вспыхивали зарницы, будто редкие всхлипы затихающего после бурного плача ребенка. Герман глотнул сладкого ликера, голодный желудок благодарно заурчал.

— Бабушка так и спит в кресле, — Ева разрежала яичницу и разложила ее по кусочкам хлеба, чтобы удобнее было держать руками, посыпала приправой, потом протянула один бутерброд Герману, а в другой с наслаждением вгрызлась зубами. — В ее комнате тоже лужи. Мы на тонущем корабле. Капитан, вычерпывай во..оо..ду, — пропела она низким голосом, в котором билась, вилась, трепетала бархатными крыльями бабочка

— Послушай, Ев, а вы что — до ночи репетируете?

Ева засмеялась. Взяла еще яичный бутерброд.

— Какая же я голодная. А ты все съел и ничего мне не оставил.

— Бабушка ничего и не готовила.

— Завтра сварю тебе мексиканский суп. С фасолью и перцем. И еще испеку пирожки с острой начинкой,

а не эту размазню с капустой, которую бабушка делает. Я много чего вкусного научилась готовить.

Ева издала короткий веселый смешок, которого Герман никогда прежде у нее не слышал. Он внимательно посмотрел на сестру и вдруг почувствовал, как к горлу подступает дурнота: вместо Евы на подоконнике сидела и покачивала босой ногой неизвестная девушка. Поразительно красивая и до ужаса чужая. Герман мгновенно взмок от затылка до щиколоток. Где Ева? И кто эта девушка? Тонкие черты, густые тяжелые черные волосы, небрежно и одновременно ловко завернутые на затылке в незнакомую, какую-то очень женскую прическу. Полные развитые груди. Припухшие губы. Герману стало трудно дышать, как когда-то давно в детстве, когда Ева оставляла его одного. В груди начало расти, разветвляться страшное дерево, которое заполняло собой все пространство внутри, не оставляя места для воздуха.

Спасло Германа средство, к которому он прибежал, когда проводил в больницах по несколько месяцев. Тогда он не видел сестру подолгу, и когда в очередной раз та приезжала с бабушкой, вот так же паниковал, не узнавая. Герман взял керосиновую лампу и поднес к лицу незнакомки. Нежная тонкая кожа флуоресцировала. Безупречные линии скул, длинные ресницы. Слишком идеальные. Где же, ну где... Вот они, на месте. У левой брови две оспинки, оставшиеся после ветрянки. А на руке, которую девушка вытянула, защищаясь от света, на запястье должен быть шрамчик в виде ящерицы — в 10 лет Ева, тогда еще толстая неуклюжая девочка, упала с велосипеда. Вот он. Слава Богу. Идеальная красота нарушилась, наваждение отступило. Герман узнал сестру в очередном возрастном облике.

— Герман, прекрати дурачиться, — передние Евины зубы с щербинкой блеснули под задрожавшим светом. — Расскажи лучше, чем ты занимаешься целыми днями.

Герман поставил лампу. Глотнул ликера и принялся за очередной бутерброд, попутно рассказывая, какие места

в Москве изучил. Как оказалось, Еве большинство из них были знакомы. Но, если Герману нравились древние московские улочки — Сретенка, Хмельницкого<sup>1</sup>, Чернышевского<sup>2</sup>, Кропоткинская<sup>3</sup>, то Еву больше привлекали проспекты — Кутузовский, Ленинский, Ленинградский — и набережные.

— Там такие дома, обожаю... А ночью город вообще другой, пробовал гулять ночью?

— Нет, — эта идея Герману не приходила в голову. — Ночью же ничего не видеть?

— Ты даже не представляешь, какая прелесть гулять по Москве ночью... Просто с ума сойти, — Ева снова издала веселый короткий смешок, которого Герман не знал. — Попробуй. Только не в одиночку, конечно. Теперь-то у тебя полно друзей?

Герман пожал плечами. Друзей у него, несмотря на вернувшееся здоровье, пока все так же не было.

— Так вы после репетиций еще и гуляете? А ребята гитары с собой таскают?

Ева быстро взглянула на Германа и засмеялась. Вдруг сжала цепкими пальцами его руку, сделалась серьезной:

— Знаешь, Герман, я так счастлива, что мне страшно...

— Почему? — глупо спросил Герман.

Она не ответила. Опустила взгляд и принялась стряхивать с юбки крошки от бутерброда. Аккуратно подцепила накрашенным ноготком кусочек хлеба, застрявший между вельветовых полосок, смахнула на пол.

— И много вы насочиняли песен? — спросил Герман,

Ева окинула его долгим взглядом, заботливо смахнула крошки и с его штанов. Пожала плечами.

— Напой, что-нибудь из новенького. Ну, Ева, пожалуйста

<sup>1</sup> Маросейка

<sup>2</sup> Покровка

<sup>3</sup> Пречистенка

Она подложила ладони под юбку, покачалась и хриловато, с той самой бьющейся бабочкой в горле, запела. Про пустое шоссе, двух подруг в машине и дом, который ждет их у озера. В доме звучит музыка, танцуют гости, покачивается вино в бокалах. А дорога, по которой едут подруги, все удлиняется и удлиняется, и они никак не могут доехать до указателя, что маячит впереди.

— Ну и дальше в том же духе, — Ева потянулась, зевнула, прикрыла ладонью рот.

Светало, красноватые полосы скользнули по лужам на полу. Из форточки потянуло прохладой утра. Птицы вслед за Евой начали распеваться. Сперва сипло, нестройно, потом все слаженнее, увереннее и громче.

Ева почесала коленку:

— Завтра все уберу. Спать ужасно хочется

Герман уступил сестре кровать, а сам открыл окно и, дрожа от холода, принялся наблюдать, как Москва, испуганная и помятая после ночной грозы, встает под солнечный душ.

К июлю из магазинов пропали сигареты, и бабушка вынырнула из глубоких волн прошлого. Передумала умирать. Сперва нужно было сделать запасы. Не видите, что ли, что в стране творится? Ева и Герман ничего не видели. Но бабушка пережила две войны и революцию, поэтому узнала приближающихся всадников, услышала стук их тяжелых копыт, увидала вихрь бедности, нищеты, поднявшийся в смертельную воронку и несущийся по стране арizonским смерчем, что сметает все человеческое на пути. Скоро доберется и до Москвы, в этом бабушка не сомневалась. Она достала внушительную заначку, очистила от толстой пыли телефон, подняла трубку, принялась крутить диск. Трень, трень, дзиньк, трень, дзиньк-дзиньк, трееенькс. Алло, Юлечка Михайловна? Это Анна Петровна. Ты на месте? Что у вас есть? Да нет, я не про деликатесы. Не до них уж теперь.

Крупы, сахар, консервы какие есть? Только килька в томате? И пшенка? Хорошо, милая. Я мальчика пришлю тогда...

Механизм советской круговой поруки, который столько лет обеспечивал бабушке сносную жизнь, трещал, сыпался, но все еще действовал. И вскоре квартира Морозовых, точно корабль перед отплытием, начала заполняться припасами — мясными и рыбными консервами, сгущенкой, солью, крупами, пачками с чаем. Герман под командованием бабушки размещал все это на полках кухонных и бельевых шкафов, в чулане, под ванной. В магазинах уже многого не было, но пока это существовало в принципе, бабушка дотягивалась, хватала и припрятывала для внуков. Нехорошие идут времена, а меня с вами не будет. Ну, хоть с голоду не помрете.

Бабушка и сама не сидела сложа руки. С утра весело трезвонил звонок входной двери и сразу вслед за этим громкий голос то с ярославским, то кавказским акцентом докладывал, что принес бидончик с вишней или три кило абрикосов. Весь июль на кухне кипело варенье, давали сок в блюдах под марлей земляника, малина, протирались в мясорубке красная смородина для желе, закручивались крышки на компотах.

Вот, Герман, бабушка высыпала на газету незрелый крыжовник. Сварим с тобой изумрудное варенье. Царское. Говорят, любимое варенье Екатерины II. Отщипли ягодки, мелкие проколи булавкой, а вот из таких крупных, показала пузатую, просвеченную насквозь солнцем крепкую ягоду с черными точками внутри, — убери зернышки. У меня руки уже не те, трясутся. Сделай надрез, и вытащи зерна булавкой, или вот на, шпилькой. 15 июля, воскресенье, 11-й час. Ева уже ушла на свою репетицию. На улице жарко. Герман хочет гулять по городу, а не колоть ягоды иголкой. Он проводит рукой по гладким ягодам, катает их ладонью, то открывая, то закрывая лицо Горбачева на первой полосе газеты. «Правда» за 3 июля. Цена 5 копеек. «Вчера

в Москве в Кремлевском дворце съездов начал работу XXVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза». Герман зевает:

— А чего ты Еву отпустила?

— И без нее справимся.

— Ты ее все время отпускаешь, а меня заставляешь девчачьими делами заниматься. — Герман засунул в рот ягоду. — Фу, какая кислятина. И вообще — не понимаю, чего она там целыми днями репетирует.

— А что тебе не понятно? — бабушка помешала на плите вишневое варенье (вчера Герман целый день удалял из вишен косточки). — Влюбилась наша Ева.

— Как это? — в груди что-то тонко надорвалось.

— А как влюбляются? — бабушка вдруг рассмеялась. — Ну, чего насупился? И твой черед придет. Вон ты, каким красавцем стал. Давай-ка побыстрее, сегодня к вечеру обещали еще вишни привезти. Надо будет успеть обработать да на ночь сахаром засыпать.

Недозревший крыжовник сделался ядовитым. Герман сплюнул разжеванную ягоду в ладонь и засунул в карман штанов. Сердце билось так часто, что мальчик не знал, как успевать дышать между его ударами. Кухня с ее кастрюлями, половниками, прихватками, хохломскими чашками выцветала на глазах, теряла цвета, таяла. А вот звуки усилились. Стук ложки, которой бабушка мешала варенье, сделался такой громкий, будто это кувалда мерно била по стенам колодца. Жужжание мухи у открытого окна распалось на отдельные непонятные слова, которые муха громко и зло выкрикивала.

Герман принялся лихорадочно вычищать зернышки из крыжовника, но булавка тут же больно, до крови уколола палец.

— Какой же ты неловкий, Герман, — сказала бабушка, заметив его промах. — Ничего. Сейчас принесу тебе наперсток, увидишь как с ним удобно.



У друзей Евы Герман узнал, что сестра с марта не появлялась на репетициях группы. Ее место давно заняла другая солистка. Никто понятия не имел, где Ева пропадала целыми днями. Несколько раз Герман пытался спросить у нее самой, когда она ночью проскальзывала в свою комнату. Однако, едва взглянув на фосфоресцирующее мягким светом лицо, загадочную улыбку, отчего-то тушевался и смущенно бормотал только «Привет». Ева щипала его за руку и, издавая тот новый в ее репертуаре короткий смешок, спрашивала, не собирается ли Герман перерастить высотку.

Как-то Герман сидел на лавочке на Цветном бульваре, пил кефир и ел булку. Свой нехитрый обед разделял с голубями и несколькими прибившимися к ним воробьями. Устав после многокилометровой прогулки, Герман с наслаждением отдыхал. Правая нога поднывала, выговаривала за слишком долгую и быструю ходьбу. Два голубя запутались крыльями в борьбе за булку, резко взлетели. Герман машинально поднял взгляд и увидел через дорогу, недалеко от цирка, Еву. То есть девушку, очень похожую на Еву. Она шла к метро с мужчиной. Оба в джинсах и одинаковых рубашках. Счастливо, по-детски размахивали крепко сцепленными руками. Герман вскочил. Было далеко, и он не мог утверждать, что это точно Ева. Он уставился на ее спутника, но его за сестрой было видно еще хуже. Немного выше Евы, или девушки, похожей на нее. Через пару секунд толпа туристов скрыла парочку от Германа, а когда улица расчистилась, Евы и ее спутника уже не было.

Через десять минут Герман обнаружил себя во дворе дома в каком-то переулке, на клумбе. Тяжелыми ортопедическими ботинками он затапывал маргаритки, бархатцы, анютины глазки. Когда он пришел в себя, цветное месиво, перепачканное черное землей, напоминало картину импрессионистов из Пушкинского музея.

В середине августа Ева снова стала бывать дома. Сделалась будто еще веселее. Работа по заготовке запасов пошла быстрее. Ягоды на кухне сменились помидорами, огурцами, перцами. Все это мылось, крошилось, резалось, мельтешило в глазах яркими красками. Кухня пропахла чесноком, укропом, сладковатым уксусом и рассолом. Ах, ну да, еще грибами. Белыми и подосиновиками — других бабушка не брала. Разве груздей приноси, возьму на засолку. Утренний посетитель с владимирским или тверским говорком кивал — гляну завтра на Змейной горке. Грибы бабушка сушила, солила, мариновала. Теперь уже не только полки и чулан, но и все свободные уголки в квартире были заставлены банками. Герман, оглядывая этот заполненный доверху трюм корабля, нет-нет да и подумывал — а не сошла ли бабушка с ума? Как оказалось впоследствии — нет.

В один из этих безумных дней около полудня бабушка, обессилев, ушла к себе передохнуть. Ева и Герман чистили на балконе новую партию грибов. День был погожий, штиль. На голубом полотне августовского неба замерли туго закрученные белые ракушки облаков. Ева взяла очередной боровик из корзинки, отлепила от влажной запеченной шляпки осиновый листок, понюхала лесного воздуха, разрежала ножку — чистая, крепкая (грибы в то лето были как заговоренные — все ровные, красивые, чистые). Взглянула на Германа:

— Тебе не кажется, что это лето длится уже целую вечность?

Герман удивленно посмотрел на сестру. Для него лето впервые промелькнуло очень быстро. Еще пара недель — и в школу. Ева разрежала пополам шляпку, потом каждую половинку еще пополам, потом еще, пока на плитки балкона не посыпались снежные крошки. Она протянула руку за следующим грибом, и его постигла та же участь. И следующий, и еще один, и еще. Медленно, методично она заставляла грибы исчезать.

— Ева, ты спятила? Прекрати.

— Зачем бабушке все это?

— Она говорит, что когда будет нечего есть, нам это пригодится.

— Мы что — муравьи или пчелы или белки? — Ева поднялась, стряхнула с подола халатика остатки грибов.— Не собираюсь больше этой ерундой заниматься.

Она облокотилась локтями о перила балкона и стала глядеть на город. Деревья между крышами кое-где уже пожелтели, и редкие листочки нет-нет да и спускались в водоворотках воздуха вниз. Шпиль Краснопресненской высотки раскалился и горел белым огнем.

Герман заметил, что сестра сильно похудела. Тонкая шея с трудом держала тяжелые темные волосы, которые Ева продолжала совсем не по моде укладывать в греческую прическу.

— Не понимаю, почему люди мирятся с жизнью, — заявила Ева. — Варят варенье, запасают грибы. По три часа стоят в очереди за тухлой курицей. Мойют полы и начищают зеркала. И еще убеждают себя и друг друга, что это и есть главное. А зачем есть каши и мыть голову, если то, единственное, что нужно тебе, невозможно?

На следующий день Ева исчезла. Ночью не вернулась, не пришла и на другую. Никто из ее друзей понятия не имел, где она. Герман не находил себе места. Изнурял себя многокилометровыми прогулками. Часами стоял на балконе, вглядывался в августовскую тьму и пытался разгадать иероглифы звезд. Прислушивался к шепоту листвы, встревоженной дыханием приближающейся осени. Бабушка садилась рядом на стул, чиркала спичками и посылала легкое облачко в ночь. «Герман, если мы заявим в милицию, как ты хочешь, то можем этим испортить Еве жизнь. Ничего с ней не случится. У Евы наш, морозовский, характер, в обиду себя не даст и глупостей не наделает. Она справится, Герман.

Я сама в 16 лет первый раз замуж вышла. Было это в 20-м году. — Бабушка пустила еще колечко, надолго замолчала. Потом, когда Герман уже забыл, что она рядом, продолжила. — А тебе надо научиться быть самому по себе. С ногой-то у тебя, слава богу, все наладилось. Пора вам с Евой уже отцепится друг от дружки».

После того, как Ева не появилась и на четвертую ночь, бабушка потеряла интерес к заготовкам и снова уселась в своей комнате в кресло, достала из запасов новую бутылку ликера и принялась опять за альбомы с фотографиями.

Герман катался кругами на метро, перебирал разменянные пятаки в кармане, словно четки. Бродил по городу до ночи, истекая потом от страха, не видя ничего перед собой. Если на пути попадалась церковь, действующая или чаще — заброшенная, заходил и в пыльном настоящем воздухе молил сухими губами, чтобы Ева вернулась. Если было заперто, садился на ступеньки и бормотал молитву собственного сочинения. Он не разбирал, что за церковь это была. Его бормотанию внимали и стены церкви иконы «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, и стрельчатые башенки костела на Малой Грузинской, и загадочный фасад старообрядческого храма Николы Чудотворца на Белорусской. Побывал он даже в мечети на Проспекте мира, прошел босиком по ее мягким коврам.

Да что там церкви, Герман молил о помощи памятники на площадях. Прямошпинного Дзержинского, в аскетической шинели, сжимающего с едва сдерживаемой силой шапку. Рабочего и колхозницу, обдуваемых скульптурным ветром, еще шаг — и оба взлетят над городом. Закинув голову, просил помочь Юрия Долгорукого, гордо выпятившего кольчужную грудь, и его коня, бьющего в нетерпении сотню лет копытом. Вглядывался сквозь прозрачные волны августовского воздуха в зеленоватого бронзового Пушкина и твердил одно и то же «Пусть Ева сегодня же вернется». Ничего не ел. Пил только воду из фонтанов. Подставлял заго-

ревшее и повзрослевшее лицо брызгам, скрывая от людей вокруг слезы. Долго сидел на мокрых бортиках и смотрел сквозь золотистые радужные брызги на кольца очереди в «Макдональдс».

Отчаяние и страх чередовались вспышками ярости. В Ботаническом саду или на Воробьевых горах Герман изо всех сил лупил палками по деревьям, пугая стремительных белок. До изнеможения, боли пинал тяжелыми ботинками пни. Особенно доставалось правой ногой: если бы Герман, как прежде, ходил на костылях, а значит, нуждался в заботе и защите сестры, Ева бы не исчезла.

28 августа. Герман стоит на спуске, на углу двух древних улочек, возле здания, чьи узкие аркообразные окна первого этажа ушли наполовину под землю. Он ошарашен внезапной мыслью, которая отчего-то до сих пор не приходила ему в голову. А как вела бы себя Ева, если бы пропал он? Тот же бы страдала и не знала, куда деть себя? Вот уж нет. Ева бы подняла на поиски армию с вертолетами. А что же он?

Герман срывается с места. Срочно домой, проверить, не пришла ли Ева и, если нет — в ближайшее отделение. Бабушка выжила из ума, это же ясно как дважды два. Куда бежать? Вниз, вверх, вправо-влево? Где он вообще находится? Герман лихорадочно озирает фасады в поисках названия улиц, но кроме номеров — 16/4 ничего не видит. Надо найти прохожего и спросить, как добраться до ближайшего метро.

За два квартала от дома, за полсекунды, как свернуть на свою улицу, Герман понимает, что сейчас увидит Еву. Он поворачивает за угол. Ева сидит на выступающем каменном основании забора, прижавшись спиной к чугунным прутьям. В белых брюках, пиджаке. Глаза прикрыты.

Герман присаживается рядом. Камень теплый, нагрет солнцем, в шершавых выемках — желтые мелкие листочки. От Евы шибает концентратом духов. Бледна. Без косметики.

Волосы зачесаны с особой, какой то жестокой, яростной тщательностью.

— Ева.

Она пытается приподнять веки, но они так тяжелы, что это удастся лишь наполовину. Веки плотные, как гипс. Взгляд расфокусированный. Герман берет сестру за руку, гладит. В детстве они всегда утешали друг друга вместо матери, которой им не досталось. Ева кладет голову Герману на плечо. На асфальте и на запылившихся туфлях Евы — те же мелкие листья. Они падают с березы, нависающей над забором. Сверху каменный верх забора уже весь усыпан ими. Вскоре и ботинки Германа покрываются листьями. Лето кончилось. Еще три дня — и осень.

## АЛИНА ВИНОКУРОВА

### НЕ ТО

Круг, посередине горизонтальная полоса — такие губы делали Ксению похожей на мультяшного птенца. Так рисовал Миша. В том же саду, в том же году Алёна награждала мать носом в форме сапога, всегда смотрящего влево. И хотя все остальные люди на Алёниных рисунках ходили с точно такими же носами, Ксения действительно приблизилась к идеалу больше других: «сапог» высокий, ровный и явно великоват. Ноздрей анфас не видно.

Ксения откладывает два своих портрета — и в следующую секунду Миша и Алёна уже готовятся к поступлению, избавляются от школьных тетрадей, перекусывают одними лишь шоколадными батончиками, направляясь с курсов на курсы.

У Ромы была целая серия полотен — «Мама у окна». На всех у Ксении жирно обведенный овал лица и оранжевые волосы отдельно от головы, будто готовятся в это самое окно вылететь. Сейчас Рома в художественной школе, где маму навсегда вытеснили кубы и шары. Рома очень смущается, когда его просят нарисовать что-нибудь «просто так». Волосы у Ксении с тех пор стали еще легче, и резинку в хвосте нужно теперь обматывать не три, а четыре раза.

Джон Леннон в шестьдесят восьмом году. Евина работа. Ева тогда еще не умела правильно рисовать прямоугольники, поэтому очки матери раз за разом выходили круглыми.

Впрочем, сейчас она именно такие и носит. Прямоугольные у самой Евы: минус четыре. Ева выучила первые восемь рядов таблицы Сивцева, потому что до смерти боится окулиста в детской поликлинике. Ребята пустили слух, что окулист как-то раз даже матом орал.

Где-то на даче хранится «Мама с коляской»: стоящий вертикально червяк, надрывно улыбаясь, пытается сдвинуть с места вагонетку. Это трехлетняя Оля нарисовала мать с натуры. Теперь Оля во втором классе, любит петь и поколачивает соседа по парте, а длинная куртка, которая и вправду делала любого надевшего ее похожим на малинового червя, до сих пор висит там же, на даче. Выбросить жалко.

На всех без исключения портретах вместо глаз (почти не болезненная, бережная припухлость нижних век, какая часто бывает у голубоглазых; выражение неотрывного наблюдения за аквариумом), конечно же, были косточки, неизвестные науке синие продолговатые ягоды, овальные камушки.

Одна Вита ее не рисовала. У Виты везде — в саду, дома, на даче — был полосатый лентообразный кот, который летал по плешивому фиолетовому небу и бил лапами желтых мух.

Мать Ксении, тревожная, верившая, что «может, кто-то там наверху и есть», и любившая громко рассказать по телефону о бывшем муже-невозвращенце, настолько хотела стать хорошей оперной певицей, что спилась и попала под автобус. Ксению воспитывали отец и мама Настя, мачеха.

Она росла, как все, списывала, учила стихи. Играла на блюзовый манер «Один сокол Ленин, другой сокол Сталин» на губной гармошке. Писала грамотно. Училась, усердно, но бессмысленно, в областном пединституте. История постепенно стала ее пугать. Как-то один месяц она хотела переучиться на логопеда, еще месяц думала о том, что после пятого курса непременно поступит в аспирантуру, еще



два — что нужно было идти на врача. Или медсестру. На третьем курсе Ксения вышла замуж за одноклассника, татарских кровей, с ранней лысиной. Родились Миша и Алёна, сказочные близнецы — из тех, что сами ползут в ясли и других к тому призывали бы, если бы умели призвать. Отец и мама Настя утопали в них, как в молочном ликере, пока Ксения доучивалась, копила в себе вину. И все же ей нравилось перекатывать в голове мысль о том, что она теперь хочет большую семью. Да и может, пожалуй.

Расставшись одновременно с институтом, профессией учителя истории и мужем, она — по знакомству — принялась ловить блох в еженедельном журнале, со странной ловкостью сочетавшем в себе кроссворды и фотографии девушек топless. «Снежана в кружевах пены». «Марго и ее горячая история». «Расстояние от днища автомобиля до поверхности дороги», по вертикали, семь букв. Периодически взбираясь на все более солидную ступень (от садоводства до ежедневной политики), через три года Ксения каким-то чудом оказалась корректором в одном министерстве — в святая святых канцелярита, с зелеными коврами-дорожками, недешевой и невкусной столовой и допуском к гостайне по третьей форме. «Как у вас со зрением? Пока, смотрю, нормально?» — спросила будущая старшая коллега, и вместе с Ксенией рассмеялась. В тот момент из министерства в одиночное плавание бизнеса уходил человек по имени Валера Сёмин, и они встретились.

Через полтора года после того, как Валера, по странной традиции, чтимой многими замужними девушками, был накрепко превращен в безымянного Сёмина, родился осознанный Рома, и будто стало немного легче; вина понемногу отступала, к тому же в министерстве Рому вытерпели и простили, отправив Ксению в декрет. Не простили Еву, такую же, точно такую же осознанную, оплетенную фантазиями о науках и искусствах, народившимися было деньгами, новыми теориями воспитания, новой квартирой. В мини-

стерстве Ксению отправили за бумагой и ручкой — писать по собственному. Через несколько месяцев умерла мама Настя.

Оля — и они стыдились об этом говорить — появилась случайно, никто даже до конца не понимал, как. Шутка организма, который теперь как-то разом начал скрипеть, трещать и постанывать, как полувывсохшее дерево. Сёмин, достигнув своей скромной, как оказалось, вершины, стал медленно, но ощутимо снижаться, пособие испарялось, не успевая долетать до кошелька, Ксения, давно лишившись тех старых знакомств и дружб, а новых не найдя, держалась за фриланс, но студенты в последние годы напирали там все сильнее и казалось даже, что недоуменно хмыкали. На Олю ушло около трех лет: долгое принятие, которого не было с другими, врачи (себе, когда удастся, и ей). Няня раз в неделю, потом никогда, расписания на две недели вперед, рассыпавшиеся в бумажный прах, шестеренки, будильник, коробки для обедов.

Они рассчитали, что могут продать квартиру, родительскую дачу (отец ее все равно не любил), взять кредит и найти себе дом в дальнем Подмоскowie, небольшой, но почти каждому по своему углу. Дошло даже до разговора с консультантом из компании-застройщика: Ксения выпустила весь воздух из легких, подпрыгнула, зацепилась за крыльцо этого дома, повисла, полетела. Дом в ее воображении был то крепеньким, двухэтажным, спрятанным в соснах и белках, то даже трехэтажным, с темной мебелью внутри, печальным и как будто пытающимся стать Уже на лысой, еще необустроенной и оттого более дешевой земле. Большие собаки передвигаются по нему, иногда лают задумчиво, с мелодичным росчерком-подвыванием, лоснятся, чавкают своей нехитрой собачьей гречкой. Вечером Ксения отключает очередной рабочий телефон с оголенным аккумулятором, звонит по обычному телефону старшим (когда вернутся?), гуляет с Олей и Евой, рассматривает птиц, растения, запи-

сывает — за ними и за собой — на что все это похоже. Пока Сёмин читает им (а делает он это виртуозно, с надрывом старых актеров), Ксения иногда читает себе («Ладно, читай себе, я посплю», — говорит обычно Оля, понимающе, грустно). Зажигает свет, проверяет Ромины сочинения... А потом она узнала про Виту.

Утро было стоячее, тихое. Солнце отражалось в трех окнах новостройки напротив, прыгало, гонялось за глазом. «Я — ты знаешь — тебя поддержу. В конце концов, тут вина моя...», — Сёмин пытался погладить ее плечо. Добавлял (кажется) тише: «Нужно ведь...» — и кивал развороченной с ночи бородой в глубину квартиры, на одну из комнат. Там (или в другой?) пошуршало и затихло овечье одеяло, хлопнулся на пол учебник. Под дверью Алёнина сумка-торба с вытертым, но все еще суровым лицом Кинчева. Брелок-сова.

По извиняющимся рукам мужа, по уютным и свежим простыням детей, по их головам, по нежной голубой плюшевой кошечке на полке у входной двери быстрый и бодрый март повел Ксению — к ней. Она поднимала глаза на всякую пациентку, но та обманывалась лишь на долю секунды: глаза шли мимо, выше и выше, призванные изобразить невыносимую усталость. На столе — желтоватые, будто уже успевшие выгореть на молодом солнце бумаги, красная магнитная ванночка для скрепок с надписью «Закарпатье», календарь с рекламой модного в этом году чудо-геля. Ксении хотелось только обнять ее — так в детских снах она часто обнимала самых уродливых существ. Уткнуться в колтунистую, душную грудь чудовища, пока не выйдет весь страх, пока не выплывет оно на нее все свои удары: «надо было...», «... не учили?», «...на душу», «... без наркоза бы, чтоб знали вы все». Ксения прилежно и молча собирала все анализы, Красная королева «Закарпатье» раз за разом теряла их результаты, пока, наконец, на форуме (Ксения уже совершенно не понимала, на каком

именно и когда она успела там зарегистрироваться) не объявилась одна женщина, не потянулась к Ксении длинной цифровой рукой из Реутова, не посадила ее в кресло платной гинекологии. Белая королева склонилась над ней: полноватое лицо тихой птицы. Но тут же начала сливаться со стеной, растворяться где-то под часами. Остались только руки: синий маникюр и откуда-то взявшийся блокнотик — будто в воздухе висели. «Вам занизили срок. Очень сильно. Извините».

Ксения вышла на крыльцо. Неподалеку курил санитар, ни дать ни взять Илья Муромец, а рядом с ним — пергидрольная медсестра в наброшенной на плечи кожаной куртке. Урна стояла неудачно, прямо под козырьком. В каплях по конфетным оберткам, окуркам, гофрированным пластиковым стаканчикам, бахилам, которые кто-то забыл снять внутри, — слышалось: «Штырь. Штырь».

Никакого дома не купили. Дачу тоже не продали, но ездили туда редко. Впрочем, поездки совершенно не запомнились. К тому моменту, когда Вите — «дочь моей старости», величали ее в письмах безнадежно больному деду, — исполнилось четыре года, Ксения не сетовала на жизнь. Вставала на ноги утром, брала руками вещи днем, делала шаги в пространстве, смеялась там, где должно казаться смешно, грустила обо всех (поведение, оценки, умничанье на уроках), не отдаваясь грусти и почти не ругая. Страх, тягучий, немой и тошнотворно ритмичный, поменьше вечером, побольше утром, сидел у нее на груди, как домовый из быличек. Каждый раз, выходя на улицу, Ксения твердо знала, что сейчас с неба на нее упадет кирпич, — и скорее бы.

Пришли бессонницы. И однажды в тишине, желанной днем, желанной годами, но так раздражавшей сейчас, Ксения взяла планшет и ввела в поисковике: «мать шестерых детей». Одной из первых новостей была победа некоей ростовчанки в конкурсе «Миссис Россия». В статье настойчиво намекали, что количество детей победительницы (внешне,

впрочем, ничем не отличавшейся от скуластых и толстобровых конкуренток — суров и груб современный макияж, подумалось Ксении) прямо повлияло на исход соревнования. Затем женщина дала интервью. Читая ответы, Ксения представляла, что это она сидит перед интервьюером: туфли жмут, в ушах звенит. Как она успевает воспитывать шестерых детей, работать и заниматься благотворительностью? Ну как же, все не так сложно, как кажется, просто она не одна — ее семь, нужно это осознать, а еще она не работает и отлично себя чувствует за каменной спиной мужа, ведь каждый должен знать свое место, а еще она пишет книгу и ведет тренинги. Как она готовилась к конкурсу? О, долго и основательно, фитнес нужно было воскресить, и, конечно же, дети помогали ей, и каждый даже пришел к платью по ленточке, и это были талисманы, ведь детям нужна веселая и бодрая мама. Как они отдыхают? На даче (мастерят, сажают, читают чудную современную детскую поэтессу имярек), а иногда горные лыжи. Ксения заснула.

Это стало еженедельным дозированным развлечением. Следующую новость Ксения взяла уже с седьмой страницы. «В поселке Анна Воронежской области мать шестерых детей ушла из дома и не вернулась. По одной из версий, ранее женщина намеревалась поехать в Москву на заработки...» Ксения дочитывает, закрывает глаза, кладет планшет на грудь и становится той, из Воронежской области. Она в прогорклom каком-то домашнем костюме, во вьетнамках. Живет с кем-то из младших детей в угловой комнатке первого этажа. В документах она, подышав на ручку, пишет: Воронежская обл., пос. г. т. Анна. (Была у Ксении такая подруга, Анна. Так и звали полным именем, и не вспомнить уже, почему. Канула в Израиль). Пахнет пережаренным маслом, котом, старой дверной обивкой.

Она вылезает прямо из окна, без телефона и кошелька. Идет вдоль однообразных домов по зацикленной будто улице, какой-нибудь Комсомольской, — невидимая соседская

собака будто в сговоре и сегодня не лает — а дойдя до конца, сворачивает к реке. Снимает вьетнамки и бросает в реку. Бежит.

Или вот — нет, не то. Вот, двенадцатая страница: «Мать шестерых детей напала на репетитора. В пятницу вечером многодетная мать из Зеленограда нанесла множественные побои, а также ножевое ранение репетитору, 24-летнему аспиранту МИФИ. Молодой человек занимался математикой с ее старшими детьми. Подробности выясняются...». Сам он, наверное, ездит к ним из материковой Москвы, ходит на Крюково, долго бредет. Очки, за которыми будто вода. Зовут Андрей или Алексей. Небритый. Скрипуче заканчивает фразы. Вот он выходит из комнаты, скажем, Роминой (у Ромы всегда было неважно с математикой) и начинает собираться, и Ксения — вена выступила на шее, рта почти нет, шаги громкие — подходит сзади и хватает его за горло. Андрей-Алексей растерянно оборачивается, получает холодный до влажности удар по лицу, потом еще один. Очки вминаются в переносицу, он отшатывается ровно под сорок пять градусов, будто в комиксе, и дальше никто ничего не помнит.

В тот год поздней весной она часто гуляла с младшими по району. Но сейчас в доме был лазарет: младшие, кроме Виты, слегли с гриппом, старшие ворчали сквозь маски, Сёмин ухал, как филин в ночи, пытаясь скрыть попытки откашляться. Ксения шла в аптеку, теребя просроченный проездной в кармане, через каждые двадцать метров останавливаясь и дожидаясь семенившей за ней Виты, которой не нравилось держаться за руки («Жарко!»). Проходили мимо кафе-бара «У березы». Рядом и правда стояла та самая береза, кажется, единственная в районе. Чья-то черноволосая рука приоткрыла было дверь кафе изнутри, передумала, закрыла.

— Маам... — Вита, маясь, забарабанила по сумке матери в такт шагам. — А ты кто? Ну... я знаю, что моя мама, а вообще?

Ксения остановилась — и выпала из своего нарочитого летающего домика с картонными собаками. Выпала и из этого серо-сизого, вспучившегося предстоящей грозой дня — и приземлилась там, где ей лет восемь, девять, десять, где каждый день своего рождения она, согласно ритуалу, жала березе веточку с балкона. В этот день, в ноябре, ветка почти всегда была скользкая, но сама береза казалась ломкой шоколадкой, окоченевшей в холодильнике: снизу белая, сверху молочная. Тогда она дремала, готовясь вскоре опуститься и впасть в окончательную спячку. Теперь же береза была уже другая, весенняя, повислая, похожая на только что вылезшего из болота хиппаря, непонятно как очутившегося здесь. Ничего от шоколадки, только напрасное разнообразие тончайших матово-белых слоев: подцепи один — он отойдет, как шелушащаяся на полузабытом юге кожа, а под ним такой же. Ксения почувствовала, что в горло ей будто напихали маленьких полураспустившихся личинок, и там они растут и разворачиваются, щекоча до слез и кашля.

Она вытащила руки из карманов, сдвинула на лоб очки, набирая воздух, посмотрела прямо перед собой, почти ничего не видя, — и сказала.

## ЛИЛИЯ ВОЛКОВА

### ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ

— Ну, вывалились мы из поезда на Ленинградском. Конец июля, жарень — асфальт плавится. Чемоданчики и авоськи в камеру хранения сунули, а сами пробздеться решили — первый раз в Москве-то! Мамкины куры и пышки в пути надоели, да и подтухли маленько, так что купили мы по пирожку с мясом и вышли к площади. К стеночке прислонились, пирожки лопаем. Юбки-мини, короче некуда, ляжки — как окорока свиные, батники самострочные на сиськах трещат. Стоим, значит. Мужик какой-то нарисовался и кругами вокруг нас ходит. А нам-то что? Народу — тьма, одним больше — одним меньше. Тут он подходит — плешивый какой-то, но одет хорошо — в джинсы и рубашечку с погончиками. Зыркнул на нас и спрашивает — вполголоса и будто в сторону: «Сколько?». Я ему: «Пятнадцать». И дальше пирожок жую. Он удивился — аж рот разинул и говорит: «А чё так дорого?» А подружка моя, Надька, на него, как на дебила, посмотрела и как гаркнет: «Так с мясом же!»

Ленка засмеялась первой. Потом разулыбалась Катя, а там присоединилась и сама рассказчица — тетя Люся. Смех у Ленкиной матери был уютный: то ли сова ухаёт вдалеке, то ли каша пыхтит в кастрюльке.

— Вооот! Ленка сразу все поняла! Недаром в Москве выросла, не то что мы с Надькой — кулемы деревенские. Она



у нас самая умная в семье. Лен, ты в кого умная такая? В кого красивая — понятно, — большая и мягкая тетя Люся снова заколыхалась от смеха. — Кать, а ты чего не ешь-то? Давай-ка я тебе еще картошки... И мяско вот. Давай-давай, жуй-глотавай! А то вон какая тощая!

Кормили у Хлюдовых на убой. Тетя Люся давным-давно «сидела на продуктах»: начинала с продавца, потом дослушалась до директора продмага. Так что в доме во все времена водились в изобилии и гречка, и сливочное масло, и рыбка в цветах московского «Спартака», и мясо всех сортов и видов — от буженины и перламутрового на срезе балыка до бордовой говядины и атлетически-поджарых кроличьих тушек. Когда бы Катя ни приехала — в выходной или будний день, утром или к полуночи, ее всегда приглашали к столу. Ели Хлюдовы вкусно. Не готовили вкусно (хотя и это тоже), а именно ели. Можно было бесконечно смотреть, как Ленка сочиняет многоступенчатый бутерброд, заговаривая его, как знахарка снадобье: а вот мы на хлебушек — майонезик намажем, и огурчик свеженький тооненькими лепесточками, и ветчинку, и сервелатика чуть-чуть. И сырком дырявеньким сверху накроем, маасдамчиком, на машине специальной порезанным. Мммм... Наколдованный бутер исчезал в Ленке, как в черной дыре — быстро и бесшумно. А как тетя Люся вкушала маринованные помидоры! Нежно снимала с помидорных тел прозрачные лепестки кожицы, торжественно подносила обнаженный плод ко рту, прикрывая глаза в предвкушении. Катя в этот момент замирала, а после сглатывала вместе с тетей Люсей, наслаждаясь зрелищем, и тоже хваталась за пряный, пахнущий чесноком и укропом плод. Она, всегда относившаяся к пище утилитарно, как к горючему, на просторной хлюдовской кухне впервые ощутила телом и душой: если чревоугодие и грех, то вполне простительный.

Ленкин младший брат Владик и глава семейства дядя Саша поглощали пищу не так самозабвенно, но тоже с аппе-

титом. Владика Катя видела редко: тот учился в выпускном классе и всерьез занимался спортом. А с дядей Сашей не раз сживала за обедами и ужинами. Ленкин отец был молчалив и улыбчив, ростом — не ниже жены и той же невнятно-русой масти, но габаритами — как парниковый кабачок против грунтовой дыни-колхозницы. Всю свою столичную жизнь работал в «Метрострое». Катя, не любившая подземку за шум, духоту, плотность многоглавой безликой толпы, после знакомства с Хлюдовым-старшим стала относиться к метро иначе. У подземного царства появилось лицо, и это было лицо дяди Саши — простецкое, с носом уточкой, с маленьким, каким-то детским ртом. Качаясь взад-вперед на разгонах-торможениях, Катя представляла, как самые обычные, невеликие мужички роют радиусы и хорды тоннелей, как прячут за драгоценным мрамором железобетонное нутро арок и стен; как в обеденный перерыв усаживаются прямо на рельсы новой, еще неезженной линии и достают котлеты, вареные яйца, термосы с чаем и подначивают самого молодого: «Что, Илюха, опять с батоном и кефиром? Вот пентюх! Когда ты уже бабу себе заведешь?»

Александр Хлюдов «завёл» Людмилу Семенову в общежитии для лимитчиков: приехал к приятелю в гости — из такой же общаги, но на другом конце Москвы. Люся к тому времени в столице обжилась и даже заменила койку с панцирной сеткой на диван, обтянутый гобеленом — красным, с синими разлапистыми тюльпанами. В комнатке на троих она оказалась... Да как и все прочие. В свой первый московский день, наевшись на вокзале пирожков и посетив достопримечательности (Красная площадь — Мавзолей — ГУМ — ЦУМ — «Детский мир»), она заселилась в общежитие педагогического института, откуда отбыла через неделю, провалив экзамены даже не с треском, а с грохотом. Но домой не вернулась, устроилась на прядильно-ткацкий комбинат. Платили хорошо. А что после смены в ушах шумело — так то ж Москва, тут у всех шумит: не от станков, так от ма-

шин или высокой ответственности. Смешно еще, что сморкалась разноцветно: то розовым, то зеленым, то голубым — зависело от того, каких ниток нанюхалась. Саша ей сразу понравился: чистенький, ходит вприпрыжку. Свой, русак, с нежно-игольчатой, как новорожденный еж, прической. За разные места Люсю не хватал даже после полбутылки, а на вопрос «Ты кем хоть работаешь?» ответил «Кротом». Она — тогда еще сорок шестого размера, а не пятьдесят восьмого — вытаращила глаза, а он засмеялся дробным, как просыпавшийся горох, смехом.

Комнату дали отдельную — не сразу, но дали. Ленка уже на подходе была, через четыре года — Владик. В промежутке между детьми Люся поменяла работу: перебралась с грохочущей фабрики в уютный универсам. Так что жили нормально. А детям вообще в общаге было раздолье. В хрущёвке на велосипеде не покатаешься, а по двадцатиметровому коридору — пожалуйста. Можно, правда, от загулявшего соседа подзатыльник получить, но это сегодня. А завтра — конфету. И не карамельку какую-нибудь, а «Мишку» или даже «Стратосферу». Саша и Люся тоже не жаловались. В этих отдельных квартирах все сами по себе, закроются-замуруются и сидят, как сычи. А тут если нужно пятерку до зарплаты стрелнуть — то дадут обязательно, если не в первой комнате по коридору, то уж в третьей наверняка. На демонстрацию ходили с флажками и бумажными цветами, навеченными на ветки, Ленка — за руку, Владик — у отца на плечах, и тянули шея к трибунам, и орали во всю мощь пролетарских глоток. «Да зда... ет аюз абочеа класса и удового..стьянсва! Уааааа...». А как на Новый год пельмени мастрячили всем этажом? Пять мясорубок, двадцать пар обсыпанных мукой рук, три ведёрные кастрюли, а потом под водочку, под вино «Арбатское», за накрытыми прямо в коридоре столами: «Ну, с новым счастьем!»

Счастье в виде трешки в новенькой шестнадцатизэтажке — с десятиметровой кухней и лоджией размером с комнату в общежитии — привалило тогда, когда у слишком

развитого социализма стало проявляться дыхание Чейна-Стокса. Успели! Вскочили в последнюю электричку! Двадцать минут от Киевского вокзала, а потом — на автобусе, бесконечно, мимо сотен домов, похожих издали на блоки дорожного «Лего»: вроде разные, а все равно одинаковые. Ленка свое Солнцево называла не иначе как «жопа мира»: «Хорошо тебе, Катька, от метро недалеко, хоть и на автобусе, а я пока до своей жопы мира доеду...». Но Хлюдовы-старшие вили гнездо неумоимо и восторженно — десять лет без перерыва.

Раз в два года переклеивались обои — непременно в арбузного размера цветах, обязательно с золотом. Раз в три года обновлялась мягкая мебель. Однажды Катя, приехав в гости, застала дядю Сашу в прихожей, где он ухарски рубил топором кресло — в дверь оно не пролезало и позже было отправлено на помойку расчлененным. За сменой ковров, паласов, покрывал не уследил бы даже тот, кто посещал хлюдовскую квартиру регулярно, а не от случая к случаю, как Катя. Хотя бывать там она любила. Ей было интересно наблюдать за «полной семьей»: когда и мама, и папа, и двое детей, и родственники наезжают — шумные, говорливые, обнимают до хруста, вынимают из бездонных сумок свертки и пакеты, чаще со съестным. А тетя Люся мечет на стол мисочки, плосечки, тарелки и тарелищи и переживает, что не предупредили, а то бы она пирогов!..

Пироги, кстати, Ленка регулярно таскала в институт — минимум раз в месяц, а то и два, штук по двадцать-тридцать, завернутые в плотную бумагу и втиснутые в ветхозаветную холщовую сумку. Однажды кто-то из участников пирожного пира изучил облупившийся рисунок на ней, опознал группу «Boney M.» и заголосил на всю кофейню «Ма-ма-ма-ма, ма бейкер!». Потом вспомнили «Бахаму маму» и «Распутину», а Катя подошла к сидевшей чуть в стороне Ленке, чтоб задать вопрос, давно ее волновавший:

— А тетя Люся что, специально для нас пироги печет? С чего вдруг?

— Да нет, — Ленка поморщилась, — просто мать с отцом опять поссорились, а мы столько пирогов съесть не в состоянии. Она ж их в запале наместит столько — чума!

— Что-то я связи не уловила, — удивилась Катя.

— Ну, они когда ссорятся, если только не ночью совсем, то мать — на кухню сразу и тесто на пироги ставит. А отец — на лоджию, у него там мастерская. И полочки сколачивает. Как доколтит — тоже на кухню плетется. Всю кухню мукой уделают, налепят три-четыре противня, потом пекут, потом убираются. И спать идут. А утром — как ни в чем не бывало. Вроде и не было никаких ссор.

— А из-за чего ссорятся-то? — картинка в Катиной голове никак не складывалась: немногословный дядя Саша, добродушная тетя Люся — и домашние скандалы? Быть того не может!

— Да черт их теперь знает! Они при нас никогда отношения не выясняют. Было когда-то — из-за всякой ерунды: кто-то что-то сказал, или отец выпил лишнего. А потом Владикова учительница в первом классе сказала, что нельзя при детях ссориться. Что психологические травмы могут быть и успеваемость страдает. С тех пор — как партизаны. Молчат. Пироги вот только — в промышленных масштабах. Ты знаешь, я ем будь здоров как, но столько теста сожрать — это ж самоубийство! И, между прочим, соседи жалуются, если отец по вечерам на лоджии дятла изображает. И он им тогда полочки дарит. Они красивые, людям нравятся.

Спрашивать у Ленки, часто ли мать с отцом ссорятся, Катя не стала. Она мысленно считала полочки. На кухне — штук пять или шесть. В Ленкиной три. В гостиной — тоже на каждой стене по паре минимум. А если еще и у соседей...

— Кать, поехали сегодня ко мне? Завтра ко второй паре, успеем и выспаться, и добратся до института из моей жопы мира. Поедем, а? А то там пирогов еще — чума!

В начале восьмого они вошли в электричку. Надпись на головном вагоне — «Солнечная» — февральским вечером читалась как издевательство. Но до конечной они не доехали: на полдороге, когда поезд стал тормозить, Катя взглянула в окно, схватила Ленку за руку и потащила к выходу:

— Давай выйдем сейчас!

— Ты с ума сошла? Холодрыга такая, и это вообще не станция, а платформа в чистом поле!

— Давай, давай, скорей! Разрешите, пожалуйста, нам нужно выйти! — протиснувшись через плотно упакованную в прокуренный тамбур людскую массу, они выскочили на перрон. Двери, взвизгнув, начали закрываться.

— Ну, Катька, ты даешь! — выдохнула Ленка и резким движением выдернула из смыкающейся вагонной пасти конец длинного шарфа. — И что мы тут делать будем? Вот ты чума!

Катя хорошо запомнила тот вечер — лучше, чем многие последующие: развещающие душу, ломающие судьбу через колено. Они с Ленкой спустились с платформы на пустырь, где были в беспорядке уложены строительные бетонные блоки. Луна желтела в небе, как сыр, который лет пять назад в алюминиевой кастрюльке варила из творога Катина мама. Их было трое ярких, дополнивших собой монохромный супрематизм: извечная пленница Земли, Катя в красном пуховике и Ленка — в зеленом. Белое полотно заснеженной земной тверди, черно-серые прямоугольники и квадраты, овал Ленкиной фигуры, узкая трапеция Катиной. Сколько времени они провели там? Полчаса? Час? Скакали по сложенным друг на друга плитам, завывали, стоя напротив друг друга, «Вот и лето прошло» — придурковатую попсу на грустные стихи. Выкрикивали «Послушайте!», обращаясь к глухим и безгласным пассажирам пролетающих мимо электричек; плевались в темноту на словах «Кто-то называет эти плевочки жемчужиной» и хохотали до сиплых стонов.

В Солнцево Катя не поехала. Устала, замерзла. И расхотелось почему-то. Ленка вначале надулась, но долго обижаться она не умела, так что, немного постояв на противоположных платформах, они отправились по домам. Катина электричка пришла первой, и, сидя сначала в стылом вагоне, потом — в метро и автобусе, она все думала: вот приехала Ленка домой, а там пироги. Может, только вчерашние, а может, уже новые лепятся. И дядя Саша на лоджии — тук-тук, тук-тук. Вот тебе и семья. Это что, любовь? Или просто экономический союз, кооператив для выращивания детей? Или вообще обоюдный стокгольмский синдром. Может, лучше, как у нас? У Кати есть мама, у мамы — Катя. И все. И больше никто не нужен. Ну, может быть, когда-нибудь, если Катя не выйдет замуж, она возьмет и родит себе дочку, и будет ее воспитывать, и любить, и будет у них семья — уже на троих. Потом. Когда-нибудь. Лет через десять?

## УЛИТА ГОРЛИЧ

### НАД БЕЗДНАМИ

#### *1. Интересная находка*

*Городской голова въ одномъ изъ своихъ семейныхъ альбомовъ нашель чрезвычайно интересный рисунокъ, изображающій Н. В. Гоголя на смертномъ одрѣ. По нѣкоторымъ даннымъ можно предполагать, что рисунокъ этотъ былъ сдѣланъ съ натуры неизвѣстнымъ художникомъ. Этотъ портретъ надо считать однимъ изъ самыхъ удачныхъ портретовъ Н.В.Гоголя. вмѣсто обычнаго посмертнаго вѣнчика на лбу покойнаго Н. В. Гоголя былъ водруженъ небольшой лавровый вѣнокъ.*

*Газета «Раннее Утро», мартъ 1909 годъ*

Мысль о том, чтобы завладеть черепом, пришла неожиданно. Она захватила меня с настойчивостью наития, озарения свыше.

Еще утром я прочитал в газете новость о том, что приступили к реставрации могилы Гоголя, а уже вечером в театре, имел интереснейшую беседу с Бахрушиным. Нет, все началось, как обычно. Бахрушин бесконечно зудел свою старую песню о том, как нужна ему балетная туфелька Кшесинской. Какое-то время назад меня это даже забавляло, я подначивал и поддразнивал его, а один раз даже принес и показал ему башмачок этот невесомый, с подписью



Матильды на доньшке. С тех пор, при каждой нашей встрече, Бахрушин смотрел на меня глазами преданного пса: «Все, что хочешь — взамен, только позволь владеть!». К бормотаниям его я давно привык, слушал рассеянно, вполуха, и вдруг:

— ... не отказываться же, вот и поехал. Захоронили-то совсем неглубоко, так дальше оставлять никоим образом нельзя, грунты-то там с подмывом...

— Позвольте, Алексей Александрович, это вы сейчас о какой могиле говорите? — слова его странным образом вплелись в мои размышления.

— О могиле Гоголя, само собой, я уже минут десять о ней рассказываю, — он по-птичьи округлил глаза и насмешливо протянул: — Впрочем, вам, поэтам, рассеянность к лицу, барышень молоденьких это, должно быть, завораживает.

Вот же дурацкая привычка, задрать бороденку вверх и тянуть паузу! Дон Кихот без Росинанта, романтик суконных фабрик! И сдерживая себя, чтобы никоим образом не показать своей заинтересованности, я лениво протянул:

— Ну, а вы-то там как оказались? Читал утром в газете, что монашеская братия этим вопросом занимается.

— Консультирую, — ответ прозвучал неопределенно, но я не стал уточнять, боясь спугнуть Бахрушина раньше времени.

Наверное, я на секунду потерял связь с действительностью, провалился внутрь себя. Исчезли и мягкий свет театрального буфета, и тихий шелест голосов

«Че-реп!» — застучало в голове, забило мрачным набатом: «Че-реп! Вот он, твой шанс, не упусти его!»

Я открыл глаза, Бахрушин смотрел на свой бокал и слегка улыбался, моего недолгого «отсутствия» он и не заметил.

— Договориться с монахами о чем-либо будет непросто, — голос мой прозвучал вороньим карканьем, я сделал жадный глоток коньяка, но даже вкуса его не почувствовал.

— Напротив, мой друг! Все будет гораздо проще, общаюсь-то я не с монахами, а с послушниками, а там не все относятся к Николаю Васильевичу с должным почтением. Некоторые его и в самоубийстве обвиняют, и в прислуживании силам, далеко не божественной природы, — и Бахрушин поделился со мной своей заветной мечтой, заполучить во владение башмак с ноги Гоголя.

— Удивили меня каблуки, сам размер-то обуви обычный, а вот каблук высокий, сантиметров пять будет. Выходит, Николай Васильевич по поводу своего роста сокрушался и хотел повыше казаться

Лепет этот детский вызвал у меня досаду. Какой башмак, если тут такие возможности открываются! Я понизил голос и, пристально смотря Бахрушину в глаза, вылил на него мою идею о том, чтобы завладеть не чем-нибудь, а черепом Гоголя.

Конечно же, Бахрушин испугался! Он отшатнулся от меня и даже попробовал убежать, но я крепко ухватил его за рукав и не отпускал от себя до тех пор, пока глаза его не вспыхнули интересом, а страх не отступил.

Как же легко увлечь человека словами, особенно, если знаешь его слабости!

И вот уже, уважаемый Алексей Александрович, прихлебывая коньяк, рассуждает о том, как он положит череп Гоголя в ларец со стеклянным окошком сверху и закажет для него венец с серебряными листьями. А пока все это будут изготавливать, он позволит мне (О, для вдохновения, только для вдохновения!) поддержать у себя этот череп.

Пришлось мне пообещать ему и туфельку Кшесинской в придачу. Но игра того стоила!

Расстались с Бахрушиным не просто знакомыми, но соучастниками.

Не знаю, как он, а я всю ночь промучился бессонницей. Да и как можно было спать в эти часы?! Я замер в безвременье перед самым важным днем в моей жизни. Скоро, совсем

скоро я получу во владение череп того, кого считаю своим учителем. Я достал из тайника листы обгоревшей рукописи и бережно разложил их на столе. Вот оно, бесценное наследство, оставленное мне великим писателем! Когда дед мой выхватил из огня начавшие тлеть листы, Гоголь уже почти впал в беспамятство. Никому не известный фельдшер Зайцев, дворовый человек помещицы из Симбирска, именно мой дед был последним, с кем беседовал Гоголь перед смертью. Да-да, фамилия моя, которой пестрят театральные афиши — всего лишь псевдоним. Зайцев — мое родовое имя. И ни намек на дворянскую кровь. Но разве же плоть и кость что-то значат перед высшим, духовным родством? Я верю в свое предназначение, в то, что именно мне позволено дописать «Мертвые души», оживить их. Я распахнул окно и жадно вдохнул ночной воздух, к слабому аромату лип примешивался еле уловимый запах тронутой огнем бумаги.

На следующий день я с трудом дождался наступления первых сумерек, казалось, этому жаркому июльскому мареву не будет конца.

Но как бы рано не прибыл я к месту нашей встречи, Бахрушин уже ждал меня у входа на Свято-Даниловский погост.

Тоже сны не шли — я заметил и темные круги под его глазами, и некоторую суетливость движений.

Мы молча кивнули друг другу и быстро зашагали по центральной аллее.

Неожиданно Бахрушин остановился:

— Я дальше не пойду с вами. Вы уж, голубчик, сами. Обо всем договорено, — он махнул рукой в сторону бокового прохода: — Подождите там, к вам подойдут.

И пошел стремительно прочь, почти побежал, не оглядываясь, к чугунным воротам входа.

Я постоял немного, смотря ему вслед, а потом неспешно шагнул в тень боковой аллеи.

Меня всегда удивлял страх людей перед кладбищем, внутреннее неприятие его тишины и строгого спокойствия.

Еще с детства поход на кладбище превратился для меня в ритуал. Мама надевала красивое шуршащее платье и необычную шляпку, с черной летящей паутиной. Лишь потом я узнал, что у сеточки этой есть загадочное и пьянящее название — вуаль. На меня тоже натягивали праздничный отутюженный костюмчик, и мы, через летнюю жару и цокот копыт, под мамино вечное: «Выпрями спину! Не сутулься!» — неслись к старому кладбищу, на встречу с бабушкой, от которой в памяти сохранились только сладкие запахи корицы, яблок и теплое движение губ у моего виска.

И после пыли и жаркого дыхания города, густая тень кладбищенских лип казалась благодатью, и я верил, что бабушка сейчас в раю, потому что рай так и должен пахнуть — покоем, прохладой и медовым липовым цветом. И если запрокинуть голову, то казалось, что упадешь не вниз, а вверх, туда — в перекрестье веток, синеву и в жаркое гудение пчел.

И я снова, как много лет назад, поднял лицо к темнеющему небу и закрыл глаза.

— Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. — Послушник появился неожиданно, возник из лиловых сумерек, как будто у соседней могилы уплотнилась тень от креста. — Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего век.

Он сунул мне сверток из холстины, шепот его стал громче:

— Повсюду ходят нечестивые, Когда ничтожные из сынов человеческих возвысились.

Глаз его я так и не разглядел. Казалось, порыв ветра отнес в сторону и слова молитвы, и самого послушника.

Ветви лип загудели над головой, шелест листвы настойчиво лез в уши, теперь в нем можно было различить слова: «Бин... Баш...»

Я, придерживаясь за ограду, как слепой, дошел до скамейки и рухнул на нее, череп в смятой холстине налился веком и придавил тяжестью колени.

— Бинбаш-Коба! — отчетливо пропел в листве ветер, — Бинбаш-Коба!

## *II. Кружокъ — «из міра таинственнаго»*

*На дняхъ въ Москвѣ предполагается открытіе кружка, поставившаго себя цѣлью изслѣдованіе явленій изъ «міра таинственнаго». Члены кружка будутъ командироваться всюду, гдѣ только произойдетъ какого либо рода загадочное явленіе. Предположено завести правильную регистрацію случаевъ появленіе привиденій и телепатіи. Въ кружокъ вступаютъ въ качествѣ членовъ нѣсколько видныхъ московскихъ спиритовъ.*

*«Голосъ Москвы», май 1909 годъ*

Разве ж тогда, отправляясь на прогулку в горы, я знал, чем обернется для меня наш поход?! Марков поймал меня легко и изящно, на одной моей тяге к приключениям, и на пресыщенности от спокойного уюта курортной дачи. За месяц безделья, я вконец одурел от монотонного шуршания волн и от восторгов местных барышень.

— Тут недалеко, всего в паре часов ходьбы, есть пещера Бинбаш-Коба, с усыпальницей и долина привидений Демерджи. Если выйдем утром, то к вечеру вернемся, полные впечатлений, — Марков слыл знатоком Крыма, и слова его звучали для меня волшебной музыкой. — Вот, взгляните, нашли во время раскопок одного из курганов.

Он протянул мне золотую фигурку женщины, в странном наряде. В одной руке у нее был меч, а в другой она держала отрубленную человеческую голову.

— Змееногая Апи, сарматы почитали эту богиню и поклонялись ей, как верховному божеству. Пойдемте, не пока-

леете, Бинбаш-Коба до сих пор дышит мрачным культом прекрасной Апи.

И, конечно же, я не удержался! Да и возможно ли это было — отказаться от такого заманчивого предложения?!

И лишь потом, в пещере, после трудного подъема, когда держал в руках желтый тяжелый череп, я вдруг понял, что легкая курортная жизнь осталась далеко позади. И это «позади» измеряется не часами, и даже не годами, а целой жизнью, и я неизмеримо стал старше.

Скорее всего, я так бы и остался у той горы черепов, превратился еще в один сталактит Бинбаш-Кобы, если бы не Марков, который, буквально силком, выволок меня из пещеры.

Где-то на спуске я оступился, проехался по насыпи и, пытаясь ухватиться за камень, повредил руку. Кисть пронзила короткая острая боль. О том, чтобы вернуться в поселок этим вечером вопрос уже не стоял. И нам пришлось заночевать в Демерджи.

Проводник наш поначалу был против. Он что-то пытался донести до нас, потом перешел на татарскую тарабарщину и умолк лишь тогда, когда мы пообещали ему заплатить тройную цену по возвращении в поселок. Он еще долго бурчал себе под нос и беспокойно вскакивал, подкидывая сухих веток в огонь.

В какой-то момент я перестал замечать проводника, видел только яркое пятно костра и слышал приглушенное бормотание.

Языки огня становились все выше, извивались все причудливее. И вот уже не пламя, легкие змеи пляшут в черных ветках. Все гуще, все быстрее.

Шорох, скользнувший рядом, похож на шипение гадюки, на стрекот ее раздвоенного языка.

Я поворачиваю голову и вижу лицо прекрасной женщины. В глазах ее, огромных и неподвижных, отражается ночное небо и миллиарды мерцающих звезд.

Она совсем рядом, но наклоняется еще ближе. Колышется совершенная грудь, черепа на ожерелье подпрыгивают в такт, и ударяются друг о друга с глухим костяным звуком.

Из прекрасного рта женщины вырывается тонкий и раздвоенный змеиный язык, он обжигает мои губы, и они немеют. Я начинаю задыхаться, и сладкая дрожь пронзает мое тело. Из последних сил я шепчу ее имя:

— Апи...

Позже, Марков рассказал мне, что к полуночи у меня начался жар, и я впал в забытие. Они отпаивали меня чаем, а потом и просто — водой. Я был беспокоен, вскрикивал, пытался подняться и идти куда-то, жалобно плакал и просил вернуться в Бинбаш-Кобу, чтобы забрать там свой череп. Под утро я затих, и они с проводником разглядели на моей ладони, рядом с запястьем, след от укуса змеи. Домой меня несли на самодельных носилках, я был очень слаб и ни на что не реагировал.

Оказывается, в Демерджи растут редкие травы и иногда, в жаркое время года, именно под утро вместе с росой поднимаются испарения — они вызывают у людей тяжелые и причудливые галлюцинации.

На мой взгляд, это смешная попытка объяснить то, что наше сознание вместить в себя не в силах. Я видел богиню, и Апи приняла меня в свои объятия. Разве же роса и укусы маленькой степной гадюки могут служить оправданием череды мистических видений, что разглядел я той ночью? Нет, не разглядел, а участвовал в них душой и телом.

### *III. Поэтъ — безумецъ*

*Мистическій анархистъ, ходящій над безднами, призываетъ изъ далей ту, что дерзнетъ съ нимъ рука объ руку пройти житейскій путь и познать все. Предложеніе серьезно. Москва, 34 почт. отд. Предъявителю почт. квитанціи №375.*

Запах лип вырвал меня из грез, подхватил и быстрым ветром освежил лицо.

Я выпутывался из паутины воспоминаний, но нежно-сладкий аромат не отступал.

Нет, это не липа. Так пахла... Апи, божественная моя возлюбленная...

Между прутьями ограды, прямо передо мной, качался фиолетовый раструб цветка. А ведь когда я подходил к скамье, ничего здесь не было, только незаметный бутон, легкая завязь лепестков.

Datura.

Дурман.

Ангельская Труба.

И в этот миг все окончательно сложилось в моей голове, легко и просто. Теперь я знал, куда идти и что делать.

Я подхватил сверток с черепом и зашпешил к воротам, быстрее назад, домой. Там, на моем рабочем столе, лежит старинная кулинарная книга. Из множества рецептов я выберу, пожалуй, печенье Ришелье.

Кто, как не старый гурман и женоненавистник, даст мне в руки средство, чтобы привлечь моих агнцев, моих нежных весталок!

Я дождусь полнолуния и приготовлю восхитительные многослойные бисквиты.

Яиц с десятков, нежный сахар,  
Монета бледная Луны...  
Миндальный горьковатый запах  
Подарит Ангельские сны.

Слова и рифмы всегда помогали мне в моих кулинарных опытах. Я возьму три чашки миндаля, сливочного масла, сахара, собью крутую воздушную пену. Я не пожалею шоколада для глазури, и оттеню горечь изысканным абрикосовым



джемом. Нежные бисквиты я сделаю еще утонченнее, пропитаю их кремом «Франжипань».

О, «Франжипань», горький аромат миндаля!

Но вместо ликера Maraschino я добавлю в крем сок Трубы Ангелов.

Нежные девичьи губы поцелует змееногая Апи.

И тогда никого не останется, между мной и Вечностью.

И слова польются из бездны...

А пока, мне остается только ждать и следить за рисунком судьбы.

И все начинает складываться в причудливую мозаику, высшие силы ведут меня в четком направлении. Подталкивают и указывают, куда ступить. Дуют ветрами в спину, нашептывают в уши правильные слова. И я повторяю эти слова вслух, возникаю в нужном месте и в нужное время, и смело иду впереди своей тени.

Театр купается в море восхищения. Спектакли проходят с неизменными аншлагами, в громе оваций, в криках «Бис!», с трепетными просьбами достать билетик, пропустить за кулисы, позволить прикоснуться.

Томные барышни перешептываются, цитируя нараспев мои стихи:

Над головой моей  
Рогожка синяя  
И молью битая,  
Где облака.  
Окно распахнуто  
Чужими спинами  
В нем тает солнечный  
Изгиб крыла...

### *Тайна исчезновения поэта З.*

*Вчера дѣло объ исчезновеніи поэта и драматурга З. имѣло неожиданное продолженіе. Въ полицію явился студентъ П. и сообщилъ о томъ, что тѣло поэта З. было захоронено членами Мистическаго Кружка. Согласно волю поэта, онъ былъ погруженъ на плотъ и отправленъ по руслу подземной рѣки Неглинной. Учитывая недавнее наводненіе и затопленіе подваловъ, найти тѣло такъ и не удалось. Студентъ П. въ тяжеломъ нервномъ состояніи направленъ на освидѣтельствованіе въ частную психіатрическую клинику доктора Усольцева. Напомнимъ, что двѣ недѣли назадъ въ мансардной квартирѣ поэта З. по Гоголевскому бульвару, былъ найденъ трупъ дѣвушки, покончившей жизнь самоубійствомъ посредствомъ принятія яда. Она оставила записку: «Простите, разочаровалась», и далѣе приписка — «посмертное».*

*Театръ погрузился въ трауръ, вечернее представленіе было отмѣнено.*

*«Голосъ Москвы», сентябрь 1909 годъ*

## ЮЛИЯ ДУДНИК

### ЯРМАРКА

Задолго до наступления сельскохозяйственной ярмарки нашего округа Маргарет начала говорить о том, что нам предстоит увидеть, и как мы туда доберемся. Из ее рассказов выходило, что это самое потрясающее зрелище на свете, настоящее, взаправдашнее приключение, но чтобы попасть туда, нам предстоит проделать долгий путь, полный тревог и опасностей, а также чего-то, что Маргарет обозначила словом «соблазны». «Соблазны, — сказала она, — это когда тебе предлагают что-то большее, чем у тебя есть или чем обещали до этого. И тут, — добавила Маргарет и посмотрела на меня вопросительно, — нужно отказаться». Хотя я не вполне понимал, зачем нужно отказываться, я все же не мог представить, что мне предложат что-то большее, поэтому с радостью подтвердил готовность отказываться от соблазнов.

Моя копилка предыдущих путешествий была скудна, хотя к тому времени я мог без труда совершать получасовые, а иногда — и более длительные пешие прогулки. Но, как правило, наши с Маргарет походы лежали в пределах придомового участка, реже — вдоль улицы, на которой был расположен дом, и иногда — двух соседних улиц, идущих параллельно нашей. Достопримечательностью одной из них была огромная колонка, из которой набиралась вода для общественных нужд. На табличке, прикрепленной к бетонной

стеле возле колонки, так и было написано: «Не для частного использования». Мы ходили смотреть, как возле нее останавливаются пожарные машины или машины со строек, и через серый, покачивающийся от напора воды шланг, похожий на хобот слона, вода поступала в цистерны. Это зрелище никогда не надоедало мне, и, глядя на нагретые бока машин с бегущими по ним каплями, солнечную пыльцу, вишащую в воздухе, и расцветающую над всем этим радугу, я наполнялся восторгом, как стоящие рядом машины — водой. Этот маршрут назывался «К колонке».

Вторая улица была примечательна тем, что на ней, в одном доме, жили сестры, Сесилия и Присцилла Дэвис, выращивавшие редкие сорта роз и соревнующиеся друг с другом на местных регулярных выставках любителей цветов. У них был крупный, кудлатый пес Спайк, по-своему участвовавший в этой войне алых и белых роз. От скуки он перекапывал участок, зачастую прямо с корнями выдергивая кусты из земли, или чесался боками о колючие заросли, избавляя себя от черных, свалявшихся колтунов. В дни сильной жары он устраивал подкопы под кустами, и, вырыв внушительную яму, с протяжным стоном укладывался в нее, как укладывается в постель человек, изнуренный тяжелым трудовым днем. Этот путь назывался «К Спайку».

Вот эти две соседние улицы и еще холм, которым заканчивался наш переулок, были границами моего мира.

По тому, как Маргарет описывала опасности, грозящие нам в пути, — а к ним относились неизвестные люди со злыми намерениями, непроходимые топи и непролазные заросли, дикие животные, ядовитые насекомые, солнечный удар и обморожение — я понял, что ярмарка находится где-то очень далеко, за миллион световых лет от колонки и Спайка.

Маргарет без конца говорила об акробатах, передвигающихся на ходулях и жонглирующих апельсинами, клоунах с красными носами, раздающих карамельную тянучку,

о еноте, вытаскивающим записки о будущем из крутящегося барабана, о зеркалах, в отражении которых можно сделаться длиннее или толще, о жарящихся в масле пончиках, запахе печеных яблок, леденцах на палочке, и я был полон решимости увидеть все это и попробовать, несмотря на любые предстоящие нам тревоги и опасности.

Тревог было не так много, как пророчила Маргарет. Собственно, их не было вовсе, если не считать того, что я забыл дома резиновые сапожки, которые Маргарет велела прихватить с собой, и Маргарет отругала меня. Часть пути я ожидал наступления других неприятностей, но все было таким знакомым и привычным, что я не мог понять, откуда они могли бы появиться. Улицы, по которым мы шли, были похожи на нашу и соседские одновременно. Пыльные тротуары, занавески и цветы на окнах, палисадники, спешащие мимо люди — все это было видно мною много раз, и не вызывало никакого беспокойства. Мне не было ни жарко, ни холодно, вокруг не было никаких насекомых и зверей, и я стал бояться, что испытания и неприятности не наступят, а, значит, не задастся и наше приключение, но не стал говорить об этом Маргарет, опасаясь ее расстроить.

Мы свернули с асфальтированной улицы, и пошли по песчаной дороге, сначала вдоль поселка, а потом — по полю. Иногда мимо нас проезжали машины и одна из них бибикнула нам. Мы шли довольно долго, и я стал уставать, когда вдалеке, на другом краю поля, показалась ярмарка. Оттуда едва заметно тянуло подгоревшей кукурузой, слышался визг и странное гремяние. Маргарет схватила меня за руку, мы прибавили шагу и скоро оказались у входа. Сбоку от торговых рядов располагался шатер, и откуда-то сверху, из репродуктора, доносился металлический голос, закольцованно приглашающий всех желающих войти внутрь.

Слева от нас стояли припаркованные машины. Возле них были выложены тыквы, размером с машинное колесо.

На прилавках лежали баклажаны, морковь, картофель и много еще каких-то овощей — и все это было огромное, гораздо больше, чем те, которые мне приходилось видеть раньше. Я обратил на это внимание Маргарет, и она ответила, что на ярмарках всегда все ненормальное, потому что все отчебучивают друг перед другом что-то эдакое, и здесь все самое лучшее, не такое, как обычно.

— Вот, смотри сюда, — Маргарет потянула меня в сторону, где располагались загоны с животными. В ближайшем к нам стойле стоял крапчатый козел, белый, с пятнышками цвета сепии по всему телу. Он неохотно поднял голову, в нерешительности сделал несколько шагов нам навстречу, и замер, упершись головой в доски. Маргарет указала на прикрепленные к ограде разноцветные кружочки из ткани и лент и сказала, что это его медали. Она долго всматривалась в надписи на них, и в конце концов торжественно произнесла: «Чемпион всего на свете!»

— Молодец, — одобрил я и погладил его по шершавой, как наждачная бумага, морде. У него были уши, похожие на поникшие листья фикуса, совсем холодные на кончиках, и янтарные глаза, с горизонтальным кирпичиком зрачка.

Маргарет купила нам яблоко в глазури. Оно было на длинной деревянной палочке, обернутое в сверкающую фольгу, и мы долго отдирали ее от подтаявшей на жаре сладости, отгоняя кружащих вокруг нас пчел, а потом по очереди лизали приторные капли и грызли белый сахарный панцирь, зубами снимая с него стружку. Через какое-то время Маргарет вспомнила об обещании, которое взяла с нас мама — не портить себе аппетит до обеда — и отобрала у меня яблоко. Она завернула его в остатки фольги, а мне дала сэндвич с тунцом, который упаковала для нас мама. Как я ни старался держать его, не прикасаясь руками к рыбе, я весь перепачкался.

Мы прошли мимо безучастных, сомлевших на солнце, овец, коров, жующих травяную жвачку, вздрагивающего

от прикосновения мошкары быка. Посмотрели на мохноногих кур, лениво копошащихся в опилках. Петух, прохаживающийся вокруг них, как часовой, вскинул голову и уставился на нас застывшим стеклянным глазом, а потом хрипло закукарекал. Я хотел всей душой, чтобы этот ряд никогда не кончался, и виснул на каждой загородке, обхватывая ее липкими, пахнущими водорослями руками.

В конце торговых рядов был большой пустырь с огороженной деревянными слегами и засыпанной стружкой площадкой посредине. Вокруг было много людей. Они стояли, опершись на слегы, и всматривались в сарай возле площадки, внутри которого что-то копошилось и повизгивало.

— Сейчас будут свинячьи бега! — шепнула мне Маргарет. Мы подбежали поближе к сараю и прижались к деревянной штaketине, ограждающей площадку.

— Мы будем болеть за самого лучшего, — сказал я, — за чемпиона!

— Помолчи, — одернула меня Маргарет, — мы же не знаем заранее, какой самый лучший.

Площадка по форме была похожа на подкову, на каждом конце которой были воротца. Служащие, в клетчатых рубашках и высоких кожаных сапогах, вынесли из сарая поросят и выпустили их в загон из ржавой сетки, откуда им предстояло бежать, как только откроются ворота.

Поросята, в надетых на них попонках, подхваченных ремешками вокруг передних и задних ног, были похожи на детей в разноцветных дождевиках. На каждой попонке был нашит номер поросенка. Мы с Маргарет, сразу же и не сговариваясь, выбрали нашего — в лиловой накидке, номер шесть. Он был самый тощий и неказистый, значительно меньше своих собратьев, совсем малыш, и даже шел не слишком уверенно. Ворота с обеих сторон площадки открылись, и поросята помчались вперед. Наш фаворит замешкался на старте и, чтобы взбодрить его, я стал хлопать в ладоши и бежать параллельно с ним вдоль ограды. Сна-

чала он трусил бодро, но ко второй половине забега стал отставать, а потом и вовсе произошло что-то странное. На повороте он столкнулся с обгоняющим его собратом, перекувырнулся в воздухе, как блин, подброшенный на сковородке, и упал на бок, громко и пронзительно вереща. В следующую секунду я пролез между штакетин, схватил его и бросился догонять остальных. Я слышал, как вокруг кричали, слышал голос Маргарет, но от волнения не мог разобрать в этом нарастающем гуле ни общего смысла, ни отдельных слов.

Стоит ли говорить, что мы пришли последними? К моменту, когда я прибежал к воротам, все поросята уже носились по загону или ели хлебную кашу, разложенную в длинную лохань. Мой поросенок вздыхал и дрожал так, как будто это я скакал на нем по солнцепеку, а не он прокатился у меня на руках. Я поставил его на опилки, он ткнулся мордой в мучнистое варево, завил хвостом и зачавкал. Прибежала Маргарет и сообщила, что я навел шороху.

— Видел бы ты, как все бесновались, когда ты с ним драпанул, — заявила она с гордостью, и стала гладить нашего поросенка по спине.

— Он очень хороший, — сказал я, — самый лучший!

— Еще бы, — кивнула Маргарет, — будущий чемпион!

К нам подошел человек в кожаных сапогах и, улыбаясь, предложил показать новорожденных поросят. Я хотел бы посмотреть на них, но Маргарет уверенно сказала, что нам пора домой, и я на всякий случай добавил, что ничего лучше нам уже не надо.

Мы вышли с ярмарки и, отойдя недалеко, сели на взгорке, чтобы вытряхнуть песок из моих сандалий. Все еще было очень жарко. Мы молча смотрели, как ветер гладит поникшую от беспощадного солнечного взгляда траву, перекладывая ее то на один бок, то на другой, и слушали его голос — голос ветра, гуляющего в безграничном пространстве — тягучий, печальный, как будто кто-то играл на окарине.



Потом Маргарет выдернула один колосок и спросила: петух, курица или цыпленок?

— Петух, — ответил я.

Маргарет провела сжатыми пальцами вдоль стебелька, и это действительно был петух: все ворсинки колоска сложились в форме длинного петушиного хвоста.

Мы поднялись. Я оглянулся назад, и сразу понял, что все это: день, упавший налитым плодом мне в ладони и рассыпавшийся роем жужжащих пчел, разморенный солнцем пейзаж, обрамленный пелериной легких облаков, пронзительно голубое небо, дрожащее от летающих в нем стрекоз, слепящее солнце, жмуриящаяся Маргарет, и весь этот кудахчущий, фыркающий и мычащий Ноев ковчег уже навечно встроен в мою память. И я... я буду капитаном этого корабля.

## ЮЛИЯ ЖУКОВА

### БА-ГА-ЛО-ДИ-СИ-ДЕ-ВА-ЛА-ДУ-СИ

Я нарисовал свою первую картину прежде, чем сказал свое первое слово — в пять лет и пятнадцать дней, пятого марта 1869 года.

В тот день мне было скучно: няня спала, по обыкновению уронив тяжелую седую голову на плечо, маменька еще не вернулась из гимназии, и я был предоставлен самому себе. Я сидел за столом в гостиной, разглядывая гравюру с Александровской колонной. Гравюра висела здесь, сколько я себя помнил, и я успел выучить ее во всех подробностях, но отчего-то мне стало любопытно разглядеть ее вблизи. Я залез на стол, снял рамку со стены и принялся рассматривать рисунок: толстые и тонкие черные линии шли параллельно и пересекались, змеились и выгибались, заполняли собой пустоту листа, не оставляя ни единого свободного пятна. Я, как зачарованный, водил пальцами по этим линиям, пока не увидел оставленный маменькой — в спешке, разумеется, ничего острого мне в руки никогда не давали, чтобы, упаси Господи, не выколлот себе глаз — простой карандаш и несколько листов.

Я взял карандаш и почти бездумно принялся переносить на чистый лист рисунок — линию за линией, стараясь в точности воспроизвести их толщину и длину. Карандаш двигался удивительно послушно: незнакомое мне прежде чувство контроля над чем-то — пусть столь ничтожно малым —

захватило меня. У этого нового действия был правильный ритм и терпимый, почти приятный звук: графитовый стержень кропотливо шуршал, вскрывая плоть бумаги, чтобы оставить в ней свой черный след.

— Арсюша, что это ты взял? — ржаво проскрипел старческий голос, тотчас вырвав меня из моего уединения. Я привычно склонил голову на грудь — зацепиться взглядом за какой-нибудь повторяющийся узор на ковре или в трещинах крашеной стены и приглушить звук.

Няня, верно, решила, что я испортил картину — что еще может сделать слабоумный ребенок, который в пять лет способен только мычать, прятать от всех глаза и забиваться в угол, спасаясь от объятий. Увидев рисунок, который лежал на столе недоконченным — не хватало заполнить еще нижнюю треть листа — она ахнула, переводя взгляд попеременно то на меня, то на злосчастный листок.

Будь няня чуть моложе или чуть проворней — и никто не узнал бы об этом происшествии: доказательство ее непростительного недосмотра прямоугольно белело на синей бархатной скатерти, и его следовало просто скомкать и выбросить. Но маменька уже хлопала тяжелой дверью на скрипучих петлях, снимала раскисшие в ледяных лужах и оттого чавкающие ботинки, дышала на замерзшие руки, стучала по паркету каблуками домашних туфель.

— Авдотья Семеновна, что это вы замерли? Случилось что? Арсюша! — Ее пронзительный высокий голос, поставленный специально, чтобы усмирять расшалившихся учеников, ворвался в комнату и перевернул ее вверх дном. Беспокойные, громкие, выпуклые слова летели и летели в меня мучительной звонкой дробью.

Маменька резко села передо мною на корточки, поймала мое лицо холодными сухими пальцами, попыталась поймать и взгляд. Глаза совсем круглые, как у совы, с желтой радужкой, обведенной темным кольцом тревоги.

— Арсюша, что случилось, мальчик мой?

Она растягивала слова, произносила четко и медленно — кто-то из лекарей предположил, что смысл дойдет до меня скорее, если говорить нараспев. Не то чтобы эта догадка подтвердилась, но маменька выполняла и эту нелепую инструкцию — от отчаяния, полагаю — никакого ответа она от меня не ждала.

Она прижала мою голову к груди. Шерстяное платье лизнуло мне щеку, и я отдернул ее, точно ошпаренный, закинул голову, поджал руки — только не это, только не дотрагивайся снова, беззвучно вопило мое напряженное, скрюченное тело.

Няня суетливо семенила рядом, скрежетала отдельные, невнятные слова, смысла которых я уже не мог уловить, — маменька продолжала прижимать меня к груди, надеясь скорее успокоить, но тысячи невидимых игл вонзались разом в мою кожу, и я выл в полный голос, закатывая глаза.

Наконец она отпустила меня — я бросился в угол, на пол, обнял себя за колени и начал раскачиваться из стороны в сторону. Маменька взяла со стола лист с рисунком, долго смотрела на него, а потом упала рядом со мной — белая, напуганная больше моего. Я ждал ее недовольства — слов, звенящих внутри моей головы, но она продолжала сидеть неподвижно и беззвучно, лоя кончиками пальцев быстрые тихие слезы.

К вечеру все стихло и пошло своим чередом: лампа тускло мерцала, теплая вода лилась из кувшина в ладони, полотенце пахло лавандой, зубной порошок скрипел, щетка двигалась вверх и вниз.

Лежа в постели, я поймал круглую косточку на маминном запястье большим и указательным пальцами правой руки, спрятал в рот большой палец левой руки, закрыл глаза.

— Спи, мой мышонок, — маменька положила мне на лоб мягкую, фланелевую на ощупь ладонь, и тихонько, думая,

что я уже сплю, и стараясь не потревожить это хрупкое, обманчивое спокойствие, начала читать молитву.

— Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

100 раз. Я знал, что она прочтет именно столько, но редко когда удавалось мне не заснуть, прежде чем она в последний раз скажет пустые от бесконечного повторения слова и аккуратно, едва касаясь, трижды перекрестит меня, чтобы раствориться затем в черной тишине квартиры.

Чаще что-то густое, липкое, властное пробиралось в мою усталую голову, приклеивало ее к подушке и не давало считать. Пятьдесят семь. Остается еще 43. Пятьдесят восемь. Еще 42... Я просыпался утром, и эта цифра — количество недослушанных мною молитв — горела у меня перед глазами.

Как я выучился считать? Не знаю. Это умение однажды словно пришло ко мне — так же естественно, как водить карандашом по бумаге, складывая простые линии в рисунок. Но с тех пор — это я знаю совершенно точно — в моей жизни появились надежные, постоянные величины, на которые можно было опираться, которыми можно было измерить то, что поддавалось измерению: шаги до маминой комнаты, пятнышки света, пробравшиеся на пол через занавески, ступени, ведущие в парадное. Стулья, фасолины на тарелке, трещинки на эмали стола — прекрасные, симметричные, надежные ориентиры в мире хаоса, разрушительно громких звуков, невыносимых прикосновений и чувств, которые появлялись извне ни с того ни с сего и заполняли меня целиком, мешая дышать.

Две тысячи восемьсот девяносто пять. Ровно столько шагов от нашего дома до лавки бакалейщика. Мы идем с маменькой по набережной угрюмого и замызганного города, захлебывающегося талой черной водой. Чья-то огром-

ная когтистая лапа вспорола войлочное брюхо неба, и река жадно глотает острые колючки снега, которые валяются из прорехи. Я держу мамину руку, затянутую в перчатку, перепрыгиваю через грязные ручьи и морщусь, когда снег жалит меня в лицо.

Две тысячи восемьсот три. Мама резко останавливается, и я наступаю на каблук ее ботинка. В лавке прямо перед нами меняют вывеску, и нам приходится ждать, пока рабочие освободят дорогу.

— Гомеопатическая аптека Флемминга, — говорит она как будто про себя и вдруг тянет меня внутрь. Стеклопанная дверь открывается под тихий звон колокольчика, и мы вступаем в полумрак, который не пахнет аптекой. Я замираю перед витриной, сплошь уставленной пузырьками из темного стекла с маленькими белыми шариками внутри.

— Чем могу служить? — спрашивает голос, низкий и одновременно мягкий, как беличья кисточка. Мужчина в белом халате смотрит на нас из-за прилавка.

— Мне нужно успокоительное, — отвечает маменька и сжимает мою ладонь.

— Разумеется, — отвечает мягкий обволакивающий голос. — Проходите в кабинет. Я задам вам несколько вопросов, и мы подберем вам препарат.

Пока маменька тихо беседует с доктором, я разглядываю кабинет, который больше похож на библиотеку: здесь нет кушетки и медицинских приборов, которых я привык бояться, а все стены, от пола до потолка, заставлены книжными шкафами. Когда я поворачиваю голову, они оба смотрят на меня. Доктор берет один из стеклянных пузырьков, стоящих на столе, и пересыпает из него в бумажный кулек белые шарики.

— По пять горошин три раза в день, за пятнадцать минут до еды. И рисовать, рисовать! Дайте ему карандаши, бумагу и оставьте в покое. Искусство целительно! — Его большой рот плавает над широкой короткой бородой — абсолютно белой.

— Что с ним, доктор? Он сможет когда-нибудь разговаривать? Жить хоть сколько-нибудь нормальной жизнью? — слова маменьки — резкие и тревожные — выпрыгивают с металлическим звоном. Доктор прикладывает к губам длинный указательный палец, и она замолкает, как по команде.

— Вы сами только что сказали мне, что мальчик пяти лет, который никогда прежде не держал в руках карандаша, в идеальной точности скопировал гравюру. Это ли не доказательство того, что он не просто нормален, а чрезвычайно одарен? Он особенный, разумеется, но его рассудок сохранен, не сомневайтесь. Что же до речи, прием препарата должен помочь освободить ее.

— Доктор Флемминг, я не знаю, что сказать. Я не могу сосчитать, скольким врачам я показывала Арсюшу. Все наследство мужа ушло на то, чтобы мне дали хотя бы какую-то надежду. Что он будет говорить, улыбаться, обнимать меня, как другие дети. Обычные. И все, кто его видел: профессора, лекари, монахи, какие-то травницы, чуть ли не колдуны... Я же на все готова была, понимаете? И все они на протяжении четырех лет утверждали, что мой сын — ее голос срывается и звенит, словно пустой медный таз, который уронила неловкая кухарка, — невыносимо. Невыносимо. Я хватаюсь за деревянный поручень стула и пальцем считаю вырезанные на нем завитки. Остальные слова пробиваются сквозь толщу кокона, сплетенного из чисел.

- слабоумный
- четыре
- место ему в клинике для душевнобольных
- пять
- одержим демоном
- шесть
- отдать в монастырь для изгнания нечистого
- семь
- оставить его

— восемь

— не переживет десяти лет

— Десять. Девять. Десять. — Я сбиваюсь, и слова, больше ничем не сдерживаемые, бьют в набат в моей голове.

— Он же все-таки болен. Вы считаете, это излечимо? Вы говорите, пять горошин три раза в день сделают его нормальным ребенком?

Мне хочется обнять ее, прижаться к ней, осадить ее беспокойство, но воздух между нами дрожит от ее голоса, и толчками бьет меня в грудь.

Доктор улыбается.

— Дорогая Надежда Николаевна, метод Ганемана лечит не болезнь, а человека. Я не буду лукавить: мне неизвестно название недуга, я не могу поставить диагноз. Но стало бы вам легче от приговора мальчику, который при должном обращении и терпении может стать не только нормальным, но выдающимся? Я вижу, что ему неприятны громкие звуки и прикосновение шерстяной ткани. Полагаю, он страдает от всего неожиданного и выбивающегося из рутины. Я вижу, как он прячет взгляд и считает все, что можно сосчитать в этом кабинете — вы, кстати, знаете, что он умеет считать?

— Вы, должно быть, шутите, — шепчет маменька, и мочки ее ушей краснеют. — Как вам не совестно насмехаться над женщиной в отчаянном положении?

Доктор качает головой и протягивает мне бумажный кулечек.

— Арсений, друг мой, будьте любезны, отсчитайте отсюда пять горошин.

Я смотрю на него исподлобья, не решаясь протянуть руку, но его голос — тихий, ровный, глубокий — утоляет мое волнение, и мне не терпится посчитать то, что лежит внутри кульки. Я забираю у него мешочек, насыпаю в ладонь пять горошин и показываю ему. Он улыбается и кивает мне, а затем поворачивается к маменьке. Ее губы дрожат, как всегда, когда она готова заплакать.



— Я уверен, что он считает не только до пяти, — попросите его дома пересчитать все горошины. Только не держите их в руках, прошу, от этого препарат теряет свойства.

Маменька прячет лицо в ладонях, и ее плечи трясутся так, словно она машет несуществующими крыльями, чтобы взлететь.

— Ну же, полно вам, не терзайте себя так. Я не могу дать вам гарантий, что он станет в точности таким, как прочие мальчики его возраста. Он, вероятно, устроен иначе, чем мы с вами. Но так ли это необходимо? Да и есть ли счастье в том, чтобы уподобиться большинству?

Время, прошедшее с первого приема у доктора Флеминга, измеряется количеством рисунков.

Маменька в точности следует инструкциям, и мои дни делятся на равные отрезки между приемом лекарства, едой, рисованием, прогулками и сном. В предсказуемости этой рутинной скучной жизни я становлюсь существенно нормальнее — настолько, что впервые позволяю няне поцеловать себя в макушку. После этого она беспрерывно сморкается и шепчет «господи, помилуй».

Маменька приносит мне все новые гравюры и альбомы, которые я могу копировать. Впрочем, новизна волнует меня меньше всего. Все, что занимает меня в рисовании — бесконечное повторение одних и тех же движений, магия линий, уничтожающих пустоту.

В один из вечеров маменька, как всегда, читает надо мной торопливую молитву — 89-ю, остается еще 11, но я уже застреваю в клейковине сна, не в силах выбраться из нее.

— Ба-га-ло-ди-си-де-ва-ла-ду-си, — бормочет чей-то тонкий, незнакомый голос, и я окончательно засыпаю.

## ПОЛИНА ИВАНУШКИНА

### ПОЛУЗИМНИК

Маму, казалось, не ждала одна Лана Городецкая.

Имя — нарекали уже в доме малютки — сама сократила до последних слогов, зачем-то вычеркнув из себя свет — как будто это можно было сделать вот так, по желанию (или так же по желанию снова его зажечь где-то в солнечном сплетении, и греться, и греть). Лана сама была светом, даже в своем обугленном имени. Рыжая, бледная, тощая, стремительная, злая на язык и добрая ко всей животи, которая была в Темниковке, то ли в подруги взявшая себе бессловесную новенькую, то ли — в подопечное стадо, еще одной безглазой головой, которой требовался кров, прокорм, ласка — и ни за что, за просто так, от горячего сердца. Мама Лане, в сущности, была и не к чему, она сама была всехней мамой: могла легонько отпихнуть потресканным углом башмака — щенка или перемазанного трехлетку, могла закачать на руках до счастливого визга или до неглубокого провала в короткий сон — первого схваченного во дворе живого...

Рядом с Татой — спали на соседних кроватях, прощались на ночь строго, по-мальчишечьи, пожимая друг другу ладони, выпростанные из-под пошедших катышками одеял — Лана всегда чуть сбрасывала свечение, как будто с кончиков ее пружинящих волос опадало немного электричества. В Татиной изморози, в усталости ее тайны, неведения и ожидания, в этой мандорле, которая свет поглощала, Лане было

неловко искриться. И она убавляла, выкручивала ручку влево, тушила, ждала. Опускалась на землю и садилась рядом. Тата поднимала от колен глаза, смотрела исподлобья, — Лана знала, что невидимое рассматривает та на коленях — и казалось, что где-то у переносицы начинает хмуриться тень улыбки, как собираются в щепоть для молитвы пальцы, как сбегаются для дождя облака...

Второй осенью в Темниковке по дороге в школу чавкало, как чавкало от века, каждую осень, казалось, что река по-весеннему разливается и весь путь с Горы становится сплошным рисовым полем, хотя текло, конечно, с небес, Ноевым потоком, и еще, казалось, разумней было, идти босиком... Холод приструнивал даже Лану, пропитывал до колен, Лану, которую все относящееся к жизни волновало до дрожи. Лужи с наметанной на дно падалицей листьев, зияния подошв, малый ломоть, выданный на завтрак, исчезнувший бесследно в животе и оставивший по себе горький след... Последнее заставляло злиться, мерзнуть, мечтать о масличке на том кусочке. А жар, облачко изо рта дворовой камарильи, ластившейся к ней, даже когда шла с пустыми руками, и то, как за березой вдруг просиял, отраженный в дожде бордово-оранжевой каплей последний червивый подосиновик, радовал до зуда в коленках, хотелось выкидывать их еще выше, выше, но вода тяжелила шаг...

Тата брела рядом тихо, не поднимая даже волн, жизнь как будто не задевала ее, не терзала — и не дарила. Мирное соглашение, Темниковский пакт. Я тебя не живу, и ты меня не трогай. Бude. Все уже случилось. Больше я не смогу. Больше не надо. Минуй. Нет плохого — и хорошего тоже нет. Нет доброго и злого. Нет меня. Я украла имя и несу его. Живу за нее, за ту девочку из эшелона, которая должна была быть мной. А кем должна была быть я? Нет ответов, а значит, нет правды.

Только папина пуговичка...

Лана, конечно, только вносила еще больший хаос в мерцающий мир внутри Таты, который более всего напоминал питьевую воду, которую пытаешься унести не пролив в ведре, взбираясь на гору... Иногда Тате казалось, что она колодец. Иногда — что ведро.

Второй осенью в Темниковке было так же мокро и темно, как и первой; ноябрь изматывал, брал свое, являлся по утрам, шурился тонкой пленкой трещин на лужах, звеневших хрустальным сервизом из какой-то нежитой жизни... Его, этот ноябрь, нужно было доволочь до школы, спихнуть под парту, донести обратно на Гору, сложить на ночь под кровать, чтобы утром снова увидеть в окно гримасу белого клоуна из разбежавшихся морщинами луж... «Татка, ну Тат!» — тормошила подругу рыжая, теперь уже не с умыслом и не в отчаянии, а просто наудачу, надеясь, что вдруг ткнет туда, где живое, и она отзовется, или просто выпадет солнечный день. Тата кивала, ускоряла шаг, жалась поближе. Голые ветви Сада за спиной залезали в сизое небо, копошились там, ковыряли, как будто хотели отжать тучи или проведать души, чьи тела спали под корнями яблонь... Тату тянуло туда.

Она была самой тяжелой из подопечных Ланы Городецкой: ей не требовался кров, корм, ласка — ей требовался покой. Но пуговичка... Если что и было больного и живого, то это была пуговичка, виденная Ланой однажды, — Тата показала, быстро, как крылом махнув, раскрыв ладонь и дав причаститься — и вскорости похороненная в Саду. Лана знала, что Тата о ней тоскует, думает, водит пальцем по одеялу в темноте отбоя, восстанавливая все маршруты старой меду...

Толстый том «Маяки Российской Империи» Лана выхватила краем глаза: огненный локон застил картинку, — резкий поворот головы — но она успела прочитать глубоко выбитые в мякоти обложки буквы, когда тащила мимо,

прижимая к животу, толстую стопку чуть прелых газет, перевязанных бечевой, на прописи классу. Вернулась, когда ее ухода никто не заметил, — лишь Тата — хотя это было сложно, как если бы в зале, где никто не слушает, но все слышат, вдруг бы замолк тысячесвечевой оркестр. От голода было легко и пьяно. Лана подползла на коленках к плотным, давно никем недвигаемым книгам — на нижней полке, опыленным лишь сверху, по обрезу, а с титула — незамутненным, и вытянула «Маяки». Листать нужно было внимательно, но быстро, и Лана листала. Нужный оказался скоро, узнала его по кресту. Задержала дыхание на стрекоте отрываемой страницы: было не жалко, маяки Российской Империи вскоре все равно шли на нужды всеобща темниковской шпаны...

— Вот, — Лана достала откуда-то из груди большой сложенный вдвое лист, разгладила, положила перед Татой на застеленную кровать так, как конкистадоры выкладывали перед сообщниками карты золотых приисков и тайных индейских схронов... — Это он. — Опомнилась, дала паузу, чтобы несмеяна рассмотрела картинку, и прочитала ей, с выражением, название, подпись под фотографией, справку... Увидела, как облачко дыхания слетело с Татиного чуть приоткрытого от удивления рта — можно было прикладывать зеркальце: жива! Ликовала.

Обе они не знали, что в поход за звенящей медью пуговички с маяком Тата отправится уже одна. Не знали. И засыпали, забыв разъединить мальчишечье рукопожатье.

Наутро ноябрь больше не щерился и не царапал: Сад был укрыт теплым снежным платком. Работа была тонкая и авральная: с неба больше ничего не летело, все просыпалось ночью, в чистое окно было видно чистое небо, и казалось даже, что ногам стало теплее.

А еще через осень Тата увидела поверх черно-белого наброска Сада, поверх сетки ветвей, поверх тонко прорисо-

ванных абрисов генеральских яблонь, как в Гору поднимаются за ней.

Ужас и восторг разделить было не с кем.

Свои вдовьи «за сорок» женщина несла вверх с умом, слаженно, забыв на время подъема о выбившихся намагниченных прядях, подцепив повыше юбку, дыша громко, но с расчетом, думая о том, как быстрее одолеть подъем и не думая о том, как в этот миг выглядит. Она умела отключать эту мысль движением другой мысли: «я хочу это, и это у меня будет». Сейчас она хотела девочку, ей сказали, четвертый класс, рост выше среднего, сирота.

Так в Темниковку пришла Аглая.

Тата увидела, как та бросила освобождающий жест, добравшись доверху, как поправила весь причиненный подъемом разноразной в наряде, еще раз взвесила куль — там была одежда для девочки ростом выше среднего — и пошла к веранде. Тата отступила за колонну, чтобы на миг отдалить встречу, но все уже было понятно. Попрощалась с маскаронном. С Ланой. (Обе они проводили ее молчаливо, одними глазами: женская гипсовая голова чуть свернула улыбку, как будто говорила: все так, все серьезно; Лана Городецкая подмигнула из Сада: конкистадоры!)

— Здравствуй, Тата, я твоя тетя.

Тетя сложила на нарядной груди руки, привесила улыбку, которая, ей казалось, могла согдаться в этом месте (в льняноседом сумраке раннего осеннего вечера усадьба сама глядела, как беспризорница, сирота, старая приживалка — ранено и устало, беспамятно), но скулы привычно держали старую маску удачливой охотницы, прилипшие к мышцам черты не хотели сходиться с насиженных мест... Потом тетка поманила к себе, спустив одну руку с пьедестала.

— Тата, собирайся.

Все с тем же расчетом, с умом, ловко присела на корточки, раскрыла куль, и по тому, как любовно уложены были

там будущие Татины вещи, как розовый нежно перетекал в сиреневый, как выпячивала бочка стопка накрахмаленного, синеющего белья — маечка с оборками, свои трусики числом пять, Тата поняла, что Аглая не плохая, просто там, в жизни, все бывает такое, что некоторым ничего и не остается, кроме как... И еще поняла, что теперь придется взять еще и этот груз — стать дочерью Аглаи, утолить ее жажду и прихоть, составить смысл ее угасающего времени, в котором женские чары еще были востребованы, но как-то пропал азарт...

Аглая не была красавицей, с каких пишут портреты и прелесть ее передается с холста изумленной толпе, но была из породы женщин, на которых клюют, как глубоководная рыба клюет на личинку мясной мухи, купленную звенящим утром в рядах старого «Птичьего рынка». Муж всегда потом, уже зная безнадежность задуманного, с опаской, глухой надеждой, задумчиво усаживая ее в нескольких метрах от мольберта, удивлялся, как неуловим этот морок, заставивший его бежать за ней всю недолгую совместную жизнь, как будто за ребра его продеты крюки и веревка, и как непередаваем он красками. С портретов жены, которые он писал, с первого же наброска поняв бестолковость происходящего, писал из долга и чтобы Аглае угодить, утихомирить, замилостивить, смотрела одна из — незапоминаемое лицо, жадная бабенка, тряпки ее больше оставались в памяти: что-то накрученное, цветастое, поверх прически, аки попугай, брошки неизменные, иногда вместе с бусами, жадная ворона. Прикрывала мослы цацками, но торговля шла хорошо. Муж, добытый муж, иногда, в приступах злости и боли, едко думал, успела ли та принять душ после долгой электрички из своих Кимр или прямо так и попала в его вечные объятия...

Впрочем, совсем старым он не был, но был строг и сед, холост и пропал с первого же взгляда, когда только попытался кончиком кисти перенести ее льющийся соком об-

раз — тронуть выдавленного из тюбика червя охряно-розового, сочного, густого — на холст, и пока только заносил руку, уже внутренне плакал и молил: пропади пропадом карьера, и квартира, и остановись мгновение, и душу продам, и все, что хочешь проси, только останься, останься, я не помню уже, когда последний раз раздевался перед женщиной. Даже когда хотел этого — не помню. И она осталась — пришла с улицы, позировать, голодная — и осталась, не ради сиюминутного прокорма, но, сама рыба глубоководная, сразу поняв, что здесь можно будет кормиться до самой смерти старика, и потом тоже, если откажет квартире в завещании. А пока он мазал, водил какие-то линии, ничем Аглаины незаметные черты не напоминающие, пытался заговорить руку, чтобы не дрожала, все искал слова — невольно смолкнув, старцы встали и расступились перед ней — и представлял, что под дешевым кулоном, с полным правом разлегшимся зеленой долилкой меж двух светлых, как творог, холмов, кожа, наверное, чуть влажна, и виски ее тоже уже под сеткой испарины, в мастерской душно, боже, да это же я надыхал, неужели она слышит, как тяжело я дышу... Представлял, что если заснет на его руке, то он ничем ее сон не потревожит, пусть нарушится циркуляция крови и руку отрубят, но пусть она с ним заснет, на рассвете, прикинув. Представлял, как может у нее пахнуть и как вообще пахнет, забыл, я все забыл... Все кисти были перепачканы, мальчик все время мешался под ногами, приносил не то, старик рычал, ревновал, потому что Аглая зыркала на юношу блестящим глазом, и все искал объяснений (что? что? то, как ложится волна волос у скулы, чуть растворенный, как жемчужная раковина, ждущий рот, молочные пальцы, что было не так, почему он пошел за мытьями кистями сам и тряся, всем крупом, над раковиной, испрашивая смерти, освобождения — или немедленного решения и соития). И еще гнал, гнал мысль, которая оформится только потом, уже незадолго до смерти, в середине войны (умрет на Аглае,



жалкий, влажный, счастливый), мысль, которая как муха на неукрытый кусок, будет садиться и жалить, жужжать, прямо над его взглядом, вперенным в Аглаин облитый, как глазурью, крепдешинном зад, пока она оглаживает волосы у трюмо в темной спальне его квартиры: в Ленинграде такие всегда были сыты, всегда, меняли хлеб на брильянты. Впрочем, желания — прижаться к ней животом и придавить, так, чтобы хрустнули кости и кисти — это не отменяло.

И Аглая осталась.

Одно искупало Аглаю в этом ее жадном беге по крайним судьбы: очень жалела детей. Сама была бездетна и навсегда, вследствие перенесенного в Кимрах воспаления малого таза. Обнаружившееся наличие сироты, племянницы мужа, которую он с начала войны начал искать, раскрыло перед Аглаей новые горизонты. «Сережу убили на фронте, это я понимаю, если такое вообще можно понять, но мать, куда делась мать? — Видя огонь на лице жены, когда он заговаривал о ничейной девочке, муж всегда начинал ходить по комнатам шире, полы халата поднимались и оголяли его полные, расплывшиеся колени. — Ну неужели нельзя было посмотреть по сторонам! Неужели во время войны нужно бросаться под колеса! Ну почему нельзя было уберечься, не умереть!» — распаялся муж, Аглая старалась не смотреть под полы и выгадывала, где девочку положит, не в их же спальне, освободить кухаркину комнату — тоже плохо, нужен воздух и свет, платья на первое время сошьет наугад, на вырост, и, конечно, обязательно летом на съемную дачу, вот на первое же лето, еще в мае, чтобы и молоко, и речка, и светлячки, и в лото перед сном... Грохотавший бессильно голос мужа возвращал Аглаю обратно к его халату, на котором она старалась не останавливаться взглядом, но все в комнате было уже так изучено и постыло, что когда муж затих на ней однажды, навсегда, она только погоревала, что девочку одной найти будет, пожалуй, что трудно, все-таки профессорские связи бы помогли, но она найдет.

И она нашла.  
Собирайся, Тата.

И Тата собралась.

Быстро, забрав с собой всех духов Сада — и только пуговичку оставив, как залог, верный и вечный залог. Не боясь разоблачения. Жаждая его. Ожидая, что придет настоящая мама настоящей Таты и все закончится. И можно будет или стать ее дочерью, или все прекратить.

Но оказалось, что нужно тащить новый груз, и так он тяжел, набух всеми осенними дождями, стекавшими по высоким окнам спальни девочек, полной ее ожидания...

Тетка Тату не узнала. Не могла узнать — ее и старик-то никогда в глаза не видел.

«Потом уже, нескоро потом, я нашла много подтверждений тому своему озарению, которое испытала, когда увидела привезенные Аглаей вещи, мне, неизвестной, предназначенные. В ней совмещалось, казалось, несовместимое, и боролось, конечно, между собой. Она могла растолкать очередь локтями, а потом уступить место тому, кто и не просил, пропихнуть вперед лайковыми перчатками. Любила жестяные, обернутые чуть промасленной бумажной наклейкой, баночки, добытые ей одной ведомыми путями, которые с таким сочным хряском открывались консервным ножом, и ела подолгу и с аппетитом, каким-то мужским и всегда меня отталкивающим, но по временам впадала в такую искреннюю аскезу, что казалось — держит пост. Посреди всей этой нашей военной маяты — затемнения, сводки, помощь фронту — ходила на таком высоком каблуке, что мне всегда напоминала Шуховскую башню, ногти в лаке, как у Кармен, ну и тюрбанчик ее цветной и извечный — женщина, полная желаний; а ведь ничто не стоило ей всю ночь провязать носки для каких-то новорожденных из соседней квартиры и потом подложить их

под дверью, в коробке с банками этими консервными, постучать, подмигнуть из-за полуприкрытой двери... Курила в ночную Москву с балкона, длинные сигареты, вдыхала жадно, тоже по-мужски, потом мне пела горелыми губами что-то фальшивое на ночь, голоса у нее не было. Меня — я так и не поняла, то ли любила, то ли ненавидела, а может, то и другое сразу... Как будто в ней все время шло незатухающее сражение: Кимры ее и Москва, гуляющая баба и мать, желания и обстоятельства тела... Хотя ведь многие так и жили, прямо посреди этой линии фронта, проходящей по чему-то трепетному и живому внутри, и это противоречие не отнимало так много сил, как отнимало оно у Аглаи. В этих ее метаниях моего неучастия, безвольности она не то чтобы не замечала, просто на борьбу за меня у нее не всегда хватало разгону, были же еще мужчины, вечера, туфельки, борьба. А то, что со мной Аглая ошиблась, она поняла довольно скоро... И моего исчезновения — уже после нашего последнего отчуждения — она, мне кажется, могла даже и не заметить. Мне так хочется думать, что она из-за меня не плакала, не горевала».

— Собирайся же, котик!

Тетка так давно примеряла на себя эту материнскую роль, ей казалось, так была к ней годна, но язык никак не принаравливался, не справлялся, медлил, и Аглая спотыкалась, нервничала, закидывала голову и опять нащупывала у себя за зубами определения, и опять все не те, не те. Девочка. Таточка. На «Таточку» она зыркнула и обмякла, гордый воробушек, уже и жалея этого чужого, неточного, оперенного и взъерошенного попугая, так дивно в этих нищих и вековых стенах яркого своей зеленью юбки, тюрбаном в малиновый и черными лайковыми коготками перчатки, и одновременно страхась ее, и ей же сдаваясь... Аглая вынула из разрезанного куля с детскими вещами бордовое, дорогой шерсти, не знаемой Татой фактуры пальто, как будто

стадо овец выгнали ей под ладонь и дали погреться, приложила к спинке, причмокнула...

— Еще шляпка. Одевайся, маленькая.

Соловов так и запомнил худую Татину спинку, вставленную в эту богатую шерсть — как любимую картину в не идущей к ней и вычурной раме — спускающуюся за Аглаей с Горы. Тата тоже увидела всю сцену — глазами провожающего ее маскарона. Казалось, что в пролесок спускается подосиновик в фетровой шляпке, мелькая бордовой каплей в брызгах последнего перед зимой дождя.

Ноябрь — листожной, листовей, грудень, ледень, ледостав, полузимник. Коли ноябрь сухой и ясный — то для следующего года опасный. Поздний листопад — на тяжелый год.

## ЛИЛИЯ КАДАЦКАЯ

### КЛЮЧИ

Мисюсь, где ты? Пью твое дыхание, на каждом вдохе. На каждом выдохе — остаюсь без тебя внутри. Нет конца ни моей тоске, ни моей вине. Тебя целую жизнь нет рядом. Но, стоит зажмуриться, и я незряче осязаю губами треугольный вербовый пушок твоих бровей, теплоту лба, нежные выемки висков — вот так, поцеловать один, затем другой, а после переносицу с голубенькой венкой.

Все вымерено шагками моих поцелуев.

Один — медленный, вбирающий аромат шелковисто-русой маковки, раз и два — в отлив волос по бокам от пробора, и, возвращаясь к центру, еще три щекотных, мелких — по косточке носа к твоим глазам, к глянцевым монгольским складочкам у внутренних уголков.

Не математика — мистический, пифагорейский расчет. Магия, запечатывающая все твои теневые узоры, звуки и запахи в один волшебный, неразрушимый образ, темпера по левкасу, золотые блики, капли мирры из финикийской склянки. С того момента, как ты появилась в моей жизни, я собирала частицы твоего света в один сосуд, вдохновенным алхимиком заучивала твою формулу. Знала, что каждый миг меж ударами сердца мы прибываем в новую гавань, что вчерашних нас — не сыскать назавтра, что все случившееся исчезает — ведь так страшно и просто оно всегда исчезает, родная, так невозвратно, так мучительно, непоправимо.

И нужно все, все запомнить и сохранить.

Следы морских звезд на песке, черемуховый холодок весной, то, как ты зябнешь под утро, как стесняешься и смеешься, дуешься и хандрешь, как обретаешь живую, ртутную силу и остаешься моим беззащитным эльфёнком в сыром лесу, как придерживаешь трепещущий уголок страницы пальцем на солнечном ветру пляжа, весело лупишь ракеткой или рассеянно грызешь заусенец, и мой смертельный страх за тебя, и непрерывное, зачарованное любованье тобой, то, как мы составляли истории из замысловатых сочетаний и переливчатых очертаний любых предметов, контуров тучек и потеков дождя — и вот мы задаем новый порядок вещей, мы преобразуем мир, чтобы он стал впору нашим мечтам, то, как мы с тобой все умели одушевлять и приручать — мшистые парки, блеск слякоти под фонарями, пенку на молоке, то, как ты любишь звезды, сказки и поезда.

Я потеряла тебя. Но сберегла тебя всю. Я помню теперь каждое мерцание, каждый твой звук, игру оттенков твоей красоты, вкус твоих слез после плохого сна, твои рисунки, твое свечение, твою доброту, особенно часто и больно — твою доброту. Как это все вообще могло прекратиться и больше с нами не быть? Куда все ушло? И почему все ушло именно так? Мы с тобой все идем, все идем по мелководью лет — и мой сурок со мною — и тащим каждая со своей стороны бредень памяти, волочем в его тяжелых ячейках наши песенки, прозвища, смешки и словечки, перышки и бисквитные крошки, наши путешествия, наши тайны, маленькие колкости и убийственные издевки. И в этом навеки опрокинутом равновесии, в этих зыбких, ознобных отражениях наших внутренних зеркал мы смотрим на прошлое — и видим его каждая на свой лад. Обиду, правоту, оправдание. Выбор. Любовь.

Зеркала, особенно старые, как в этой кофейне, не всегда за ней успевали. Саше пришлось чуть шугнуть сияющую пу-

стоту в раме, чтобы ее отражение поспешило возникнуть там и совпасть близнецовой позой, размещением в пространстве — смотри, я села, садись как я, ну. К столику уже подходила, покачивая коралловыми сережками, немолодая улыбчивая хозяйка, Саша попросила кофе. Оставшись одна, вновь проверочно подняла взгляд к лучистому овалу: закрываю тебя, молчи. Спокойно посмотрела двойняшке в глаза — серебряные стекла все делают ярче, и холод райка сейчас отливал морской волной, оценила усталые тени у рта, хмурюю линию надбровья.

Мреющий экран зеркала эхом повторял комнату — ореховый резной буфет со сценами охоты, блики зеленых рюмок, клювастый, ограненный лиловой игрой света графин. Старинные клюшки для крикета в корзине горестно маялись без дела, мухи с томной ленцой исследовали стекляшки низко висящей, затуманенной пылью люстры, стрелки в настенных часах упругими толчками наподдавали по мячикам секунд.

По дальней стене желтели фотографии в темных рамках — бледные пятна лиц, давно истаявших во мгле забвения, какие-то бутоньерки, трости и канотье, непроницаемо серьезные младенцы, болезненно нежные красавицы. Некоторые почувствовали Сашу, взволнованно подавали знаки, она, чуть дернув плечом, отвернулась. Слишком живое, слишком чуткое место, из таких она уходила сразу — маленькие горячие гейзеры то и дело бьют из мазутной пленки времени, веером разворачиваются имена.

Но по этому адресу назначил встречу Янез. Приехать прямо в аэропорт она ему не позволила, взяла такси, ехала с Нирваной в наушниках, за окном мелькала зелень и бирюза, стрелчатые лучики в листве и воде, горы в снежных капюшонах монашеского покроя.

Мы были в Монтрё, я вышла на балкон, внизу на велосипеде сквозь переменное мелькание света проехала другая

жизнь... Рыжеволосая дама лет сорока, в сером платье, манто и лаковых шпильках. В оптическом фокусе утра, в нарядной бриллиантовой зыби она медленно катила по набережной Женевского озера, и мех летел за ней трепещущими крыльями, и рисунок ее губ сам по себе был уже сотворен линией мягкой улыбки. Тонкие ноздри, безмятежный лоб эпохи кватроченто, ритмичный напор коленей под объемными складками, шорох велосипедных спиц. Несколько мгновений без обычных тут любезных улыбок мы смотрели друг на друга, и я, как всегда в таких случаях, пыталась увидеть, вобрать все, все про другую судьбу: жар тела, дымок души, как она спит, что читает, как выглядит совершенно одна, как смеется, занимаясь любовью, какую фильму крутит проектор ее воспоминаний, что она думает о смерти и о любви... Низким хрипловатым голосом она крикнула наконец salut, мы улыбнулись обе, и она уже летела дальше мимо серебра воды и таяла в блеске утра... И в скобках души снова было все, о чем невозможно сказать... Почему у нее все сложилось? Почему она так прекрасна, так свободна, сильна? Что я сделала не так? Просто еще не повзрослела, не нашла себя?

Но разве я эту себя ищу?

И где, Господи, где эта искомая Я от меня запрятана?

«Как долетела, подруга?» — засветился экран айфона. Ньюска.

«Докряхтела)»

«Настроение? Держись?»

«Мед, говно и гвозди): Как ты?»

«Я сегодня бровь диспортом бью. Буду молодая!».

«Давай, наводи красоту) тебе какой-то хахаль светит, бьют тебе скоро жаркие ночи)»

«Правда?! Что ж ты молчала?»

«Ток щас в голову прилетело):»

«Аааа! Ура!! вопросы потом!): на связи, лю!»



Забряцал пасторалью альпийских лугов дверной колокольчик, сердце все же дало перебой. Невысокий, сухощавый старик — аккуратная щетка усов, бархатные брюки, сиреневая рубашка, вязаная кофта на пуговицах — подошел к столу, воскликнул: «Ай!», стал вытирать платком мгновенно покрасневшие веки. «Какая же вы, Саша, феноменально! Просто невероятная, удивительная красавица!» Сел, ахая — смесь рыдания и ликующего смеха, и все смотрел, все качал головой. «Простите меня, милый скворушко Саша, простите мне мое потрясение, я и сам представить не мог, что так разволнуюсь от нашей встречи! Как вы, что вы, рассказывайте!»

Отставив чашку, она твердо сказала, что уже выяснила, как пройти к дому, и хотела бы просто забрать ключи. Нет, не подвезти, она любит пешком. Нет, и кладбище найдет сама, спасибо. Нет, вообще ничего не нужно, она позвонит — если что.

Он кротно выложил ключи на стол. Саша протянула руку — от лямок белой майки до запястья в браслетах, нитках и ремешках ее оплетал черно-зеленый рукав татуировки. Накрыла связку и скрипнула зубами — ключи в немой, нетерпеливой нежности прильнули к центру ладони. Так подходит и упирается теплой головой уставший ребенок — возьми, убаюкай скорее, нет больше сил.

У Янеза было такое беспомощно-огорченное лицо — старенькое, мягкое, растерянное. Но она — нет, не собиралась оправдывать ничьих ожиданий, и его рассказы, еще хуже — расспросы, ей были совсем не нужны. Хороший дед, пахнет сухими васильками и корешками книг, доживет до ста двух, не хило. Обижаться не станет, такие все понимают. Встала, оставила деньги за кофе и, кивнув, пошла к выходу — в грубых ботинках, высокая, худющая, косточки да позвонки, нарочито паясничая внутри: скворушко, пфф, святая дева Гваделупская, а? надо Ньюске рассказать. Старик и хозяйка смотрели ей вслед.

Вышиб дно и вышел вон. Знаешь, сколько раз мне хотелось так сделать? И в тот вечер — муж сыто отодвинул тарелку и все говорил, рассказывал про свое, посмеиваясь, увлеченно орудуя зубочисткой — я просто встала и молча вышла из квартиры.

Слетела по лестнице, еле удерживая непослушное сердце — горячо разбухнув, норовило выломать ребра, ну и вот, вот так, так, так, вот и все. Выскочила из подъезда в ослепительную летнюю ночь, в фонари с мошкаррой и качание веток. Сразу пируэтом за угол дома — еще ускоряясь, прямо через разбуженный, изумленный цветник, задевая скрипучую, упругую влажность, царапаясь о шиповник и шипя на бегу. Сырость мигом наполнила тапочки, черт, я же в тапочках — а! пусть, не важно! как весело, как киношно орать внутри головы это «черт», вот же сюр, я смешная, какое счастливое безумие — быть живой и смешной! Перебежала дорогу — как гудит, как завывает кровь в раковине черепа, это трубит зарю мой ангел, это вздуваются вены на его смуглом лбу. И быстро пошла к огонькам Георгиевского сквера, утекающим наискосок и зигзагом вверх — туда, где сочатся тайной, закипают и просвечивают ветром каштаны. Оставалось войти в сумрачный запах травы, в призрачную обетованную тьму, всю в волшебном сплетенных, чугунных и лиственных узорах, в беглых, мигающих тенях — и скрыться, пропасть, навек. Покажи мне небес красоту и гор высоту, диво дивное, чудо чудное. Меня больше нет. В сущности, меня никогда у тебя и не было.

Невозможно, конечно. Никто так не делает. Созвездие люстры блеском дробилось в остывшем чае, муж продолжал говорить, я поднялась и стала убирать со стола.

Хотелось потеряться в аэропорту, не вернуться из театра, по ледяному подоконнику выкатиться с четырнадцатого этажа в зияющую огнями и сквозняками ночь, хотелось не подходить к машине — взять и запрыгнуть вон в тот

троллейбус. Раствориться, рассеяться, стать невесомой пенной морской. «К кому я иду? К дочерям воздуха...»

В путешествиях еще чаще накатывало это детское, страшное: беззвучно отстать, шагнуть в боковой переулок, мимо грозных горгон на дверных молотках, мимо янтарно озаренного окошка — старуха в черном перекусывает нитку и снимает очки — на площадь, где скрипка и смех в золотистом чреве маленькой остерии и светозарный, леденцово-прозрачный плющ, ступени собора, райский дворик с мавританскими колоннами и мандариновым садом — дальше, выше. И пусть город внизу иллюзорно дрожит и лучится, пусть море сверкает — лунной горизонталью зачеркивая все ненужное, не мое. А здесь — пустое шоссе пьянеет от ветра, шалеет от ночи и устремляется в небывалые скалы, в заветную даль. Там звери в лесах лакают из луж. Там в зверях прорастают леса. Теперь я исчезну, и он никогда, никогда, никогда меня не найдет.

Я, кажется, ошиблась. Мне так тяжело.

А ведь у меня всегда, всегда лучше всего получалось именно это — быть счастливой, сиять как персик в сиропе, находить этому причины легко и естественно, жить как сумасшедшая Сюзанна у реки из баллады Коэна.

А теперь вот никак.

Но я никого не виню. Я просто потеряла радость, я просто хочу уйти.

Нет, я даже для себя не могла бы тогда составить такие слова: они были бы ответом на вопросы, которых я еще не научилась себе задавать. Я не умела так мыслить. Молчала. Не знала, что делать. И подсказать было некому.

Я, понимаешь, мое горчичное семечко, ужасно все-таки рано вышла замуж. Я была младше мужа на тридцать лет.

От кофейни Саша спустилась к озеру. Гладкие ступени уходили прямо в зеленоватую воду, солнце качалось мерной, ласковой зыбью, обволакивало теплом. Сжатую ла-

доть припекало, и она, еле разогнув пылающие, пульсирующие пальцы, бросила ключи в сумку. Закурила. Раньше Саша контролировала такие вещи настолько же властно и мощно, насколько сильно их ненавидела. Особенное внутреннее усилие, гневный приказ, команда, а еще — некое незримое и труднообъяснимое, специальное микро-движение затылком, будто иначе сдвигала кости черепа. И связь прерывалась. Мир становился ровным, глазированным — без искажений и взбрыков, трюков и головоломок. И на время переставал подавать сигналы, поблескивать зеркальным глазом оленя в потаенной чаше, звать маячками из темноты. По крайней мере, она могла заниматься своими делами и почти игнорировать крестословицы имен, закадровую музыку, шепотки, могла считать себя нормальным человеком, а не конченным психом.

Но в последние пару лет все чаще стало случаться такое вот, как сегодня — полновластная, требовательная анимация всего мироздания, исповедь вещей, едкие запахи прошлого, вкус слов. Занавесы, знамения и завесы, призраки и миражи, сны и преграды... Руки чуть вздрагивали, мутило. Ничего, я себе обещала. Она сожрет толченное стекло, жестяные консервные края, горсть ржавых канцелярских кнопок этого дня и, пуская слюни и кровь, все равно будет сардонически улыбаться и останется спокойной и выживет. Сейчас вот перекурит. И пойдет. А завтра она улетит домой.

С девятнадцати лет, со дня свадьбы я вертящейся балеринкой — пудра, стразики, щечки розами — была посажена в лаковую шкатулочку, мне нечего было и пожелать — балуют, холят. Откуда взялось это распирающее грудину наваждение — сбежать, потеряться? Когда начались воспаленные, полные злого электрического света часы бессонницы? Постоянный упадок сил, обморочная, дебелиая вялость, дьявольские головные боли, до муторной рези в глазах, до бесильных слез. Ко дню рождения — двадцать один — я уже

несколько недель лежала в постели, не раздвигая штор, не хотела вставать, есть, говорить, чесалась — мучил нестерпимый, оскорбительный зуд. Еще кошмарно обострился слух — чувяла, как оглушительно громко падает снег, как дышит муж в другой комнате, как шепчется по телефону с моей мамой.

Муж, наконец, силком отвез меня к доктору — не абы какому, разумеется, мэтр, светило. Бородатый, маленький человек немножечко со мной побеседовал. Потом я сидела одна, уставившись на картину напротив — великолепная зеленая обезьяна, в пенсне и жилетке с золотыми пуговицами, какие прекрасные, умные, космические у нее были глаза, с влажностью зрачка, как у виноградины на срезе, с кофейной смуглотой белка, словно в нашем с мамой любимом стихотворении Ходасевича... «И серб ушел, постукивая в бубен...»

За стенкой доктор говорил: «Друг мой, никуда не денешься, у нее же не экзистенциальная грусть и не девичьи капризы, депрессия — это болезнь, химия, разговорами тут не поможешь». И на полгода я оказалась в клинике — в общем-то, выходит, что сбежала из дома, как и хотела.

Письмо пришло месяц назад. Саша с утра заглянула в почту, увидела имя в теме — помедлила, открыла, пробежала глазами текст, потом прочла еще раз.

И еще один раз.

Все же она себе как-то иначе все это представляла — если мельком, на краешке сознания позволяла себе подобные мысли. Хотя понимала, что вот про это заранее ничего знать не будет. Никаких прорицаний, предчувствий, предначертаний, подчеркнутых красным, тут не случится — давно проверено. «На саму себя у меня никогда ничего не работает», — так Нюське и говорила с кривой, пацанской ухмылкой, и клоунски разводила руками.

Но, во-первых, сказала она себе очень спокойно, глядя в экран и отхлебывая из кружки кофе, во-первых, казалось,

что это произойдет еще очень не скоро. А тут... сколько? чуть больше пятидесяти? не такой уж прямо и возраст. А, во-вторых, и на этом вот «во-вторых» Сашка оттолкнула макбук и сорвалась со стула. И еле успела добежать до туалета — выплескивающийся, чудовищный спазм подломил колени, скрутил тело, выжег кислотой все нутро. Ее долго, надсадно рвало, потом так же долго она умывалась. Потом просто стояла, слепо уперев лоб в холодный кафель, чувствуя наждачное горло. Все вытирала и вытирала скомканным полотенцем пакостно мокрые губы, безнадежно сухие глаза.

Во-вторых, оказалось, что все эти семнадцать лет Саша почему-то само собой разумеющимся считала, что когда-нибудь, хотя бы еще один раз они встретятся. Не специально, а что-то такое... случайное что ли...

И будет еще разговор, будут предъявлены какие-то итоги, произведен некий подсчет.

Посмотрят друг на друга.

Даже через плотное, ядовитое облако непощения Саша все же думала однажды найти ее взгляд, отразиться в нем, увидеть ее глазами себя.

Ты раздайся, сыра земля,  
Ой, ты разломись, гробова доска.

Мне уже за тридцать, ты в курсе? Я гребаный дизайнер интерьеров.

Родна маменька, открой свои глаза,  
Открой свои глаза, раскинь ручки белые.

Я совсем коротко стрижена. Я курю, мам.

Погляди-ка на меня, горьку сиротушку,  
Что пришла я к тебе, твоя милая детушка,

На твою-то сырую могилушку.

Татуировки. Живу одна. У меня никого нет. И счастья у меня тоже нет.

Ой, ты-то смертушка лютая,  
Увела мою родну маменьку  
На веки вечные бесконечные.

А ты ничего этого не видела, ничего про меня не знаешь.

Ой, ты родная моя маменька,  
Да превратися ты в сизу пташечку,  
Да расправь ты свои крылышки,  
Да прилети ты на свою родимую сторонушку,  
Да на мое-то белое окошечко,  
Погляди ты на меня, горькую сиротинушку,  
Поговори ты со мной, родна маменька.

И ты опять меня бросила, мама, второй раз.  
Ты снова меня предала.

В том твоём первом августе по ночам я распахивала окно. Качались блики, огни и отблески мокрой листвы, шелестел дождь многомерно, сонно и ласково. По потолку карусельно скользили и таяли световые полосы, и ты таяла и соскальзывала в сон, оставался лишь льющийся звук воды в темноте — вечная, исцеляющая благодать, лето господне. «Подобно молоку, отворяющемуся в груди, открываются врата...» Касалась губами, ставя мерки, отметки — вот очерк твердо вырезанных ноздрей, уголок рта, пуховая шерстка фавнёнка по кромке уха. Все мои книжки, все мои детские сказки вновь были тут, со мной, нежным жаром прямо у моих ключиц — о, бесценная мадемуазель Мари

Штальбаум, о, мой милый Лоскутик, моя дорогая Суок. Ты пришла из сиреневой мглы, откуда я позвала тебя, попросила побыть моей дочерью — и ты согласилась, выбрала, ты родилась именно у меня, и лучшим грузом, лучшим призом «Секрета» назову я тебя. По комнате мягко переливались волны от бегущих за окном облаков, и в магической линзе ночи, в хрустальной дымке и хороводе теней я качала тебя, мою дочку. Видишь, вот и дождь миновал-перестал, время пения настало в стране нашей. Скоро я все это тебе прочитаю, знаешь, сколько чудес у нас впереди. Ах, Суламита, глаза твои голубиные под кудрями твоими, я больше не буду одна, какое же счастье, что теперь у меня есть ты.

Розовое, гранатовое, вишневое, танец пылинок в лучах, арлекиновая россыпь отблесков от витражного оконца мансарды.

Темно-красный, увитый зеленью дом.

На мозаичном полу — сухие листья.

Клетчатый зонтик — шелковый, грустный, пригожий — прислонен в уголке веранды. А, должно быть, недавно еще его выгуливали,

встряхивали,

с раскрытых спиц слетал сверкающий бисер капель,

они кропили эти четыре ступеньки —

раз,

два,

три-четыре.

Немножко, кажется, задыхаясь, но все же спокойно, спокойно Саша поднимается на крыльцо. Ключи входят ладно, скользко, воскрешая мягкие провороты, пробуждая напевное движение. Открывается дверь. Саша делает шаг и встает на пороге.

Через весь духами и лекарствами пахнувший сумрак, через магический театр вешалок, подрамников, уходящих



в перспективу стен и шкафов, и книг, везде, конечно же, книг, сквозь все вырезные фигуры замерших в этой сценографии предметов, прижавших палец к губам, тссс, внимание, тишина! — Саша видит только окно.

Большое, распахнутое в лазурь окно.

В окне — вода, бледно-голубой топаз в оправе гор, посреди озера — маленький зеленый остров, на острове — барочный шпиль церквушки, а вокруг небо, небо, небо, и блистающие снегом вершины, и в верхней части этой ярко окрашенной открытки почтовой маркой наклеено большое перламутровое облако, с нежно-фламинговой, чуть золотистой каймой.

Мягко жужжит сообщение. «Прием!) волнуясь) ты как? уже в доме? что там?»

Саша пишет ответ.

«Облако, озеро, башня...»

## ТАТЬЯНА КОВАЛЕВА

### КАМЕНЬ

Меня назвали Петр. В честь дедова деда. Я не знаю, кто он был — крестьянин? Поручик? Служка? И никто не знает. Наша родовая память обрывается на деде — он все забыл еще на войне, а, может, в тот момент, когда вернулся домой в деревню к маме, а мамы уже больше не было. Она не дождалась его с победой совсем чуть-чуть. Подснежники только показались, она и испустила дух. Дед переживал. Я бы тоже переживал, хоть я и камень, то есть Петр. Но дед не был Петром. Он был обычным Алешкой. И горько-горько плакал у мамы на могилке. В немецком танке — не плакал, форсируя Днепр — не плакал! На дороге жизни в Ленинграде — не плакал. А здесь, у мамино крыльца, с двумя подснежниками в горсти — рыдал.

С тех пор он перестал быть Алешкой. И стал Лехой. Запил — так говорили. Но я не хотел ничего знать про Леху, хотел узнать про Алексея Савельевича, очень хотел — про того, кем он стал позже, когда и бабушку встретил, и маму родил. Вот только... Алексей Савельевич ничего про своего деда не знает. Говорит, Алешка, может, и вспомнил бы, а Алексей Савельевич — нет. Зато он умеет складывать уравнения и крутить электрическую катушку. Дед у нас физик. Вот был бы я Алексеем — тоже таким был бы. А я Петр. Дедов дед.

Мы с мамой как-то начали изучать родословную. Сели однажды рядышком под рябиной на лавочку — день был яр-

кий, солнце просвечивало сквозь листву дерева и падало на нас тысячей бликов. А мы с мамой сидели серьезные. Она, конечно, пыталась меня все время пощекотать, но я не поддавался. Я стащил у деда Алексея очки в роговой оправе и то и дело их поправлял на носу. И как он в них на мир смотрит? Неудивительно, что к вечеру ворчать начинает. Но я отвлекся, просто свет от рябины, очки, мама вот еще с щекотушками... Кто угодно бы отвлекся. А вот Петр нет. Он же твердый, помните? И я разложил листы и дал маме в руки карандаш — пусть лучше записывает.

Мы посчитали, и оказалось, что дедов дед жил еще при царях. В де-вят-над-ца-том веке. Я этому, если честно, не обрадовался. Не доверял я им, царям-то. Все же знают какие они были бесхарактерные — то ли дело комсомольцы или космонавты — с ними все понятно. А с царями поди разберись. Но теперь уж придется... Раз уж дедов Петр тогда жил...

Дед Алексей Савельевич тоже не любил царей. Это я точно знал. Каждый раз, когда они читали книжки, дед Алексей сетовал мне, какое сложное тогда было время и сразу начинал рассказы про Тухачевского, Жукова, Щукина, Гагарина — вот это были люди, говорил дед, не то что царьки. И тогда я понял, что цари — это все равно что трубочисты: редкие, ненужные и маленькие люди. Доброго о них ничего не скажешь: они после себя только сажу и пыль оставили. Я, если честно, немного недоумевал: как же такие цари-трубочисты правили целой страной? Но решил, что у них было много помощников.

И теперь вот обнаружилось, что дедов дед мог водить знакомство с царями, или даже сам быть царем — что же он, трубу что ли не почистит?

Но маму его теория почему-то рассмешила: она тут же меня зацеловала, приговаривая, какой же я еще маленький. Я даже расстроился немного. Я-то точно знал, что уже совсем не «еще-маленький». А уже давно «почти-большой».

Но возразить не успел — мама побежала рассказывать теорию остальным, и, наверное, готовить чай. Очень она любила чаепития, а особенно, когда чайник свистит.

«Ничего, Петр пока подумает про настоящего Петра», — сказал я тогда, рассматривая тени. И решил, что было бы здорово увидеть про дедова деда кино или его хотя бы придумать.

— И что же ты тогда придумал? — Таськин голос не дал ему замолчать надолго и закопаться в воспоминаниях.

— М-м-м, да много всего. Но все это было неважно.

— Почему это?

Таська оторвалась от перебора ракушек и уставилась на него.

Петька вздохнул и подкинул еще один гладыш в волны. Тот пролетел три скачка и утонул.

— Потому что я был маленький, ну что я там мог хорошего придумать? — он как-то так усмехнулся по-взрослому: одним уголком рта.

— Расскажи мне, хоть кусочек, Петь, я никому не скажу. — Девочка оставила свою коллекцию и подседа ближе. Ей казалось, что ему сейчас холодно, хотя солнце было в зените.

— Нет, не хочу. Давай я лучше расскажу те, что я придумал потом? Просто я тогда и историю-то не знал совсем, а теперь немного знаю.

— Давай!

Тася впиалась в него глазами. Ей нравилось, как он рассказывал, совсем не так как она: сбивчиво, размахивая руками, громко и отвлекаясь по мелочам. Не-ет, когда Петя начинал рассказ он словно брал в руки кисть и вел, вел, вел линию повествования, пока слушатель не рассмотрит всю картину. Он говорил спокойно и размеренно, лишь иногда замолкая и подбирая слова. Порой Петя так долго описывал какую-то деталь, что Тася нетерпеливо перебивала, помогая ему, но он не позволял себя сбить и продол-

жал с того же места. Будто не он говорил мысль, а мысль говорила его.

Он рассказывал про Петра-моряка, служившего на балтийском флоте его величества. Моряк тот совсем не умел плавать, но однажды спас пса, бросившись в пучину океана. Рассказывал про степного казака Петруччо, объезжающего диких жеребцов. Петруччо был нем от рождения, но умел петь. И голос у него был сильнее и чище шалыпинского. Он рассказывал про денщика Чапаева Петьку, молодого парнишку, у которого никого не было, но это не мешало ему работать за всех. А еще думал о Пете, студенте-медики императорского училища, который лечил и красных, и белых. Может лишь потому и выжил тогда, и встретил потом свою суженую...

Тася слушала долго, так долго, что вокруг них даже выросла тень, и все-таки прервала его.

— Петь... А кто из них настоящий?

Петя замолчал. Глаза его искали море и находили — его было так много перед ним. Руки его теребили морскую гальку, нагретую солнцем. А спина оставалась такой ровной-ровной, словно он уже маленький солдат. Он честно пытался найти ответ на вопрос. Он даже попробовал по-сильнее зажмуриться, чтобы решить. Кто же из них... из тех предков, что он сам выдумал, намечтал, вычитал... кто из них — Петр?

— Я не знаю, Тась. — Он как-то сторбился и виновато посмотрел на нее. — Правда.

— А я знаю.

Девочка улыбнулась ему и заглянула на самое дно его глаз, глубоко-глубоко, наверное, даже дальше третьего позвонка и солнечного сплетения. Ее взгляд сиял той верой, что бывает только у младших. Взгляд безоглядной, безусловной веры в него, Петю. Он забыл дышать. Ему хотелось крикнуть: «Не верь, я не такой, зачем. Не надо в меня верить. Точно не в меня». Но дыхания для крика у него

не было. И он просто сжимал все крепче кулак. Пока тот не заболел. Тягучая ноющая боль была, как спасительный буй. Медленно он повернул голову, чтобы посмотреть на руку. Воздух вокруг него приобрел плотность и стал водой, а он стал рыбой, плывущей вверх по течению. Но вот его взгляд наткнулся на серый зубчатый осколок, зажатый в ладони. И он ощутил камень в своей руке. Разом, махом, всеми его краями, тяжестью, холодом и твердью. Неотесанный, дикий, совсем не похожий на ту гальку, что они металы в океан. Это был настоящий камень, которым можно было убить. А можно было строить...

— Ты — Петр.

Тася не врала. Он и правда мог стать Петром.

## МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ

### ВЫШЕ НОГИ ОТ ЗЕМЛИ

В палате погасили верхний свет и зажгли три мрачных рефлектора. Руднев подвинул стул к дальней койке, но долго не садился. Он пристально смотрел на монитор, в котором распускались пестрые нити. Вдруг брови его дернулись, и на утомленном лице нервно сжались тени.

— Илья Сергеич, вы тут будете? — послышалось сзади.

Руднев вяло обернулся. За дежурным столиком под горящим колпаком лампы, работала сестра.

— Я выбегу ненадолго. Можно?

Он кивнул, и медсестра вышла в коридор. Сквозь стеклянную стену Илья видел ее довольный профиль, следил, как она распустила волосы и, закусив шпильки, снова собрала их в ком. Оставшись один, Руднев тяжело опустился на стул, ссутулился до острых позвонков, и принялся гладить руку ребенка, неподвижно лежащего под простыней. Это был мальчик четырех лет, худой, с крохотным несчастным лицом.

Под стиснутыми веками Руднев видел истекший день и последнюю свою операцию.

Вот он включает наркозный аппарат, и раздается любимый, как нытье комара, писк. Проверяет подачу кислорода. Маша раскладывает на столике катетер, переходники, ларингоскоп.

— Все собрала? — спрашивает Илья медсестру.

— Какую трубку готовить?

— И откуда мне знать? Ты видела пациента? И я нет.

Маша, юная и звонкая, с розовыми всегда от волнения щеками, ждет еще и еще глубокого голоса врача. «Она молодец, — думает Илья. — Вечно молодец. За что гоняю?».

— Возьми пятый размер и четыре с половиной, — холодно говорит и уходит.

Вот он летит по коридору к шумному свету приемного отделения. Его встречает санитар и травматолог. И Заза, лысый, страшно бровастый. Илья подходит к нему и протягивает руку:

— Заза, когда же ты сдохнешь?

— Привет, Руднев! Хотел бы сегодня, но завтра дежурю, — отвечает хирург.

Уже слышна сирена. Звуки все ближе. Раздается резкий хлопок отскочивших от каталки дверей. В приемное вваливается бригада скорой.

На носилках — ребенок. Он без сознания, липкий пот на лбу, губы густо-синие. Руднев сжимает вялое запястье мальчика и чувствует тут же, как от холода детского тела, от тишины его пульса внутри него самого разгоняется сердечный бой, и в голове, такой вдруг чистой, строятся мысли.

Ребенок хрипит, вдох его частый.

— Почему не интубировали? — спрашивает Илья, роняя лицо мальчика на бок.

— Так некому было! — отвечает фельдшер, щуплый, легкий парень с редкою бородкой. Кажется, не он гонит каталку, а каталка несет его за собой. Фельдшер торопится, теряет слова. — Проникающее... живота. Рана рваная, кровит. Давление...

Заза приподнимает повязку под грудью ребенка.

— Давайте сразу на стол! Какая операционная готова? — спрашивает он

— Везем в третью, — отвечает Руднев.



— Как угораздило?  
— Кабан напал.  
— В Москве? Кабан? Ты датый что ли? — Заза глядит на фельдшера из-под недобро сошедшихся бровей.  
Бородка у парня дергается.  
— С ВДНХ везем. Там выставка то ли для фермеров, то ли для охотников. Привезли диких кабанов.  
— Нахера?  
— Для ресторанов теперь разводят.  
— И кто их выпустил?  
— Никто не выпускал. Родители ребенка сами в вольер посадили, пофотать хотели. А кабан его на клык поднял!  
— Сфотографировать хоть успели? — смеется Заза.  
Колеса скользят с протяжным металлическим шелестом.  
— Как зовут? — спрашивает Илья после всеобщего молчания. — Только не говори, что Юркой.  
— Откуда вы узнали?  
Хирург больше не смеется. И не улыбается даже. Он теснит Илью плечом:  
— Руднев, на твоего похож, да? И даже имя... во как!  
Каталка заезжает в лифт. Заза поворачивается к фельдшеру и говорит через смыкающиеся двери:  
— У него такой же был. Один в один.  
Лифт тянет каталку на второй этаж.  
Илья в маске. Пациент переложен на операционный стол. Звуки аппаратные. Туи-туи. Маша цепляет датчики ЭКГ и сатурации, трещит упаковкой интубационной трубки. В трех шагах сестра лаборатории ждет, пока будет поставлен центральный катетер.  
Илья наклоняется с ларингоскопом над запрокинутым детским лицом. Волосы золотые — пух. Глазки под веками, знает Илья точно, — сизые.  
— Широко.  
Маша дает меньшую трубку. Слитый с анестетиком кислород заполняет легкие. Руднев с иглою висит над ключи-

цей ребенка. Сестра семенит к нему, забирает шприц с кровью.

Входят хирурги — несут руки перед собой. Заза и с ним второй, толстяк с физиономией, стянутой маской, и воспаленным увесистым лбом. От узкого лица Зазы, наоборот, остались лишь брови, все остальное — под тканью.

— Можете, — говорит Илья неподвижным голосом и фиксирует интубационную трубку. — Пациент к операции готов.

Особенно тихо. Туи-туи. Заза делает долгий разрез поверх раны. Из брюшины через сечение потоком прорывается скопившаяся кровь. Кожа, белая, как просветы среди ветвей, тонет под бурым и красным. Кровь стекает по простыням, льется на пол. Кисло пахнет рваною кишкой. Маша кидается помогать. Звенит лотками санитарка. Лотки полны скользких сгустков. Заза держит руку внутри пациента. Он нашел источник кровотечения, он тащит селезенку.

— Четвертая отрицательная, — объявляет сестра, щелкая дверь. — Четвертая отрицательная!

— Что по банку?

Не было, помнит Руднев.

— Нету у нас! — мучит его сестра.

— Запрашивай со станции, у нас острая кровопотеря. Шестьсот миллилитров, — прочным тоном говорит Илья.

Его стерильный взгляд сторожит приборы. Строчит нить пульса. Давление такое, что кардиотоники не выручают. Мальчик ухудшается.

Заза работает в ровном темпе: грубо оттаскивает, фиксирует, берет новый скальпель. Маска ходит от дыхания, очки сползают с крутой переносицы. Второй хирург пыхтит рядом. От напряжения и духоты детской операционной он уже пунцовый, как говяжий ломоть на углях.

Руднев смотрит на время. В голове его вертится очевидное: ни в трепете лезвий, ни в препаратах, бегущим по венам, без четвертой отрицательной спасения нет.

Привезли. В совершенном свете она кажется темным маслом. Илья начинает переливание, кровь заполняет гибкие трубки.

— А ты лещей на что брал? — спрашивает Заза.

— Главное, не на что, а где! — отвечает второй хирург.

— Этого ты мне точно не скажешь.

Маша улыбается под маской. Она знает, когда хирурги шутят, дело идет гладко.

— Бедный, бедный! Где мать была? — стрекочет, будто получив разрешения санитарка.

А Руднев, он молча смотрит на ребенка. Следует за ним по пятам. И все дальше влечет Илью в теплый сон. Нет гадкого запаха анестетика, нет многоглазой операционной лампы, вместо нее — низкое солнце. И мальчик с удочкой на плече скоро идет под тем солнцем. Вдалеке, над полем растекается озеро. Вода слепит, и малыш морщится. Он оборачивается. В пушистом контуре горящих волос Руднев видит радостный детский лик. «Туи-туи, папа. Туи-туи!» — говорит мальчик.

— Илья Сергеич!

Руднев открыл глаза. Он сидел в палате интенсивной терапии, сжимая крохотную руку пациента. Рядом с ним стояла Маша.

— Еле вас дотолкалась! Там в ординаторской чэпэ.

— Все чрезвычайное случается здесь, — Илья сделал ленивые глаза. — Ну что стряслось? Опять пакетик чая до урны не донесла?

— Окно взорвалось, Илья Сергеевич! Я сидела, и вдруг бац! — шептала Маша со страхом.

От слов ее пахло кофе.

Окно разбилось странным образом. Внешнее стекло было цело, а во внутреннем образовалась дыра размером с блюдце. Будто кто метнул камень, но камень прошел не навывлет, а без остатка рассыпался в раме.

Маша опустила на корточки, чтобы собрать осколки, и долго не могла их найти. Потом она встала, смахнула осторожной ладошкой с подоконника невидимую пыль и удивленно посмотрела на Руднева.

— Они все внутри, — сказал Илья. — Отойди-ка.

Он, изогнув шею, всматривался в аккуратную пробоину. На дне рамы Илья нашел стеклянную крошку, она была мелкая, как песок. И в окружности бреши на уцелевшем стекле тоже виднелась россыпь осколков, прочно в него впаянных: осколки гладко блестели и походили на кучные брызги. Илья запустил палец в лунку и поскреб их, стараясь отделить хоть один.

— Я ничего... Я сидела вот здесь, — щебетала Маша за его спиной. — Потом так ш-шух! Звон! Даже чашка подпрыгнула!

Руднев перевел взгляд во двор. У кирпичного забора между матовых от тумана машин рыскала худая собака. Она подбежала к человеку, курящему у черного входа. Человек через затыжку перенес сигарету в левую руку и потрепал мокрую холку пса.

— Ну что там? — спросила Маша из-за плеча, нежно касаясь поясницы Руднева.

— Там? Живодер бычки о щенка тушит.

— Ой, что?!

Сестра поднялась на носки и увидела во дворе Зазу, ласкающего дворнягу. Пес радостно ходил пружинкой, то припадая к ноге врача, то зависая на задних лапах под доброй его рукой. Маша улыбалась.

И Руднев видел ее улыбку в двоящемся отражении черного окна. Он видел и себя таким плоским и исчезающим: с телом, слизанным ночным покоем улицы, с прозрачными глазницами и рыхлыми тенями впалых щек, и только над бровью — серая повязка была ясна, как отсвет лампы. Илья поправил сползающий бинт и невидимо пожегся от жжения свежих швов.

— И почему вы не любите Зазу Сергеевича, он же брат ваш?

Руднев развернулся, и Маша, оказавшаяся наконец так тесно к нему, ловко поймала его взгляд. Но Руднев глядел безучастно и твердо. Она растерянно опустила глаза, прожевала улыбку и вернулась к беседе с простым вопросом:

— А с окном что?

— Лопнуло. От нагрузки, — сказал Илья вяло. — Кто-то паялся в него всю ночь вместо того, чтобы работать.

Он присел на подоконник, загородив собой пробоину. Скрестил на груди руки, посмотрел опять в бледно-карие глаза медсестры, беспомощные и мягкие, как вишня, выловленная из компота.

— Поспи, если хочешь.

Маша замотала головой:

— Как-то страшно теперь.

— Не бойся. Фундамент старый, дал осадку. Вот и раму повело.

Этих слов ей не хватило.

— Весь день сегодня какой-то странный, — сказала Маша после паузы. — И вы... Я хотела спросить... Вы из-за того мальчика грустный такой? Или из-за того, что вас ударили?

— Снова сочиняешь?

— Я все видела! Если надо, готова быть свидетельницей.

— И что ты видела?

— Те мужчины... Они подлетели и стали вас бить!

— Хорошо, что выжил, да?

Медсестра подняла взгляд. Острые кончики рта укололи щеки. «У нее то же обаяние, что и у моих пациентов, — подумал Руднев. — Испуганный доверчивый зверек. И улыбается она так же виновато. Когда врет».

Руднев отклонился и заглянул через плечо. Он увидел первые голубоватые отблески на влажном асфальте. С крыш и деревьев робко сыпались капли. У крыльца сидел одинокий пес и смотрел на запертую дверь.

## АНДРЕЙ МУЧНИК

### БЛАДИКАВКАЗ

Бум! Голова ударилась о что-то твердое. Бум! Еще удар, на этот раз сильнее. Еще толчок — и я понял, что заснул на туалетном сиденье. В самолете.

Умывшись, я медленно направился назад. Турбулентность была все еще сильной, и приходилось хвататься за спинки кресел в проходе, чтобы не упасть. Я сел на место. Мужчина передо мной потянулся, потом обнял спинку кресла обеими руками. Его большая, мозолистая и очень волосатая осетинская рука практически касалась моего носа, и я постарался вжаться в сиденье.

Самолет летел над покрытыми снегом горами. Пейзаж выглядел таким умиротворенным, что трудно было представить, что под нами — регион, напоминавший лоскутное одеяло, составленное из разных народностей, в лучшем случае обиженных друг на друга, в худшем — в состоянии необъявленной войны.

Я летел работать в международной НКО Very Good Cause Inc., потому что «хорошие дела» всегда меня привлекали. После нескольких лет в гуманитарных организациях в Москве и в Европе я просто сходил с ума от скуки и был готов поехать куда-нибудь, где творился настоящий п...ец, или «в поля», как это называлось на гуманитарном жаргоне.

Владикавказ, столица республики Северная Осетия-Алания был отличным выбором для начала карьеры «в полях»,

так как этого самого п...еца там было хоть отбавляй. Всего в часе езды от Владикавказа находилась Назрань, главный город ингушей — заклятых врагов осетин. Уже более двух десятков лет тлел их конфликт за небольшой клочок земли. В паре часов езды был Грозный, столица Чечни, теперь уже стопроцентно лояльной России ценой превращения в личное владение местного царька и его полевых командиров. В то же время полусумасшедшие партизаны все еще прятались в чеченских лесах, мечтая об эмирате Кавказ на юге России. А сразу за давно не соблюдаемой российско-грузинской границей лежала Южная Осетия, полунезависимая республика, де юре все еще часть Грузии, но де факто — российская территория.

\*\*\*

Если бы существовал рай для гуманитарных организаций, то он был бы где-то здесь.

Первые несколько дней я жил в гостинице «Владикавказ» — жутковатого вида бетонном прямоугольнике, где все носило отпечаток «совка». Ковровое покрытие с резким запахом затхлости, постоянно мокрые ванны — традиционные прелести российского гостиничного бизнеса. Единственным плюсом был балкон с видом на Терек и один из пешеходных мостиков через реку. Вид несколько портил остов многоэтажки посреди пустыря на берегу реки. Говорят, небоскреб строили на шальные водочные деньги, да те все кончились.

Вскоре я нашел однушку буквально в пяти минутах ходьбы от гостиницы «Владикавказ». Квартира находилась в доме прямо на берегу Терека, на первом этаже. Окно было открыто настежь, и в комнате стоял запах лип, окружавших дом. Окно смотрело на небольшой сквер перед домом, еще одну пятиэтажку и мусорные баки. К бакам направлялась девушка с мешком мусора, на каблуках и в нарядном пла-

тье, как было принято во Владике. Я повернулся на звуки перебегавшей через мелкие пороги воды и засмотрелся на Терек, протекавший мимо дома во всей своей горной мощи.

— От реки тут даже в самые жаркие дни нормально, — отметила хозяйка.

И правда, из окна веяло прохладой. В принципе, на этом можно было остановиться, но я продолжил осмотр.

Левая сторона кровати проседала, и хозяйка посоветовала спать на правой. Предыдущие жильцы были молодой парой, которые ждали ребенка и поэтому переехали в квартиру побольше. Похоже было, что ребенка они делали именно на левой стороне кровати.

В ванной комнате лампочку вместо абажура украшала обертка от шоколадки «Милка». Я подумал, что если задержусь тут надолго, то надо купить какой-нибудь нормальный плафон.

— Отлично, буду снимать, — сказал я хозяйке, отсчитывая купюры.

Ранним вечером я перетащил сюда из гостиницы свои пожитки, умещавшиеся в чемодан и сумку. Потом сварил себе на старенькой газовой плите кофе и сел на подоконник — наблюдать за течением реки и неспешной провинциальной жизни.

\*\*\*

Есть места в этом мире, где тебя неожиданно охватывает желание верить в Бога. С пешеходного мостика всегда была видна Столовая гора, а в хорошую погоду над ней возвышался Казбек, слепяще белый, как кусок сахара на фоне глубокого синего неба. Вокруг громоздились заснеженные вершины пониже. Мне всегда хотелось высунуть язык и слизать с гор весь сахар. Разноцветная суннитская мечеть, бурлящие пороги под ногами, ведущие к дамбе — все это было так



пронзительно красиво, что я застывал на пешеходном мостике в каком-то подобии транса.

Состояние транса мгновенно улетучивалось, как только я переступал порог офиса. С другого берега Терека до него было всего пятнадцать минут пешком. Для меня остается загадкой, почему офис гуманитарной организации оказался между венерологическим диспансером и моргом. Место выбирал лично глава местного отделения Very Good Cause Inc. — Доктор Деш из Бангалора.

Он был образцовым сотрудником международной организации: женатым бабником с манией величия и, как сказал один не в меру лебезящий чиновник «самым лучшим человеком на Северном Кавказе». Деш обладал одним несомненным преимуществом — он всегда умел договариваться с начальством, будь то его непосредственный босс или осетинский министр образования. Он мог дружески пообщаться с начальником-геем из Москвы днем, а вечером поднимать бокал за гомофобские тосты местных чиновников. Что именно происходило в голове Доктора Деша в тот или иной момент, сказать трудно, но одно было ясно: его карьерным перспективам не могло помешать ничто.

На видном месте в его кабинете стояла статуэтка Оскара с подписью «лучшему боссу». Неизвестно, смотрел ли Деш сериал «Офис», но по слухам, как и главный герой сериала Скотт, он купил себе статуэтку сам. Возможно, он даже убедил себя, что это был подарок от одной из Мадин.

Мадина — одно из наиболее распространенных имен на Северном Кавказе, оно популярно у самых разных народов. В VGC Мадин было две: осетинка и чеченка. Обе носили несколько нескромные по кавказским меркам платья и безжалостно меня провоцировали.

Обычно это происходило следующим образом: одна из Мадин, скажем, осетинка — миниатюрная блондинка, заходила в мой офис.

— Привет, Рома! Как тебе мои лиловые чулки? Надела их специально для тебя!

У Мадины была естественная, еле заметная хрипотца в голосе, от которой у меня по коже шли мурашки.

— Очень даже. Круто на тебе смотрятся!

Я продолжал разглядывать ноги Мадины. После нескольких минут пустой болтовни Мадина уходила, оставляя меня с идиотской улыбкой и довольно неудобным стояком.

В такие моменты я всегда напоминал себе: помни про француза.

Историю про француза рассказал мне босс-бельгиец Этьен в Москве в качестве дружеского совета перед моим отъездом во Владикавказ. Мы сидели на веранде в «Кофемании» на Покровке, напротив офиса и пили самое дорогое в столице капучино. Этьен закурил и после пары затяжек начал совсем не издалека:

— Не спи ни с кем в офисе, а если будет совсем невтерпех, постарайся ограничиться кем-то одним.

Я изобразил на лице крайнее удивление.

— Я вообще-то не за этим туда еду.

— В противном случае тебя может ожидать участь того француза, который потрахивал свою дагестанскую переводчицу. Его похитили и держали в подвале несколько месяцев! А переводчица даже не была замужем!

На протяжении всего этого монолога, Этьен как-то странно поглядывал на свой телефон. Заметив мой взгляд, он поспешно положил телефон в карман.

— В общем, поаккуратнее там. Конечно, всем наплевать на религию, когда речь идет о том, чтобы напиться с друзьями или погулять с русскими девушками. Но что касается секса до свадьбы, да еще и с неместным — все, «харам», полный капец.

— Буду стараться!

Я допил свой кофе и пошел в туалет. По возвращении я с удивлением увидел, что пока меня не было, Этьен полностью разобрал свой телефон и теперь пытается его собрать.

— Поломался?

Этьен долго и молча смотрел на меня, а потом неожиданно заявил:

— Это началось больше года назад, примерно во время скандала с камнем, ну помнишь камень в Измайловском парке, который передавал разведывательную информацию британцам?

— Что началось?

— Прослушки. Я был довольно близко знаком с Барри из британского посольства, одним из дипломатов, которого выслали в связи с камнем. Если честно, мы были больше чем друзья.

Ориентация Этьена не была для меня откровением, все в московской НКО-тусовке знали об отношениях Этьена с танцором из Большого.

— В общем, сразу после отъезда Барри, я стал замечать странные звуки, которые мой телефон периодически издавал и во время разговоров, и когда он просто лежал.

— Может, обратиться к специалистам?

— Каким специалистам?! Я поменял уже несколько телефонов с тех пор, но звуки не прекращаются. Кроме того, наблюдаются и другие признаки слежки. Например, как-то раз вернулся домой, и окно было настежь открыто, хотя я точно его закрывал! Другой раз журнал, который я уже сложил в стопку с мусором, лежал прямо посреди обеденного стола!

— Ну, ты мог просто забыть или перепутать, это ничего не доказывает.

— А как тебе кусок говна? Кусок говна плавал у меня в унитазе, а я всегда за собой сливаю!

Аргументов против куска говна у меня не нашлось. Мы расплатились и пошли назад в офис.

Я проигрывал этот разговор у себя в голове, когда ко мне зашла Мадина №2. Мы должны были обсуждать что-то по работе. Мадина отказалась от предложенного стула и усе-лась прямо у меня на столе. Ее ноги оказались буквально в нескольких сантиметрах от моего паха, и я почувствовал там ответное движение.

— Я думаю, будет лучше, если ты все-таки воспользу-ешься стулом, — выдохнул я. Мадина рассмеялась, прыгну-ла со стола и села на стул.

Но воображение уже перенесло меня в мою бедняцкую квартиру на другом берегу Терека, и там Мадина бесстыдно снимала свои трусики — последнее, что на ней оставалось. Не оглядываясь, она направилась в ванную. Я пошел за ней и застал ее на корточках в душевой, головка душа зажата между ног.

— Можно к тебе? — спрашиваю я с надеждой.

— Нет, мне и одной хорошо, — говорит Мадина со стоном.

На этом моменте моей фантазии, основанной на случае, который давно, слишком давно произошел с другой девуш-кой, мне пришлось извиниться и дойти до офисного туалета. В этом туалете я не раз испытал моменты блаженства, несмотря на вонь. Не поймите меня превратно, туалет был довольно чистый, но бесконечные омовения, совершаемые там перед намазом, придавали ему странный запах. Именно поэтому я предпочитал туалет доктора Деша — с дорогой розовой плиткой, с биде и маленькой ванной. Всем было интересно, чем Деш занимался в своем огромном туалете. Достоверно было известно, что не омовениями — как он сам не раз заявлял, он относил себя к мусульманам, не гнушав-шимся свининки.

Когда доктор Деш был в отъезде, я аккуратно вытаски-вал ключ от его офиса из неприметной папки, лежавшей среди десятка других таких же папок в ящике стола на ресепшене. Ключ к ресепшену можно было в свою очередь найти в кадке с пальмой, стоявшей на шкафу в коридоре.

\*\*\*

Потомки могущественных и гордых аланов сидели на корточках посреди проспекта Мира, главной пешеходной улицы Владикавказа, плевались семками и жадно глотали «Балтику» из блестящих алюминиевых банок. Их предки прошли через пол-Европы и до усрачки напугали древних римлян, но осетинские парни могли напугать разве что меня, приезжего из Москвы, в одиночку пересекающего город.

На улице стоял ранний майский вечер, и дневная жара понемногу сходила на нет. Я спустился к набережной и пошел вдоль реки к «Шатру» — заведению, пользующемуся особой популярностью у местных правоохранительных органов. Это стало общеизвестным фактом после того, как в нем застрелили двух высокопоставленных офицеров во время ужина. Ужин на Кавказе обычно включает несколько перемен блюд, которыми наслаждаются без спешки в компании лучшего друга и пары любовниц лет на двадцать так младше. Количество еды при этом хватило бы и на маленькую свадьбу.

Выстрелы по полицейским были сделаны из окна новой высотки, удобно расположенной рядом с рестораном. Я подозревал, что здание возможно для этого и было построено.

По пути к «Шатру» я прошел мимо группок парней, стоящих на углах, одетых в традиционную на Северном Кавказе одежду, носимую независимо от погоды и времени года: спортивный костюм, майка с бросающимся в глаза лого D&G или Armani и черные вязаные шапки.

«Шатер» соответствовал названию и представлял собой невысокое круглое здание с конической крышей. Вокруг него располагалось несколько настоящих шатров с большими столами внутри. Мои знакомые сидели как раз в одном из таких шатров, прямо на берегу реки. Все уже были в сборе. Юджин пытался охмурить двух симпатичных осетинок.

Юджин — русский еврей из Штатов, по не вполне понятным причинам решивший работать в гуманитарной организации на Кавказе. Юджин считал, что у него абсолютное чувство вкуса во всем, что имеет значение в жизни. Он любил худых, много курящих блондинок, макиато, красное Риоха, раннего Джима Джармуша и средневековую персидскую поэзию. К сожалению, ничто из вышеперечисленного не имело ровно никакого значения во Владике.

Юджин пытался привлечь внимание девушек, играя в какую-то дурацкую психологическую игру. До меня доносились обрывки их разговора.

— Тыходишь в лес. Представила себе?

— Ну, да.

— Видишь перед собой дорогу?

— Да.

— Какая это дорога? Асфальтовая? Проселочная? С грави-ем?

— Проселочная, наверное.

— Значит так, ты идешь по проселочной дороге в лесу и неожиданно, прямо перед тобой, появляется медведь!

— Чего?!

Разговор явно никуда не вел, я потерял интерес и переключился на других. Коллега Юджина, Джим, как обычно заказал стейк и виски Джемесон. «Меня зовут Джеймс и я люблю Джемесон, врубаешь?» Джеймс также очень любил повторять несмешные шутки.

За столом было еще несколько иностранцев, работающих в разных гуманитарных организациях и пара местных. Почти все уже поужинали и медленно пили, развалившись в креслах.

Новая ассистентка Юджина, Залина, пришла в «Шатер» вместе со своим мужем, Тимуром. Они пили водку, стопку за стопкой, параллельно пытаясь рассказать историю своего знакомства. Оказалось, они знали друг друга чуть ли не с детства, их семьи совместно управляют какой-то круп-

ной компанией, как я понял — по производству нелегальной водки.

На Залине было короткое черное коктейльное платье, Тимур был в спортивном костюме, они отлично смотрелись вместе.

Когда Тимур дошел в своем рассказе до момента, когда он сделал предложение, Залина, смеясь, сообщила:

— Он не оставил мне выбора — всем другим ухажерам прострелил колени! Не могла же я выйти замуж за калеку!

Все рассмеялись. Я, однако, был уверен, что Залина ничуть не шутила.

Кто-то спросил:

— А чем ты занимаешься, Тимур?

Тимур широко улыбнулся желтозубым ртом, типичным для взрослых осетин, и я в очередной раз подумал, что надо поменьше есть осетинских пирогов.

— Да я в основном по криминальным делам. Так что, если будут какие проблемы, звоните!

Я только заказал очередное пиво, когда Джим предложил рвануть в клуб «Инфинити», где вот-вот должен был начаться живой концерт.

Я поискал глазами Юджина и обнаружил, что симпатичные осетинки куда-то пропали. Их место заняла моя коллега Полина — приятная, но не очень привлекательная девушка под тридцать. Она была немного полной и одевалась во все черное, темные волосы были собраны в хвостик. Во Владике она могла бы сойти за гота. Полина отчаянно пыталась флиртовать с Юджином, но пока безуспешно.

Я мало что помню об остатке ночи, кроме высокого осетина в толстовке с надписью «Fuck Barbie» и перочинным ножом, торчавшим из заднего кармана джинсов. Джим заметил нож первым и сказал что-то вроде: «Охренеть, вот это реально в стиле Владикавказ!» Никто не помнил, кому первому пришло в голову назвать Владикавказ Владикавка-

зом, но через некоторое время никто из нашей тусовки его иначе и не называл.



## АНАСТАСИЯ НАУМОВА

### ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ

Сапог увяз в плавленном асфальте. Эн дернулась раз-другой, пока не освободила ногу из химической тины. Перешла на высохшую, изрезанную трещинами землю. Потопталась. Прекрасно. Подошву, будто окунули в супер-клей. Да еще это громкое чавканье, которое могли услышать мародеры.

Эн сняла сапог, вынула нож и с невероятной точностью соскребла мешающееся месиво. Вот так намного лучше: хотя бы скорость останется прежней, да не придется тратить патроны, если кто-нибудь покажется на горизонте. Обувшись, Эн подтянула лямки рюкзака, проверила флягу с водой, поправила винтовку, висевшую на плече, и двинулась в путь.

Солнце жгло. Оно вгрызалось лучами в шею, лицо, ладони; выпивало до дна растения, оставляя сморщенные, похожие на стариков, стручки; резало на неровные кусочки землю и дороги. Эн почесала щеку. Когда-то (так давно, что больше похоже на галлюцинацию) у нее была белая-белая кожа. Друзья любили называть такой оттенок «аристократической бледностью». Сейчас же Эн больше походила на африканскую рабыню, работающую на плантации богатого американца. Белыми остались только ладони.

Поднялись клубы пыли. Эн быстро спрятала нос и рот за коричневой банданой. Не защитишь лицо — ты труп. Песок забьется в легкие, и тебе ничего не останется делать,

кроме как отхаркиваться кровью и безуспешно звать по-мощь. Эн видела жертв бурь. Сушеные, с красной пеной у рта и мухами на глазницах. Нет, такой участи она не хотела.

Эн передвигалась медленно, даже немного лениво. Мышцы тяжелили, и с каждым шагом Эн приближалась к тому, чтобы оказаться на коленях, да быть погребенной заживо.

Впереди, похожий на банку, стоял супермаркет: буква «П» сильно скосилась вправо, готовая в любую минуту упасть; белая вывеска, зеленые двери, разбитые окна. Небезопасно, но можно укрыться от бури. Эн ускорила.

Внутри магазин будто пережил бомбежку: останки плит, опрокинутые стеллажи, выбитые лампочки, кучки мусора. Пнув мешающийся пакет из-под молока, Эн осторожно, на цыпочках, прошла на склад. Никого. Даже странно немного. Кто не захочет такое убежище?

Уселась на пол. Положила рядом винтовку. Почесала шрам на плече. Заснула.

Приятная музыка вырывалась из колонок. Переполненный универмаг жужжал, гудел, буквально тряс от напряжения. Автоматические двери с радостью выплевывали ненужных людей, но те пытались вернуться обратно.

Магазин походил на дорогу: тележки — машины, покупатели — водители, холодильники с продуктами — дома. Каждый норовил друг друга подрезать, аварии случались ежесекундно, только в ГАИ никто не звонил.

Обстановка домов не сильно отличалась друг от друга. Стеклянные двери, металлические корпуса. Лишь жильцов можно было различать. Колбасы, сыры, йогурты, торты...

Забурчал живот. Эн подскочила, болезненно кривясь.

Покопалась в рюкзаке, достала банку консервированных фруктов. Остался один сок. Персиковый, кажется. Эн выпила его до дна, а после, колясь, слизала остатки по краям.

Повесив неизменную винтовку на плечо, Эн решила внимательнее осмотреть склад. Вдруг, что съестное найдется.

Порванные журналы, подобно коврам, лежали на полу; осколки стекол хрустели под ногами, а пустые коробки-домики валялись в разных углах. Обычная картина, присущая всем домам, квартирам и магазинам.

Один стеллаж, в самом темном углу, остался нетронутым. Продуктов, конечно, не было. Только бутылка завалилась набок. Эн взяла ее в руки и потрясла. Полная! Перевернула. «Афанасий». Эн, не сдержавшись, рассмеялась в голос. Как могли такое сокровище профукать?

Около двери висел календарь (внимательность ее уменьшилась). Апрель, май, и июнь были оторваны, а остальные потрепаны и немного разорваны. Эн перевернула июнь, и взгляд ее застрял на одной дате. Восемнадцатое августа. Один и восемь.

Эн достала блокнот. Она считала дни, недели, месяцы, но вскоре бросила. Занимало слишком много времени, да тратились карандаши, которых было не найти. Эн прочитала последнюю запись и зависла, подсчитывая даты в уме. У нее всегда было хорошо с математикой. В аттестате стояло пять, а экзамены сдавались автоматом. Только сейчас от этого не было толку. Аттестат — удобный розжиг для костра, а экзамены — слово из прошлого.

Эн захлопнула блокнот. Так и есть, сегодня восемнадцатое августа. Ухмылка заползла на лицо. Праздник. Что ж, подарок уже готов, осталось найти место для вечеринки.

Буря успокоилась, улица же походила на песочный пирог. Эн шлепала по скособоченной дороге, напевая под нос песню. Услышала ее на радио, когда ездила с друзьями на дачу. Текст бессвязный, банальный, но мотив прилипающий, словно жвачка. Жвачка... Арбузная, клубничная, мятная, ягодная, вызывающая кваканье в желудке и нестерпимое слюнообразование. Ее больше нет. И никогда не будет.

Солнечные лучи лизали плечи Эн. Они жутко чесались. Снять бы кожу, мышцы, мясо и оставить кости. Тогда бы точно зуд прекратился.

На обочине валялся человек. Полумертвец. Эн подошла поближе. Фляги у него с собой не было, пистолета тоже. Порылась у мужчины в карманах. Что-то есть. Твердое, но гибкое. Достала. Пачка сигарет. Вот так сокровище свалилось.

Хруст за спиной. Поворот, не отрывая ног. Мародер. Грязный, в кожаной куртке, с револьвером. Эн медленно, не отрывая от бандита глаз, сняла винтовку. Приложила приклад к плечу. Мародер, трясаясь, поднял оружие. Действуем быстро. Прицелиться. Выдох. Нажать на курок.

Эн приблизилась к новому телу. Контрольный выстрел в голову.

Речка казалась миражом. После трехчасового пути по пыльной дороге, идущей сквозь руины, некогда бывшими домами, мутная, липкая, концентрированная вода вызвала только улыбку и огромное желание искупаться.

Эн чисто по-женски сложила одежду (друг на друга) и, положив рядом винтовку, опустилась в воду. Будто хлорку в кожу втерли.

Она тщательно соскребывала засохшую грязь; массировала ступни, покрытые мозолями; промывала ежик волос. Нечасто ей попадалась действующая река. Последний раз — пять или шесть месяцев назад.

Необходимо расслабиться, хотя бы на пару минут. Эн, глубоко вдохнув, закрыла глаза и погрузилась под воду.

Ее неоспоримым достоинством были волосы. Насыщенно-каштановые, густые, а самое главное — волнистые. Никаких щипцов, стилистов, салонов красоты — все натуральное. Один из друзей даже как-то пошутил: «У тебя приданое на голове растет».

Она позволяла трогать волосы только Ирке. Та обращалась с ними крайне аккуратно и нежно, хотя и заверяла, что когда-нибудь в приступе зависти обрежет их.

— Черт, тебе так повезло, Наташка. Не волосы, а сокровище! Не то, что у меня, — жаловалась Ирка, стоя сзади с расческой. — Я и шампуни меняла, и маски делала, и народные средства применяла. Все равно выпадают!

— Постригись.

Ирка прыснула:

— Ты серьезно? Может лучше тебе шевелюру укоротить? Сейчас возьму ножницы и быстро сделаю прическу а-ля «армия, жди меня».

Наташа засмеялась, шутливо отгоняя подругу и приговаривая: «Не смей! Не смей!»

— Ладно, ладно, не буду, — Ирка демонстративно показала пустые руки. — Ну, что, красавица, готова? Пойдем искать женихов? Ох, и слетятся они на нас сейчас, как пчелки на распустившиеся цветочки.

— Прекрати. Не будет такого. Потанцуем немного и уйдем. Лично я так и сделаю.

— Наташка, ты слишком правильная. Расслабься!

Наташка... Наташка... Наташка...

Эн вынырнула и по-собачьи отряхнулась. Она больше не Наташа. Она — Эн, первая буква своего прошлого. Резкая, грубая, стремительная, как свист пуль. Никто не поймает, никто не ранит, никто не убьет.

Напялив на мокрое тело одежду, она наполняла флягу (вода — на первом месте), закинула на плечи дохлый рюкзак, винтовку и тронулась на север от реки.

Вышка, будто свалилась с неба. Или выросла из-под земли. Кому какая метафора нравится. Эн уже давно не интересовали эпитеты, литоты и прочие тропы. Жизнь перестала быть слишком яркой для них.

Лестница шаталась, сапоги соскальзывали, а ступени, когда хватаешься за них, царапали ладони. Эн, кряхтя, залезла наверх. Вид был паршивый, если не сказать говенный. Пустыня, свалка, пустыня, свалка. Деревья выжглись, реки иссохли, а дома превратились в одну большую яму.

Эн вспомнила свою дачу: белый дом, небольшой огород в форме звезды, ровный луг. Эн мотнула головой. Надо отогнать воспоминания. Только тоску наводят.

Рядом стояла бочка, набитая бумагой. Значит, жилище. Где же хозяин? Не вернулся. Наверняка не вернулся.

Эн, благодаря прикарманенным давно спичкам, развела огонь. «Солнце могло сделать это вместо меня», — подумала Эн.

Эн достала сигареты. Удержала над костром. Закурила. Дым заскользил по горлу, осел налетом в легких и стремительными клубами вырвался через ноздри. Эн от блаженства закрыла глаза. Она уже позабыла, что такое никотин.

Достала пиво и сделала маленький глоток. Перчило, но не смертельно. Еще один глоток.

— Неплохо день рождения проходит, — произнесла вслух Эн. — И подарки, и напитки. Красота!

Торт был неуклюж, кособок, словно калека. Начинка потекла, корочка покрылась трещинками, подобно недавно откопанной старинной вазе. Свечи постоянно моргали и гасли, посему отец держал рядом зажигалку.

— Нравится, Наташенька? — спросила мама.

Глаза ее выжидающе блестели, а руки она держала как при молитве. Наташа заметила, что кончики пальцев матери покраснели. Неужели обожглась?

— Очень, — искренне улыбнулась Наташа.

Мама хлопнула в ладоши от радости и крепко обняла Наташу.

Эн наслаждалась, что прожила еще один день.

Наташа же захлебывалась слезами.

## АННА НЕКЛЮДОВА

### ЗНАКОМСТВО

Тая идет сквозь шумные, длинные травы. Высокие. Они колышутся над самой ее головой. Чтобы сделать каждый следующий шаг, Тае приходится раздвигать перед собой плотную стену — как будто она идет под водой. Она не знает, сколько еще ей предстоит. Но вдруг, с очередным Таинным движением вперед, травы расступаются, и она видит перед собой обычный детский двор — песочница, заросшая скамейка и старая, покосившаяся горка. Тая не сразу замечает чуть в стороне длинные качели, подвешенные высоко на дереве. На этих качелях, в белом коротком платье, стоит и раскачивается ее маленькая дочь. Заметив Таю, она улыбается — но как-то смазанно; легко спрыгивает на землю и идет вглубь травы. Она уходит все дальше, а Тая стоит и смотрит ей вслед. В движениях ребенка есть какая-то странность. Тая не может понять, что не так, и все смотрит, и смотрит на нее, как зачарованная. Наконец, она видит: девочка идет легко и быстро; и трава, сквозь которую Тая пробиралась с таким усилием, ложится прямо под ноги ее дочери...

Тая открывает глаза одновременно с криком: «Где моя дочь?!!!!!!» Но это ей только кажется, что она кричит. Слова застревают в ней, не добравшись до поверхности. Она не ощущает своего тела ниже пояса, там — словно огромный кусок ваты — рыхлая невесомость. Боли нет. Но, Тая

знает: боли нет пока. Она чувствует невозможную сухость во рту: будто такими же кусками ваты набили, вспоров, и всю ее изнутри — как тряпичную куклу. Как куклу... «Где моя дочь?!!!!!!» — крик снова и снова рвется из нее, но не находит выхода: может быть, зашивая, ей по случайности зашили еще и рот.

Ее перевели в палату только к полуночи. Почти двенадцать часов в реанимации. Это дольше, намного дольше всех остальных, прооперированных в этот день. Пока она то ли проваливалась в мутную воду сна, то ли просто то и дело куда-то уплывала, медсестры, не стесняясь других родильниц, в полный голос сплетничали между собой: «Да-а, давно у нас не было таких... „чувствительных“!» — «Да она помешанная вообще! Это же надо умудриться — въехать акушерке!..» — «Это как?!..» — «Да вот и я думаю — как?! Анестезия на нее „не до конца“ подействовала. Якобы. Или не знаю, что она там себе выдумала!.. Как стали ребенка тащить, она как давай руками дергать и орать, что „все чувствует“! Пришлось отключать!..» — «...А ребенок-то ее где?» — «Где-где. В хирургии он. Плановый».

Тая очнулась к утру. Пришли снимать мочевого катетер. «Мамаша, подъем!..» — громкий, смеющийся голос оглушил ее, словно она, всплывая со своих глубин, вдруг резко, всем телом ударилась о воздух. Она все сразу вспомнила, все поняла. В голове была только одна мысль: добраться к дочери. Она знала, что встать будет больно; что идти будет больно; что идти до хирургии надо будет через длинный-длинный коридор и четыре этажа вверх (слава Богу, с лифтом). Но одно дело — знать. И другое... Взгляд Таи упал на висящую над ней треугольную перекладину. Она подтянулась на ней двумя руками и кое-как приняла положение полулежа на боку. Свесила стопы вниз и достала одной ногой до пола. Попыталась встать — и мгновенно перегнулась пополам. Выпрямиться уже не смогла.



Опираясь одной рукой о кровать, другой снова ухватилась за перекладину, тем же способом, через бок, перекатилась на спину. С невыносимой ясностью осознала, что до дочери она не дойдет. Не дойдет.

Конечно, Тая сразу вспомнила этот двор. И эту горку, и качели, и это дерево. Это был двор ее детства. Дом, в котором она жила первые шесть лет жизни. Да и как она могла бы забыть это место, если, уже будучи взрослой, так часто возвращалась сюда во снах — чтобы найти вход в свою старую квартиру, где жила когда-то с мамой, папой и младшим братом. Снова и снова ей снилось, как она кружит вокруг своего дома — Буммашевская, 38—12 — адрес, затверженный наизусть, навсегда, но знание точного адреса не помогает ей. Иногда она действительно находит эту квартиру и даже заходит внутрь — но там живет чужая семья, и чужие люди отвечают ей, что никогда не слышали о существовании ее мамы, которую Тая тщетно пытается отыскать.

Все началось с того, что однажды мама перестала ее видеть. Тая с братом вернулась с прогулки, мама открыла им, и Антоша мягким разгоряченным кулечком ввалился в квартиру. Тая еще стояла на пороге, как дверь захлопнулась с той стороны. Она даже не успела понять, что произошло. Слышно было приглушенное воркование мамы и отрывистые, радостные реплики брата. А Тая все стояла одна на площадке. С варежек ее падали снежные хлопья. И не таяли.

Был уже вечер, время посещений. Сказали, что к ней пришел муж. В первый раз с тех пор. Она не хотела, чтобы он видел ее такой, но он настоял. Зашел в палату, где, кроме нее, была еще одна родильница, которой каждые три часа приносили на кормление два крохотных свертка. Тае не приносили никого. Говорить не хотелось. Муж сел рядом с ней, взял за руку и тоже молчал. Смотрели, как на сосед-

ней кровати другая мама пытается приладить к приоткрытой груди то одного, то другого младенца. Они никак не могли захватить сосок и напряженно морщили личики. Тая закрыла глаза. Муж слегка сжал ее руку: «Тая, там есть кресло. На колесиках. Если ты сможешь сидеть, я отвезу тебя к ребенку».

Поздним вечером Алексей привез Таю на коляске к «Отделению хирургии новорожденных». Позвонил. Вышла молоденькая медсестра, строго, без улыбки поинтересовалась, что им тут надо. Как будто это могло требовать объяснений. Указывая на Таю, Алексей сказал, что она — мать, родила вчера утром и еще не видела свою дочь; только что им удалось добраться до отделения, и они хотели бы как можно скорее видеть ребенка... «Сейчас — не приемное время», — отрезала медсестра. «Когда же приемное?» — растерялся Алексей. «В 12 и в 15 часов. Пусть приходит завтра. Одна. Отцам вообще сюда — не положено», — не дожидаясь возражений, медсестра закрыла перед ними дверь. Алексей хотел было звонить снова, намереваясь стоять до последнего, пока не впустят хотя бы Таю, но она остановила его: «Не надо, Леш. Там же спят дети...»

Что же тогда пошло не так? Почему мама больше не видела ее? Почему не пустила домой?.. В тот вечер они с Антошей, как обычно, играли, валялись в снегу, катались с горки... Все было как и всегда... Стоп. А кто была та девочка, на качелях?

Во дворе, где они гуляли, сидела на скамейке и наблюдала за ними какая-то девочка, на вид не старше Таи. От ее взгляда делалось не по себе. И, чтобы преодолеть это ощущение, Тая подошла к ней познакомиться. Девочка оказалась не против поиграть с ними, но имя свое не назвала. Когда Тая представилась, та просто улыбнулась в ответ. И они все вместе пошли кататься с горки. А потом Девочка предложила свою игру. Она повела их с Антошей вокруг дома

и стала рассказывать довольно странные правила: «Сейчас мы будем играть в Другой мир. Чтобы попасть туда, нужно три раза обойти вокруг дома, один раз перевернуться на качелях „солнышком“ и залезть во-он на то дерево, откуда как раз видны ваши окна. И нужно дождаться, когда в окне появится ваша мама. На дереве она нас не увидит. Но зато мы ее увидим. И, когда мы ее увидим, мы окажемся в Другом мире. Там будет все так же, как и здесь, и та же мама, но мир будет — Другой». Мы с Антошей слушали ее, слушали и не заметили, как обошли вокруг дома уже три раза. «Послушай, но зачем нам попадать в твой другой мир? — спросила я. — В котором все то же самое... И, я не умею переворачиваться „солнышком“ на качелях». «Не страшно, — сказала Девочка. — Это сделаю я. Этого будет достаточно». Мы как раз вернулись обратно во двор. Девочка забралась на качели и, стоя, раскачалась так, что качели сделали полный оборот вокруг себя. «Ну вот, теперь я — Тая! — засмеялась Девочка. — Осталось только залезть на дерево и увидеть оттуда мою мамочку!.. Пойдем, вы покажете мне ее!» — и мы повели Таю к дереву, откуда любили втайне наблюдать за нашей мамой.

А когда мы оттуда спустились, Тая сказала, что игра окончена. Мне не понравилась эта игра, я совсем не поняла ее смысл, а Антоша был еще слишком мал, чтобы что-то понять. Так мне казалось. Однако он вдруг шепнул мне: «А ты поверила, что мы оказались в другом мире? Я-то — нет, я просто сделал вид, чтобы ей не было обидно», — так сказал мне брат, а я ничего не ответила. Просто не знала, что отвечать.

И мы пришли домой. Мама открыла, и Антоша мягким разгоряченным кулечком ввалился в квартиру. И Тая вошла вслед за ним. Я еще стояла на пороге, как дверь хлопнулась с той стороны. Я даже не успела понять, что произошло. Слышно было приглушенное воркование мамы и отрывистые, радостные реплики брата. А я все стояла

одна на площадке. С варежек падали снежные хлопья. И не таяли.

— Давай попробуем еще раз. Пожалуйста, — тихо попросила Тая мужа, когда они уже почти добрались до послеродового отделения. Взглянув на нее, муж молча развернул коляску.

И вот они снова стоят у «Хирургии». Алексей нажимает на звонок, и к ним выходит та же медсестра.

— Пожалуйста, пустите меня к дочери, — говорит Тая.

— Я не могу вас пустить. Я же вам сказала, — медсестра поправляет шапочку. — Но — в виде исключения!!! — могу попробовать привезти Вашего ребенка — если она спит, конечно! — сюда. Вы только посмотрите на нее, и все. Руками трогать нельзя.

«Как это — „руками трогать нельзя“?! Почему?! По какому праву?!..» — Тае опять хочется кричать. Но она говорит: — Я согласна.

Медсестра уходит. Тая смотрит вниз, на свой пустой живот, на кучу складок, образовавшихся от халата, который еще вчера утром туго обтягивал. Она кажется себе невероятно худой. Опустевшей, выпотрошенной раковинной.

Дверь открывается. Медсестра подкатывает ко входу прозрачную тележку. Внутри, запеленутый в чужую пеленку, спит младенец. Девочка. Ее дочь.

Тая смотрит на нее во все глаза.

И совсем

ничего

не чувствует.

## НАТАЛЬЯ РУБЦОВА

### КОНКУРС

Жене 15 лет. У Жени нет друзей — они ему не нужны; нет одноклассников — он на индивидуальном обучении; нет домашнего животного — у него аллергия; нет папы — папа ушел, узнав неприятный для слуха директора банка диагноз «аутист»; нет прошлого и будущего — есть только настоящее. А в настоящем есть мама и скрипка.

Мама всегда рядом. Крупная женщина, похожая на заезженную лошадь грустными глазами, походкой и крупом, поздно родившая с риском разнообразных осложнений и теперь вынужденная ежедневно с этими самыми осложнениями бороться.

Работу мама оставила ради Жени. День за днем он все больше нуждался в ней, сам того не подозревая. С раннего утра и до позднего вечера они вместе боролись то с зубной щеткой, то с одеждой, то с едой. Если щетка была старая (мама даже специально расплющивала новые о холодный кафель в ванной), одежда надеванная, а еда опробованная, то Женя был тих. В таком настроении он часто что-то мычал, отрешенно глядя вбок, иногда рождая странные уху мелодии и разбавляя тягучие гласные неожиданными непонятными словами, которые выплевывались им как пульки из тростниковой трубочки — с придыханием. Если же в жизнь внедрялись новые вкусы, запахи, фасоны, маршруты, начиналась битва за Карфаген. И они сражались. Вместе.

Карфаген должен быть разрушен! За этими битвами мама уже и не помнила, что и когда делала для себя.

Приезжавший поначалу довольно часто папа непроизвольно шарахался от бытовухи. В доме его пугала всегда готовая к подаче гречневая каша, пару раз основательно подгоревшая и благодаря этому навсегда поселившаяся в порах стен; одинаковые, кажущиеся несменяемыми полотенца в ванной; неистощимые запасы мыла, в составе которого было разнотравье альпийских лугов. Он перестал ездить в Альпы даже зимой, опасаясь встретиться с этим запахом.

Кроме этого, его стала угнетать мамина неухоженность и вьющийся вокруг нее шлейф валерьянки, никак не совместимый с его собственным лоском, бритвенной остротой брючных стрелок и обрезным маникюром. Постепенно он утратил эту обязанность еженедельных посещений, сохранив только ежемесячные перечисления. Впрочем, и они выполнялись скорее всего кем-то из сотрудников банка или просто операционной системой — бах на карту.

Женя похож на маму — медлителен, сутул. Только его сутулость врожденная, а у нее постепенно выросла, задавливая неподъемностью новостей ставшие одинокими плечи. Свойственная всем малышам пухлость у него осталась болезненной полнотой, пока не чрезмерной. У него почти все время обнаженные в диковатом оскале передние крупные зубы, и у тех, кто видит его впервые, возникают сомнения, но не желание приветливо улыбнуться в ответ. От отца у него одно — взбесившиеся кудри, сквозь которые мама изредка пропускает пальцы, и тогда глаза ее прикрываются, и мелькает в них что-то похожее на прошлое счастье. Женины глаза темные, материнские, опущенные сверх меры ресницами. По ним невозможно понять — здесь ли он. В них бездонность и пустота черного квадрата, бездыханность и вечность. Но творение Малевича зритель может разглядывать прямо или под углом, сам выбрав точку, а на Женю откуда ни посмотри — все равно

окажешься сбоку. На носу у него вечно скособоченные круглые очки.

\*\*\*

В 6 лет мальчику окончательно поставили диагноз, навсегда вписав его в поликлиническую карту. Так мама узнала, что аутизм не лечится. С этим придется как-то жить, и надо было понять — как. Придя домой в густой темноте, после бесцельного блуждания по городу, она отпустила возмущенно молчавшую помощницу, которая давным-давно уложила Женю спать и сидела, пыхтя, как паровоз под парами, ежеминутно готовясь дать гудок к отправлению. Мама выпила валерьянку и машинально плеснула в тот же граненый стакан виски. Включила телевизор и долго сидела перед ним, стекленея и гоняя маслянистую янтарную жидкость по мерцающим граням, зажмуриваясь во время крошечных глотков и скоропостижно хмелея.

Программа телепередач завершалась подборкой классической музыки. Бравурно исполнил свою арию Тореадор, вслед за ним Ленский убеждал Ольгу в силе чувств. Мама не реагировала на чужой мажор — он звучал как будто в иной плоскости и растекался звуками вокруг нее, не задевая. Она ставила виртуальную галочку — знаю: Бизе, Чайковский — и продолжала безучастно сидеть дальше. Ближе к полуночи, музыкальные отрывки стали все более тягучими, усыпляющими. Зазвучала мелодия... такая знакомая, что имя композитора или название произведения точно должно было высветиться перед ее глазами. Она же смотрела этот фильм! Скрипка грустила, ведя за собой послушный оркестр; медленно пропевала фразу за фразой, разговаривала с кем-то незримым. Что это? Мама слегка протрезвела, силясь вспомнить ответ. Она вынырнула из своей тоски, как дельфин, и этой секунды на поверхности хватило, чтобы заметить, что в комнате она была на одна. За ее спиной, в дверном проеме,

стоял Женя. Маленький, босой и взъерошенный, в байковой пижаме (которая уже стала сильно коротка, но на новую он никак не соглашался) и неровно надетых очках. Он медленно покачивался в такт музыке, переминаясь с ноги на ногу и не двигаясь с места. Глаза его были прикрыты. По легкому наклону головы влево и расслабленным кистям рук, мама догадалась, что ему нравится то, что он слышит, и вспомнила: это был «Разговор с Богом» — тема из кинофильма «Список Шиндлера».

\*\*\*

С того дня, как выявилась Женина музыкальная склонность, все как будто обрело новый смысл. Не у Жени. У мамы. Первым делом она стала искать педагога, готового заниматься с ребенком-аутистом. После серьезного разговора с секретаршей отца, обладавшей бесконечными паутинами связей в самых непредсказуемых местах, педагог нашелся — в городской музыкальной школе с хорошей историей. Это была немолодая одинокая женщина, заведомо струнных музыкальных инструментов, с послужным списком, в котором выпукло фигурировали несколько выпускников, осиливших поступление в консерваторию, и *de facto* заменивших Татьяне Александровне собственных детей.

На первый урок Женю привела мама.

— Ну, здравствуй, — Татьяна Александровна приветливо улыбнулась мальчику и протянула руку.

Женя молча смотрел в стену, декорированную портретами гениев венской классической школы.

— Мне сказали, что тебе нравится, как звучит скрипка, — продолжила монолог Татьяна Александровна, поняв, что рукопожатия не случится. — Давай я тебе что-нибудь поиграю.

Она открыла черный строгий футляр, подбитый фиолетовым бархатом изнутри, и бережно извлекла скрипку, за-



пеленутую, как новорожденный, в кусок батиста. Все свои действия она объясняла.

— Вот, смотри. Это — скрипка. Зимой она может замерзнуть, а летом перегреться, поэтому ее надо бережно обернуть тонкой тканью и хранить в надежном кофре. Плотный шероховатый бархат внутри нужен для сохранения тепла или прохлады — зависит от времени года. Скрипка очень хрупкая, как цветок, ее надо беречь: падение или удар, мороз или жара могут ее погубить.

Татьяна Александровна поглаживала скрипку, которая почти по-кошачьи ластилась к хозяйским рукам, но пока не мурлыкала.

— В верхнем отсеке кофра на двух защелках живет волшебная палочка. Это — смычок. Он состоит из тросточки и натянутых на нее конских волосков. Представляешь, все они взяты из конских хвостов и обязательно белые. Где же найти столько белых лошадей, как думаешь?

Молчание.

— А вот это (она извлекла из бокового кармашка поместившуюся в руке светлую шайбу канифоли) — волшебная мазилка для смычка. Смычок надо канифолить, чтобы он плотнее прилегал к струнам, и звук рождался насыщенным.

Татьяна Александровна провела по смычку, натирая его короткими выверенными движениями. Женя продолжал изучать бетховенские вихры на портрете, так напоминающие его собственные кудри, но мама видела, что он немного развернулся и спокойный тихий голос учительницы цепляет его.

— И последнее, — Татьяна Александровна достала изогнутую деревянную скобку, напоминающую Женин оскал, — это мостик. Он помогает скрипке удержаться на плече музыканта. Вот, смотри.

Татьяна Александровна приладила мостик на скрипку, и крутобедрая креолка тут же потеряла часть своего изящества. Учительница медленно уложила мостик со скрипкой

на плечо, слегка вывернула влево подбородок, придавливая ее, и взмахнула смычком.

Бог знает, что творилось в его душе, но эта мелодия тянула его, заставляла искать новую опору для взгляда. Вместо Бетховена он наконец-то увидел скрипку и играющую на ней женщину. Полет смычка гипнотизировал. Звуки, рожденные в тишине кабинета, поднимались под потолок и уплотняли воздух, не в силах выпорхнуть в закрытое окно. Скрипка тосковала и пела романс Свиридова из Пушкинской «Метели».

Женя, переминаясь с ноги на ногу, протянул к скрипке руки. С этого дня они начали заниматься.

\*\*\*

Мальчик оказался одаренным. Абсолют его слуха заставил членов приемной комиссии удивиться настолько, что его взяли в музыкальную школу в середине года без каких-либо условий. Позже, на пробных выступлениях в других школах и садах, если вдруг он слышал на четверть тона съезжающий рояль аккомпаниатора, то мог расплакаться и отказаться играть. Аутичная склонность к повторению движений позволила к 15 годам выработать невероятную даже среди профессионалов технику. Поскольку кроме скрипки его ничего не интересовало — не было друзей, школы, первой подростковой любви — все время отдавалось инструменту. Скрипка скрашивала его одиночество и дарила все то, что мама объяснить уже не могла. Благодаря музыке он знал, какими могут быть гнев, радость, тоска, страсть, любовь, смерть. Он мог играть по двенадцать часов в день, начиная с плавных гамм и постепенно переходя к гремящим и струящимся пассажам. Главными его слушателями были мама да сосед-паралитик, живший через стенку. Если бы Женя вдруг узнал о его существовании, то понял бы, насколько его исполнение может трогать сердца.

Сосед же благодарил Бога, что на старости лет может вот так просто лежать, пускай и в памперсе, на бесконечном концерте, и это казалось верным признаком того, что попадет он обязательно в рай.

Татьяна Александровна, сильно болевшая последние два года, вышла на пенсию и отказалась почти от всех учеников, а Женю оставила. Он заканчивал музыкалку позже, чем сверстники: приходившие для домашнего обучения преподаватели никак не могли набрать необходимое количество прослушанных часов по всем предметам, кроме скрипки. Тут часов хватило бы на десятерых. Татьяна Александровна спокойно и с бульдожьим упорством перехватывала инициативу на итоговых педсоветах, где грозили возможным отчислением, и каждый раз твердила, какой необычный мальчик им достался, да, странный, но нельзя его оставлять без диплома об образовании. Она отчетливо понимала цель, к которой они с Жениной мамой шли вдвоем уже несколько лет: скоро Жене 16 и они подадут документы на конкурс Чайковского, который раз в четыре года и как раз в грядущем году. Без диплома эта цель была недостижима.

\*\*\*

Шестнадцатилетие скромно отметили, пригласив только Татьяну Александровну и загадав одно общее для всех желание. Мама не сомневалась, что сын победит. Это казалось ей столь же очевидным, как снег зимой. Она вдохнула в него свою жизнь, а две жизни — это больше, чем одна, как ни крути. Ей нужна была эта победа, и за ценой она не постояла. У Жени было все необходимое: Татьяна Александровна, которая в принципе уже давно могла не работать с другими детьми, поскольку Женины уроки ей оплачивали в пятикратном размере; скрипка, претендующая в соответствии с сертификатом на звание дальней родственницы инструментов Страдивари и по стоимости, и по красоте звучания

(особенно в баритональном диапазоне); огромная нотная домашняя библиотека, которая исправно пополнялась всеми новинками; диски с записями концертов и репетиций известных исполнителей; несколько смычков на выбор; готовая приехать в любое время концертмейстер... Все.

Мама мечтала, как им свалится буквально на голову эта победа вместе с гран-при. И тогда ее сына покажут по всем федеральным каналам, и прогремит новость о самом молодом победителе конкурса Чайковского, а на концерт-закрытие в большой зал консерватории, где выступят все победители и номинанты, съедутся поклонники и любители музыки, профессионалы и победители прошлых лет, профессора, чиновники, олигархи. И среди олигархов — в партере (понятно, что профессора и любители музыки окажутся в первом амфитеатре и выше) — она сверху сможет разглядеть Жениного отца. Мама мечтала, как он позвонит и скажет... Что скажет — она не совсем представляла, но ей очень хотелось, чтобы отец гордился сыном и пожалел, что бросил их из-за того, что в конце концов не помешало мальчику стать знаменитым и счастливым.

Ко дню подачи документов на конкурс все было готово. Оплачен вступительный взнос — 200 долларов (сумма, кажущаяся пылинкой в этом урагане затрат). Написана краткая автобиография исполнителя маминой крепкой рукой и приложен диплом музыкантки (с отличием! Татьяна Александровна расстаралась). В файлах лежали два рекомендательных письма. Одно от педагога кандидата, другое — от концертирующего исполнителя N с международным признанием (бывшего однокурсника Татьяны Александровны). Женя отыграл программу, и его засняли два профессиональных оператора на пленку, которую также требовалось представить приемной комиссии. Условия конкурса были изучены до дыр и, уже совсем устав бояться и переживать, пребывая на грани нервного срыва, мама нажала на клавиатуре кнопку «enter», и заявка

со всеми приложениями ушла, приоткрыв Жене дверь в светлое будущее.

\*\*\*

— Дорогая, ну как вы? Все отправили? — голос Татьяны Александровны звучал vibrato, — Ну и молодец... Да не волнуйтесь вы так! Я сама на валерьянке. Все там в порядке с документами. Я вот о чем подумала: нам бы билеты купить заранее надо... Да-да, понятно, что родителей и педагога должны пропустить, но на последние туры и концерт-закрытие такой ажиотаж всегда! Окажемся с вами на галерке и не увидим нашего мальчика... Вы забегите на Большую Никитскую, а я в консерваторской кассе предупрежу, чтобы для вас оставили билеты, самые хорошие из возможных. Ну что вы, не благодарите меня! А Женечка пусть отдыхает иногда, кисть расслабляет — вот и сейчас, слышу, играет...

Перспектива остаться без места на концерте единственного сына совершенно не вписывалась в мамины планы, и, едва положив трубку, она схватила сумочку и порысила на улицу. Благо до консерватории было рукой подать — перейти бульвар и прогуляться немного по Большой Никитской. Любимый маршрут.

На углу театра Маяковского она столкнулась с красивой парой. Мужчина в кашемировом пальто, сидевшем точно по фигуре и намекавшем дорогими деталями на индивидуального портного, толкал впереди себя коляску. Женщина, шедшая рядом, изящно перескочила подернувшуюся тонким льдом мартовскую лужу, цокнула каблукочками и с улыбкой заглянула под купол коляски, придерживая рукой объемный невесомый шарф, небрежно и модно накрученный вокруг статной шеи.

— Спит, — прошептала она, возвращаясь к мужчине и легко целуя его в щетинистую щеку.

Мама опознала Жениного отца. Он почти не изменился, немного располнел и выглядел с коляской в руках абсолютно счастливым. Они очень давно не встречались. Сиюминутное сравнение себя и папиной спутницы, сделанное по параметрам «возраст-внешность-настроение», было ни разу не в пользу мамы. На фоне себя — заезженной лошади — молодую женщину она представила бодрой гарцующей кобылкой, ухоженной, и, кажется, любимой хозяином.

Увидев бывшую супругу, новоиспеченный отец оборотительно выставил коляску вперед, спрятал улыбку и сказал:

— Привет.

— Привет, — выдохнула она, не в силах оторвать взгляд от средства обороны и чувствуя, как стучит в висках и под грудью.

— Ты что здесь делаешь?

— Ничего. А ты?

Рассказывать ему сейчас о конкурсе, о Жениных успехах, о поданной заявке, о билетах, которые ей срочно надо было выкупить, она не хотела, да и не могла — присутствие коляски заворожило. Она почувствовала, как на затылок надели «железную шапочку» — верный признак подскочившего артериального давления. Пульсирующие виски распирали голову изнутри.

— Я тоже.

— Ну, пока.

Коляска развернулась обратно в переулок, и мама углядела мелькнувший внутри розовый бант. Пару минут она пыталась прийти в себя, опираясь на кирпичную стену театра, за грудиной стучалось и рвалось наружу сердце, на лбу выступили крупные капли липкого пота. Что-то сломалось — картинка перед глазами сначала покачнулась, горизонт накренился и начал расплываться кругами, пятнами и, наконец, исчез.

\*\*\*

Через три месяца, когда начались конкурсные прослушивания, мама все еще была в больнице. Она тяжело восстанавливалась после перенесенного инфаркта. Без мамы Женя почти ничего не ел и не успевал. Татьяна Александровна, несмотря на очевидную заинтересованность, не смогла дотянуть эту внезапно обострившуюся ситуацию до финиша или хотя бы до старта — если стартом считать начальные прослушивания конкурсантов. Женя опоздал на первое прослушивание, пропустил второе и в итоге оказался за бортом, хотя и произвел сильное впечатление на комиссию своей техникой, окаменевшим лицом и — при этом — невероятной эмоциональностью исполнения. Нарушать строгие регламенты для него никто не собирался — это тут же могли опротестовать другие конкурсанты.

Когда маму выписали и привезли домой, она была еще очень слаба. Скорую в тот злополучный день ей вызвал бывший муж, которого повторное отцовство как-то очеловечило: он стал замечать, что в жизни есть не только биржевые сводки. Тогда он обернулся — уж очень Женина мама была бледна при встрече — и увидел ее уже мешком осевшую на асфальт.

Тяжелее всего маме было даже не от этого внезапно возникшего долга, а от того, что цель ее жизни оказалась недосяжима, как локоть.

Для Жени, впрочем, ничего не поменялось — он целыми днями не выпускал из рук скрипку, но играть больше всего ему теперь нравилось для маленькой шустрой девочки, с которой иногда заглядывал в гости отец.

## АЛЕКСАНДРА САПРОНОВА

### ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Рыбий глаз...

Эту кличку ему подарил Драго, когда им было пять лет. Он бегал вокруг него, пользуясь тем, что был лучше сложен, и кричал:

— Рыбий глаз! Рыбий глаз! Стухший-стухший рыбий глаз!

Позже к этой занимательной игре подключились и другие дети.

Каждую субботу Хованн возвращался домой в рыбьих потрохах. Мать не задавала вопросов, лишь набирала ему ванну и стирала одежду. Словно так и было надо.

Один раз он ей рассказал про детей и обиды, а она ответила:

— Бог их покарает.

Хованн лениво перевел взгляд с монитора своего компьютера на мужчину, что стоял на коленях перед его столом. Твердая рука помощника жестко держала того за плечо, не разрешая подняться. Прошло столько лет, Хованн не узнал бы в этом дрожащем субъекте загорелого мальчика, забрасывающего его требухой. Но ошибки быть не могло. На экране было его досье. Все совпадало. Драго поднял голову и нервно облизнул губы, прежде чем сказать:

— Г-господин инквизитор, это какая-то ошибка.



Хованн слегка склонил голову и тихо ответил:

— Вы сомневаетесь в моей компетентности? В компетентности Инквизиции?!

— Нет! Я не сомневаюсь, но — я не делал ничего противозаконного.

Бледно-серые глаза безразлично глянули на экран:

— Вы укрывали в своем подвале зараженного человека. Это не просто противозаконно, это еще и безответственно.

— Я... я не знал. Он вернулся домой после работы и сказал, что чувствует себя плохо.

Кончики губ Хованна слегка приподнялись:

— Ваш сын часто спит в подвале?

— Он сказал ему жарко. А это... это — самое прохладное место в доме...

— Неужели?! Жаль, что вы не вызвали врача. Но это уже неважно. Его дело рассматривает мой коллега, а мне нужно, чтобы вы подписали вот здесь.

Хованн подвинул листок бумаги к краю стола, ближе к Драго. Он махнул рукой, и Йорг отпустил плечо пленника. Инквизитор со скрытым любопытством наблюдал, как его жертва взяла договор и начала читать. Он мог поклясться, что чувствует запах тухлой рыбы. У Драго брови приподнялись в удивлении:

— Господин инквизитор, что это?

— Разве не ясно? Вы передаете свое имущество мне. В обмен на это я не дам делу ход, забуду о том, что вы намеренно укрывали своего сына.

Хованн откинулся на спинку кресла и положил ногу на ногу. Он видел, как Драго сжал зубы, как напряглись его желваки. Инквизитор позволил ему подумать какое-то время, а потом сказал:

— Ликвидация вам не грозит, но позвольте Йорг вам продемонстрирует, что вас ждет в камерах.

Йорг ударил Драго.

Потом еще раз.

Затем что-то хрустнуло.

Хованн следил за состоянием Драго и давал своему помощнику указания, когда делать перерывы. Все же у него была цель вразумить свою жертву, а не покалечить. Конечно, были более деликатные методы, но Хованну не хотелось их сейчас применять.

Они управились за двадцать минут. Он ожидал большего от того мальчика из своих воспоминаний.

Когда Йорг вывел из кабинета Драго, Хованн подошел к окну. Тот, кто додумался переделать готический собор в штаб инквизиции — эстет. Ведь вид отсюда был просто изумительным. Тусклый город раскрывался во всей своей красе. Архаичные здания с причудливым декором сочетались с абстрактными конструкциями из стекла и металла. Даже зараженный район казался незначительным с такой высоты.

Он невольно вспомнил любимую фразу своей матери.

«Бог их покарает»...

Хованн закрыл глаза и нырнул в толщу воспоминаний. Он увидел себя со стороны. Маленький худенький мальчик с взъерошенными волосами, самый робкий из всех детей, всегда чуть в стороне, неуклюжий и задумчивый.

Хованн разглядывал себя глазами древнего идола

Раз, два, три, четыре! Пасть ему открой пошире!

Пять, шесть, семь, восемь! Мы еду ему приносим!

Девять, десять, время вспять! Будет с нами он играть!

Ветер шептал ему на ухо слова детей. Их детский смех и неуклюжая радость сопровождали песенку. Они играли в это каждый день. Прыгали по траве, гонялись друг за другом и хохотали — раздражая родителей и соседей.

Деревянный идол лишь свистел. В горле сухо. У ног ползут червяки. Вскоре ветер покинул его и унес песню детей с собой.

Раз, два, три, четыре, пять! Желанье выполни опять!

Голос детей вновь коснулся его. Деревянные веки приоткрылись, и он увидел пять пар любопытных глаз.

Пять пар рук потянулись к изгрызенной временем плоти.

Они взялись за его оленью челюсть и открыли пасть. Дрожащие детские пальцы начали судорожно запихивать в него семена, цветы, траву. Под конец старший ребенок влил в сухое горло воды и прошептал:

— Вылечи Маму, пожалуйста...

Они привязали к рогам колокольчики, чтобы ветер навещал его почаше. Они танцевали вокруг него, чтобы луна грела его своим ласковым взглядом. И они пели, пели о своих желаниях. А он им просвистел:

Жизнь за жизнь...

Ночью пять пар глаз сомкнулись. Идол видел, как их желание мерцало в воздухе, лентой соединяя его дряхлую плоть с телом больной матери. Трава, цветы и стебли оплели деревянные кости, и он поднялся с земли. Колокольчики звякнули. Весь лес вдохнул и задержал дыхание.

Идол поплелся на запах болезни.

По натопанной детьми тропинке.

Мимо забытого колодца и пугливых духов воды.

К старому кривому дому на окраине леса.

Там, где спали дети и мать, что пахла кислым потом.

Жизнь за жизнь...

Утром лес выдохнул. Старый дом закричал от топота ног и крика детей.

Они обнимали мать, а она уверяла их, что ей лучше, что все страшное позади.

Лишь младший остался сидеть в кровати. Он прятал правую руку за спиной.

Кожа на ней не успела зарости над деревянными пальцами.

Самый младший, самый любимый сын...

Хованн посмотрел на свою руку и улыбнулся.

Бог их покарает...

Мать была права. Ведь он и есть Бог.

## ЮЛИЯ СЕИНА

### ОБЕЩАНИЕ

«Я вернусь знаменитым! Когда-нибудь я обязательно вернусь, и ты будешь мною гордиться! Я обросту такой силой, что никто, никто из моих близких не умрет, не дожив до девяноста лет. Нет! До ста! Пусть живут до ста!».

Он выполнит свое обещание. Спустя много лет. Но только первую его часть.

\*\*\*

За окном было пасмурно. Серая, от края до края, небесная твердь вот уже несколько недель давила на земную. Ноябрь всю дорогу исходил дождем вперемешку со снегом. И снег — одно название — только покрывал тонкой липкой пленкой отмершую траву и сразу же таял, раскисал, образуя под ногами уже через пару часов кашеобразное, грязное месиво.

Туман и сырость проникали извне, сквозь трещины и щели в неровной кирпичной кладке, окутывая и заражая все на своем пути: состарившиеся оконные рамы, неровные, облупленные стены, сталактитовые потолки, беспорядочно проштампованное белье, давно потерявшее свой белый облик от частых стирок с хлористым дезинфицирующим раствором.

Палата была узкой, сильно вытянутой в длину, с высокими, давно не мытыми окнами, выходящими в ма-

ленький, уже совсем по-зимнему голый больничный сад. Сквозь паутину редких деревьев, почти у самого забора были видны низкорослые земляничные крыши отремонтированного недавно кирпичного корпуса. Все знали, что это морг. Такой вот вид из окна — сразу в вечность.

Высокий, темных оттенков потолок «палаты смертников» (так ее окрестили больные), в углах которого причудливыми цветами распустились старые желтоватые и новые сероватые подтеки, придавал последней обители вид зловещего, гулкого колодца, где сырость прописалась давно и надолго. Потолки протекали здесь постоянно, такова уж была конструкция этого старого здания. Долгие дожди или обильные грозы пробивали защиту обветшалой кровли и текли мутными ручейками с пятого этажа прямоком в подвальное помещение, затапливая утробные, норообразные подземные переходы, где в любое время года хлюпало под ногами, капало с труб и пахло отсыревшей побелкой. Администрация пыталась бороться и даже несколько раз приглашала худосочных, употребляющих, а потому нездоровых на вид, кровельщиков. Те в забытии латали дыры и кое-как укрепляли водостоки, но что-то было все же неподвластно человеческим рукам, и крыша неизменно снова давала течь.

В палате стоял густой, горьковатый запах ночных испражнений, лекарств и человеческого пота. Было до тошноты душно. Мизерной форточки, которая по непонятным инженерным причинам была несоизмеримо мала по сравнению с самим окном, не хватало на то, чтобы должным образом проветривать помещение. Четыре койки с куцыми верблюжьими одеялами, по две вдоль каждой стены; старенькие тумбочки по числу коек с облупленными, не закрывающимися плотно дверцами — каждая может многое рассказать о своем последнем хозяине; единственный стул, без спинки, где в спешке брошен несвежий махровый халат и использованные, засахаренные красной патокой бинты;

да умывальник в углу, под коленом которого стояло желтое эмалированное ведро, верный слуга сантехнических неурядиц — вот и вся жизненная диспозиция.

На одной из кроватей, прямо у окна пирамидкой торчала накрахмаленная до стойки подушка, кусок белой простыни нескромно выглядывал из-под наспех натянутого одеяла. Видно, совсем недавно это, ставшее последним для кого-то ложе, торопливо было перестелено для следующего пациента. Кровать напротив была занята. На подушке блестели жиром давно немытые, прежде, видно, черные волосы, все остальное тело до самого подбородка было укутано в сероватый мякиш. В женском лице, а это было именно женское лицо, угадывалось физическое страдание. Женщина, подергивая левым веком, беспокойно спала. Две другие кровати были в беспорядке. На одной, ближе к умывальнику, сгорбившись и полуприкрыв глаза, сидела тощая, почти прозрачная старушенция. Соседняя койка была пуста. О том, что здесь недавно лежал человек, говорило лишь небольшое углубление в квадрате подушки, где повсюду рыжели короткие, отжившие свое волоски. В палате стояла почти идеальная тишина. Только старушка издавала какой-то глухой, чревный стон, лишенный жизни взгляд ее буравил одну точку, и каждый издаваемый звук сопровождался слабой гримаской старческого морщинистого лица.

Глеб отчетливо помнил эту палату и эту больницу. День, когда ушла из жизни мама. Тогда его, обезумевшего и уставшего от слез пацана, сидевшего на краешке пустой, еще теплой, хранившей мамин запах кровати, успокаивала перерзлая медицинская сестра. Она прижимала его голову к своим пахнувшим хлоркой и гречневой «размазней» грудям, гладила по голове и тихо, нараспев причитала: «На все воля Божья, на все воля Божья»...

Глебу в июле исполнилось десять, а в конце сентября мама окончательно переселилась в больницу, не справившись с очередным приступом боли. Мальчик тогда не понимал,

что происходит и с наивностью нетерпеливого подростка ждал возвращения матери домой. Думал, вылетит. Думал, все образуется и пойдет как раньше. Кто ж ему скажет, что вскоре он останется совсем один? Что мать безнадежно и тяжело больна, и возврата к прежней жизни уже не будет? Мама не раз пыталась поговорить с ним, аккуратно подбирая слова, ставя многоточия и сдерживая подкатывающую тошноту, но он не понимал, не слышал, и только гладил ладошкой ее уже выцветшие, давно не крашенные, поредевшие волосы, смахивая с некогда румяных щек густые слезы и с усилием проглатывая свои. Только бы не разрыдаться вслед.

Последние полгода она часто писала кому-то письма. Глеб основательно, с детской серьезностью облизывал гуммированные марки, наклеивая их на очередной конверт. Ни фамилий, ни имен, написанных в графе «кому» разборчивым, ровным маминым почерком, он не знал. Некоторые письма возвращались — адресатов не находилось. Пару раз мама звонила по межгороду, выдворив сына на улицу, «погуляй, сынок», но Глеб видел, что что-то происходит, и это что-то не идет, как надо — день ото дня мама становилась все печальнее, все чаще на ее лбу троились морщины, а улыбка, некогда яркая и задорная, и вовсе пропала. Вскоре почтовые марки перестали появляться у них в доме, а Глеба перестали насильно выдворять на улицу. Теперь мама подолгу совещалась с соседкой, Глафирой Евгеньевной, бабой Глашей, единственной в коммуналке, вот уже много лет поддерживающей их маленькую семью.

В отсутствие мамы баба Глаша приглядывала за мальчиком, но Глеб предпочитал отвечать за себя сам. Он с раннего возраста считался мужчиной в доме. Единственной опорой. Сколько он помнил себя, они с мамой всегда были только вдвоем. «Ты, мой мужичок, моя сила, моя гордость», — ласково трепала она сына, ерошив непослушную челку, когда Глеб в очередной раз разбивал коленки,



шмыгал носом после драки или стирал в кровь пальцы, что есть силы борясь с упругими струнами грифа. Отца мальчик не помнил. Про отца мама молчала, на вопросы отвечала однозначно, мол, нет у него отца, с самого рождения нету. Но сыну не врала, да и он бы сам не поверил в отца-космонавта или какого-то липового героя-летчика. В доме не было ни общих фотографий, ни личных вещей отца, ни вообще какого бы то ни было следа присутствия мужчины. Соседка только однажды обмолвилась, печально посмотрев на пятилетнего Глебушку: «Такой хороший парень вырос, хоть и без отца-недоумка». Глеб хотел было расспросить и хоть что-то выведать, но баба Глаша увидев отчаянный порыв в глазах мальчишки, тут же прикрыла рукой рот и со словами «чтой-то в глаз попало, окаянное...» скрылась в своей комнате, громко щелкнув щеколдой по ту сторону двери. Повзрослев, он перестал задавать вопросы. Таких, как он, в его школе было пруд пруди. Папаши уходили, менялись, спивались, их избивали, сажали, а мальчишки росли себе, кто как мог. С мозгами у Глеба все было хорошо. В школе — четверки и пятерки, с пяти лет поступил в лучшую музыкальную школу города и, надо сказать, радовал всех своим слухом, упорством и успехами. Больше всех радовалась мать. Конфет, самых что ни на есть простых, они не видели месяцами, докторскую покупали самую дешевую и иногда подолгу питались одной картошкой с квашенкой, но в доме их множились ноты, полки прогибались под книгами, простенький подержанный проигрыватель «Вега», купленный у какого-то алкаша на барахолке, скрипел Бахом и громыхал Рахманиновскими концертами. Вечерами они с мамой окунались в другой мир, полный сказочных звуков и удивительных таинств. Глеб любил музыку и часами мучил детскую виолончель, одну десятую от взрослой, которую им временно выдал директор в музыкальной школе (купить инструмент они позволить себе не могли). Он, директор, очень хвалил ода-

ренного мальчика, взял его под свое крыло и лично, часто забывая о времени и собственных делах, подолгу занимался с ним.

Мама умерла утром. Отошла тихо, беззвучно, слегка охнув, отдавая последний глоток воздуха этому миру.

Глеб собирался зайти к ней после школы, но звонок из больницы выдернул его после второго урока. Выдернул не только из школы, с уроков, но и из обычной, привычной, знакомой детской жизни. Глеб не помнил, как выбежал из класса, как стоял на зеленом, протертом ковре в кабинете завуча, как отозвались болью в висках страшные слова, как оказался в раздевалке, напялил куртку и, держа в руке шапку и шарф, в одних кедах, с расхлестанным нутром выбежал во двор. Во дворе школы стояла обычная для этого времени тишина. Шаг, еще шаг. Шесть ступеней, через одну. Под ногами трещали лужи. Мелкий, сноровый полуснег забирался за шиворот, кеды намокли, а голова покрылась влажной, клейкой белой кашицей. Слезы обжигали и готовы были вырваться криком, но он застрял где-то посередине груди. Ни туда, ни сюда.

Баба Глаша стояла поодаль, то и дело прикладывая платок к красноватым, опухшим глазам. В руке болталась хозяйственная сумка, пухлая, набитая какими-то пакетами. Она обняла Глеба, да так и застыла, крепко прижав его к себе. Потом очнувшись, охнула, второпях застегнула на все пуговицы старенькое, латанное на обшлагах рукавов пальто, подняла воротник, кое-как приладила шапку, намотала вокруг дыплячьей шеи совсем изношенный, кое-где тронутый молью шарф, и в довершение помогла мальчику переодеть кеды. «Поплачь, поплачь, не держи в себе. Преставилась матушка твоя. Отмучилась, голубушка. Господи Иисусе, ты ж вымерзнешь, Глебушка, пойдем скорее». Вместе они, рука в руке, хлюпая носами, сторбившись и наперекор снежному водовороту, побрели к автобусной остановке.

Глеб все еще помнит те дни, но вот в какой они были последовательности, забылось. Помнит бабу Глашу, суетливо подкладывающую в его тарелку шипящую, с коричневатыми бочками картошку, снова и снова хлюпающую носом и тишком бормочущую про себя молитву; дядю Колю, одинокого пьяницу-соседа, заглядывающего то и дело в их с мамой комнату, беспокожно ища глазами вожделенную беленькую; большегрудую медсестру, перемешавшую разом все запахи (среди запахов Глеб даже услышал ландыши); каких-то людей, которые что-то спрашивали, куда-то его вели, лезли с объятиями, охали и ахали, пытались заглянуть в глаза и противно слюнявили щеки. Слезы внезапно кончились. Плакать не хотелось. Хотелось увидеть маму, обнять ее, взять за руку, погладить по голове, уткнуться в ее теплое плечо и забыть обо всем.

Патологоанатомический корпус, тот самый, цвета переспелой земляники, изнутри намертво пропах хлоркой, спиртом и той же гнилой сыростью, которой была пропитана вся больница. Глеба подташнивало. Все вокруг казалось нереальным, вырванным кадром из плохого, старого черно-белого кино. Когда-то он смотрел с мамой документальный фильм про войну и концлагеря. Глеб тогда подумал о том, что смерть, когда ее много, не кажется такой уж страшной, обидной. Умирили все, и взрослые, и дети, и больные, и здоровые. И это была война, одна на всех. Мама еще потом сказала, что смерти бояться нельзя, она не любит трусливых.

Прощающихся было немного. Баба Глаша не выпускала холодную ладошку мальчика, прижимала его к себе и, не стесняясь, громко и взхлеб голосила. На все формальности потребовалось минут двадцать. И вот, четверо мужиков в робах, с отрешенными, давно пропитыми лицами, вывезли на каталке простенький сосновый гроб и быстро, со сноровкой обычных грузчиков погрузили его в нестабильно и шумно подрыгивающий мотором ПАЗ.

Потом было кладбище.

Маму кремировали быстро. Глеб плохо помнил, как пошел вместе с бабой Глашей к лежащей в воронке из красных гвоздик маме. Спокойное, восковое лицо. Впалые щеки, неестественно натянутые скулы. Опущенные, замазанные чем-то веки, разглаженные морщины над переносицей. Тонкая полоска некогда пухлых губ. Руки, бескровные, блесят, будто выкрашены бледно-желтым лаком. Краешек любимого ситцевого, белого в черный горох платья с высоким воротником-стойкой. Оборка предательски, так жизненно, игриво торчит. Она казалась совсем чужой. Память играла в прятки, выхватывая из прошлого отдельные, непременно счастливые моменты. Сквозь пелену наконец-то пришедших слез, Глеб видел мамину, яркую, всегда ласковую улыбку, слышал звуки ее убаюкивающего, с хрипотцой голоса, ощущал тепло рук, укрывающих его на ночь одеялом до самого подбородка. Каждый вечер, когда он, уже лежа в постели, обхватывал руками мамину шею, утыкаясь в мягкую, пахнущую хвойным мылом щеку, она нашептывала ему: «Спи, щеночек, и пусть тебе приснятся сегодня самые чудесные сны. Сегодня это будет лес. Елки и березы, большие папоротники. А хочешь грибы? Белки обязательно...». Или море. Или динозавры. Или рыцари. Мама всегда придумывала для него новый сон, и он, просыпаясь утром, радостно бежал и рассказывал, какой лес, или море, или динозавры, или рыцари ему приснились.

\*\*\*

С того дня, как маму под звуки Моцартовской масонской траурной поглотила страшная, черная дыра, Глеба регулярно навещали чужие люди. Приходили строгие, почему-то сплошь очкастые тетки с однообразными пучками на прилизанных головах; вечерами заглядывал участковый, шарил глазами, спрашивал, не приходил ли кто чужой, все ли

на месте; дважды наведывался завуч, интересовался, но это так, для проформы. На все вопросы взрослых Глеб отвечал честно. Папы нет. Нет, и никогда не было. Родственников не знаю. Нет, никто, никогда не приезжал в гости. И мы никуда не ездили. Бабушка умерла, когда меня еще не было. Дед, мама рассказывала, был танкистом. Погиб в сорок втором. Фотографии хранятся здесь. Других нет. Документы — в буфете, в шкатулке для шитья. Деньги — в коробке из-под детских сандалет.

Баба Глаша, заслышав из глубины прихожей три звонка (к Савельевым, значит) открывала, впускала, хлопотала, несла чаю с сушками, что-то шепотом обсуждала в своей комнате с пришедшими. Уже через неделю Глеб вернулся в школу. А еще через неделю — пришел в музыкалку.

В тот день его вызвал к себе директор школы, молодежавый, но уже с заметной сединой на висках, в круглых очках, с маленьким, миловидным лицом, добродушный и улыбчивый, какой-то там заслуженный педагог по классу виолончели. Он всегда носил ручной вязки шерстяные жакеты с широкими шалевыми воротниками, и непременно надевал к накрахмаленным рубашкам затейливо торчащую бабочку. Бабочек было три, по количеству кофт — черная, коричневая и цвета бордо. Опрятный, подтянутый, уравновешенный, из старой интеллигенции, обращался ко всем тихо и на «вы», его любили все — и ученики, и родители. Звали директора смешно — Наум Наумович Волконский. Поговаривали, что он сменил фамилию, но точно этого никто не знал.

Глеба он только слегка, по-отечески приобнял, похлопал по плечу и усадил в широченное бархатное кресло с подлокотниками в виде львиных голов. Глеб поерзал, пытаясь не откинуться назад, и крепко вцепился в головы деревянных хищников. Только бы удержаться.

— Ну что, Глеб Савельев, как вы себя чувствуете? Заниматься дальше будете? Мама ваша, Царствие ей небесное,

этого бы очень хотела. Я ни за что не планировал отказываться от такого таланта.

Он ни за что не планировал отказываться от такого таланта. Так и сказал. Глеб, не поднимая головы, тихо отошел: «Буду» и повторил еще раз, громко и четко: «Буду».

Через месяц, после новогодних праздников Глеба оформили в ближайший детский дом. Сказали, родственников не нашли, ни близких, ни дальних. Нашли единственную троюродную сестру по дедовой линии, но та сама нуждалась в опеке. Провожали «сиротку» всей коммуналкой. Баба Глаша скулила и без остановки крестила Глеба, дядя Коля недавно запил, но тоже вышел и постоял в сторонке, держась за гуляющий косяк, матерясь и чертыхаясь в сторону. Остальные члены коммунального хозяйства провожали мальчишку молча. Жалели. А Глеб держался. Сам он дал себе клятву не хныкать, не плакать и не ничего бояться. Он же мамин мужик!

Детский дом он помнил плохо, вспоминал редко, без особых чувств, ни плохих, ни хороших. Полгода, проведенные там, словно стерлись из памяти, растворились в дымке времени, заретушировались последующими месяцами, годами новой, взрослой жизни. В детдоме мальчика регулярно навещали и Наум Наумович, и баба Глаша, даже сосед-пьяница заглянул по весне, но все больше зыркал на воспитательницу, оценивая шансы получить денег на водку. Шансы были никудышными, и испытый, но добрый дядя Коля исчез из жизни Глеба навсегда. А потом и позабылся вовсе.

Баба Глаша ушла через пять лет после мамы, но проводить ее Глеб уже не смог, потому что однажды, примерно спустя год после маминой кончины, снежным и на удивление солнечным декабрьским утром Глеба из детского дома забрали.

Свою двенадцатую весну, Глеб Волконский встретил в Австрии, куда занесла чету Волконских третья волна эми-

грации. Уже перед самым отлетом, опустошенные после долгих мытарств по инстанциям, уставшие от сборов, но счастливые, что все, наконец, уладилось, Наум Наумович, Ада Яковлевна и Глеб сходили на могилу мамы. С фотографии улыбалась та, которую он всегда будет хранить в своем сердце; та, на которую обязательно должна быть похожа его будущая жена. Глеб долго стоял, поглаживая указательным пальцем черно-белый овал керамики и мысленно рассказывая маме все, что с ним произошло за последнее время.

«Я уезжаю. Далеко-далеко. Полечу на самолете. В другую страну. Я обещаю, мама, что вернусь! Я вернусь знаменитым! Когда-нибудь я обязательно вернусь, и ты будешь мною гордиться! Я обрасту такой силой, что никто, никто из моих близких не умрет, не дожив до девяноста лет. Нет! До ста! Пусть живут до ста!»

## КСЕНИЯ СУЕТИНОВА

### ЖИТЬ

«8 ножевых ранений нашли на теле убитой москвички». Стрелки настенных часов подрагивали на цифрах 6:12, Максим резко открыл глаза, но испытал пронзительную боль в висках, снова зажмурился — неудачная попытка сбросить хмельной сон. В голове пульсировал вчерашний Кёнигсберг «3 звезды» и прогулка с Настей по Китайгородским переулкам. 6:05, где-то в монастырях послушники приступали к утренним молитвам. Господи, пусть на полке будет анальгин.

«В мусорном баке на юго-западе столицы найден труп младенца». Максим, запнувшись о длинные лапы Шустрика, добрался до кухни и поставил турку на медленный огонь. Голова кружилась в вальсе, Максим неуклюже шлепнулся на подоконник, по спине прошла орда мурашек — остывшее за ночь стекло приятно охладило спину и затылок. Из приоткрытой форточки слышалось приближение дождя, а небо плотно затянуло сизой пленкой. Скоро некто из жестяной лейки (такие обычно стоят в огороде у бабушки) увлажнит затвердевшие улицы города. И почему люди всегда прячутся от дождя? «Следственный комитет возбудил...» Максим выключил радио, решительно закупорив брызжащий поток информации, тем самым — окончил утреннее «послушание».

«Мужчина, застреливший инструктора в тире, покончил с собой». С Женой они познакомились около двух месяцев



назад. Максима тогда схватила за локоть зависть, и крепко так сжала, мол, — стой, смотри, какой персонаж! Жене оказалось 35 лет, рост — 1.84, глаза — карие, кожа смуглая, музыкант. Максим в юности тоже был настроен на творческую стезю, но компания подобралась не та. «Пидорас, что ли?» Он хорошо помнит клеймящие взгляды товарищей во дворе, и перекошенные ухмылками рты. Хрущевки, середина 90-х, вместо занятий в художественной, Максим оставлял «хуй» на стенах, графическим шрифтом. Старшие приятели поощрительно похрюкивали сквозь смех, хлопали по плечу, затягиваясь папиросой и отхаркивали. Прямо на рисунки Максима, раскиданные по грязному асфальту.

— Чтоб вы все сдохли!..

Максим перевел взгляд на Женю, тот молчал.

— Понимаешь, Женя, как мне хлюпкому и застенчивому было худо. Но зато сейчас — человек с открытым сердцем, жизнелюб! Жалко, не встретились с тобой раньше. Слышал бы, как я под гитару в Ялте пел. Девчонки припорхнули как светлячки на огонь. Ну, ты не бойся, теперь-то все в порядке будет.

«После стрельбы на АЗС один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии» Ночная смена, Максим курил на улице, блеклый свет фонаря вырывал отдельные очертания города, который в фильтре «сепия» всегда казался ему слишком искусственным, как и цветы в местной столовой. Рядом звякнули бутылки. На стыке переулков — там, где в разгар рабочего дня люди задевают друг друга плечами и матерятся, обливаясь кофе, неторопливо изучал содержание близлежащих урн обыкновенный столичный бомж. Максим вспомнил Катю. Екатерину, как ее называли товарищи. Чуть горбатая женщина, 57 лет, в халате (ночнушке, платье?) с узором из огромных цветов. «Отвратительная пошлость, — пробасила тогда ее, видимо, собутыльница. Вокруг стояла вонь, которая сопровождает всех граждан без определенного места жительства, но осеннюю заложенность

в носу пробивает «на ура». Максим тогда обмолвился с Катей лишь одной фразой: «Как же мне не хочется быть сегодня здесь, с вами», — а потом разрезал на две части синтетические ромашки и тюльпаны, практически вросшие в тело Екатерины.

— Не на бухло! — огромная разомкнутая ладонь, в мозолях, покрытая грязью и остатками помоев, вынырнула из тьмы, почти уткнувшись в лицо Максима. Бомж оказался среднего возраста, глаза мутные, из приоткрытого рта торчал поломанный зуб.

— Дядь, иди работай, молодой еще — вся жизнь впереди. Лампочка в фонаре с грохотом взорвалась, разбросав прощальные искры.

«Предпринимателя и его семью убили в...» Далматиновые стволы берез остались за спиной, Максим на железном коне несется по деревенским дорогам, все время оборачивается — оценить, как сильно удалось поднять пыль. И в следующий миг крик победителя эхом летит вдоль поля. Глаза слезятся от солнца, а бабушка сегодня обещала шарлотку...

— Молодой человек, в гробу отоспитесь, работать пора, — Максим вздрогнул, не досмотрев сон. В комнате нарисовалось круглое лицо Геннадия Андреевича. Максим потер ладонью затекшую шею, скинул плед, залился остатком холодного кофе. Ведущий на экране тарабанил сводку новостей за день; репродукция Густава Климта «Жизнь и смерть» (подарок Максиму от коллег на день рождения) покосилась еще сильнее, а деревянный угол рамки окончательно треснул.

Прошлым летом друзья позвали Максима в Карелию на машинах, с палатками. Сосновые леса, подтянутые красно-рыжие стволы деревьев, словно в бликах пожара или заката; озера с крепким камышом. Где-то на мысу Рукоярви, в 5 утра, когда гладь воды спрятана под бархатистым туманом, они могли бы разговаривать и пить виски, кидать в ко-

стер консервы, а после — забраться в лодку, чтобы проснуться у другого берега, свесив ноги за борт. Зайдя по грудь в прохладную воду, лаял бы Шустрик, в надежде разглядеть хозяина — счастливого, пьяного.

«Экс-полицейского приговорили к 18 годам тюрьмы за убийство соседей». Но в тот июнь Максим остался на работе. Заменить некому, обучать некогда. Тогда он встретил Светлану Петровну, продавщицу продуктового магазина, которая пробивала товар не глядя, на ощупь, ошибки у нее быть не могло. Тут опыт, наработанный десятилетиями (хотя дети повторяли, не сдаваясь, — «Мама, увольняйся, мы тебя всем обеспечим!»). Сколько нарезных она продала, а сколько мелочи пересчитала. Груды у нее были почти до пупка, кожа дряхлая, губы как две высохшие корки. Максим бережно накладывал грим, изредка сжимая худую руку Светланы Петровны, почти прозрачную, искренне надеясь подарить еще немного тепла ооченелому телу продавщицы. Подушечки ее пальцев оказались шершавые и сморщенные, как после горячей ванны. Максим закончил работу и вышел на улицу, закурил, скоро рассвет... Продавщица благодарно разругмянилась.

\*\*\*

— Макс, какое живое лицо получилось! Пятый класс общеобразовательной школы №191. Первое место в конкурсе рисунков, портрет девочки: взгляд мягкий, кожа сияет, каштановые волосы откинута вбок, словно порывом ветра.

— Она умерла осенью (несчастнй случай), первая влюбленность, — мама держит Максима за левую руку, правой он вытирает мокрые глаза, размазывая остатки краски по лицу. Аллергия, — сообщает он без тени сомнения, но захлебываясь каждой буквой. Учителя и конкурсная комиссия грустно улыбаются, сочувственно кивая. Спустя пару месяцев родители девочки рыдают, обнаружив у две-

ри анонимный подарок, с запиской «на память». Зима, 1993 год.

Шустрик скулил на весь подъезд. Максим задержался на работе и теперь бежал, гонимый страшной картиной, как ему приходится оттирать мочу со стен. Пылающий шар уже поднялся над городом; лучи солнца бессовестно врывались сквозь не зашторенные окна, прерывая обволакивающий сон. Люди недовольно крутились с бока на бок, пряча лица в одеялах, подушках, друг в друга. Максим на секунду задержался перед подъездом, чтобы поприветствовать новый день — запрокинул голову, уперся взглядом в синее небо и благодарно выдохнул. «В лобовом столкновении двух автомобилей погиб человек».

— Максим Сергеевич, ну это невероятно! Родственники хорошо платят вам, да!? Это ж как увидеть человека еще раз, и не жмурик вроде. Только что — глаз не откроет, да лежит молча, спит, весь при параде. А лицо — как живое! Это краска или косметика? Какая фирма?

Максим совершенно не хотел разговоров, новенькая раздражала своими расспросами, да еще и курить хотелось, просто смертельно (надо срочно пожевать яблоко).

— Максим Сергеевич, а можно в следующий раз?..

\*\*\*

«Сегодня на окраине города нашли очередную жертву маньяка, следователи предполагают...» Новым знакомым Максим говорит, что работа у него творческая, с индивидуальным подходом. Там он встречает уйму разных людей, со своими историями. И самое главное — рядом с ними ему по-настоящему хочется жить.

## МАРГАРИТА УДОВИЧЕНКО

### ONE WAY TICKET

*Ярославу и его отцу*

Москва стояла на паузе, как коматозник. Как фирменный поезд «Лиетува» — старт в 18:37 со второй платформы третьего пути, вокзал победительный, Белорусский, поторопись. Как его сознание уже минут двадцать пять, после фразы «Jūsц tėvas mirė» в трубке с помехами. В эти недополчаса Игорь Владиславович Найденов — так его представляли чаще всего, потому что чаще всего представляли по работе, — попросил секретаршу купить билет, нет, не на самолет, удивив ее объяснением «это слишком быстро», перенести презентацию проекта, которую ждал год с лишним и которая могла выбросить его прямиком в стратосферу, запрыгнуть на десять минут в машину и, крикнув шоферу Вадику «бесполезняк», выдать образцово-показательную стометровку до метро и дать себя поглотить царству узаконенного Аида впервые лет уж точно за десять.

Игорь бежал по эскалатору вниз. Планктон, по счастью, еще не покинул строения-лифты в небо. Пробирался по лестницам, половинкам платформ, трубопроводам поездов, чтобы быть ближе к переходу-выходу. «Выставочная-Киевская», «Киевская-Белорусская». В переходе на Кольцо его бег в толпе являл собой зрелище, достойное финала фильма. Прозрачная метафора бессмысленности

бунта и величия затаптываемого индивида. Де Сика и братья Вачовски сняли бы... По эскалатору вверх, из дверей налево, глоток рваного душного бензинового воздуха, последний рывок, пяток ступеней на посошок, когда ноги уже отказываются сгибаться, здание вокзала на прострел: влетел-вылетел-табло-платформа-путь — красная мясистая задница поезда. Сил не было, но он бежал. Хватаясь за хвост. Чего? Трех слов на литовском, забытом настолько, что понадобилось секунд десять, чтобы смысл фразы «Ваш отец умер» дошел до адресата? Нет, когда человек в синей форме из последнего вагона протянул ему руку, он думал о другом: надо увеличить число тренировок. Четыре в неделю или пять?

Об отце Игорь не думал. Ни когда, отпахав полпоезда, нашел свое СВ, где секретарша с перепугу выкупила обе койки, хотя в вагоне было человека четыре, включая проводника. Ни когда в контакт-листе на мобильнике выбрал «мама», нажал кнопку, но в последнюю секунду между набором и гудком передумал. Ни когда отпил, обжегшись, чай из стакана в подстаканнике и внутренне улыбнулся, по глотку катапультировавшись в детство. Ни даже когда лег на полку, почему-то не сняв ни костюма, ни ботинок, и пробормотав чуть ли не вслух, с усмешкой: как покойник. Ни когда легко заснул и легко проснулся, ни в сорок минут стояния на таможне в Кене, ни когда поезд пристыковался к конечному на сегодня перрону и выплюнул его, как пережеванную, потерявшую соки и смысл жвачку. Если честно, он не думал об отце двадцать три года, и вчера мало что изменилось. О том, почему он сорвался с места, хотя можно было спокойно отбарабанить презентацию, съездить домой, собраться и вылететь ночью или утром — или решить не лететь вообще — Игорь тоже не думал.

Он удивил себя — и пассажиров, уделивших некоторое внимание его костюму, портфелю и часам, — когда на выхо-

де из вокзала проигнорировал такси и сел в автобус. Купил билет на евро, оставшиеся от недавней рабочей поездки в Мюнхен, доехал до горы, пересел на «сорок седьмой» и через пятнадцать минут вышел в Юстинишкес, на остановке между двумя фонтанами. С одной стороны дороги лежал футуристический, из двух прямоугольников, с другой — круглый, как диск для метания или пустая тарелка, поджидающая Гаргантюа. Не работали оба. Если судить по ржавчине на трубках для выплевывания струй — вечность. Примерно столько, сколько его здесь не было.

Игорь взял ключи и попросил себя не провожать. Двухминутный поток абсолютно иностранных теперь для него слов, из которых он выколупывал отдельные: сердце, мухи по кругу, соседка — моментально утомил его. Он не хотел быть в квартире один и не собирался оставаться там долго, и ему было все равно, как сопровождающий отреагировал бы на его бесчувствие, но он точно не хотел тратить силы на внутренний асинхронный перевод.

На подходе к дому не екнуло, хотя он прожил здесь восемь лет, нигде не жил так долго. Третий этаж по лестнице — он инстинктивно не доверял незнакомым лифтам — сорок пятая квартира. Ключ вошел в замок, как родной, хотя явно был запасным и новым. Игорь постоял пару секунд, не открывая. Внутри него ничего не ухало, не свербило, волнами не накатывало, в комки не сворачивалось. Он почувствовал себя роботом, у которого заложено в программе: умер — надо ехать. Не рассуждать, не откладывать, не плакать, не сетовать на устройство жизни — ехать хоронить.

Дверь откупорилась, в ноздри ударил запах. Может, и не нюхал никогда, но ни с чем не спутаешь. Запах просроченной, не сразу обнаруженной смерти. Смерти соло, на одного. В глазах набрались слезы — не нутряные, физиологические, просто такая реакция. Он вытащил платок, развернул его, сделал себе намордник и вошел. Первое, что он увидел — даже раньше полосатых, коричневых, врезав-

шихся в его память, как на скальной живописи в кожу пещеры, обоев — был костюм. Костюм-телефонная трубка с радостной надписью «TELE2».

Костюм стоял в коридоре. Аккуратно, у стеночки. Синел корпусом, серел рядами кнопок, белел лицом-экраном. Костюм голубоглазо подмигивал ему, костюм улыбался, костюм обещал: выберешь «TELE2» — и всегда будешь на связи, всегда будешь в доступе. Костюм был размером с гроб. Нет, меньше. Внизу, видимо, должны торчать штанишки, вот они тут, сверху лежат, под цвет телефонных глаз. Игорь не мог обойти костюм, хотя тот не стоял на дороге. Игорь не смотрел ни в две закрытые двери, с рифленным стеклом, — кухня, гостиная — ни в горловину коридора, длинную, жирафью, прячущую еще четыре двери. Он смотрел на костюм.

Отец был самым умным человеком, которого он знал. С ним в игру «почему солнце светит, ветер дует, коровы едят траву, люди любят, люди не любят, времена года сменяются» можно было играть бесконечно. Отец никогда не уставал и не повторялся. Он знал все ответы, когда не знал — придумывал. Старшие родственники объясняли: инженер, умница, голова. Игорёша не верил: волшебник. Хотя отец действительно работал инженером на заводе электроизмерительной техники, в это обыденное слово — «инженер» — он категорически не уместался. Он мог починить плиту, холодильник, электробритву, привезенный мамой в 88-м из командировки и отчего-то засбоивший двухкассетный магнитофон GoldStar. Мог купить разваливающийся мотоцикл — это если очень расщедриться на характеристику этому почти велосипеду — Минск ММВЗ-3.112 и превратить его практически в собрата из города Милуоки, штат Висконсин. Он мог, когда завод в 1992-м закрыли, поставить маму перед фактом: я поступаю в академию музыки и театра, хочу стать режиссером. Да, он мог и так. Он мог, он мог, казалось, все.



И теперь, когда Игорь уперся — не взглядом, всем своим существом — в эту ростовую куклу с глазами и кнопками, ему в общем ничего больше не надо было знать про то, как отец провел кусок жизни от тридцати девяти до шестидесяти двух. Он подумал: «Дышать нечем», — и вышел.

Одинаково серые, обсыпанные мелкими камнями, как дно аквариума, но разные по росту дома остались за спиной. Игорь бросил взгляд влево, на детский сад, не их, литовский, куда они с Валеркой и другими пацанами забирались, чтобы научиться курить. Смешно, тогда казалось, что для осуществления этого сакрального, взросло-мужского действия стоит преодолевать буквальные преграды. Потом посмотрел вправо, сквозь облысевшее школьное футбольное поле на пригород из гаражей, куда они улепетывали всякий раз от борзой тетки из частного дома, прилепившегося к их модерновым Юстинишкам. Та, подлюка, настолько не верила в будущее торжество коммунизма, что не хотела делиться сладкой, как заграничная жизнь, клубникой со стайей русско-польских чингачгуков и носилась за ними заправским спринтером, несмотря на преклонный, сорокалетний, возраст и объемные тела.

Спускаясь по крутому обрывистому холму вниз, он в очередной раз за эти сутки проклял свой щегольской, выгодно обтягивающий рельефы тренированного тела, но тесный, как отслужившие отношения, костюм от старого итальянца и туфли ручной сборки, тоже купленные в Милане. Насколько они не монтировались с этими сонно-спальными декорациями глухой европейской провинции, с этим палящим не по-балтийски солнцем. С этим временем его жизни, которое он заключил в формулу «давно и неправда» и прятал на вторую линию за рядом книг, которые можно показывать гостям. Так делала мама: вперед — нарядного пурпурного Вальтера Скотта, назад — попорченного водой при переезде в Москву, расплывшегося в боках, голубенького

Чехова. Черт, надо было все-таки заехать по дороге в какой-нибудь ТЦ и прикупить шорты-майку или треники с лампасами.

Игорь усмехнулся от этой мысли, но тут же похоронил ее. Потому что вдруг ощутил — кожей, волосами, сухожилиями — всю ширину и долготу лет, отделявших его от этого мира. От уже видимых начатков леса, где они строгадили луки со стрелами и изображали индейцев, от бока озера, в котором он чуть не утонул и откуда был вытащен за вихры Валеркой, от неба цвета выбеленных варенок. Какого, странное дело, нигде после не было, с какой стороны земли ни посмотри. Он помнил все извивы и ответвления этой песчаной, как дюны в Паланге, дороги, знал, где будет торчать из земли труба, все еще выпускающая на волю ледяной, до хруста в костях, ручей, а где — сиреневые цветы на сухих палках, но все это казалось ему пересказанной двоичником главой из учебника, класс примерно за пятый. Отдельные слова, междометия, многоточия, смысла — чуть.

Он даже подумал было повернуть обратно — и зачем ему вообще взбрестило тащиться сюда — подумал было поехать в Старый город, попить пивка с видом на Башню Гедиминаса, закусывая цепеллинами, не со сметаной, со шкварками, и к бесу советы тренера. Но тут в пейзаж затесалось карманное, с носовой платок, расшитый крестиком, кладбище, и Игорь вдруг впервые поверил, что он здесь. В городе, где родился, пошел в школу, потерял невинность, к сожалению, в мыслях, где влюбился в девочку по имени Илона Иванова, одноклассницу, вторая парта в среднем ряду справа. Где не разлюбил ее, даже когда она выбрала Валерку, хотя он учился в параллельном, чернявого, неказистого, вечно второго, почти брата. Даже когда после школьной дискотеки запрыгнула на его, Игоревский, уведенный у отца мотик, и умчалась с его лучшим дружкой в закат, даже когда он увидел ее, недосчитавшуюся конеч-

ностей, в больнице, выдавившую из себя один полувопрос: «Валерка?»

Чугунная дверца, в наростах ржавчины, застонала совсем по-женски и поддалась. Могилы, сползшие с темно-зеленого, в подпалинах позапрошлогодних листьев холма, наглухо закрытого, не удивлюсь, если видевшими еще великих литовских князей деревьями, подобрались к самому входу, и пришлось извернуться, чтобы не наступить ни на одну. Он прошел мимо разбросанных в шашечном порядке надгробий, исписанных латинскими буквами, мимо односложных крестов. Никаких свечек, цветов, никакой бутафории. Только сорняки, ветки, кроны и единичные проблески солнца. Это было слишком старое кладбище, чтобы иметь отношение к миру живых. За исключением одной могилы, в правом верхнем углу, впритык к ограде. Куда он и пробирался.

Сначала он увидел смеющееся Валеркино лицо, приклеенное к камню, не дрогнуло ни мускулом, потом — березу. Она была вызывающе белой и новой в этом царстве оттенков хаки и паст перфект континиус. Издевательски русской в декорациях католического кладбища. Она была девой с гравюр Красаускаса. Наметки лона, живота, груди, волосы ниже плеч, венки в волосах. И, хотя его сугубо левополушарному мозгу было предельно чуждо метафорическое восприятие мира, он знал, что она была Илоной, которая, как и хотела, встала невестой слева от Валерки и стоит так вот уже двадцать три с половиной года, вон какая вымахала. Когда он вычленил из потока спасительно пунктирных мыслей эту цифру и автоматом примерил ее к себе, он вдруг понял, что имеющиеся в его активе тридцать девять — не шутка и не розыгрыш. Тогда он осмелел — а что терять-то — и обернулся на нехилый такой отрезок от шестнадцати до вчера.

От последнего лета детства, закончившегося в поезде «Вильнюс — Москва». Плацкарт сбоку у туалета. По радио

желтые тюльпаны, вестники разлуки, пошло и пророчески скрещивались с «One way ticket», и уже поэтому было неудивительно, что мама плакала. Зарывшись в несвежую штормку на разрезанном пополам окне. Хотя нет, детство закончилось раньше, когда появился этот памятник, это лицо на нем, эта береза. Или нет, еще отмотай назад, когда отец сказал: «Не бери Миню, там с тормозами не того, надо будет покрутить на выходных». А он взял. Потому что пофорсить — перед Илоной — хотелось больше, чем жить. Жить было абстракцией.

А что, собственно, было после этого и до вчерашнего звонка? Выживание в 90-е, потому что Москва никого просто так не целует в розовые попки? Подработки после школы, чтобы мама хотя бы в день его полочки демонстрировала, что не разучилась улыбаться? «Плешка», тогда престижная, куда он захаживал по праздникам, потому что надо было работать, работать и еще раз работать? Или свадьба, два выкидыша, развод? Но все это, будем честными, всякий раз занимало его меньше, чем очередной пункт в близком к идеальному резюме. И вот теперь, в этом безжалостном монохромном антураже, на полдороге к вечности, где с тебя за три минуты продирирования между могил слетал весь лоск от Vgioni, посмотри на туфли, он вдруг показался себе гораздо менее уместным, чем пылающий красный камень с языческой кириллицей на форзаце. И гораздо менее интересным, чем хрестоматийное дерево рядом с ним.

Игорь прищурился, будто бы в глазах и в затылке заломило от пробившегося некстати, полуденного солнца, и принялся рвать сорняки. Он обрадовался, что среди них была крапива. Потому что боль должна быть понятной. Тогда есть шанс, что пройдет.

В этот раз он открыл вторую дверь. Вставил в ноздри беруши, обнаруженные в портфеле, и вошел. Это была гости-

ная, он думал, что получится для разогрева. Гостиная — всегда витрина, всегда кола-лайт. Дальше — скальпель, разрез, развести ткани, а там уже внутренности, артерии, потроха. Спальни, кладовки, антресоли, подвалы. Но с первого взгляда было понятно, что он ошибся. Эта комната была главной в доме, эта комната была дом.

Отец здесь спал. На том самом диване, где когда-то это позволялось делать только редким гостям. Мама за этим строго следила. Потому что купить новый гарнитур мягкой мебели в советские времена было не намного проще, чем получить новую квартиру. Диван, вытертый, просевший, накрытый несколькими, цыганскими по виду, покрывалами, Игорь узнал по торчавшим в углах кускам коричневого плюша с вдавленными цветочками. Отец здесь ел. На столике у окна — плитка с одной конфоркой и баул с одноразовой посудой. Он действительно ненавидел ее мыть. А еще кастрюля и сковорода. Из-за наслоения копоти и жира узнать их было сложно, но Игорь узнал. Кастрюлю — по сохранившемуся у окантовки цвету, красную в белый горох. Сковороду — по размашистым боковинам и массивной, на совесть сработанной ручке. Как шутил отец, сработанной на века. Оказалось, не шутил. Отец здесь работал. Треть почти двадцатиметрового помещения была завалена разномастным металлоломом, на стенке висела деревяшка, на ней крепились инструменты. В центре комнаты, на тумбе из ДСП, стоял компьютер. Такие разве что в фильмах про конец 90-х увидишь. Монитор — как старенький телевизор, системный блок размером с чемодан, кнопки на клавиатуре просто серо-черные, почти без букв: стерты. Отец здесь читал. Книги, как воздух, занимали все свободное пространство.

Игорь оглядывался в поисках пустых бутылок, самого простого ответа на вопрос «почему», но бутылок не было. Хотя не признался бы себе, но искал глазами фотографии. Их старые семейные, свои, мамины, чужих женщин, чужих детей, хоть кого-то. Никого не было. На столе, у компьюте-

ра, заметил бумажку, вставленную в согнутый вполювину файл. Одна фраза на двух языках, русском, литовском. В экстренных случаях звонить моему сыну Игорю Найденову — и цифры мобильного, которым Игорь пользовался года два, не больше. Откуда? За столом стояло кресло. Кресло пахло. Вспышка — и он представил его, сидящего. В жилетке с двумя карманами на груди, в бороде, которую, на самом деле, отец никогда не носил. С мухами, летающими по кругу.

Живот скрутился в тряпочку, Игорь ломанулся на примыкавший к гостиной балкон, перегнулся за покачивающиеся, как ему показалось, взаправду борта и изверг из глубин себя завтрак из поезда. Черничный йогурт, круассан, кофе без сахара.

На балконе лежали размытые дождями коробки. Коробки высились башнями на кухне. В родительской спальне была пустота. Пустота хранила обломки слов, ссор. Мама говорила: «Что за фантазии — быть режиссером, тебе что, двенадцать лет? Ты видишь, какие времена? Скоро начнем пухнуть с голоду... Надо бежать, уезжать. Нам здесь нет места, мы люди второго сорта. Ты что, не понял, правительство возвращается к законам 38-го года! Мне в отделе не дают слушать радио на русском. Люди, с которыми я работаю пятнадцать лет, называют меня в лицо оккупанткой... Ты хочешь, чтобы Игорь учился на литовском, разговаривал на литовском, думал на литовском?» Отец говорил: «Я хочу, чтобы Игорь учился, я хочу, чтобы он думал, и говорил, что думает. Я не хочу верить, что нам с тобой, что ему здесь нет места. Что у людей, как у мяса, бывает сорт. Я здесь родился, ты родилась, он родился. В этой земле лежат наши родители, деды, как это — она не наша? Все уляжется, догорит, пепел осядет, продолжим жить... Зойка, ты же знала, за кого выходила. Ты сама меня нарекла мечтателем, что, это нравилось только в двадцать?.. Зоинька, ну же...»

Оставалась последняя дверь — в детскую, в его мир. Что Игорь помнил о нем? Комната-пенал. Кровать, коричневая лаковая стенка, постеры на стенах, уже с трудом вспоминается, какие. Да, еще несолнечная сторона. Балкон, на котором мама сушила белье, поедал свет. Однажды они с отцом играли в хоккей, Игорь на воротах, ворота — балконная дверь. Сдуру — с настоящей шайбой. Отец засандалил отменную плюху, в самую девятину. Прямоугольник стекла расслоился. Один из осколков рассек обернувшемуся мальчику руку. До сих пор на запястье похожий на скорпиончика шрам.

Дверь отъехала. Игорь окаменел, не перейдя порога. Кровать, коричневая лаковая стенка, постеры на стенах. Scorpions, Guns N Roses, Ван Дамм. Но он смотрел не на них. В середине комнаты стоял — лихо, на вздернутой подножке — свежеразкрашенный, бело-голубой по-динамовски, с палевым кожаным сидением, Минька, Минск ММВЗ-3.112. На руле — шлем, сзади — железный багажник, что-то можно привязать. Игорь ожил, пошел, дотронулся. Даже не пыльный. Присел к переднему колесу: ни царапины. Целый, невидимый, охраняемый, музейный экспонат.

Он вспомнил, как сидел на асфальте возле столба и покореженного мотика, возле черной лужи на черном гудроне. Сидел, схватившись за голову. Не слышал ничего. Илонкин крик прошил улицу — они проехали всего-то метров пятьсот — и все, звуки выключили. Он бежал, люди бежали, вопили, машины приезжали, уезжали, поблескивали огнями, выли. Но он не слышал ни звука. Пока не возник в звенящей, оглушивающей тишине шепот отца, трогающего его за плечи, шею, щеки, лоб и приговаривающего: «Игорёша... Игорёша».

Игорь обернулся. Голос был таким явственным, таким его, что, не увидев отца, он растерялся.

Он вышел на улицу, когда солнце перестало играть в июль на югах. Все равно было как в бане, и запах душил его, но он шел, не останавливался. Люди оборачивались на него, заглядывали в васильковые круглые глаза, дети улыбкой отвечали на улыбку, некоторые говорили «Laba diena!». Он прошел мимо остановки, проигнорировав автобус, через сорок минут он был на горе. Еще через полчаса синий телефон, с надписью «TELE2» под губой, вместо шарфика, заступил на мост. До центра оставались копейки. Через два дня он получил пепел в урне, заложил ее в рюкзак, стащил Миньку по лестнице, потому что не доверял непроверенным лифтам, сел и поехал. Дорога быстро вывела за город: Юстинишки так и остались окраиной. Домчавшись до Тракая, разглядев справа красный замок, растущий прямо из озера, он тормознул. Здесь когда-то был последний семейный пикник, они втроем плюс Валерка. Игорь открыл рюкзак, достал урну, привязал ее к багажнику сзади и вскрыл заглушку. Минька поехал, пепел полетел. Игорю не надо было оборачиваться, он и так знал, что отец улыбается.



## КСЕНИЯ УДУЛЯКОВА

### ПЕЧАТЬ ЗЛА

1.

Мама копошится в соседней комнате. Надо ее убить, но я боюсь. Я ничего толком не знаю — как убить ее наверняка, быстро ли она устает, может ли она напасть первой, о чем она думает, кроме еды. Мама всегда говорит о еде: что тебе приготовить, ты такой худой, ешь картошечку, завтра сделаю тебе пирожки. И сейчас она наверняка думает только о еде. Иногда скребется в дверь, но я подставил шкаф. Хорошо, что она заперта. Плохо, что она заперта в моей комнате. С моим планшетом. С моим телефоном.

А я сижу на кухне. Я чуть не заорал от обиды и ярости, когда понял, что ей досталась и спальня, и ванная с туалетом, и моя комната, а мне — только кухня с кладовкой. И балкон. И входная дверь, только я пока не хочу выходить. Может быть, позже. Я злился, что мне негде спать, — когда-то я видел фильм про мужика с собакой, которые днем спали в ванне, а ночью выходили на охоту. Но оказалось, что спать всегда есть где. Я сплю на диванчике в кухне. Он для меня слишком маленький, ноги у меня не умещаются, но так удобнее, чем было бы в ванне.

Ванна до сих пор, наверное, полна воды.

Теперь-то я понимаю, как мне повезло. В кладовке и в шкафах на кухне столько пакетов с гречкой, мукой, сахаром, солью, столько консервов, как будто мама готовилась

к апокалипсису. Есть даже две пятилитровые банки с березовым соком. Чистой воды, которую можно было бы пить, уже не очень много, мы с мамой налили ее во все кастрюли еще тогда, на третий день, а в кладовке нашлись три бутылки для кулера. Ванну мы тоже заполнили доверху, но вода быстро уходила, пришлось усовершенствовать затычку для ванной — я горжусь, сам догадался, как это сделать, без маминой помощи: выстелил там все пластиковыми пакетами и на всякий случай надел пакет на кран. Я не знаю, что там сейчас в канализации вместо воды. И не хочу знать.

Кран на кухне я тоже заглушил. Когда закончатся мои запасы — а воды должно хватить еще на месяц, если экономить, или даже дольше, если понемножку пить березовый сок, — я подумаю, что делать. Папа учил очищать воду активированным углем. И, может быть, если прогреть ее в микроволновке, все микроорганизмы умрут. Но я пока не буду об этом думать. Папа всегда говорит: когда придет проблема, мы начнем думать, пока проблемы нет, будем веселиться. Воды еще хватает.

Хотя и проблем тоже немало. Телефон не работает. Выходить мне нельзя. Похоже, я тут надолго. Может быть, даже на месяц. Потом все наладится, наверняка наладится.

Помидоры и картошка, мамин «балконный огород», которым она так гордилась, не требуют особого ухода. Я иногда думаю, не опасен ли дождь. Он идет каждый день — и никогда не идет ночью, как будто хочет смыть с улиц всю эту дрянь, которая ночью налипает на асфальт. Но об этом я тоже буду думать потом, когда увижу, что там выросло под этим дождем вместо картошки и помидоров.

Хотя как я узнаю, если что-то окажется не в порядке? Надо было, конечно, смотреть внимательнее, когда мама хвасталась мне своим огородом. Завтра или послезавтра я попробую собрать дождевой воды и очистить ее. Но не сейчас. Не хочу выходить лишний раз.

Туалет у меня там же, на балконе. Я выливаю все прямо вниз, во двор, — сначала боялся, что меня найдут по запаху, тем более, каждый день я обновляю эту вонь, но дождь мой друг. Он все смоеет. Зимой было бы хуже.

До зимы еще далеко, пять месяцев. За это время точно все исправится. Наладят электричество, очистят дороги, опять начнут ездить автобусы, папа вернется. Надо только переждать.

Еды у меня много. Если бы человеку для жизни была нужна только еда, я продержался бы даже дольше, чем пять месяцев. На третий день, когда стало понятно, что все плохо, мама сварила огромную кастрюлю супа из всех овощей, которые нашлись. Суп получился — гадость страшная. Но всю первую неделю, когда выходить было совсем опасно, у нас была горячая еда. Я заливал суп кетчупом и соевым соусом и так ел, глядя по телевизору один и тот же бесконечно повторяющийся выпуск новостей: мрачный мужской голос бубнил на фоне черно-красного восклицательного знака: просим вас не выходить из дома... до выяснения... о похожих случаях немедленно сообщайте... армия и полиция, — пока не сообразил, что хорошо бы сохранить хотя бы немножко соевого соуса и кетчупа, просто на всякий случай, а то вдруг больше никогда не будет ни соуса, ни кетчупа.

Я готовить не умею. Но умею открывать консервные банки. Электричество выключилось не так давно, на двенадцатый день, и, когда морозилка разморозилась, я сварил все, что там нашел. Получился суп еще хуже, чем у мамы. С тех пор я ничего не варил, только разогревал. Мини-генератор, отцовское изобретение, работает, и если я хочу что-нибудь погреть в микроволновке, приходится часа два крутить педали, чтобы зарядить аккумулятор. Но это ничего. Это даже полезно. Гулять-то мне нельзя. А так все-таки физическая активность. Папа всегда говорит, что если бы у него было время, он тренировался бы каждый день. У меня куча времени. Вот я и тренируюсь. Большой генера-

тор — в родительской спальне, на кухне совсем слабенький, всего двадцать минут электричества после двух часов упражнений, но мне много не надо. Мне нужна только микроволновка и телевизор, я его включаю, чтобы услышать человеческую речь, хотя там передают одно и то же: мобилизованы... не выходите... до выяснения. Но я думаю, что никто ничего не собирается выяснять.

А иногда я думаю, что выяснять уже некому. Но все равно, войска должны до нас добраться, даже если они там решили, что надо временно закрыть город. Все равно, когда кончится карантин, кто-то должен прибыть сюда и спасти выживших. Меня, например.

Вечерами мне абсолютно нечем заняться, поэтому я ложусь спать, как только начинает смеркаться. Ночью мама скребется громче. Сначала я боялся, а теперь мне кажется, что она не сможет выломать дверь. Не такая уж она и сильная. А вот сломать что-нибудь, что осталось в комнате, она вполне способна.

Мой планшет там, у нее. И телефон. Здесь только маминны скучные книги да ее ноутбук, на котором нет ни одной игры, а интернет у нее не работает. Хотя, скорее всего, интернет не работает вообще. Его больше не будет, как кетчупа. Ну, в ближайший месяц, как минимум.

Зато утром я нашел в кладовке, в ящике, где лекарства, пакет с активированным углем.

Мама молодец, она как будто действительно готовилась. Жалко, что придется ее убить.

## 2.

Сегодня на рассвете я слышал перестрелку на улице. Может быть, прибыли войска? Но их наверняка было бы видно там, на проспекте. Нет, это были не войска. Значит, кто-то еще остался в городе, кто-то с оружием. Интересно, выжил ли он после этой перестрелки. И выжил ли тот, в кого стреляли.

И вообще, кто и в кого стрелял? Я точно слышал ответные выстрелы. Разве такое возможно?

У меня нет оружия. Охотничье ружье осталось в родительской спальне, но чтобы туда попасть, надо пройти через маму. Вчера ночью мне показалось, что она умерла: никаких звуков, никакого движения. Думать об этом было ужасно. Вдруг она действительно умерла? И как тогда избавиться от тела? Выкинуть с балкона? Туда ее надо еще дотащить. А можно ли до нее дотрагиваться, не заразно ли это? А вдруг, того хуже, она только притворяется, вдруг она упадет на меня, как только я отодвину шкаф и открою дверь?

В три часа ночи, прижавшись ухом к шкафу, я пытался строить планы, и тут мама заворчалась и засопела, потом начала скрестись. Я бодро сказал: «Ничего, мамуль», — и пошел снова спать.

Я хорошо сплю. Делать все равно больше нечего. Первую неделю мы почти все время бодрствовали, по очереди дежурили у входной двери, смотрели в глазок. Там много чего было видно, а слышно еще больше. Сначала сосед из дальней квартиры справа бежал по коридору к лифту, и я уже решил, что он успел, но потом услышал хрипы и бульканье, и стало понятно, что нет, не успел. Потом кричала жена соседа: «Помогите! Помогите!» — и мама рванулась помочь, но я сказал, что не надо, потому что помогать уже некому. Мама заплакала, раньше она часто пила чай с женой соседа. Дверь слева хлопнула в тот момент, когда сосед двинулся обратно к квартире.

Жена соседа кричала «Помогите!» еще и на следующий день.

Мы, правда, ничем не могли помочь. Потому что выходить нельзя. Я тогда еще думал, что можно, если быстро, недалеко и с ружьем. Но нет, нельзя.

Я иногда смотрю в глазок, просто так. Ничего там нет, чуть-чуть видно какую-то кучу тряпок справа, но я не знаю, кто это. Хорошо, что они не пахнут. То есть пахнут,

но не тухлым мясом, а чем-то приторно-пластмассовым, как если бы мед в пластмассовой ложке сунуть в огонь. Тоже мерзкий запах. Наверное, это все-таки сосед. Или тот, кто его остановил.

Еще сегодня я нашел чипсы. Те самые, два пакета.

На второй день — я тогда не знал еще, что это второй день, потому что в первый день еще никто ничего не знал, потом я всю ночь смотрел «Walking dead», а потом полдня отсыпался, — мама отправила меня в магазин. Был уже почти вечер, в маминой комнате причитал телевизор. Из окна тянуло каким-то приторным дымом, и что-то еще было не так. Непонятный гул с проспекта. Я решил, что репетируют парад. В новостях, сказала мама, предупредили, что в центре все перекроют, поэтому просят на улицы не выходить без крайней необходимости. Но хлеб, кола и чипсы — это крайняя необходимость, тем более, что я не на улице, а через двор в угловой магазин. Когда я объяснял маме, что на улице уже тепло и куртку можно не брать, телевизор всхлипнул. Я не мог расслышать, что там говорили, и подумал, что новости кончились, и начался сериал про бандитов.

— Только скорее, — сказала мама, — туда-обратно, мало ли что. Что-то я волнуюсь.

Двор был совсем пустой. Ни детей, ни старух у подъездов, ни бомжей у мусорных баков. И пахло неправильно — гарью, выхлопами, пылью, и вот этим сладким и едким, как будто мед горит в пластмассовой ложке. С проспекта доносился низкий самоуверенный рокот, я подумал, что надо бы сбегать посмотреть, как репетируют парад, как идут танки, но поперек нашего переулка стояли три серых автобуса. Людей вокруг автобусов я не увидел, но мамино «мало ли что» вдруг меня догнало. Я скатился по кривым ступенькам в полуподвальный магазин, быстро схватил все, что нужно, и хлеб, и колу, и две упаковки чипсов, подумал и добавил еще три шоколадных батончика, нет, пять, — и вывалил это

все на кассу. Кассирша как-то не очень уверенно посмотрела на хлеб и медленной снулой рукой потащила его к сканеру.

— Можно побыстрее? — «мало ли что», стучало у меня в голове. Мало ли что.

Кассирша неловко цапнула батончики. Мне стало холодно. Надо было взять куртку. Касса звякнула, зеленые цифры наконец высветились в окошечке. Я сгреб все в пакет, бросил деньги, и пока кассирша закрывала глаза, чтобы не видеть, как монетка падает на пол, катится, подпрыгивает, — я уже выскочил во двор, где тяжелый воздух становился синим.

В автобусах горел свет, и шевелились люди. Десять, двадцать человек в каждом, не знаю. Они то ли дрались, то ли пытались выбраться, медленно и упрямо, отпихивая друг друга, как будто вязли в болоте. На них были оранжевые дворницкие жилеты, и я подумал, что это дворники приехали чистить проспект после репетиции парада. В одном автобусе лопнули двери, и наружу начали вываливаться эти темные, эти оранжевые люди.

Я решил, что оглох. В ушах у меня все еще звенела упавшая на пол монетка, а больше я ничего не слышал. Эти существа плыли в синем воздухе, неуверенно качались, были сонными, как та кассирша, и цеплялись за свои инструменты — какие-то палки, лопаты, а у одного я увидел цепь, на которой висел амбарный замок. Цепь вздохнула в его руке, и когда замок упал на асфальт, звон в ушах у меня прекратился. Я понял, что надо бежать.

— Ты не замерз? Ты что так дышишь? — спросила мама, закрывая за мной дверь. — Новости какие-то странные. Вроде теракт в центре или что-то, они толком не говорят. Ты бежал, что ли? Что там такое?

— Там парад, мам, — сказал я и попытался развернуть шоколадный батончик. Руки не слушались. — Там парад.

## ЛИДА УТЁМОВА

### СПАСИБО БРОДСКОМУ

Водитель мусоровоза Витя Лавров мог стать кем угодно. Может, не артистом балета и не космонавтом, но совершенно точно, в нем был потенциал найти себе профессию куда более изящную, чем ту, которой он зарабатывал на жизнь. Проблема крылась в том, что Витя Лавров был человеком очень конкретным. Даже не очень, а просто предельно. Когда в детстве мама говорила ему, например, «вернемся к нашим баранам», он судорожно озирался по комнате в поисках какого-нибудь признака овец. Поэтому когда Витин папа в порыве ярости как-то объявил сыну, что тот ни на что не годен, кроме как выносить мусор, Витя понял его предельно четко. И после школы не пошел учиться в техникум или институт, куда бы вполне мог поступить, а сел за баранку мусоровоза

К Витиному несчастью больше никаких сакраментальных фраз, способных изменить его жизнь, он не слышал. Поэтому жил он довольно однообразно. Водил свой мусоровоз, разгадывал sudoku вечерами и, что удивительно для его унылой одинокой жизни, даже не выпивал. Холостяком Витя тоже был, видимо, из-за того, что никто не подсказал ему: «Витя, обрати внимание на диспетчера Свету» или «Витя, продавщица в овощном вполне себе ничего». Меж тем, и Свете, и продавщице в овощном, и некоторым другим женщинам Витя нравился. Его сложно было назвать красав-



цем, но его внешность была приятной: высокий рост, ясные серые глаза, вежливый взгляд.

Одним воскресным днем Витя отправился в парикмахерскую. Этот поход не сулил ничего особенного — Витя планировал, как обычно, под машинку. Он пришел, махнул рукой своей бывшей однокласснице Ирке, которая стригла его последние лет семь. Сел в кресло и вперился в телевизор. По Первому каналу показывали занудный документальный фильм. «Ир, может, еще что-то идет? Пощелкаешь?» — «Антенна слетела, только Первый показывает». Вите ничего не оставалось, как пялиться на лысеющего мужика в очках — хоть какой-то фон. Через пару минут выяснилось, что это был Иосиф Бродский. До какого-то момента Витя скучающе смотрел историю про его сложную судьбу, про вынужденную эмиграцию и иже с ними. Пока в фильме не прозвучала вторая сакраментальная фраза, которую он слышал в своей жизни. «Поэзия — это для парня за рулем мусоровоза и для водителя автобуса», — сказал Бродский, и Витя обомлел. Все это прозвучало так ясно, так конкретно и так про него, что из парикмахерской вышел совершенно новый Витя. И дело было не в прическе.

Вернувшись домой, он решительно стал шарить по оставшейся от родителей венгерской стенке. За стеклами скрывалась классика жанра любой советской семьи — серые томики ЖЗЛ, красный с золотым тиснением Дюма, Майн Рид, которого ему подарили на один из дней рождений. С поэзией было негусто. Наконец, Витя нашел сборник Твардовского. На первой открывшейся странице он прочитал: «По всему Советскому Союзу, Только б та задача по плечу, Я мою уживчивую Музу Прописать на жительство хочу». Твардовский Вите не понравился. Заболоцкий тоже не произвел впечатления. А, открыв, не пойми откуда взявшегося у родителей-пролетариев Пастернака, Витя и вовсе ничего не понял. Погружение в мир поэзии шло не гладко. Но Витя не сдавался.

Витя не помнил, когда последний раз был в книжном магазине. Судуку он покупал в Союзпечати, открытки маме до недавнего времени (четыре месяца назад она умерла) там же. Зайдя в магазин, Витя растерялся. Конечно, со школы он помнил несколько самых известных имен, но после промашки с Твардовским и Пастернаком, хотелось, чтобы наверняка. Но подойти к продавщице с вопросом: «Что тут у вас есть из поэзии» казалось совершенно невозможным. Витя побродил между шкафов, полистал случайные книги и, потерянный, вышел.

Витя плелся домой, хлюпая по мелким осенним лужам, и вдруг уже на подходе к дому, вспомнил о Лерке с первой парты. В их классе она лучше всех знала литературу. Она была очень маленького роста с некрасивым лицом и руками в цыпках — к такой было не страшно подойти даже с таким странным вопросом. И хотя Витя не видел ее много лет и не был уверен, живет ли она еще в том старом доме на окраине, он развернулся и пошел искать Лерку. Дверь открыла она сама. Все такая же маленькая. Но сейчас она уже не показалась Вите некрасивой. Ее рука на дверной ручке тоже изменилась в лучшую сторону. Лера удивленно смотрела на Витю. Тот же сразу после дежурного приветствия выпалил: «Лер, у тебя есть какие-нибудь стихи почитать?»

Они сидели на Лериной кухне. Вите показалось удивительным, как в таком некрасивом снаружи доме с облезлыми, много лет некрашеными стенами, зассанным подъездом и прогнившими ступенями, может быть так хорошо. Витя пил чай из старой, еще времен его детства чашки, а Лера, обложившись книгами, листала их и оставляла закладки в нужных местах. «Вот, я тут тебе отметила мои любимые. Надеюсь, понравятся».

Это был первый воскресный вечер, когда Витя не разгадывал судуку под аккомпанемент сериала на Пятом канале. Брюсов, Блок, Бальмонт. Вроде знакомые со школы имена, но сейчас это было что-то абсолютно новое. Витя по-преж-

нему мало что понимал, но от идеи «Поэзия — это для парня за рулем мусоровоза» он отказываться не хотел. К тому же, ему не терпелось прочитать все эти потрепанные с пожелтевшими страницами книжки, чтобы вернуть их Лере и еще разок посидеть на ее кухне.

Когда он пришел в следующее воскресенье к Лере, на столе лежали уже новые томики с закладками. Ждала. Они снова пили чай, но в этот раз уже не из тех кружек — Лера достала нарядные, с маками. «Лер, а я не понял, что это за женщина кормит голубей в стихотворении „Рассвет“ у Блока? Откуда она там взялась?» Лера, удивленная тем, насколько человек может быть нечуток к метафорической речи, терпеливо объясняла Вите про символизм, художественные средства и другие вещи, которые когда-то прошли мимо Вити, а для Леры были совершенно обыденными — она работала учителем русского и литературы в старших классах. А Витя продолжал сыпать странными вопросами, которые могли кого угодно поставить в тупик, кроме побуддистски спокойной Леры.

Витя продолжал ходить к Лере каждую неделю — чай и книги стали новым ритуалом вместо sudoku и телевизора. Как-то раз Лера не выдержала и спросила: «Вить, а почему ты вдруг так увлекся поэзией? Сказать по правде, кажется, это не совсем твое?» Когда Витя рассказал ей про Бродского, Лера внимательно поглядела на него и ничего не сказала. Витя тоже на нее посмотрел, а потом достал из кармана свернутый листок, передал его Лере и со словами: «А, может, Бродский и не то имел в виду», ушел.

Лера открыла листок и прочитала:

Я помню смутно уголки квартиры  
Одной, другой и нескольких еще  
Я помню абсолютно запахи сортиров  
И маму молодой, и папино «прощен».  
Я помню страхи высоты и лифта  
И краску, что забилась под ногтем,

Я помню прописи истерзанного шрифта  
И унижения с закрашенным лицом.  
Я помню чутко уголки улыбки  
Одной, другой и нескольких еще.  
Я помню шутки и стихи в открытке  
В ночи секундной стрелки счет.

«Поэзия — это для парня за рулем мусоровоза», — почему-то вслух сказала Лера и налила себе еще чая.

## ОЛЬГА ФАТЕЕВА

### ЖОРА, АНЯ И КОТЛЕТЫ

Досю уведут в пять утра, он услышит скулеж, проснется и посмотрит время — мама в прошлом году подарила ему этот убегающий будильник на колесах. Мама сказала, она запросилась гулять и потерялась на улице. Почему они ее не искали? Мама говорила, искали, но он не спал — они вышли минут на пятнадцать, потом отъехала машина. Его больших мадагаскарских тараканов и гигантских африканских улиток отдадут в открытую. Хотя чем они могли помешать шестимесячной Аньке, которая и дома-то прожила всего недели две или три, больше в больнице с мамой, он так и не понял. Смуглая, какая-то вся черная, но очень приятная пожилая женщина, которая приехала за живностью, взяла его листок с именами — Беатриче, Фрося, Аглая и Изя, улитки гермафродиты, объяснял он, правда, так никто и не смог от него добиться, почему все с женскими именами. Из восемнадцати тараканов он отличал только двух взрослых самцов, Кешу и Гаврюшу, мелочь бродила по аквариуму безымянная. Мама, уставшая и совершенно потерянная с этой Анькой, повторяла только, что больше не может. Это потом. А пока.

\*\*\*

Первый сентябрьский дождь, из тех снулых, что зарядят со вчерашнего вечера на весь день, пузырится монотонно по улицам. Ровным блестящим слоем растекается. До бордюров заполняет ложбины дорог, так что шагнешь — и сразу по щиколотку. Застоявшийся глянец отражения не потревожен шагами и, если приставить руки к лицу, как шоры, лежит стекшими акварельными красками. И тогда почти Венеция, и почти искусство.

Пришел домой, включил свет на кухне и со светом не заметил, как традиционное тусклое сентябрьское солнце гонит с крыш оставшиеся ручейки и капли, теряется в буреющей зелени и быстро-быстро пробегает с легкими ветренными облаками, что вперемежку с обрывками темных туч. Только облака от солнца пожелтели, а тучи густые и не пропускают ни лучика. Но убегают они все вместе, поптичьи, на юг. Ветер прибил к стеклу мокрый листок, ты выключаешь свет и смотришь — а окна-то на зиму еще и не мыты.

\*\*\*

В солнечную ноябрьскую пятницу на втором уроке — была математика — Жора посмотрел в окно, обернулся со своей первой парты на одноклассников. З«В» одолевал таблицу на пять, обернулся еще раз на Сашу, с которой вместе ходили домой — «Клочихин, сиди спокойно!» — вспомнил, что мама разрешала по пятницам уходить в час, сразу после уроков, а не оставаться на продленке. В этом году Жора еще ни разу не уходил в час.

На перемене Жора позвонил маме — она не ответила, потом бабушке — телефон отключен, разрядился, наверное, а потом закончились и перемены, и уроки.

— Ты куда? — спросила Саша.

— Домой, вспомнил, сегодня пятница. Идем вместе?

— Ну-у, не знаю... — Саша сгрэбла тетрадь с учебником и пенал, потом снова положила на парту.

— А пойдем ко мне? — Жора взял Сашин рюкзак и мешок со сменкой.

Сашина мама очень удивилась и даже сначала испугалась, услышав в телефоне — входящий вызов «Сашенька» — чужой детский очень серьезный и очень вежливый голос:

— Здравствуйте! Я Сашин одноклассник. А можно она пойдет с нами вместе домой и зайдет в гости?

Как-то потом, провожая Сашу в школу, мама разглядела юного джентльмена. Не самым высоким девочкам в классе до плеча, в черных мелких завитушках, сосредоточенный взгляд под ноги и внимательный снизу вверх на вас, как только вы начинаете говорить. Немного нелепая, будто старомодная одежда, от бабушек, хотя, если присмотреться, на рюкзаке черепашки ниндзя, и куртка наверняка на синтепоне, а все вместе с чужого плеча или от очень старшего брата, старше лет на пятнадцать.

Как все дети во все времена, Жора любит сосиски и макароны, мороженое и газировку с конфетами. Как дань современности — пиццу и майнкрафт. Конечно, у него свой канал на ютубе — целых два подписчика! А вообще Жора ходит на танцы, обычно папа возит. Но иногда и с бабушкой ездят на автобусе. На танцах Анастасия Геннадьевна говорит: «Хорошая выворотность», — а еще на сцене Жора меняется. Смотрит куда-то вдаль, в зал, лучезарно улыбается, моргает густыми длинными ресницами так, что зрителям видно, и кудряшки от пота превращаются в мелкий бес. Жора вдохновенно крутится, сколько положено, посреди чуть сбившегося полукруга девочек (единственный мальчик), трогательно припадает на колено в парном номере со старшеклассницей, придерживает всем двери. Дома у Жоры любимая голая перуанская орхидея инков по кличке Дося, ги-

гантские улитки ахатины и мадагаскарские тараканы. Жора сам ходит домой со второго класса, через светофор — там, где у школы все обычно перебегают, не разрешает папа. Еще Жора умеет делать себе чай, разогреть в микроволновке обед и гуляет во дворе сам.

На Жорины тыканья ключами в проеме резко открывшейся двери возникла мама со сбившимся хвостом, в пальто и расстегнутых сапогах с хлюпающими голенищами. Позади мамы прошли двое — мужчина и женщина — в синих комбинезонах, мужчина с оранжевым чемоданчиком. Мама обернулась, волнами обходя ее, накатили шумы и звуки — то ли плач, то ли подвывания, постукивания, всхлипывания, клекот, прерывающаяся колыбельная, незнакомый Жоре женский голос. Мама, будто не видя детей, снова закрыла дверь. Из квартиры успел выскочить назойливый запах аптеки.

Слезы скапливаются лужицами под нижними веками, набухают каплями у внутренних углов глаз, Жора смотрит через них на Сашу, разводящую руками в немом вопросе:

— У меня там... Сестра маленькая. Заболела опять, наверно.

Саша настойчиво придвигается в Жорину сторону:

— А что, сегодня к тебе вообще нельзя? А когда можно будет?

Жора ставит рюкзак к стенке, оборачивается к лифту — очень вовремя — их оглушает бравый голос бабушки-соседки:

— Вы почему не здороваетесь?

— Здравсьте, — шепчет Саша.

— Здравсьте, тетя Лариса, — опомнился Жора.

И сразу:

— До низа наперегонки? Кто последний, тот гнилая картошка.



У Саши дома никого. Можно оставить ботинки посреди коридора, раскрутить и зашвырнуть куртку и проверить, куда приземлится. Сашина мама Жору разрешила:

— Поешьте там. На нижней полке котлеты и спагетти.

Ага, сейчас, котлеты и спагетти! Можно объесться сладостями — конфеты, рулет с маком, что там еще, — а запить молоком, водой и яблочным соком.

Бабушка позвонила Жоре в три:

— Егорушка, где ты? Я в школу пришла, меня мама за тобой отправила, а Ирина Викторовна сказала, что ты ушел с девочкой в час...

Жора собирается быстро, шапка задом наперед, шарф затолкать в портфель, куртку застегивает на лестнице. Бабушка встречается у Сашиного подъезда. Саша машет из окна, стучит сердито. Жора уткнулся в бабушку и не видит. Бабушка не ругается:

— Маму с Аней увезли в больницу. Отпусти, отпусти, больно. Пойдем домой. Есть будешь? Там котлеты.

— Котлеты? — Переспрашивает Жора.

Бабушка слышит плохо, наклоняется:

— А? Домой, говорю, пойдем. Голодный? Или у Саши поели?

— Котлеты-ы-ы! — Ревет Жора и тянет носом, сглатывает противную сладкую слюну, дышит часто и глубоко приоткрытым ртом, и поднявшаяся тошнота с бунтарским привкусом всего разрешенного на десерт, но поглощенного вместо основного блюда уходит.

\*\*\*

Бывает так, что ложишься под утро в теплой пижаме, да еще и в одеяло, а потом все равно звонит будильник. Ты проспал час или, может, два, но вставать на работу, а ты потный и мокрый в своей пижаме и под одеялом. Высовы-

ваешь руку и понимаешь — за ночь потеплело. Шлепаешь на кухню, а на градуснике и правда — минус один.

\*\*\*

Сестра маленькая, наверное, заболела опять, маму увезли с Аней в больницу — все уже было. Сейчас не так страшно, как в первый раз, как тогда.

Няня неожиданно заторопилась, еще раз глянула на него:

— Мама скоро должна прийти. Закрывайся, — придержала дверь.

Жора вернулся к планшету и телевизору. На канале «Пятница» ведущий с ошалелыми глазами разгребал нежно-розовых медуз с длинными волокнистыми соплями и протискивался через пульсирующее месиво. Тренькнул планшет — уведомление из ютуба.

Жора уместился на полу — под его кроватью-чердаком толстый вязаный разноцветный половик (родители купили в Мандрогах, вместе в круиз ходили, Жоре дали диплом речного путешественника), мягкое кресло, набитое шариками, с уютной продавленной ямкой, такие же подушки, крышу из старого одеяла между перекладинами сделал сам.

Первые непонятные звуки он не услышал. Какое-то пыхтение, писк, шорохи. Заскулила, заговорила и тут же прицокала на задних лапах Дося. Была у нее такая манера — ходить за тобой на задних лапах слегка вприпрыжку и, подвывая, докладывать, что случилось за день, или жаловаться, как она без всех соскучилась. Вот тут-то он и заметил. Сквозь Досины повизгивания прорвался звук. На одной ноте ровно встал мерный, негромкий то ли стон, то ли гул, то ли скрип, как скрипит стекло, если провести по нему ногтем. Дося присела, резко почесалась за ухом, потом заклацала зубами, выкусывая кого-то из хвоста, потом посмотрела на Жору, в собачьем недоумении наклонив голову, и тихохонько завыла.

— Мама, мамочка! — Жора выскочил из своего убежища, затопал к родительской спальне, но резко тормознул — звук расходился именно оттуда.

Дося прибежала за ним, повторила все те же собачьи действия, только в другой последовательности, села Жоре на ногу и вновь завyla. Тонко, высоко, вторым голосом, встраиваясь в многоголосный склад. Жорухватило лишь на то, чтобы пошевелить ногой — поправить в тапочке под горячей собачьей задницей — и зажмуриться.

— Мама, мама, мамочка! — закричал, захлебнулся, как будто отмер по команде в детской игре.

Побежал в бабушкину комнату, вытираясь на ходу рукавом, на кухню. Включил везде свет, тревожно-желтым высветивший законные сумерки. Дося бегала вместе с ним, прыгала, скулила, тявкала, размашисто лизала, куда дотянется, потом исчезла.

Из комнаты родителей вытянулся надрывный, с остановками, задыхающийся плач. И тихие, глухие, угрожающе равномерные стуки. Жора остановил себя и прислушался, потом потянулся к дверной ручке.

\*\*\*

Иногда настроение в метро — идешь как тот ветер, что готов ударить тебя дверью в лицо. С силой открываешь двери против ветра и, против правил, не придерживая их, не думая о следующих за тобой пассажирах, так же с силой двери отпускаешь, и они разлетаются, потом схлопываются. А впереди дама в густом парике «латиновый блонд», и ты хитро представляешь, как дама как раз идет следом, и слетает парик, застревает в дверях, и они больше не могут делать ветер.

\*\*\*

Мама нашла их обоих на большой кровати. Жора свернулся калачиком на боку, рядом с ним в некрасивой, неестественной позе, тоже на боку, запрокинув далеко назад крупную явственно выпуклую к затылку голову, спала маленькая Анечка. От раздутых подгузником ползунков воняло кашками. Длинные редкие темные волосы паклей торчали в стороны. Ноги выпрямлены, вытянуты, вытянуты носки, как тянут балетные, костлявые кулачки прижаты к груди. Шумно храпит, что твой грузчик или извозчик. Жорина рука держит бледные синюшные пальчики с такими же синими ноготочками. Между деревянными прутьями детской кровати невозмутимо потягиваются Досины лапы.

\*\*\*

Солнечный первый ноябрьский морозец тускнеет, блекнет, оплывает мучнистыми серо-голубыми тенями в рамке горизонта. Кричат вороны, и пахнет чем-то жареным, похоже, котлетами. Скрежет чуть заснеженного асфальта с буграми наледи — дворники катят вагонетки с мусором. Выворачиваешь из одного двора в другой. Мимо тебя идет мужчина, явно по своим делам. Черная, обмякшая куртка, шапка просела до воротника, джинсы заправлены в дутые полусапожки типа женских угги. А в правой руке качается топор. Обычный топор с трогательной голубой ручкой. Мужчина вертит головой, напевает, и вдруг в широком приветствии вздымается к парному небу топор:

— Ассалам алейкум!

— Алейкум ассалам! — Кричат в ответ из недр железных гаражей-ракушек.

И ты вдруг слышишь, что где-то в районе ржавой голубятни играет музыка, такая же, как приветствие. Типичный московский двор.

\*\*\*

В тот, единственный, раз, когда няня ушла, когда Жора остался совсем один с маленькой сестрой, — Анька плакала и ритмично покачивалась в кроватке, сдвинулась и ударила своей арбузной головой о прутья — мама вернулась и правда быстро, тем более это «быстро» случилось в его сне, а вообще-то все месяцы после Анькиного рождения мама часто и подолгу с ней вместе отсутствовала. Началось с роддома. Тогда родители объяснили Жоре, что мама через пять дней принесет маленькую хорошенькую сестренку, бабушка и папа остаются с ним, бояться нечего.

Мама вернулась даже на день раньше, чем обещала, правда одна, без живота и без сестренки. Бабушка тут же заплакала, и потом чуть что принималась плакать. Отец только отворачивался ото всех, к маме подходил, вставал или садился рядом, молчал. Потом вдруг поднимал медленно голову, вскидывался глазами на всех, поднимал руку, как если бы для всплеска, для жеста, чтобы помочь себе говорить, и снова опадал плечами, горбился, молчал. Кажется, и те четыре дня папа с бабушкой вели себя так же, но Жора не особо задумывался. Еще не понял, что жизнь его, как, впрочем, и всей семьи, разделилась на до и после. До и после рождения девочки.

\*\*\*

Так бывает — говорят, преследуют запахи. Дочь привезла из гостей подарок — вязанные тапки-подследники. Дурацкие, розовые, с черными сердечками и белой опушкой. Вот они, валяются посреди комнаты. А тебе пахнет по всей квартире кошачьей мочой. Ты нюхаешь тапки, одну за одной, но нет, ничего. Кошачий запах коварен. Распространился по квартире, воняет вокруг, а сами тапки чистые. И ты идешь все равно их стирать, и моешь полы, а тапки су-

шишь на батарее, чтобы к утру отдать дочери. Тапки чистые и сухие, а наутро навстречу тебе, сонному, наплывает влажный запах из труб — запахдохлой крысы, говоришь ты, — морщишься, льешь средство, а дочь ходит в чистых тапках по чистому полу.

## АННА ФИЛИППОВА

### СКАЗКА О НЕБЕСНОМ ЦАРСТВИИ

Библиотеку в Леринском районе закрыли. Амбарный замок, запирающий обшитую вагонкой дверь, исчез вместе с дверью. Ржавая замочная петля еще висела пустой глазницей, склонившись на разбитые ступеньки крыльца.

Лера увидела на свалке желтую библиотечную стойку с ящиками для читательских карточек. Серые карточки лежали рядом. Лера подняла одну. Она держала карточку, как держат пойманную бабочку, схватив ее посередине крыльев, ощущая под пальцами жирную рассыпчатую пыльную пудру и рывки, похожие на биение пульса. Лера подставила левую руку под сгиб бумаги и развела пальцем крылышки истончившегося по краям картона. Лера быстро посмотрела на нижние поля карточки. «Тургенев. Записки охотника. Советский рабочий. Тысяча девятьсот семьдесят первый год. Двадцать четыре дробь восемнадцать». На двух отчеркнутых твердым карандашом строчках крупные ученические буквы были написаны фиолетовыми чернилами, с нажимом. Шапочка заглавной «Т» легла элегантно мужской прической на косой пробор. Буква «З» делала маленькое колечко внутри себя. Двойка была настоящая утка, а у зайчика-четверки сошлись крестом ушки на макушке. Надпись была зачеркнута посередине синей пастой шариковой ручки. Лера закрыла карточку и положила ее в ящик, наклонившись к нему, как к гробу с покойным.

Библиотекарем на рабочем поселке был лилипут. Откуда появился в поселке этот маленький человек, серьезности которого хватило бы на десятерых, никто не знал. Лерочке он напоминал сразу всех персонажей каталога «Иконы Русского музея». Особенно — человечка верхом на быке, воткнувшего красный нож в шею животного. Под иллюстрацией подпись: «Троица ветхозаветная. XVI век».

Библиотекарь Михаил Давидович носил красивую стрижку из пышных вьющихся волос и вишневый свитер крупной домашней вязки, надетый на белую рубашку. От белых манжет и золотого колечка на правой руке тонкие руки казались еще смуглее. Как это бывает у лилипутов, возраст Михаила Давидовича угадать было совершенно невозможно. Ребячливости в нем не было совсем, а своей педантичностью он незаметно перевоспитал поселковых разболтанных читателей. Через полгода работы маленького библиотекаря никто даже не пытался получить книгу:

— Ээээ, такую в зеленой обложке.

— Про китов.

— Какую-нибудь фантастику.

Можно было биться головой о стойку, но если ты не помнил, как называется книга и кто ее автор, ответом был взгляд немного раскосых глаз, направленный тебе в лоб, как двуствольное охотничье ружье. Можно было успокоиться и даже долго смотреть в эти ясные, как с иконы, глаза. Книгу ты ни за что не получал. Лерочка быстро выучилась пользоваться каталогом, выписывая на последний лист тетради не только названия книг, но и их место на полках. Особого расположения она за это рвение не получила. Михаил Давидович был ко всем посетителям библиотеки одинаково ровен. Лера потом догадалась, что он знал наизусть, как выглядит книга про китов, и знал напечет все книги в зеленых обложках, и всех авторов научной и ненаучной фантастики. Но каталожная натура библиотекаря требовала порядка.



Когда строчки в читательской карточке заканчивалась, Михаил Давидович брал красную линейку длиной двадцать сантиметров и чертил еще две линии на нижнем поле. Острый карандаш «конструктор» проводил линию вровень с той, которая была тиснута на бумаге печатной машиной. С красной, как окровавленный нож, линейкой в руке Михаил Давидович был особенно похож на слугу Авраама и Сарры. Лерочке чудился рядом «упитанный телец», вывернувший морду с округлившимися глазами, поджавший судорожно заднюю ногу. Историю предвечного гостеприимства Лера узнает гораздо, гораздо позже, но повернутое в три четверти лицо библиотекаря в вишневом свитере перед желтым столом, среди леса стеллажей, в доме с амбарным замком на краю поселка, — это первое, что она вспомнит в Русском музее. Большая Лера улыбнется, глядя на знакомого тельца, с мольбой смотрящего в глаза суровому маленькому библиотекарю с красной линейкой в руке.

— Дайте мне, пожалуйста, такую книгу... Она в красной обложке, тонкая, как тетрадка. Заглавие черным написано. Глянцевая бумага. Там только картинки почти, древние картинки на каждой странице... Я не знаю, как объяснить...

Еще тропинка по дороге к бывшему жилью. Вечереет. Березы вышли пофорсить под желтые фонари прошлогодними лисьими горжетками. Шуршат. Канава. Мостки через канаву. Осыпавшиеся куски штукатурки вокруг бурой новой железной двери с домофоном. Впереди дверь в бывший дом. Мужчина с пышным лисьим капюшоном обгоняет Леру, поднимает голову вверх. По этому жесту понятно, что он живет на четвертом этаже и смотрит в свое окно. О Боже, сколько раз Лера поднимала глаза на свое окно, возвращаясь домой! Мужчина, продолжая глядеть вверх, на ощупь достает из кармана ключи и встряхивает их. Есть ли вечерний звук лучше этого?

Никем не признанная, Лера стоит и стоит под чужими желтыми окнами. За шторами двигаются и мелькают тени, как в поезде, смеются и вскрикивают. Лера опускает глаза и видит еловые лапы на снегу, ведущие прочь от подъезда. Наступая на ветки, как на спасательные круги, Лера уходит не оглядываясь.

Бабушка поздней осенью принесла Лере бордовую юбку, просила перешить, чтобы ходить в ней весной. Лера хорошо помнит ни с чем не сравнимое, тошное до рвоты чувство уверенности, что юбка весной не будут нужна. Бабушка умерла в конце ноября, юбка долго лежали в гардеробе как память смертная.

На улице сырость, на земле желе, смертельная для головы ледяная глазурь и шершавые корки. Во время оттепели оттаивала теплотрасса рядом с подъездом. Лера приходила туда, нюхала, как пахнет весной земля, откапывала на ней ромашки, притаскивала в бабушкину комнату и ставила в стакан. Иногда обманутые ромашки зацветали. Отчетливо пахло весной.

Лера очнулась от мутного сна и услышала ровный грохот товарного поезда по железнодорожному мосту. Лежала тихо. Поезд все шел и шел, дрожала тень от листа папоротника на шторе, тонкая кисточка билась о край стеклянной банки. Лера летала во сне. Она смотрела с моста на перепутанные лезвия рельсовых развязок вдоль реки. Давно заросшие воронки авиационных бомб были свежи, края их покрыты рваными бинтами талого снега, внутри ползали медведки с глиняными собачьими ликами. Было тепло. На Лере оказался финский пуховик из девяностых годов и драповая юбка. Лера сложила крестом руки и полетела с моста к пятиэтажке. Медведки зашевелились и подошли ближе, высунув собачьи языки. Их горячее, но не смрадное дыхание веяло в лицо. «Семь штук», — сосчитала Лера, развела воздух ру-

ками, будто выныривая, и взлетела на крышу пятиэтажного дома. Из чердачной двери вышла бабушка в бордовой юбке с накладными карманами и в резиновых дурых сапожках.

— Пойдем, я покажу тебе, где мы будем жить, — сказала она Лере.

Из-за чердачной двери слышались голоса деда, бабушкиной сестры и мамы. Лера вошла и увидела комнату с пятью кроватями, застеленными бежевыми, глинистого цвета жаккардовыми покрывалами.

— Я не хочу тут жить! — заплакала Лера и проснулась.

Сегодня похороны двоюродного деда. Лера оделась и вышла.

Рыськовское кладбище, четырнадцатый квартал. Новый адрес деда. К старому кладбищу вплотную подступила жизнь, прет силикатными боками домов с железных заборов-противней, подходит под кладбищенский перелесок. Выпячивается эркерами, смотрит широко закрытыми окнами в «храм пустоты». Кладбище от коттеджного поселка отделено утончившейся полоской Леты — узким лугом. За лугом сразу вскипает водопадом кладбищенский лес — страж усопших.

Кладбищенский лес в марте — озябший тощий зверь. Алчет, кого поглотити. Бежит по опушке мурашками сухая трава, стоит дыбом холка ельника. Березы осенью не опали — клочковатый березовый подшерсток светится сквозь пролысины стволов.

В чреве леса тихо. Лера подходит к могиле. Могильщики уложили глину по краю ямы так, как изображаются горки на иконах. Глина цвета охры. У иконописцев называется «земля». Земля еси и в землю отыдеши.

Лера приткнулась у столбика оградки. Какой хорошенький столбик: серо-голубой, с патиной, наверху зеленая бомбошка-куполочек с морщинками по верху. Лера отвела от лица сиреневые ветки, чтобы сфотографировать луковку. На сиреневых ветках вспухли почки с тонкими

рисками на острие. Через рядок оливковых осин видна редкая кладбищенская вещь — маленький домик на железном штыре. Не то кормушка для птиц, не то божничка для поминальной жертвы. Замшела, заржавела. Стала зеленая.

Родственники глядят друг на друга и стараются узнать:

— Колька, сосед, ты?

— Я.

— За тобой наш гусь в детстве бегал.

— Бывает. — Иронически поднимает плечо.

— Как Клавдия?

— Два года как умерла.

Плакальщицы-березы стоят в молчании вокруг могилы — нет ветра. Шорох лопат прекратился.

— Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Похороны закончились. Родственники отправляются «в гости»:

— Вась, у дяди Вени памятник осел, надо поправить...

— Ближе к лету...

— Выкинем этот венок?

— Оставь, после Пасхи выкинешь.

— До Пасхи еще дожить надо, сейчас выкину... Вась, на день шапку — простудишься!

Поднимается ветер. Гул голых вершин сливается со звуками железной дороги.

— Внимание, по первому пути поезд, — доносится голос из динамика. Голоса со станции говорят что-то еще, слышатся гудки и грохот колес на стыках рельс. Это души собрались в вечность. Или они застряли здесь надолго и катаются на проходящих мимо кладбища поездах, и голоса их сливаются с голосами работников станции?

— До встречи, дед, — улыбается Лера.

В отдалении уже слышится смех. Жизнь идет. Дети суровы — папа не велел плакать. Плачет только средняя внучка

с дурацкой корзинкой, полной голубых пластмассовых гвоздик.

— Лерка, не сдавайся. — Голос рядом. Двоюродный брат. Лера была в полной уверенности, что он ее не помнит. Помнит.

Кладбищенский лес стал безопасным. Наверное, хорошо лежать здесь, слушать звуки поезда ранней весной, а летом детские голоса, доносящиеся из коттеджей, всего лучше в августе, вечером, когда со сном бороться уже нет сил.

Большая береза около кладбищенских ворот. Лера подняла голову, и невидимая рука с силой потянула ее вверх, в светлый тоннель. Ветви висят так низко — сейчас хлынут в лицо березовые динарии — не опавшие золотые листья. Лера — Даная.

Сегодня вечером в Москву, а потом домой.

В пригородную электричку хорошо сесть перед тем, как свечереет. До Калистово и Ашукино застанешь «всенощную», если успел подсесть к окну. За окном обходит человечью торопливую дорогу обиходный русский иконный колорит: золотой дым, охры, оттеночный вишневый. Изредка вскрикнет красный. Вон матерый архангел с бурыми дубовыми крылами хлопнул лужком-плащом, мелькнул подкрылком-Ворей. Стая ивовых херувимов сидит совсем близко. Из леса выпархивают силы, власти и господства. Надо успеть их заметить, эти маленькие березки с ярко-зелеными коронами и золотыми пуговицами на стихарях. А то после Софрино их окончательно распугают дорожные рабочие.

После Софрино электричка летит без остановок так, что кажется скальпель рельс пластает дорогу и чья-то рука выворачивает из ее нутра кучи песка, щебня, сосуды каких-то труб и косточки каких-то балок. Идет ремонт дороги. Темнеет.

Свете тихий святые славы...

После Пушкино херувимам становится совсем плохо. Столбов и проводов становится так много, что это они, наконец, отрезали верхушки придорожных деревьев и снесли головы убогим железнодорожным постройкам с односкатными крышами. А киноварная раскаленная голова электропоезда попала на листья-перья, развеянные по обочинам путей. Пешеходные подвесные мосты испуганно поджимают животы.

Мытищи. Напрасно дорожная техника окрасилась в цвета ренессанса: неаполитанский оранжевый экскаватор и тициановский желтый камаз. Роят братскую могилку серафимам. Строят шоссе вдоль железки, склады, торговые центры, кафе, рестораны. Лесной херувим уже не просунется со звездой на посохе. Там будет другая звезда. «Летуаль» там будет сиять.

До Москвы без остановок внутри сплошной раны, заклеенной пластырями перронов, перебинтованной районами многоэтажек с тонкой кожей остриженных наголо садигов.

— Добро пожаловать в Москву и до скорой встречи, мои небесные лесные жители. Я скоро к вам вернусь, — улыбается Лера.

— Вставай, внучка, Царствие Небесное проспишь! — бабушка заметила, что Лерочка лежит с открытыми глазами. Что такое Небесное Царствие, она не знает. Она просыпается на бабушкиной зеленой кушетке с лаковым подлокотником. На тумбочке стоит зеленый резиновый ежик и голубая чашка в белый горошек с букетиком кошачьих лапок и кукушкиных слезок. Букетик маленький, потому что Лерочка знает — самые красивые цветы нужно собирать носом с колен. Букетики стоят везде, и мама и бабушка уже давно не кричат на нее: «Выкинь эти цветы, ты что, не видишь, что они уже завяли?» Однажды, в совсем-совсем детстве Лерочку разбудила гроза, она вскочила и при вспышке молнии отчетливо увидела на столе букетик незабудок в водочной

стопке. Букетика там не было, но с утра Лера ныла: «Где ж букетик?» и пугала этим маму.

Сразу понятно, что в Небесном Царствии много цветов, хоть ты и не знаешь, что такое Небесное Царствие. Это под ногами у тебя подорожник, пастушья сумка, зверобой и тимopheевка. Лопухи и чертополохи, календула и ромашка. В небесном Царствии непременно все, как на подоконниках у мамы и бабушки.

Мама любит папоротники и герани. Герани у нее разрастаются до размера розовых кустов и цветут как розы. У бабушки есть бегония свиные уши, розовые глоксинии, жених и невеста, дружная семейка, чайная роза и нежнейшая фиалка с тонкими велюровыми листьями и чернильными цветами с двумя желтыми бусинами в середине. Руки так и тянутся ее трогать, но Лера приучена с годовалого возраста:

— Внучка, не трогай цветочек, ему больно.

— А?

— Ему больно, он плачет! Как цветочек плачет?

— Маааа... мааааа.

— Правильно.

Мама с бабушкой немного презирают друг друга за выбор любимых цветов. Подозревают в мещанстве и колхозном вкусе. Даже горшки у них разные. Бабушка сажает дружную семейку в жестяное ведрышко для куличиков, глоксинию в прохудившуюся кастрюльку, а для жениха и невесты у нее есть пластмассовые кашпо в сеточку и дырочку цвета собачьей какашки.

Иногда бабушка покупает Лере мороженое шербет, приторное и розовое, как глоксиния, но разрешает его есть, когда оно немного подтает.

Когда Лере было сорок лет, в городе Уржуме она увидела на окне дома розовую глоксинию в кастрюльке. Тогда, в Уржуме, она тоже купила подтаявший мятый шербет. Шла, ела и не видела от слез дороги.

«Почему, даже когда ты не знаешь, что такое Небесное Царствие, ты все равно чувствуешь, что оно всегда потеряно? — думает Лера. — Есть ли в Небесном Царствии вещи? Нет, не в смысле удобства, да и не нужно много вещей, как не нужно жаждущему чана с водой. Я даже не жажду шербе-та. Ладно, не нужно голубой чашки, чтобы поставить в нее кукушкины слезки и кошачьи лапки. Но я уверена, что у каждого есть хоть одна вещь, которую захочешь увидеть независимо от того, попадешь ли в Небесное Царствие. Захочешь увидеть, взять в руки, понюхать и поцеловать, заплакать и засмеяться».

— А можно мне резинового ежика в Небесное Царствие? — спрашивает Лера неизвестно кого.

Это первый друг, резиновый ежик с зеленой неколючей спиной. Лера нечаянно откусила ему нос, и оттого еще сильнее полюбила:

— Тебе больно, милый?

Она тайно провезла его в первую поездку на юг, положила загорать, побежала к морю. Пока порхала по бережку, ежик сплавился в коричневый комок, как залитая йодом корка на сбитой коленке. Стоило подцепить ногтем край корки, из-под нее тянулись гнойные жилки горячей резины. Ожог более пятидесяти процентов поверхности тела, надежды нет. Саднит душу, щиплет глаза. Замотанный в полотенце, еж вернулся домой. Куда он потом делся, Бог весть...

«Небесное Царствие наступит тогда, — решает Лера, — когда однажды проснешься и услышишь:

— Просыпайся, внучка, я тебе шербет купила».

Откроешь глаза, повернешь голову, а рядом с кушеткой, на тумбочке, стоит букетик в голубой чашке и резиновый ежик с мягкой спиной и целым носом.

— Ну, вставай же, Лера, Царствие Небесное проспишь!



## ОЛЬГА ЧВИЛЕВА

### ВАСЬКА

Из окна был виден лес. Серо-синие ели, на чьи макушки зима нахлобучила пушистые шапки, издалека были похожи на море. Волны с белыми барашками. Васька моря никогда не видел, но на картинке в старой книжке князь Гвидон плыл в бочке как раз по такому. Очень похоже. Поэтому Ваське море из окна тоже видно. То лес, то море, зависит от настроения.

Он очень любил это окно, точнее, широкий подоконник серого мрамора, уютно нагретый снизу большой чугунной батареей. Из щелей дует, конечно; между пыльными разошедшимися рамами иногда наметает немного снега. Сидеть получается только на самом краю подоконника, чтобы не прилоняться к ледяющему зазеркалью. А то сразу холодно. Ваське что, его тощенькая попа легко умещается на самом ребре, там, где тепло батареи побеждает зимнюю стужу.

По стеклу расползаются витиеватые узоры: то ли растения, то ли перья, то ли хвосты невиданных зверей. Красиво. За искрящимися завитушками незаметно, что стекла грязные. А если лес совсем не виден, можно подышать на стекло. Или палец приложить и подождать немного, будет глазок. А можно сжать кулак и бочком приставить к окну, потом прогреть кружочки — большой и четыре поменьше. Получится следок. У Васьки он, честно говоря, совсем маленький выходит, ненастоящий какой-то.

Окно находилось на самой верхней площадке старого трехэтажного здания интерната, где лестница, повернув последний раз, ведет на чердак. Раньше старшие ребята прятались там и курили. Не понимали, что детям вредно. А если пожар? Вот директор и велел поставить дверь на лестнице, чтобы никто больше на чердак не лазил. Дверь эта всегда заперта на висячий замок и еще заклеена бумажными полосками. Даже если кто-то все-таки придумает, как этот огромный замок открыть, то воспитатели по разорванным бумажкам сразу поймут, что на чердаке кто-то был. И всех тогда накажут.

В общем, никто теперь сюда особо не ходил, и окно получалось ничье. Сидеть на подоконниках в интернате строго запрещалось. Потому что опасно. Так что забираться туда надо было очень быстро и, отталкиваясь двумя ногами сразу, отодвигаться в самый правый угол, чтобы с площадки третьего этажа тебя не было видно. Штаны, правда, потом очень пыльные, их надо долго отряхивать, но это ладно.

Васька сидел здесь подолгу: когда думал, когда мечтал, улетаая в мыслях далеко-далеко от этого каменного подоконника, мерзлого окна, всегда хмурого здания интерната, и когда глотал слезы, катившиеся со щек прямо в рот.

Поводов плакать было немало. Ваське, новичку, приходилось нелегко. Он с большим трудом привыкал к казенным вещам, непреложному распорядку дня, необходимости жить по жестким законам этого странного, сосредоточенно-сплоченного, словно собранного в кулак, коллектива. Многого просто не понимал. Никак в толк не мог взять, зачем, например, надо везде ходить всей группой? Почему надо кушать, когда не хочется, а когда живот урчит от голода, надо сидеть и терпеть, потому что «еще полчаса до обеда»? Почему нельзя без спросу выбегать на улицу, посмотреть, кто приехал? Чинно походить вокруг автомобиля, потрогать шины, фары? А если повезет, и дадут покрутить руль, усесться на водительское место и, рыча, как мотор, глядеть

вперед, представлять разные города и страны, по которым ты, улыбаясь сам себе, мчишься, словно заправский гонщик? Почему, когда выпал такой прекрасный мокрый снег, нельзя идти лепить снеговика, а надо, сидя за партой, водить карандашом по пунктирным линиям прописей? И еще на многие вопросы никак не находились ответы.

— Потерпи, потом будет легче, — говорили воспитатели.

Он верил, что еще оставалось? Ждать он умел.

Васька был не такой, как все. Он иногда думал, что, когда он был совсем маленьким, его заколдовала злая фея из сказки — вывернула спину, скособочила и навесила горб. А когда-нибудь потом случится чудо, и он выздоровеет, ведь добрые волшебницы тоже есть.

Бабушка, пока была жива, возила внука к врачам, возила к бабкам и знахарям: те кивали головами, поводили руками, жгли свечи, шептали заговоры, варили отвары, похожие на зелья, посылали молиться, втирать разные снадобья, делать массаж и упражнения и верить в успех. Но чем чаще звучали призывы не сдаваться и не унывать, тем резче становились морщины на бабушкином лбу и тем крепче она сжимала его руку на обратной дороге. Врачи не обнадеживали, сходились на том, что нужна срочная операция, потому что еще немного и будет поздно, мальчик растет, болезнь прогрессирует.

Но сначала денег не было. А потом случилось то, что случилось.

В мальшовой группе интерната все жили дружно: эка невидаль: горб. Здесь у всех свои недостатки: кто-то заикается, другой без очков не видит совсем, у кого-то шрам на все лицо. Это же играть не мешает. А вот среди тех, кто постарше, горб стал первым поводом для насмешек. Васька то и дело попадал под чью-нибудь горячую руку. Обижали тычком, пинком, словом.

У Васьки не слишком получалось не плакать от отчаяния или боли. Вероника Сергеевна, воспитательница говорила,

что когда чувствуешь — вот-вот разреветься, надо представлять себе что-нибудь веселое. Васька вспоминал как бабушкина коза, привязанная к колышку за домом, увидела движущийся трактор, шарахнулась в сторону, понеслась по двору, попала передними ногами в тазы с замоченным бельем, запуталась в мокрых тряпках и, помчалась дальше, задевая ведра и бидоны, наполненные водой для вечернего полива, раскидывая их, звеня и громыхая. Забавных приключений козы хватало ненадолго. Обида, шипя, поднималась из живота, колола тысячами иголок горло, щипала нос и предательски сочилась из глаз.

«Мальчики не плачут» — твердили ему воспитатели, «Чё ты, баба, штоль?» — сквозь зубы цедили старшие ребята, «Рёва! Плакса!» — подвизгивали девчонки. Васька изо всех сил старался комкать плач, не убежать сразу, а степенно уходить, демонстрируя всем, насколько ему на все наплевать. Интернат беспощадно учил железной выдержке, немым обидам, беззвучным рыданиям. Держать удар, пусть гнущься, но не ломаться, — главное правило. Второе — делать это молча.

Да и жаловаться первое время было особо некому: друзей у Васьки поначалу было совсем немного: интернатская собака Кара, пожилой охранник Кузьмич, кошка Анфиса, повариха Сансанна и Вовка — сосед по спальне. Вовкина кровать стояла рядом с Васькиной и тот по-товарищески посвящал «новенького» в премудрости интернатской жизни: сообщал, кого как зовут, пояснял, кого надо бояться, а кого не стоит, рассказывал, где что найти, учил застилать постель по правилам: идеально ровно расправить покрывало, отбить его по бокам и водрузить, наконец, подушку: острым уголком кверху.

А потом он неожиданно подружился с Викой Неверовой из средней группы. Вике было восемь. Она была невысокого роста, худенькая, гибкая, почти гуттаперчевая, напоминала плетку, готовую к немедленному легкому замаху и хлестко-

му удару. Из коротко стриженных волос она как-то ухитрилась соорудить два задиристых хвостика, один неизменно был выше другого. Веснушки, словно упавшие с кисти капли краски, аккуратно рассыпанные по ее лицу, постоянно меняли свой цвет: были то желтые, то коричневые, а то вдруг становились оранжевыми. На собеседника она смотрела ярко-синим, недетским и не девчоночьим взглядом — с прищуром, оценивая, морозя, вжимая в невидимую стену.

Их знакомство началось в школьном коридоре.

— Эй, верблюд! — парень из шестого класса, по прозвищу Мирон, окликнул Ваську лениво и вяло.

Васька привычно вжал голову в плечи, ссутулился еще сильнее, словно стараясь уменьшиться до невидимых размеров и исчезнуть из поля зрения обидчика. Потом, наоборот, постарался выпрямиться, запрокинул голову и старательно сделал вид, что не слышит.

— А чё ты не в пустыне? — не успокаивался Мирон.

Проходившая мимо девочка резко остановилась, обернулась. Губы ее сжались, превратившись почти в ниточку, глаза сузились в злые щели. Она огляделась в поисках оружия, медленно подняла с пола тяжелый железный совок для мусора, оставленный там почему-то уборщицей тетей Таней, выпрямилась и шагнула навстречу парню, который был выше ее на полголовы.

— Слушай, я сейчас тебя вот прямо этой самой лопаткой так тресну, что у тебя сразу два горба вырастут. И это ты будешь самый настоящий верблюд, понял? Рот сам собой закроется! Только посмей его еще раз обозвать, я тебя на смерть покалечу, тебе ясно? — дальше она произнесла несколько непонятных Ваське слов, но Мирон, похоже, понял и отступил.

— Ну? Все? Вали давай отсюда. И только троньте его еще раз. Хоть кто. Убью совсем.

Васька замер в стороне, сжавшись от страха, не понимая, что будет дальше. Девочка бросила совок на прежнее

место, подошла ближе, взяла Ваську за ледяную руку. Пальцы ее, казалось, горячие-горячие, а ладонь влажная:

— Не бойся, они больше не будут. А то я, и правда, кого хочешь,огрею. Скажешь мне, если что. Сразу. Понял? Я — Вика.

Она стояла почти вплотную, смотрела прямо на Ваську. Пристально, как будто насквозь. Ваське стало не по себе: девочка была даже не бледная — она была белая, губы казались фиолетовыми, только на щеках жаром полыхали два неровных пятна. И глаза... Остановившиеся, отсутствующие. Ваське на мгновение показалось, что Вика сейчас упадет в обморок. Но девочка спокойно повернулась и зашла в класс.

С тех пор Васька считал Вику своим другом. Увидев ее в коридоре, он светлел лицом и старался подойти поближе, чтобы поздороваться, а если девочка будет в хорошем настроении, то и поговорить.

Первое время Вика была с ним не сильно разговорчива. Чаще коротко бросала ответное: «привет», иногда останавливалась, спрашивала как дела, не обижает ли его кто, напоминала о необходимости немедленно сообщить ей в случае, если кто-то забудет о ее предупреждении.

Было так здорово понимать, что ты не один, что кто-то готов за тебя заступиться, встать рядом. Васька сиял, гордился знакомством, всячески старался понравиться. Вытаскивал то припасенную, нагретую в кармане и потому кривобокую конфету, то яблоко с красным боком, сбереженное с полдника. Протягивал. Девочка удивленно смотрела, всегда отказывалась. Васька недоумевал: неужели она не любит конфеты и яблоки? Так разве бывает?

Со временем Вика оттаяла, слушала его новости, расспрашивала об учебе, о ребятах, о том, как он жил раньше и каково ему приходится в интернате. Про себя ничего не рассказывала, сразу замыкалась. Сказала только, что мечтает найти родителей. И на каждый Новый год одно и то же желание загадывает: поскорее уйти из интерната.

У Вики даже было специальное платье — для показов. Голубое, с пышной юбкой и большим кружевным воротником. К нему полагались особенные, лакированные синие туфли, которые хоть были давно маловаты, но блестели по-прежнему празднично. И белые колготки, пусть с пятном на правой коленке, но издалека не видно. Когда в интернате оказывались незнакомые люди, Вика опрометью неслась переодеваться. Прижимала непослушные волосы синим пластмассовым ободком с большим цветком сбоку, который тут же съезжал на ухо, расправляла складки юбки и выходила в коридор, держа спину прямо, оттягивая мысок, как учили в танцевальном кружке.

В присутствии гостей Вику было не узнать. Она держалась так, словно к интернату вообще никакого отношения не имела, просто случайно здесь оказалась. Делала вид, как будто ни с кем из детей даже не знакома. Вела себя странно. Начинала искусственно, через силу, улыбаться, заглядывая в глаза пришедшим, стараясь отыскать в их взгляде хотя бы тень одобрения.

Желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбываются. Исполнилась и мечта Вики. Только вот совсем не так, как она себе это представляла.

Скоро девочку забрали в семью. Выбрали по фотографии на специальном сайте — для тех, кто хочет приемного ребенка. Новоявленные родители были настроены решительно. Их долго уговаривали не спешить, познакомиться с девочкой поближе, пообщаться подольше, еще раз все взвесить. Но те были непреклонны. Воспитатели собирали Вику, неодобрительно переглядываясь между собой. Сама она тоже пыталась складывать вещи, но двигалась беспорядочно, то и дело останавливалась, в замешательстве оглядываясь вокруг.

Напор странных обстоятельств пугал Вику. Ту, которая никогда и ничего не боялась. Почему эти незнакомые люди вдруг решили, что она годится им в дочки? Ее и выбрали-то по картинке!

Нет, на той фотографии, с сайта, Вика и сама себе нравились. Прошлой зимой в интернат приезжал фотограф. Он долго усаживал каждого, светил на него лампой, велел поворачиваться разными сторонами, менять прически и наряды. И на портретах дети выходили настолько красивыми и нежными, что не узнавали себя самих. Вот и Вика на сайте была не совсем Неверова. Милая голубоглазая блондинка с легкой улыбкой, от чего на веснушчатых щеках играли ямочки, мало общего имела с угловатой, пацанистой, нелюдимою девочкой из интерната. А в дочки выбрали ту, нарисованную.

Вика смутно чувствовала обман, и сквозь радость обретения родителей, ей подмигивал страх разоблачения.

Вздыхнув, Вика бережно положила поверх уложенных вещей вешалку с голубым платьем. Пышная юбка в расправленном виде никак не умещалась, девочка решительно смяла ее в комок, запихнула поглубже и, резко, тряхнув головой, застегнула молнию на сумке. Оглядела немногочисленных провожающих, замялась на минуту, кивнула, прощаясь, и вышла за дверь.

Жизнь продолжалась. Как и обещали воспитатели, Васька потихоньку обживался, привыкал. Друзей становилось все больше, обидчиков меньше. Интернатские порядки стали обыденностью. Повседневность прилизывает все шероховатости. То, что не раз повторилось, больше не удивляет, не задевает, не вызывает сильных чувств. Кожа, даже детская, дубеет, слезы кончаются.

Но все равно, он очень скучал без Вики. Васька часто вспоминал, как она тогда храбро за него вступилась, не побоялась старшеклассника. Интересно, увидятся ли они еще когда-нибудь? Может, Вика возьмет однажды, да и приедет его навестить? Ему-то куда из интерната? Такого ребенка никогда не выберут, это ясно. Васька тяжело вздыхал, но долго не печалился: чего уж там, все понятно. Только бы Вика не забыла его и захотела встретиться: у него столько новостей, есть, что рассказать.



\*\*\*

В ту ночь не спалось... Васька вертелся с боку на бок, переворачивал подушку холодной стороной вверх, раскрывался и укрывался, опять высовывал из-под одеяла одну ногу, вторую. Ноги замерзали, Васька начинал дрожать. Укутывался, согревался, казалось, что сон уже близок, но нет. Васька уже вспомнил весь прошедший день в подробностях: серую склизкую кашу в тарелке со сколом на синем ободке, неподдающиеся силуэты букв на занятиях по подготовке к школе, смешную прическу учительницы — волосы поставлены вверх: высоко-высоко над головой. Васька подумал, что, если бы проделать в такой прическе дырку, птицы могли бы летать туда-сюда, как в тоннеле. После обеда ходили кормить собаку Кару, живущую в старом, почти заброшенном, интернатском саду. Будка рядом с въездными воротами, там есть миски для корма и воды, даже цепь — толстая железная, чтобы собака — настоящая охранная овчарка — сидела на ней, когда работает. Кару на привязи не держали, отпускали в сад, где она устало, скорее, по привычке, гоняла птиц и случайных кошек. Тем, кто помогал убираться в столовой после обеда, давали большую миску с костями и клочками мяса и разрешали идти кормить собаку. Ваське сложно разве тарелки собрать? Кара вытаскивала из плоски понравившиеся куски и благодарно поглядывала на Ваську грустными фиолетовыми глазами, А мальчик, подкладывая еще, назидательно приговаривал: «Ты что это выбираешь? Давай все подряд ешь, это витамины. Сансанна не для того готовила весь день, чтобы ты в еде ковырялась». Вечером они с ребятами в прятки играли, потом ужин был: сосиски с пюре. Вкусно. Перед сном, как обычно, смотрели «Спокойной ночи», умывались, чистили зубы. У Васьки еще один зуб недавно выпал, теперь во рту две дырки, поэтому он быстрее всех управился...

Как бы уснуть поскорее.

Вдруг в тишине двора раздался какой-то странный шум. Вроде, Кара, залаяла, тренькнул звонок, входная дверь хлопнула. Какие-то странные звуки, возгласы тихие. Мимо спальни мальчиков торопливыми шагами прошли, громко переговариваясь, дежурные воспитатели. Застучали шаги вниз по лестнице. Все, кто не спал, подняли головы.

— Что там?

— Сейчас. — Никита Гришин приложил палец к губам, выбрался из-под одеяла, на цыпочках подкрался к двери, неслышно приоткрыл ее, юркнул в коридор. Непрерывно оглядываясь, подошел к лестничному проему, свесил голову вниз. И метнулся обратно:

— Вика! Пацаны, там Вика!

Ребята вскочили с кроватей, кинулись к лестнице.

Вика стояла у входной двери, рядом брошена сумка с вещами, Под бегунком молнии виднелся кусочек голубой ткани. Девочка молчала, не двигалась. Не снимала шапку, не расстегивала куртку. Вообще не шевелилась. Никак. Как будто даже не дышала. Васька испугался, вспомнил. Такое же лицо было у бабушки тогда, последний раз. Белое-белое, глаза пустые, незрячие. Вроде и смотрят, но непонятно куда. Ничего в них не отражается.

— Виии-кааа! — Со всех сил закричал он и помчался вниз.

Девочка замерла, глядя прямо перед собой, как будто не слышала его. Васька подбежал, взял ее за руку. Рука была неживая, пальцы упрямились, не разгибались. Отпустил Васька руку, и она упала, стукнувшись об окаменевшую Вику.

— Вика, ты что? Это же я, Васька. Васька! Вика, ну Вика же? Не слышишь? — губы его задрожали, поползли в разные стороны. Слезы мешали видеть, застилали глаза, текли по подбородку.

— Васька! — еле слышно произнесла девочка и, резко обмякнув, упала на пол.

## ОЛЬГА ЧУКА

### МАНСУРОВЫ (ОТЪЕЗД, 1918)

Много раз уезжал Мансуров из дома, но как сейчас — никогда. Прежние отъезды полнились особым подъемом чувств. По телу, как по лоснистым бокам лошади, бежала нервная дрожь. Он поводил зябко плечами, чтобы унять ее, укрыть от чужого глаза. Еще не хватало! — злился князь, действительно, трясет не хуже мальчишки у мыльни с голыми бабами. Но возбуждение перед очередной поездкой будто поворачивало невидимый ключ в невидимом механизме, и тот опять начинало потряхивать.

Путешествия он любил, как может любить их любой молодой мужчина замечательной наружности, с громким титулом и бездонным кошельком. Мансуров нес участь «золотого мальчика» так же естественно, как модные свои плащи или галстуки, которые, кстати сказать, шли ему не меньше боярского кафтана, пошитого к лондонской выставке.

Вчера еще погода была чудесной. Алекс валялся на диване напротив открытых настежь по случаю тепла стеклянных, до пола, дверей балкона и наблюдал за мошкаррой, вылепившейся там, за открытыми створками, в странную живую фигуру. По форме она напоминала ровный столб дыма из печной трубы. Столб этот из мириад мошек не растворялся в воздухе, не поднимался и не опускался, как случилось бы с дымом, а завис и мельтешил по одной и той же траектории. Как броуновское движение — поду-

малось почему-то. И откуда слово такое мудреное выско-  
чило?.. Налетел ветер, его порыва лежавший на диване  
Алекс не уловил, но «трубу» из мошек будто слизнуло. Случилось это столь быстро, что глаз не успел ухватить даже  
малого движения воздуха. Меж распахнутых створок бал-  
кона замер кусок чистого синего неба — цвет, который он  
так любил.

Дверь в комнату отворилась, в нее осторожно, с султан-  
чиком в руке, вошла горничная Елены Дуняша. Ярко выкра-  
шенные страусиные перья небольшой метелки для пыли так  
резонировали с настроением и глубоким синим за окном,  
что Мансуров внутренне умилился такому созвучию.

Заметив расположившегося на диване князя, девушка  
остановилась:

— Простите, ваше сиятельство, я пыль тут собрать.

— Милая, тут не пыль, тут с тряпкой надо б. На балконе  
кто-то варенье разлил утром, мухи налетели.

— Слушаюсь, ваше сиятельство!

Горничная качнулась в скором реверансе и выскользнула  
наружу так стремительно, что несколько разноцветных  
перьев слетели с султанчика и закружились в воздухе, плав-  
но спланировав к полу. Мансуров лениво следил за ними  
взглядом, когда луч солнца, прикрытый шторой, выпутался  
из вязкого бархата и выстрелил — да так резко, да по гла-  
зам, что заставил его зажмуриться. С закрытыми глазами  
усилились звуки улицы.

Будто сорвавшийся с цепи после долгого молчания, бе-  
шеный птичий галдеж слился с гомоном детских голосов,  
доносящихся с заднего двора имения. Слов было не разо-  
брать, но, вдруг выскакивал из общего взбудораженного ха-  
оса звуков то резкий вскрик, то краткий плач, то на секунды  
взлетающий смех — так бездумно и окончательно сменять  
настроения могут лишь дети. Лежал бы и лежал так веч-  
ность, ослепши и слушая улицу, и щеку — ту, что к окну, лас-  
кал бы черноморский бриз.

Сегодня же погода испортилась, не оставив и следа от вчерашней пасторали. Давешний султанчик, его Алекс застучал в чулане под лестницей, куда было сунулся за чехлом от гитары, напоминал сейчас пыльный парик с головенки старого клоуна.

Дом ходил ходуном, что отвлекало и от мерзкой погоды, и от гнусных настроений. С такими настроениями в путешествие Мансуров еще никогда не собирался. Да какое, к черту, путешествие?! Бегство!.. Но и бегство — это хорошо, это хоть какое-то действие, а не то бессмысленное и опасное «сидение в Мытищах», которое длилось больше года. Неужели все позади...

Мансуров вспомнил мальчишку, которого год назад подобрали они из жалости на московском вокзале, отправляясь в Крым. И зря пожалели: мало того, что он оказался вертлявей обезьяны и лез через окно купе на крышу, смертельно пугая Елену с нянькой — каждый раз те вскакивали, пытаясь его поддержать под костистый зад, дабы не выпал под колеса, так еще и покалечил самого Алекса. В полуразрушенном спальном вагоне, полка купе, где ехали они ввосьмером, расшаталась, не выдержала вертлявости негодника и свалилась вместе с ним на дремавшего князя. В довершение ко всему, гаденыш мочился всю ночь под себя, и препротивное амбре в великокняжеском купе витало до самого Симферополя. Ну а на симферопольском вокзале он исчез, растворился.

Много потом было разговоров и смеху. Историю записали в самодельной газете, ее придумала, дабы им всем не помереть со скуки, Оленька Миловидова. Мансуров же нарочно хмурился, когда великие княжны принимались шутить над ним и мальчишкой, чем вызывал еще большее веселье. Он этого и хотел, чем бы дитяти ни тешились. Фронт приближался к Крыму. Обстоятельство это беспокоило лишь старшую часть семейства. Молодые желали радоваться жизни тем сильнее, чем тревожнее становилось вокруг.

Имя мальчишки Мансуров уже позабыл, да и соврал его, небось, пострел. Но сам он, вдруг, вспомнился ясно и ярко, пятки его в ссадинах и в паровозной копоти. А ведь записун этот первостатейный тут остается, а мы вон...

Давеча присланная императрицей Марией Федоровной записка: «Я пребываю в полном смятении из-за того, что вдруг вот так внезапно нас, словно преступников, вынуждают уезжать», — и так-то кинжалом в бок, а тут еще эти пятки.

— Ваше сиятельство, ваше сиятельство! — от входной двери раздался возбужденный, то ли испуганный, то ли радостный, а, скорее, и то, и другое, голос конюха Васьки, которого, чтоб не путался под ногами в суете домашних сборов, послали сторожить к воротам. Мансуров давно приметил, особенно, за людьми простыми, без всяких там излишеств ума, способность радоваться любому, пусть и печальному или даже страшному, событию. Такие, с одинаково выпученными от счастья глазами, могли заорать, как посреди базарной площади: «убиство, убиство!», так и заметив свадебный кортеж: «невесту вязут, невесту!»

Васька, по-жокейски ладненький невысокий блондинчик с ясными голубыми глазами, влетел, запыхавшись, в холл. Глаза блестели той самой радостной искрой, которая могла предвещать, что угодно. Следом, из дальних комнат, донесся немного более громкий, чем обычно, голос Елены: «Приехали!» Пока Мансуров задумывался там, в чулане, и жена, и Васька первыми заметили вновь прибывших.

— Так я ж... и говорю... вашсиятельство... что прибыли, — выдохнул Васька.

— Ты что так дышишь? От Ялты бежал, Фидиппид доморощенный, иль Дуньку в конюшнях до утра гарцевал? — насмешничал, храбрился Мансуров, прислушиваясь к звукам голосов со двора и в доме, к хлопанью дверей и топанию ног. В глубине, от спальни родителей, кто-то тоненько заголосил, и Мансуров, уже не выдержав:

— Кто прибыли, дурень?!

— Так венценосные ж особы, что с Ай-Тюдора, ваше сиятельство, — обиженно зыркнул Васька, — Семейство ваше прибыли-с, с ними казаки, дамы с дитяи, постарше нашей Иринушки. Казаки сказывали, что с вашего пляжа, ваше сиятельство, и поплывете к линкору, — и продолжил, уже в затылок торопливо сбежавшему по лестнице во двор Мансурову, — Отъезжаете и обзываетесь еще, АльсанСаньч, а мы што, не люди? Мы к Вам со всей душой, вашсиятельство. И к лошадкам Вашим, — Васька запнулся, зыркнул, теперь уже озорно, — И к Дуньке...

Мансуров спускался по каменным ступеням сада мимо бесчисленных отцовских львов к большому дворцовому фонтану с наядой, около него, под колоннадой, стояла группа ждавших его людей. Услышав запах маньолии, посожалел мимоходом, что день так не выдался, серая мокрота с неба и с моря подтерла все краски чудесного апрельского сада. Маньоль уже цвела, но сейчас гроздья соцветий набухли влагой, отяжелели, их нежно-розовый едва угадывался. Но сладковатый ванильно-лимонный запах все равно крался сквозь душную плотность воздуха. Раньше Мансуров не чувствовал, но сейчас, вдруг, услышал новый оттенок. Это и насмешило, и обрадовало. Как любой ценитель прекрасного, он умел дорожить подобными находками: в букете оттенков стал явственно слышен запах молодых чесночных стеблей.

Десятилетия спустя, прощальный запах ялтинской маньолии ляжет в основу парфюмерной воды — последнего изобретения их обанкротившегося дома высокой моды в Париже. А пока... Пока он спешил засвидетельствовать почтение Вдовствующей Императрице Марии Федоровне и ее фамилии.

Под дулом одного из орудий английского линкора «Император», куда из Ялты перевезли остатки царской семьи,

стояла большая клетка с двойными решетками, отступавшими друг от друга на расстояние вытянутой детской руки. В клетке сидела... росомаха. Сей факт казался столь нелепым, что Мансуров вначале подумал — обознался и что перед ним не росомаха, а средних размеров медведь. Правда, и медведя застать пассажиром военного судна было бы чудно.

Росомаха привалилась меховым боком к решетке. Как горький пьяница, не в силах удержать, клонил бы голову над последней рюмкой, так и животное горбилось на полу клетки, бессильно раскинув задние и косолапо опираясь на передние, с желтоватыми когтями, лапы. Несоразмерно широкие ступни походили на охотничьи снегоступы, в которых сподручнее идти по сугробам, проверяя капканы. Таких вот шельмецов-браконьеров с попавшей в разбойный их схорон росомахой и встретил князь несколько лет назад у Соловецкого монастыря. Тогда не разглядел, как следует, теперь же...

С небольшой для крупного зверя морды в упор глядели на князя, заставив того поежиться, злобные глазки. Верхняя губа над пастью подрагивала, обнажая хищные резцы. И что-то такое... какое-то напоминание, настолько нехорошее, что князю не хотелось его распознать, шевельнулось внутри. Но загоревшаяся было поначалу угроза скоро поникла, снулый взгляд выражал лишь безучастие к судьбе и усталую покорность. Такой наизнанку выверт природного естества вдруг прошел острой иголкой памяти, будто неловко свернул себе шею. Алекса замутило, ему показалось, что из клетки на него смотрит убиенный «старец». Вытянутое большеротое лицо с клочком бороденки, шишकाстый лоб, покрытый волосьями в скобку, тело расслаблено, но в привычной опаске. Лишь всаженные глубоко к переносице стальные буравчики глаз изменили обычной злобности и глянули на князя так неожиданно ясно и кротко, что князя доверчивая эта покорность будто ударила кулаком в голо-



ву — что я тут делаю?! с ним! приманенным в клетку подвала?!

...Мансуров очнулся. Рука, которая так и оставалась в кармане плаща, занемела и пощипывала, пальцы вцепились в складки ткани, как когда-то в рукоятку револьвера. Выдернув руку, потянул ее вперед, сжимая и разжимая пальцы. Почувствовал облегчение, перекрестился — морок какой-то нашел, надо же? Росомаха тускло моргала, глаза ее слезились на соленом ветру, рисуя на морде темные мокрые полосы. И Алекс, стоя теперь тут, посреди моря, у клетки, явственно, вдруг, осознал никому не нужный: ни ему, ни этому, увозимому куда-то дикому зверю, ни всем, кто собрался на корабле, ни тем, кто остался — нелепый разлад мироздания. Поморщился, отгоняя от себя смутную догадку о своем в нем участии. Тряхнул головой, пытаясь, как дождевые капли с волос, стряхнуть неприятные мысли.

Зарядивший было дождь все никак не заканчивался. Меж горизонтом и судном, повторяя линии беспокойных волн, показались блестящие черные спины дельфинов. В резком одиночном крике чаек шуму заметно прибавилось. Верно, всполошились близкой конкуренции.

— Знакомьтесь с необычным нашим пассажиром, excellency? — раздался за спиной бодрый мужской голос.

Князь обернулся. Перед ним стоял давешний его знакомец из английской команды, с которым перемолвились несколькими фразами по прибытии на линкор и успели представиться.

— Да, лейтенант, странный пассажир, однако, — кивнул Мансуров.

— Отошли бы вы, экселенс, на большее расстояние, хотя, и это может не уберечь, — произнес англичанин преувеличено серьезно, глаза его щурились улыбкой.

Князя в его заграничных вояжах всегда приятно радовала манера иностранцев разговаривать с каким-либо высшим чином. При явном уважении к его статусу, тон нижестоящих не был подобострастным.

— Что так? — подыгрывая намечающейся шутке, улыбнулся Алекс.

— Вчера, когда клетку, укрытую холстиной, подняли на палубу, один из матросов подумал заглянуть внутрь, ну и сей огромный скунс пустил защитную струю. Пришлось горемыке-матросу спать сегодня не в кубрике, а укрывавшую клетку ветошь драила, разложив на палубе, вся команда, — откровенно уже смеясь, рассказывал офицер.

Князь рассмеялся в ответ, оглянулся на сидевшую все в той же позе росوماху, еле поморщился, будто и впрямь глотнул смердящей струи. До него, вдруг, дошло и то, как могло возникнуть недавнее его видение оборотня в клетке. Запах дешевого мыла, которым отдраивали палубу, был тем же самым или схожим с запахом старца в последний вечер. Как же сразу-то этого не понял, дурак стоеросовый?! — дивился на себя Алекс, когда шел на корму за англичанином, слушая того вполуха и думая о том, что зверь уже не жилец и вряд ли дотянет до Константинополя. Да что же это такое?! Вконец расклеился, все о смерти да о смерти — рассердился на себя Мансуров. Надо бы зайти в каюту выпить хорошего коньяку.

## ЛАДА ЩЕРБАКОВА

### В ПОИСКАХ КОЛИ

*Верховный шаман*

—... Дюша, Дюша, ты только послушай, я теперь точно знаю, что нужно делать! Ну какой же я болван, как я раньше об этом не подумал!?! Столько времени потратили даром! — Нолик носился по комнате, задевая мебель и размахивая руками.

«Если бы у него были волосы, он бы их сейчас рвал», — Андрей лежал на диване, краем глаза наблюдая хаотичное мельтешение друга. В данный момент его гораздо больше интересовала муха, вяло передвигавшаяся по потолку. А ей-то чего не спится? А-а-а, понял, батареи вчера включили, наверно решила, что снова лето. Бедняга. Ну, привет тебе, товарищ по несчастью, давай не спать вместе. Где-то на периферии сетчатки продолжалось броуновское движение — мелькали взмывающие вверх руки и блестящий, словно натертый бархоткой череп. Бум-с. Резкий звук заставил Андрея оторвать взгляд от потолка и повернуть голову в сторону друга.

Напоровшись на торшер, Нолик схватился за лоб, замер, благоговейно поднял к потолку указательный палец и торжественно произнес: «Верховный шаман!».

— Чего?

— Дюша, я знаю, что ты сейчас думаешь: опять этот ненормальный мне голову морочит. Но раньше я только

предполагал, а сейчас — сейчас я абсолютно уверен, на все сто, как будто все бродил вокруг да около, а потом раз — молния, свет, катарсис! — Нолик снова замельтешил. — Поверь мне, ну, пожалуйста, ну, в последний раз! Я, когда эту афишу увидел, остолбенел! Меня как громомшибануло!

— Какую афишу?

— У Софочки в клубе — она туда на йогу ходит. Я за ней заехал вчера вечером и, пока ждал, от нечего делать афишу читал. И вдруг — бац, вот оно, это же перст Божий — прямо носом меня в нее ткнул! Нет, ну я все-таки дурак, инфузория без тувельки, я же рекламку взял. — Нолик бросился в коридор и притащил оттуда свой старенький портфель. Дрожа от возбуждения, он щелкал долго не поддававшимся замком, после судорожно рылся в набитой бумагами утробе. — Ну где же она, где... Черт! Не вытерпев, он перевернул портфель вверх дном и высыпал все содержимое на пол. Вот!

Из образовавшейся кучи он выудил наконец какую-то бумажку и торжественно протянул Андрею. Тот нехотя взял. На обложке было изображено странное существо в утыканных перьями одеждах. В одной руке оно сжимало внушительных размеров палицу, а в другой — то ли щит, то ли бубен, испещренный непонятными знаками. Из-под рогатого шлема свисали длинные спутанные пряди. Надпись гласила: «Шаманские путешествия в психотерапии. Чакральный подход и параллель с шаманизмом».

— Что это за херь? — Андрей отбросил листовку. — Ты это, правда, всерьез? Пожалуйста, скажи, что нет, иначе я тебя приблю.

— Не прибьешь, сил не хватит, — уверенно произнес Нолик. От его суеты не осталось и следа. — И вообще, я тебе уже билет купил, — потупился он.

— Билет?! Куда?

— В Улан-Удэ. Вылетаешь завтра в 7 утра. На месте будешь в час дня.

Андрей резко поднялся. В голове зашумело.

— Нолик. Послушай. — Слова давались ему с трудом. Выкатывались из горла тяжелыми свинцовыми шариками. — Как бы это сказать помягче. Ты мой... Ты мой Очень. Хороший. Друг. И я очень ценю. Все, что ты. Для меня. Делаешь. Но... не пошел бы ты, а? — Шарики, расталкивая друг друга, заскакали быстрее. — Все, угомонись, слышишь? Забей. — Андрей прижал основания ладоней ко лбу, выдавив на нем два темных пятна. — Экстрасенсов мы уже пробовали. К мозгоправу ходили. Обфеншуились, мать твою, по полной программе! Фигус твой, кстати, сдох. Будешь уходить — захвати, отволоки на помойку. Видимо все-таки надо было на север, а не на юг ставить. — Он как-то дико, нелепо расхохотался. — Еще только шаманов мне для полного счастья не хватало. Шарлатаны они все! Бабковыбивальщики. Я в эти игры больше не играю. Не помогает, НЕ ПОМОГАЕТ!!! — закричал Андрей и снова повалился на диван. Потолок был пуст. Муха исчезла.

— Андрей, ну, подожди, не горячись. Я же тебе еще не все рассказал! Помнишь, лет пятнадцать тому назад я в экспедицию на Байкал ездил — мы там всякие байки фольклорные собирали? Ты тогда с нами не поехал, а потом жалел, помнишь? — Про то, что не поехал, Андрей помнил (суровые походные будни и прелести народного фольклора он променял на теплое море и бесконечный секс в студенческом лагере). А вот про то, что жалел, — не помнил. Впрочем, Нолик, как всегда, в диалоге особо не нуждался. — Нас тогда в шаманские края занесло — в устье Селенги. У них там эти, как их там... места силы! Ну, там, где они свои обряды отправляют. А мы к ним прямо на сходку и попали! Не чаяли даже, что так повезет, думали — прогонят, а они, мол, сидите в стороне, смотрите, только не мешайте. Ты представь, — Нолик аж подпрыгивал от возбуждения, — на дворе жара, все дотла выжжено — ни травинки зеленой, прогноз на месяц вперед — плюс 40, вот они и собрались —

духов дождя вызывать. Человек двадцать, не меньше. Обряд у них такой — на ночь на улицу ставят чашу с родниковой водой, за ночь она набирается живой энергии, а потом они вокруг нее скачут — в бубны бьют, стонут, и заклинания выкрикивают. И еще подвывают — у них это называется «камлают». А потом как начнут друг друга из чаши поливать! И что ты думаешь — ночью гроза началась, такой ливень хлынул, что нашу палатку чуть не смыло! И дождь, это все так — ерунда. Они людей лечат. Серега Кузин, помнишь его, рыжий такой, стихи писал? Он туда с язвой приехал, а вернулся уже без! Исчезла, исчезла язва, представляешь?! Как и не было ее вовсе. Да ты меня вообще слушаешь?

Ура! Вот она. На люстре притаилась. Там тебе поспать не удастся, переползай за шкаф. Умница, все верно, по стене и налево. Нолик продолжал фонить, как телевизор, который забыли выключить на ночь. Господи, когда же он угомонится?

— Знаешь, у меня предчувствие, не могу объяснить, меня прямо распирает изнутри! — Тот вовсе не собирался останавливаться. — Тебе обязательно нужно туда поехать! Сам не понимаю, как я сразу про это не вспомнил, дубина стоеросовая. — Нолик вдруг на секунду замер, затаил дыхание, медленно свернул рекламку трубочкой и изо всех сил ударил ею по стенке. Андрей вздрогнул и проводил глазами падающий за спинку дивана трупик. На лице шамана расплылось темно-коричневое пятно.

Нет, не отстанет. Этот точно не отстанет. Андрей смотрел на друга с тоскливым удивлением — а ведь ему и правда не все равно, возится со мной как с писаной торбой. Только зря все это, зря...

На следующий день он приземлился в Улан-Удэ.

\*\*\*

Нолик посоветовал сразу ехать в Манчуево — там верховный шаман живет, самый знаменитый на всю округу целитель. «Я сам его не видел, но говорят, капризный очень, ему понравиться надо, — предупредил друг, — скажешь что-то не то, отвернется и разговаривать не станет. А если станет — во всем его слушайся и не перечь. Заставит паука проглотить — глотай, будет в тебя горячей головешкой тыкать и в ухо кричать — лежи и не дергайся. Иначе ничего не получится». — «Знаешь, мне терять нечего, если я еще месяц не поплю, в меня не то что тыкать, гвозди забивать можно будет. А ты меня пауками пугаешь».

«Манчуево? Не, занято», — отвечал ему уже четвертый по счету таксист, хотя очереди на их услуги особо не наблюдалось. С пятой попытки машину найти удалось, правда, за цену, которую запросил маленький, суетливый водила с нагловатой ухмылкой и прилипшей к губе сигаретой, можно было вернуться обратно в Москву.

«К шаманам собрались, хе-хе? — таксист бросил ироничный взгляд в зеркало заднего вида. — Ну-ну... Ишь, отважные все какие. А если заколдуют? Говорят, они человеческой энергией питаются, кормушку себе ищут. Сцапают человека и не отпускают, пока все соки из него не выпьют, тьфу, нехристи». «Ну, этим меня точно не испугаешь, — ухмыльнулся про себя Андрей, — из меня уже особо высасывать нечего».

Из-за едкого дыма, пропитавшего каждый сантиметр машины, было трудно дышать. Андрей приоткрыл окно, жадно глотнул свежего воздуха. Еще один пустомеля, и чего все лезут, какое им всем до меня дело?!

Шофер остановил машину, не доезжая до деревни, вглубь ехать отказался: тут недалеко, вон, за деревьями до рога сворачивает, через 10 минут будете на месте. Послуня-

вив пальцы, он пересчитал купюры, довольно крикнул и черкнул телефон на пустой пачке из-под сигарет: «Звоните, если что, заберу вас, как надумаете».

Андрей выбрался из машины, глубоко вдохнул. После газовой камеры салона прохладный осенний воздух показался ему сладким — захотелось лизнуть. Где-то за лесом шумела вода. Он огляделся по сторонам — бурая, набухшая от влаги дорога, щедро усыпанная желто-зелеными листьями. Выбросив в кусты вонючую пачку, Андрей пошел в указанном таксистом направлении. В голове образовалась приятная пустота. Короткие, ничего не значащие мысли падали в нее с приятным звоном как пятаки в пузатую копилку. Зыбкую тишину, будто ножом, распорол крик невидимой птицы. Андрей вздрогнул и огляделся. Леса не было. Дорога закончилась. Он стоял у какого-то покосившегося забора. Пряный запах щекотал ноздри. Из глубины двора тонкой струйкой поднимался в небо горьковатый дым — кто-то сжигал пожухлую листву. Как же он не заметил, что оказался в деревне? Чудеса, да и только.

Андрей заглянул за забор. Костровище еще теплилось, но хозяев не было видно. Он побрел наугад, высматривая прохожих. Узкие кривоватые улицы заканчивались так же неожиданно, как и начинались. То тут, то там были натыканы деревянные темные от сырости домики с голубыми ставнями. В их расположении не было никакой логики. Некоторые жались друг к другу как замерзшие в лесу дети. Другие демонстративно разбегались подальше друг от друга, как соседи, разругавшиеся из-за забредшей в чужой огород козы. Андрей почувствовал, что устал. После очередной бессонной ночи и долгого перелета кружилась голова. Он присел отдохнуть на свежий остро пахнущий сруб. Куда же все подевались?

Словно в ответ на его вопрос из-за ближайшего забора высунулась маленькая черная головешка с узкими любопытными глазками. За ней показалась тонкая шея и красная



куртка. Пацаненок лет шести с интересом разглядывал незнакомца. Ну хоть кто-то живой, обрадовался Андрей. Он помахал рукой: «Привет! Ты один дома? Я тут у вас первый раз. Шамана ищу. Знаешь, где он живет?». Мальчишка улыбнулся и уверенно махнул головой. «Можешь отвести? Я тебе 100 рублей дам». Через пару секунд новый знакомый материализовался уже перед забором. Получив обещанное вознаграждение, он молча протянул руку, мол, идем. Андрей поднялся на ноги, взял крепкую теплую ладошку и тяжело побрел, едва поспевая за шустрым поводырем.

Мальчик привел его к избе — ничем не примечательной, с точно такими же голубыми ставнями, как и во всей деревне. Он указал путнику куда-то внутрь двора и исчез так же внезапно, как и появился. Приглядевшись, Андрей увидел нечто, неподвижно сидевшее на скамье возле дома. Бесформенный кокон, из которого выглядывала крошечная голова в ореоле мутного дыма. «Здравствуйте, — Андрей махнул рукой, привлекая внимание, — можно войти?». Кокон остался неподвижным, голова нехотя повернулась, — точь-в-точь разбуженная посреди дня сова, и слегка кивнула. Андрей открыл калитку, подошел, пригляделся.

На скамейке сидела женщина в огромной не по размеру куртке. На фоне этого балахона все остальное — голова, руки, ноги — казались несоразмерно маленькими. Станный облик дополняли растоптанные тапки на босу ногу и натянутая по самые брови вязаная шапка. В последние раз Андрей видел такую в детстве, у бабушки. Возраст определить было сложно. Должно быть лет шестьдесят, а может пятьдесят или семьдесят, кто ее разберет в таком «наряде». Женщина насмешливо разглядывала Андрея двумя черными запятыми, как будто вырезанными на ее скуластом лице острым ножом. От уголков глаз к вискам и подбородку проворными змейками струились тонкие морщинки. В руке она держала курительную трубку и время от времени глубоко затягивалась, постукивая по ней желтоватым, слегка загнутым ногтем.

Андрей мотнул головой, отгоняя подступивший к горлу комок:

— Простите, я наверно ошибся.

— Заходи, раз пришел, — хозяйка дома прищурилась и выпустила изо рта причудливое облако дыма.

Андрей послушно остановился и пробормотал:

— Я вообще-то к шаману, не подскажите, как его найти?

Женщина ослабилась одним уголком рта. Запятые на ее лице весело заплясали:

— Так я и есть шаман! — Она явно наслаждалась произведенным на гостя впечатлением. — А ты кого ждал? Старика с космами и в шапке с рогами? — Она хрипловато рассмеялась. — Зачем тебе шаман?

— Вы? А, ну да, простите... — Чертов Нолик, предупредить же надо! — Мне помощь ваша нужна. Дело в том, что я... я не сплю. Ну, почти совсем. Не могу заснуть. И ничего не помогает. Даже таблетки, ничего. Я заплачу, сколько скажете, только помогите. Пожалуйста.

Женщина едва заметно нахмурилась, зыркнула на Андрея своими запятыми, затянулась и, слегка выпятив нижнюю губу, выдохнула очередное сизое облако. Отвернувшись, она как черепаха втянула голову в кокон и как будто забыла о существовании гостя.

Андрей ждал, переминаясь с ноги на ногу, мучительно хотелось сесть, а лучше лечь. Он с вождением посмотрел на кучу опавших листьев возле забора. «Господи, что я здесь делаю? Похоже, это чучело про меня вообще забыло». Он попятился к калитке. Шаманка зашевелилась:

— Стой, куда собрался? Подойди.

Андрей с опаской приблизился. Она встала напротив и ткнула ему в грудь своим когтистым пальцем. Начертила какой-то невидимый знак. Наклонила голову, словно прислушиваясь:

— Не спишь, говоришь? А как заснешь, если душа не на месте? Убежала твоя душа, плохо стерег. А денег мне

твоих не надо. Не помогу я тебе. И никто не поможет. Сам душу потерял, сам и ищи. Езжай домой. Только поторопись, времени мало. Твой автобус скоро придет.

Женщина села, отвернулась, поднесла к губам трубку и глубоко затынулась. Она явно не собиралась продолжать разговор.

\*\*\*

Андрей не верил своим ушам — ему хотелось расплакаться от обиды, как ребенку. И это все? И ради этого он сюда притащился? Верховный шаман, мать твою! Что она там бормотала — потерял душу? Ну что за бред? И как он мог повестись на очередные байки Нолика? Ухватился как дурак за соломинку. Уже за калиткой он вспомнил, что не знает, где остановка, хотел было вернуться, но передумал. Ладно, найду сам — в крайнем случае, спрошу кого-нибудь. Через несколько шагов его догнал мальчонка в красной куртке и молча сунул в руку какой-то клочок бумаги. Это оказалась записка, в которой было всего два слова: «Найди Колю». Еще один бред. Издевается она над ним, что ли? Он скомкал бумажку и бросил в кусты. А остановка, остановка-то где? Андрей обернулся — красной куртки нигде не было видно.

Морось, висевшая в воздухе, превратилась в плотный почти ощутимый под пальцами туман. Предметы казались немного размытыми, не прорисованными, как на брошенной впопыхах акварели. Андрей поймал себя на мысли, что хочется взять тряпку и протереть лобовое стекло. Он медленно ковылял, спотыкаясь о набросанные ветром ветки, ноги подкашивались, хотелось есть, пить. Скорей бы в автобус, и домой, домой.

Избушки закончились. Завернув за угол, Андрей увидел пустырь. Ни дороги, ни остановки. Он повернул обратно. Кого бы спросить? Куда все, черт побери, подевались в этой деревне, вымерли что ли? Или атомная станция взорвалась

поблизости? Стало стремительно темнеть. Он остановился и оглянулся. Со всех сторон его окружали бревенчатые домики с голубыми ставнями. Странно, подумал он, откуда их здесь столько? Когда приехал — их явно было меньше. Точно — надо идти туда, где он расстался с таксистом — дорога-то одна, остановка наверняка где-то рядом. Что же там было? Дорога, лес, запах. Точно! Какой-то до боли знакомый запах! Чем же там пахло? Терпкой слегка разложившейся листвой, сыростью, дымом... Нет, не то... Там еще что-то шумело. Точно — вода! Там где-то рядом была река или ручей! И пахло речной водой — такой густой тягучий запах. Здесь рекой не пахло. Он еще раз огляделся — вдали, за крышами домов сгустились деревья. Точно, мы же ехали через лес, нужно идти туда. Она сказала, времени мало — автобус скоро приедет. Да и темнеет уже. Надо торопиться.

Андрей повернул в сторону быстро теряющего очертания леса. Он продрог и потуже затянул шарф, где-то у него были перчатки. Он полез в карман и наткнулся на скомканный огрызок бумаги: «Найди Колю». А-а-а, это записка, которую ему принес мальчик. Так, а что она здесь делает? Я же ее выбросил? Или только хотел? Нет, точно выбросил. Давай, улетай, хватит мне голову морочить вашими бреднями — эта хоть денег не взяла, и на том спасибо. Он открыл ладонь. Порыв ветра выхватил клочок бумаги, подбросил в воздух и плавно опустил к ногам. Ну-ну, значит так? Ну что ж, посмотрим, кто кого переупрямит. Ускорив шаг, Андрей двинулся в сторону деревьев. Мельком оглянулся — на земле маячила белая точка. Отстала.

Через несколько шагов он неожиданно уперся в забор — как он мог его не заметить? Где же эта дорога? Вокруг него плотным кольцом стояли темные, похожие друг на друга как близнецы дома. На их крыши грузно опустилось рыхлое небо. Андрей закрыл глаза руками и затряс головой. Чертова деревня. Наваждение какое-то. Резкий порыв ветра, хлопнувший незакрытой калиткой, вывел его из оцепене-

ния. Надо выбираться отсюда. Андрей рванул калитку, ринулся через двор, с грохотом опрокидывая прыгающие под ноги грабли и пустые ведра. Откуда-то взялись силы перескочить через забор — еще один как под копирку срисованный двор. Куда? Куда? Краем уха он выхватил из тишины скрип несмазанных петель. Перепрыгнув через костровище, кинулся по диагонали — на звук. Ворота! Сюда! Еще один рывок — наружу. Хрясь — оглушительный звук рвущейся ткани распорол мозг. Чертов гвоздь, чертова деревня, чертовы шаманы. Улица! Слава Богу, улица! Бежать. Бежать, что было сил. Быстрее. Быстрее! Бежать было сложно, земля, скользкая, липкая чавкала под ногами, клеилась к подошвам, не отпускала, ба-бах! Поскользнувшись, он рухнул ничком, сшибая локти, колени. С трудом перевернулся, привстал, отряхнул с саднящих ладоней грязь. К куртке что-то прилипло. Какая-то сморщенная от влаги бумажка. Он хотел было смахнуть ее рукой, но потом передумал и осторожно поднес к глазам: «Найди Колю».

Где-то совсем рядом, за поворотом послышался шум — что-то большое, шурша по мокрому асфальту, надвигалось из мрака. Вспыхнули круглые желтые глаза. Андрей зажмурился, схватился за какой-то столб и поднялся на ноги. Он стоял на остановке, зажав в руке размокший клочок бумаги. Медленно подъехал автобус.

## ЕКАТЕРИНА ЯСНОПОЛЬСКАЯ

### ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?

Они все ехали и ехали по пустынной дороге, когда Марина вдруг загрустила. Не то чтобы ее расстроила песня, вдруг заплакавшая в радиоэфире, или обидело долгое молчание Вадима, ни при чем были и длинные низкие облака, из-за которых еще пробивались последние уже синеющие лучи солнца, и мощные кручи гор вдалеке справа, даже кружащие над долиной орлы не были причиной того, что сердце ее вдруг сжалось, а в уголках глаз начали собираться слезы.

Она смотрела в окно, и вспоминала. Вспоминала, как маленькой родители отправили ее в пионерский лагерь, и как там она сидела в пустой комнате на краю кровати, пока другие дети играли перед корпусом. Тогда она тоже долго молчала. Молчала и плакала, вспоминая мамины руки, ее запах, улыбку. Мама примчалась через несколько дней и забрала ее в город. И они ехали с ней в автобусе, и Марина обнимала мамину руку сразу двумя своими. А потом сидела дома на кухне и смотрела на ее спину, пока мама чистила картошку. Думала, что одна больше никогда никуда не поедет. Ни за что!

А потом в студенческие годы они с Ленкой исколесили весь Крым. Катались на автобусах, ездили на великах, ходили по горам пешком. Друзей находили везде, шумными компаниями купались в ночном море и останавливались на привал в долинах, пахнувших полынью. Всегда смеясь, вечно с рюкзаками и никогда без гитары.

И вот теперь она ездит в отпуск вдвоем с ним. С Вадимом. Их отдых всегда продуман, программа согласована. Осмотр достопримечательностей выверен, как маршрутная карта водителя автобуса. Так и ждешь, что на конечной в будке тебя встретит толстая, уставшая диспетчерша, возьмет из протянутых рук выгоревший под лобовым стеклом листок, черкнет что-то в журнале и отпустит в обратный путь.

Но в этот раз все складывалось особенно напряженно, их путешествие было слишком стремительным, слишком торопливым — Марина это чувствовала, хотя и понимала, что по-другому за три недели все намеченные страны просто не объехать. Не то чтобы ей хотелось остановиться, нет. Любопытство подгоняло вперед и только вперед. Но даже в самой интересной гонке с препятствиями обязательно наступает момент, когда сил не остается. Бегуну просто необходимо второе дыхание. А у Марины его не было.

Последние несколько минут они ехали за таким же джипом, как у них. Большой и белый, как принято в этих жарких краях, он скользил по дороге, а в его крытом багажнике за запыленными стеклами возились два карапуза. Лет трех-четырех, решила Марина приглядевшись. Она глубоко вдохнула, выныривая из глубины своих мыслей. Вадим по-прежнему молчал и сосредоточенно следил за дорогой. Магнитола все также вздыхала балладами.

— А как ты думаешь, мы могли бы приехать сюда с детьми?

Ответа не последовало. Марина повернула голову и пристально посмотрела на Вадима. Его взгляд все также был прикован к дороге.

— Вадь, ты меня слышишь?

— Конечно, слышу. Чего?

— Я говорю, с детьми здесь наверно клёво. Интересно им, настоящая Африка. Вон видишь, как их можно возить?

В кузове! Весело же. — Марина показала на детей, мелькающих в стеклянном капкане авто.

— Ну да, хорошо придумали. Матрас им кинул назад, и пусть кувыркаются.

— Только ты ведь детей не хочешь! — горько процедила она.

— Почему не хочу? Я же говорил уже, что я не против.

— «Не против» — еще не значит «за»! Получается, это все только мне надо! — сама того не желая, Марина вскипела и уже не могла сдержать упреков. — А тебе вообще все равно! Хочешь — рожай, хочешь — не рожай, так что ли?!

— Почему все равно? Просто я хочу, чтобы ты была довольна! Что в этом плохого? — Вадим опешил от неожиданной атаки. Он терпеть не мог эти бессмысленные приступы вредности, когда Марина начинала придирается к каким-то ничему не значащим словам, или, что было еще хуже, злилась на мысли, которых в его голове даже не было.

— Ты же все время на работе! Тебя даже в выходные не всегда оторвешь от дел! И как тут воспитывать ребенка? Я ему по фотографии о тебе рассказывать буду?

— Почему по фотографии? Сама вечно в своих командировках! — Вадим начинал терять терпение. — С чего ты взяла, что отец им нужен будет больше, чем мать?! Сначала реши, надо тебе детей или нет, а потом на меня бросайся!

— Надо ли мне? А я что сама их должна делать? Или от Святого духа?!

Жаркий пряный воздух в машине закипал от децибелов крика, наложенного на музыку и шум мотора. И пока спорящие подбирали все новые, еще более ядовитые комментарии, окружающий пейзаж заливала тишина. Зарево заката пряталось за горизонтом, и на небе зажигались целыми созвездиями звезды. Ветер нес прохладу, остужая раскаленную долину и рассекавшую ее черную, гладкую, как кожа буйвола, дорогу. С высоты птичьего полета, где парили еще чаявшие добычи птицы, летящий по этой дороге джип ка-



зался игрушкой, белеющей в сумерках. Ничто не нарушало торжественного покоя уходящей в ночь саванны. И лишь в самой машине, за шестью миллиметрами лобового стекла гремели обиды, накопленные годами, казалось бы, спокойной жизни. Водопадом срывались упреки. Марина уже рыдала в голос, а Вадим, устав от непредвиденных объяснений, стучал то и дело по рулю, хрипя в верхних октавах.

— Когда это я говорил, что я тебя не люблю?!

— Зачем говорить, когда все и так видно!

— Да что видно?! Напридумываешь себе, а я почему-то должен оправдываться!

— А ты всегда так орешь на тех, кого любишь?!

— А как тут не орать. Когда ты всякую чушь несешь! Достала уже!

— Вот, уже достала! А еще говоришь, что любишь! Ты на мне ведь даже не женился! А все потому, что не нагулялся еще! Конечно, вас мужиков в ЗАГС и не заманишь!

— Не женился! Нет, вы только послушайте, не женился! — почти простонав, последние слова, Вадим внезапно замолчал. Марина продолжала реветь, обиженно вжимаясь лбом в боковое стекло. Вадим же, оглушенный последним обвинением, уставился на горизонт.

Четыре с половиной года назад, когда он шагал по мартовскому подтаявшему снегу и брезгливо перепрыгивал особенно широкие лужи, у него даже в мыслях не было, что его можно так быстро довести. Конечно, спокойным назвать его характер не могли бы даже самые добрые из близких друзей, но эта природная вспыльчивость обычно выплескивалась в мир крепкими словечками, брошенными сдержанным басом, или коротким ударом ладони по бедру, на худой конец яростной тирадой в лицо обидчику. Но всегда коротко, хлестко, с кучей аргументов и порцией злого циничного юмора. Пух! — и остыл. Все быстро, наотмашь, в ритме его скоростной городской жизни. И только Марина могла довести его до такой беспомощной злости, как сегодня. Нака-

лить до предела человеческого гнева, когда в душе просыпалось что-то звериное, неистовое, ослепляющее и никогда не подчинявшееся разуму. Тогда, всего четыре года назад, он еще не мог себе такого представить.

Он шел торопливым шагом от метро, надеясь добраться до своего приятеля чуть раньше, чем его еще вполне сносные, но уже не слишком надежные кроссовки дадут течь. Приятеля звали Серёга, и в тот день он устраивал вечеринку по случаю перехода в новый филиал. Уходил с повышением, развивать дело на новом месте, так сказать, а потому на приглашения не скупился. К тому времени, когда Вадим запыхавшись отворил дверь какого-то полуподвального ресторанчика на Маросейке, в отдельном зале у накрытого стола сидели, прохаживались и пританцовывали не меньше трех десятков гостей, причем некоторых Вадим ни разу не видел на службе. Вероятно, Серёга решил немного сэкономить и позвал как старых боевых товарищей, так и будущих коллег по цеху.

Среди этих незнакомцев ему и встретилась она. Как это бывает, один скучающий взгляд, натолкнулся на другой. Проскользнула улыбка, ей навстречу другая. Вежливое знакомство, легкий разговор и первый, волнующий, хоть и невинный танец. Еще тогда что-то в Марининой улыбке, в том, как она произносила слова, будто слегка поторапливая их, и в том, как она мимолетным жестом поправляла волосы, успокоило Вадима. Он знал, что с ней у них все получится. Они точно будут счастливы, долго и наверняка. И, хотя серьезных отношений Вадим не заводил уже несколько лет, с тех пор, как развелся со своей первой женой, на этот раз он с самого начала чувствовал, что торопиться некуда. Все случится так, как случится, и тогда, когда случится.

В конце вечера они обменялись номерами телефонов. От предложения проводить ее до дома Марина отказалась. Еще через неделю Вадим позвал ее на второе свидание,

но и после него к Марине домой Вадим не попал. Тем не менее, уверенность в странной предопределенности этой встречи не позволяла ему сомневаться, и где-то через пару месяцев регулярных визитов в рестораны, кинотеатры и выставочные залы, его настойчивость дала плоды.

Фактически с первой же ночи они стали жить вместе. Точнее, неизменно ночевать вместе — то у него, то у нее. А еще через полгода впервые поехали в отпуск, к берегам Эгейского моря. И все шло настолько ровно и спокойно, что как-то поздно вечером, сидя в метре от нашептывающего сладкие грезы прибоя, Вадим нащупал в остывающем песке теплую ладонь девушки, прижал ее к груди и прошептал слова, которые, как он думал, больше не скажет никому.

— Выходи за меня!

Марина смущенно улыбнулась, в глазах ее была нежность. Только вот радостного согласия он в тот вечер так и не услышал.

Ведь она, конечно, тоже его любит... Но у них такие разные жизни... Да и квартиры две. Разные привычки, разные увлечения, разные друзья... Да и зачем?!.. Марина уверяла, что вообще не верит в брак. И это лишь пережиток прошлого или гарантия на будущее, в которой она, самодостаточная и безусловно любящая его девушка, совсем не нуждалась. Разумеется, когда они захотят расширить семью и продолжить род, она за него выйдет. Конечно, да! Но не сейчас. Потом. Когда-нибудь потом.

Так они после этого и жили, будто ничего и не случилось, будто Вадим ничего не предлагал. А всему миру они, не сговариваясь, демонстрировали прочный семейный союз. Вели себя при посторонних всегда так, будто все у них уже было — и помолвка, и свадьба, и медовый месяц. В гостиницах, самолетах, ресторанах и на светских мероприятиях Вадим неизменно представлял Марину, как свою жену. А та, в свою очередь, в отвлеченных разговорах всегда упоминала, что замужем, и даже в телефоне переписала

его номер с приятельского «Вадик» на формальное «мужж-жж».

Вадим горько усмехнулся и посмотрел на свою спутницу.

Марина уже не плакала, а лишь устало шмыгала носом.

— Знаешь, что? Я думаю, ты просто сама не знаешь, чего ты хочешь! Ты, как маленький ребенок, пытаешься играть во все игрушки сразу. А так не пойдет. О каких детях может идти речь, когда ты даже не решила, кто будет их отцом?!

— Как же не решила?.. — слабым голосом попыталась возразить она, но на этот раз Вадим не дал себя перебить: — Это не я на тебе не женился, а ты за меня замуж не пошла! Впрочем, может оно и к лучшему.

Больше в этот вечер никто ничего не сказал. Через десять минут они свернули с дороги к гестхаусу. На стойке ресепшен никого не было. Лишь записка для припозднившихся постояльцев и ключ от комнаты.



**Non-fiction. Мастерская  
Алексея Вдовина  
(зима — весна 2017)**



## АНАСТАСИЯ БОРЯК

### ДАЙСАКУ ИКЭДА: ЯПОНСКИЙ МИРОТВОРЕЦ И ЕГО ПОДНЕБЕСНАЯ ИМПЕРИЯ

*Что такое Сока Гаккай?*

«Станция Синаномати, Синаномати, — разносится по вагону звучный женский голос, — выход справа».

Вы ступаете на платформу, идете по указателям к эскалатору, занимаете строго правую его половину и поднимаетесь наверх. Удивительно тихо, и это всего в паре остановок от самой «ню-йоркской» части столицы Страны восходящего солнца — сумасшедшего, гулко-го, непредсказуемого токийского перекрестка на Синдзюку. Антураж же Синаномати своим размеренным темпом уже гораздо больше напоминает нечто исконно восточное.

Выходите. Осматриваетесь. На вид Синаномати — самый обычный токийский квартал: кругом те же душные и скучные современные здания, те же магазины быстрого обслуживания, те же дотошные аккуратность и чистота. Только как-то подозрительно малоллюдно, а на большинстве витрин магазинов, будь то обычный книжный или овощная лавка, висит румынский триколор. Нередко можно увидеть и портрет некоего японца преклонных лет, слегка похожего на жабу с добрыми глазами. Не очень ясно, кто он и чем заслужил украшать собой стены и окна. И причем здесь флаг Румынии?



Все вопросы вы задаете случайному прохожему, который и объясняет вам, что Синаномати не совсем обычный район и что не просто так здесь повсюду развешаны флаги. Вот только это отнюдь не флаги Румынии, а международной буддистской организации Сока Гаккай (дословный перевод: общество созидания ценностей). От румынского его отличает лишь вкрапление посередине небольшого Цветка Сутры Лотоса, напоминающего по форме шестеренку.

Сока Гаккай — небуддистское движение, основанное на учении, которое создал японский монах Нитирэн в XIII веке. Его целью является достижение мира во всем мире, для чего Сока Гаккай занимается образовательной, культурной, гуманитарной и политической деятельностью как внутри Японии, так и на международной арене — на базе ООН.

Вам рассказывают, что Синаномати — негласный район Сока Гаккай в Токио, где расположены ее штаб-квартира и многочисленные культурные центры. Вас предупреждают, что организация имеет неоднозначную репутацию в Японии. Сама Сока Гаккай ни разу себя не дискредитировала. Однако в Японии существовали и иные небуддистские организации, которые известны своей радикальной деятельностью. Например, секта Аум Синрикё считается экстремистской и террористической из-за зариновой атаки, которую ее члены устроили в токийском метро в 1995 году. Тогда погибло от 10 до 12 человек. В секту зазывали обманом, а тех людей, что желали выйти из ее состава, попросту убивали.

Именно поэтому в Синаномати относительно немногочисленно. Обычные японцы побаиваются Сока Гаккай, хотя она вроде бы никому вреда не причиняла. Но вдруг причинит? В этот момент у вас появляется еще больше вопросов, но ваш новый друг спешит, и даже восточная вежливость не в силах более удерживать его рядом с потерявшимся иностранцем. И вы остаетесь один на один с желанием прояснить возникшие вопросы.

Словно в ответ, вы как будто нарочно проходите мимо одного из культурных центров Сока Гаккай, где по удачному стечению обстоятельств работает выставка «История Сока Гаккай». Случайность? Если верить буддистским законам кармы, случайностей не существует.

Выясняется, что эта выставка открыта специально для юных адептов, которые только недавно научились читать по-японски и желают узнать, во что они, собственно, верят. Как раз подходит для уровня вашей любознательности — самые основы максимально простым и понятным языком. На входе вам с широкой улыбкой выдают бумажную корону, вы нахлобучиваете ее на голову. Немного жмет, конечно, но ничего, все равно приятно.

И вот вы заходите, моментально оказываясь в интерактивном водовороте фотографий, видео, инсталляций. По ним вы узнаете, что Сока Гаккай была создана союзом учителей в Японии в тридцатые годы XX века и довольно быстро приобрела оппозиционную милитаристскому режиму направленность: организация выступала против насилия и захватнической политики. Из-за этого двое ее основателей попали в тюрьму, один из них там и скончался. Оставшийся в живых лидер, Тода Дзёсэй, вышел на свободу за два месяца до окончания Второй мировой войны и продолжил начатое. Он связал светскую образовательную организацию с буддизмом Нитирэна, согласно которому все проблемы общества идут от упадка почитания законов буддизма. Если вновь начать почитать их, то все наладится. Такой простой формулой спасения Сока Гаккай и привлекла японский народ, который после унижительного поражения во Второй мировой войне был вынужден искать новые ценности.

Фотографический ряд аккуратно разбавлен развешанными на стенах выдержками из газеты «Сэйкё симбун» (печатное издание организации, в переводе с японского означает «газета священного учения»), а также большим количеством цитат, под каждой из которых стоит под-

пись — Икэда Дайсаку. Этого имени вы еще не слышали, а потому ненадолго задерживаетесь перед черно-белой фотографией сороковых годов XX века. На ней запечатлено двое юношей. Тот, что сидит слева, довольно сильно напоминает уже знакомый вам портрет японского старика, похожего на жабу с добрыми глазами. Только здесь, на фото, он еще совсем молодой. Судя по всему, именно его и зовут Икэда Дайсаку. Под фотокарточкой не оказывается никакого пояснения, и вы двигаетесь дальше.

Идут пятидесятые годы. Организация развивается, начинает издаваться «Сэйкё симбун», создается штаб-квартира в Синаномати. Вот фотография 1954 года, где все тот же Икэда Дайсаку забирает первую партию молитвенных сборников из типографии, а вот еще один снимок, сделанный в том же году, на котором он стоит рука об руку с Тода Дзёсэй. На следующей карточке 1956 года Икэда с серьезным лицом смотрит в объектив, сидя за столом в штаб-квартире, а чуть позже он предстает перед восторженной толпой последователей по случаю его освобождения из тюремного заключения в 1957. В тюрьму он попал за свою политическую активность: на региональных выборах в префектуре Юбари (остров Хоккайдо) кандидаты от Сока Гаккай неожиданно обошли представителей союза шахтеров, которые традиционно набирали большинство. В результате Икэда подставили, и на него завели дело в полиции. Вскоре, впрочем, его закрыли.

Вы идете дальше вдоль ряда снимков и ловите себя на мысли, что в них изменилось что-то существенное. Если до 1958 года Икэда постоянно мелькал на фотографиях вместе с основателем организации, то после он стал появляться на снимках один либо со своей женой. Все объясняет попавшаяся вам на глаза небольшая вставка-надпись, сообщающая о смерти Тода Дзёсэй в апреле 1958 года. По соседству с ней располагается фотография Икэда с женой во время его инаугурации на пост третьего президента

Сока Гаккай в 1960 году. Так он официально стал лидером организации.

Дальше события развиваются стремительно. Икэда начинает невиданную ранее по масштабам деятельность. За время его президентства организация разрастается не только в пределах Японии, но и выходит на международный уровень. На 2017 год она насчитывает 12 миллионов адептов по всему миру (включая Россию). Икэда открывает ряд образовательных учреждений в Японии (детские сады, школы и один университет), целью которых является воспитание ценностей мира и гуманности. Икэда также делает первые шаги на пути к миротворческой деятельности: на средства из бюджета Сока Гаккай, начиная с семидесятых годов XX века, регулярно оказывается поддержка развивающимся странам Африки и Юго-Восточной Азии. Например, после Вьетнамской войны предпринимается серьезная кампания по оказанию гуманитарной помощи вьетнамским беженцам.

Как следует далее из фотографий и текстовых вставок, примерно с того же времени Сока Гаккай во главе с Дайсаку Икэда активно продвигает предложения о мирном сосуществовании и глобальном запрете ядерного оружия. Свои слова организация любит подкреплять делом. В частности, Икэда является одним из первых японцев достаточно высокого уровня, совершивших послевоенный визит примирения в КНР, что вполне отвечает его убеждению о роли межкультурного диалога как средства разрешения конфликтов. С этими тезисами он в течение многих лет ежегодно выступает в ООН, призывая страны к мирному диалогу. Свои предложения он обосновывает самыми простыми законами буддизма: не делай зла сейчас, и тогда в будущем зло не придет к тебе. Но если ты совершал зло раньше, то оно вернется к тебе, однако удержись и не отвечай злом на зло. Только так ты очистишься. Это применимо не только к каждому человеку, но и к государству как кармической единице.

Пребывая в своих мыслях, вы продолжаете расслабленно брести вдоль фотографий, газетных вырезок и интерактивных видео. На одном из них Дайсаку Икэда в каком-то огромном концертном зале, окруженный тысячами адептов. Его горящий взгляд уверенно устремлен в светлое будущее (во всяком случае, ощущение именно такое). На сцене кто-то выступает, и как только заканчивается музыка, Икэда резко встает, вытягивая руки вверх, а вместе с ним поднимается с мест и весь многотысячный зрительный зал, и кричит, кричит, кричит, неистово аплодируя. Все это время Икэда продолжает стоять на трибуне с поднятыми вверх руками, свысока осматривая ликующих единомышленников. На этом видео заканчивается и начинает проигрываться заново.

От вмонтированного в белую стену экрана, на котором показывается видео, в разные стороны протянулись фотосвидетельства великих дел Сэнсэя (последователи Сока Гаккай называют его исключительно так — «Учитель»). Вот смелый Сэнсэй пошел на контакт с СССР, заключив с Московским государственным университетом пакт о дружбе. Вот члены Сока Гаккай в Южной Корее горячо приветствуют Сэнсэя, приехавшего к ним с визитом. Вскоре после этого адепты из США проводят собрание, посвященное первому визиту Сэнсэя на Гавайи. Затем он делает что-то еще, и так — вплоть до сегодняшнего дня, пронизывая абсолютно каждый снимок, каждый заголовок, каждую живую клеточку организации. У вас складывается ощущение, что Икэда Дайсаку и Сока Гаккай — это единое целое, и не факт, что существование организации вообще возможно без ее лидера. Несмотря на то, что формально первым основателем организации является не он, здесь тем не менее вполне уместен вопрос о том, что первично — Икэда или Сока Гаккай.

В самом конце своего захватывающего путешествия вы попадаете в небольшой кинотеатр, где вам показывают се-

минутный документальный фильм, повествующий о встрече детей адептов и Сэнся во время его визитов в разные страны мира. Вы увидите толпы рыдающих от счастья детей и Дайсаку Икэда, который смотрит каждому ребенку прямо в блестящие от слез глаза, пожимая маленькую руку.

Все становится на свои места. Дайсаку Икэда — почетный президент Сока Гаккай, действующий президент Soka Gakkai International, духовный лидер организации, автор многотомного автобиографического романа «Революция души человека». Он был дважды номинирован на Нобелевскую премию мира. Сейчас ему 89 лет, и он продолжает вести активную деятельность во главе организации. Он борется против дискриминации (расовой, сексуальной, гендерной — любой), неравноправия, жестокости, военных интервенций и так далее. Он борется за мир во всем мире.

Вы выходите с выставки, забыв снять корону. Идете вдоль книжных и овощных лавок с почти румынским флагом. Краем глаза наблюдаете закат. И никак не можете понять, что хорошо, а что — плохо. Дайсаку Икэда — диктатор. Он намеренно делает так, чтобы последователи верили в его святость и уникальность. Он связал самого себя и успехи организации в единую связку. Даже эта выставка — чему на самом деле посвящена она? О чем она повествует в большей степени — о Сока Гаккай или ее лидере?

Икэда обладает превосходными навыками манипуляции, которые позволили ему разработать целую систему массового внушения. Но, в то же время, причинил ли он кому-нибудь вред? Нет. Принес ли пользу? Да. Тогда как же к этому относиться? Вы ведь знаете наверняка: диктатура — это плохо. Здесь все ясно как дважды два — четыре. И все же в данном случае при умножении двух на два получается пять.

## *Великий диктатор?*

Дайсаку Икэда — «диктатор». Однако так ли однозначно само явление диктатуры? К примеру, мать Тереза была «диктатором», и это никак не противоречило ее миротворческим взглядам. Диктатор — это не только тот лидер, чья свобода нарушает свободу других. Ограничение людей в правах и жестокость — частые, но вовсе не обязательные признаки диктатуры. Зато авторитарный тип правления без срока действия и культ личности всегда сопровождают любого диктатора.

Нужно также учитывать, что данное понятие воспринимается на Востоке (и в Японии в частности) иначе. Исторически, политическая культура восточных стран основывается на жестком авторитаризме, и Япония при всей ее либеральности в наше время отнюдь не является исключением. Возможно, вы удивитесь, но, например, Владимир Путин считается в Японии секс-символом как раз за счет того, что он кажется японцам «сильным политиком», настоящим хозяином своего государства, какого бы политического курса он при этом ни придерживался. А вот японского премьер-министра Абэ нередко упрекают в излишней «мягкотелости».

Такое уважение к проявлению внешней силы связано, в первую очередь, с особенностями менталитета, в котором почитание отца стоит во главе угла. Почитать значит уважать и не задавать лишних вопросов. Поэтому то, что японец сочтет обычным советом или наставлением заботливого «отца», любой русский посчитал бы навязыванием идей и промывкой мозгов. Икэда — несомненный третий «отец» организации. Его мнение не подлежит сомнению.

Любая диктатура строится на определенной идеологии, которая служит цементом, соединяющим идею и ее обоснование. Феномен Дайсаку Икэда заключается в том, что он нашел единственный по-настоящему неиссякаемый идео-

логический источник, а именно — простое человеческое зло. И на фоне этого зла он сумел выстроить сильнейшую идеологию добра, при которой чем агрессивнее окружающий мир, тем прочнее фундамент философии Икэда.

Если взглянуть на историю Сока Гаккай, то можно заметить явную тенденцию: она, во главе со своим лидером, всегда существовала словно вопреки обстоятельствам. Сначала это был режим милитаризма, затем — американская оккупация, в семидесятые годы таким рычагом стали антивоенные настроения. Каждый раз Сока Гаккай делала примерно одни и те же по своей сути заявления в духе «так делать нельзя, вы ущемляете права тех-то», рассчитанные на то, что массы уловят в этих лозунгах нотки желаемого. И в особо кризисные моменты общество действительно слышало их. Когда людьми управляют страхи, разочарование и апатия, то для многих религия становится основой надежды на лучший исход.

### *Идеология добра*

Дайсаку Икэда угадал очень простую, но оттого безмерно популярную риторику: в мире настолько много зла, что спрос на добро всегда будет велик и неиссякаем. Ведь что такое зло? Это то, что происходит с нами каждый день, начиная от неприветливых взглядов в метро и заканчивая гибелью тысяч человек в горячих точках планеты.

Существенное отличие идеологии добра Дайсаку Икэда от прочих состоит в том, что он не производит подмену понятий. Он не призывает искоренить терроризм бомбардировками. Не говорит, что для счастья одних необходимо несчастье других. Его добро действительно доброе, а помощь действительно помогает. Его университет выделяет стипендии, покрывающие обучение, проживание и пропитание студентам из бедных стран. Его политическая партия в Японии лоббирует в правительстве законы, которые помо-



гут женщинам работать (одна из самых больших проблем современной Японии — дискриминация женщин в карьерном отношении). Среди членов Сока Гаккай вы не столкнетесь с гомофобией, потому что быть гомофобом — стыдно. Икэда продвигает добро так же активно, как и самого себя. В Сока университете даже есть курс, в рамках которого изучается философия Сока Гаккай — своего рода «уроки добродетели».

Довольно любопытно при этом то, что фактически Икэда добился не таких уж фантастических результатов. Да, Сока Гаккай помогла большому количеству людей. Да, его послания о мире в ООН наполнены самым глубоким и верным смыслом. Однако в целом ситуация в мире не просто не улучшилась, а даже, наоборот, стала хуже. В этом вряд ли можно обвинять Дайсаку Икэда, но в таком случае встает вопрос: если за столько лет он не добился поставленной цели, а именно мира во всем мире, то отчего же до сих пор не утратил силу его авторитет? Ведь любая диктатура, подкрепленная идеологией, по своей природе должна преследовать определенную цель и в какой-то момент добиться ее, иначе распадется ее единство и целостность.

И это совершенно верно. Ошибочно здесь только то, что целью Икэда является непременно достижение мира во всем мире. Это отнюдь не так. В любой работе существует три основных этапа: начало, середина, конец. Людям свойственно видеть первое и последнее, игнорируя второе — самое кропотливое, долгое и скучное. Мир во всем мире тоже можно считать «работой», которая не сделает себя сама, а для того, чтобы человечество хотя бы немного приблизилось к достижению этой цели, необходимо наличие людей, которые будут раз за разом повторять одно и то же: как важно друг друга ценить, беречь и любить.

Поначалу к ним будут прислушиваться только такие же мечтатели и фантазеры, но некоторые из них однажды тоже начнут говорить. А за ними, в свою очередь, пойдет и еще

кто-нибудь. И так по цепочке, год за годом, век за веком, тысячелетие за тысячелетием человечество по капле изменит расстановку сил в пользу добра. И если в начале своего пути Дайсаку Икэда был окружен единицами, то сейчас — 12 миллионами человек.

Конечно же, явление диктатуры, пусть и позитивной, сопряжено с большим риском. Что будет, когда немолодой Икэда покинет наш мир? Сока Гаккай также прекратит свое существование? Или последует дальше по пути, заданному Икэда? Или же у рычага управления встанет человек, который воспользуется данной ему властью во зло? Вопросов возникает много, но это уже история не Икэда, а его организации.

«Икэда Дайсаку» записывается по-японски четырьмя иероглифами: «пруд», «поле», «великий/большой» и «создавать». В Японии существует поверие, что иероглифическая запись имени человека оказывает огромное влияние на становление его личности. В случае Дайсаку Икэда именно так и вышло. Это человек, посвятивший жизнь тому, чтобы маленький пруд надежды все же появился среди огромного поля тьмы. И пусть трусливым скептикам это может быть смешно, пусть многие слова Икэда кажутся чрезмерно романтическими и порой пустыми, но все же мир с ним гораздо лучше и перспективнее, чем мир без него.

Поэтому если говорить о его конечной цели, то состоит она в тотальном самоуничтожении. Как и любая идеология, философия добра не сможет существовать без своего главного противника — зла. И если человечество все же придет через годы к мирному сосуществованию и победе добра над злом, то Дайсаку Икэда как феномен больше не будет нужен. И он исчезнет. Надеюсь, что уже навсегда.

## АНДРЕЙ НИКИФОРОВ

### УМБЕРТО ЭКО: ДАРОВАННЫЙ НЕБЕСАМИ

Великий интеллектуал XX века Умберто Эко доказал, что сложное и глубокое тоже может стать популярным: «Это издатели распространяют миф будто людям нужна легкая литература. Люди быстро устают от простых вещей. Конечно, Платон читается медленнее, чем бульварный роман, но это только дело привычки». Авторитетный филолог и знаменитый романист, телезвезда и плодовитый эссеист, влиятельный колумнист и популярный университетский лектор — во всех своих проявлениях Эко всегда был иконой антиснобизма: его манера говорить с аудиторией уважительна и абсолютно комфортна. При всей сложности, академичности и глубине его книги имели очень низкий порог вхождения для читателя.

Несмотря на разные ипостаси, Умберто Эко сделал своей специальностью не столько слова, сколько структуры, стоящие за ними. Отсюда его готовность анализировать все вокруг: от средневековой эстетики и поэтики Джойса до фильмов о Джеймсе Бонде и комиксов. С неподражаемым остроумием и изяществом итальянский мыслитель жонглировал разнообразными историческими сюжетами и фактами, неожиданным образом переплетая древность и современность, высокое и низкое, эзотерическое и очевидное. Эко учил бесконечности культуры как таковой, чтению ее как гипертекста, постоянному диалогу с прошлым.

Книжным мальчиком, Умберто пришел в университетский мир совсем не из профессорского кабинета предков. Он — выходец из бедной итальянской семьи, родители мечтали чтобы сын стал адвокатом, но Умберто занялся изучением средневековой философии. В 1956 году Эко опубликовал исследование «Категория прекрасного у Фомы Аквинского», основанное на дипломной работе, которую он защитил двумя годами раньше в Туринском университете. Из этой работы впоследствии выросли его известные книги «История красоты» и «История уродства». На первый взгляд категории «красиво» и «безобразно» кажутся очевидными. Однако исследования Эко доказывают насколько категория прекрасного исторически изменчива: люди разных эпох и разных культур имеют разные представления о том, что красиво, а что нет. И то, что кажется человеку красивым, многое говорит об этом человеке. И уж конечно, коллективное представление о «прекрасном» — важнейшая характеристика любой культуры и времени.

Изучение средневековой эстетики привело Умберто к семиотике — изучению символов и знаковых систем. Она стала его страстью, Эко искал секреты внутри секретов, расширял охват исследований. В его исполнении семиотическая теория помимо словесных и изобразительных искусств, охватывала все современные явления (в частности, Интернет). Эко предложил единый подход к различным уровням коммуникации и формам искусства. Своим смелым подходом Эко заслужил признание ученых всего мира.

Если смотреть на биографию Умберто Эко, его приход из академической сферы в сферу литературы был неизбежен, хотя и состоялся достаточно поздно — первый роман Эко написал в возрасте 50 лет. Но именно на поле художественной словесности можно было убедительнее всего показать: сложное и глубокое тоже может быть хитом массовой культуры. Вопреки всем правилам «Имя Розы» (1980) — многослойный роман, сотканный из цитат, построенный

на минимально адаптированном средневековом материале да еще и написанный намеренно витиеватым, стилизованным языком, — стал одним из величайших бестселлеров XX века. Та же судьба ожидала и следующую книгу Умберто Эко — «Маятник Фуко», сложную и восхитительную интеллектуальную игрушку, рассказывающую о ловушках и соблазнах безграничного информационного пространства. В своей писательской деятельности Эко всегда следовал правилу: «книга не пишется с расчетом на аудиторию, ее запросы и вкусы. Книга сама создает себе читателя».

Сам Умберто Эко про себя говорил: «Я — философ. Я пишу романы только по выходным». Своими размышлениями в лекциях, газетных колонках, телепередачах он создавал у читателей ощущение правильного порядка вещей. Эко умел диагностировать состояние общества и культуры, откликаться на самые насущные вопросы современности. Умберто считали полномочным представителем высокой культуры в нынешней, массовой. Он изучал ее механизмы и не считал этого постыдным. «Я полагаю, что нет на свете ни одного серьезного гуманитария, кто не любил бы смотреть телевизор. Возможно, я просто единственный, кто не боится признаться в этом». Эко не пугала современность, но говорить с ней он хотел на своем языке: «Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое нельзя уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности».

Умберто Эко скончался в возрасте 84 лет от рака поджелудочной железы, но до последнего активно работал. Даже в день смерти готовил к публикации сборник эссе под названием «Жидкое общество». «Я выбрал эссе, которые объедены темой феномена „жидкого общества“ и его симптомами: крушение идеологии, отказ от исторической памяти, общество, в котором самоопределение означает выставление себя на показ. „Жидкое“ — это то, что характеризует растерянность и смятение нашего времени».

Для российский читателей Умберто Эко «Имя розы» стало «спасательным кругом» в тяжелые дни идейного хаоса начала девяностых. Уверенность итальянского писателя в силе знания поддерживала людей, предпочитавших университеты будням эпохи первоначального накопления, а обаяние, ирония, парадоксальность и остроумие служили примером поведения для интеллектуала. Умберто Эко был образом нормальной жизни, в которой не прерывалась культурная традиция. Как он сам говорил сам: «в конце концов вся мировая культура хочет одного — сделать бесконечность постижимой».

Умберто Эко пытался так формулировать свои высказывания, чтобы они эмоционально затрагивали молодых. В докладе о «Вечном фашизме», сделанном в 1995 году в юбилей освобождения Европы на симпозиуме в Нью-Йорке, он так мастерски сформулировал отличительные признаки мировоззрения, ведущего к диктатуре, что лекция разошлась по всему миру и до сих пор активно цитируется в Интернете. Связав свой детский опыт с историей Италии и всей Европы, Эко почти впроброс напомнил о чудовищном разрыве между высотой искусства и низостью реальных практик. О том, что фашизм вызревает в разломе, когда прекрасное настолько недостижимо, что бесполезно даже и пытаться. «Они где-то там, мы где-то тут, дайте нам, пожалуйста, вождя». Чтобы не было запроса на вождей, нужно спуститься одним и привстать на цыпочки другим.

Всю свою жизнь Эко одолевал фашизм, умело соединяя вещи, понятные самому обычному человеку и утонченному интеллектуалу. Не случайно происхождение его фамилии — аббревиатуру от латинского *Ex Caelis Oblatus*, «дарованный небесами». Он был дарован этому миру, нашему «жидкому обществу», чтобы показать людям, что они умнее и могут больше чем про себя думают.



**Фантастика.  
Мастерская Андрея  
Рубанова (зима — весна  
2017)**





## МАРИЯ ОРЛОВА

### МАЯК

Я увидел его сквозь стекло, он еще только собирался войти. Когда же его крупная фигура заполнила собой тесное пространство павильона, я даже испытал что-то вроде гордости за себя. Все-таки я — образцовый неудачник. Таких поискать. Идеальный собиратель негативной статистики. А я-то был уверен, что все предусмотрел, и вероятность попасться стремится к нулю. Но случай распорядился иначе.

Он оказался там почти случайно — я тоже. Он заехал после работы за банкой лака — буквально на пять минут. Меня вызвали с производства подменить продавца — не больше, чем на пару часов. Он спутал дверь, и открыл не ту, за которой скрывались «Лаки, краски, политура», а соседнюю, под вывеской «Двери и окна, производство и продажа». Он уставился на меня, я на него.

От него пахло парфюмерией и той штукой, которой мама сбрызгивает рубашки, прежде чем пустить их под утюг. Было странно ощущать этот запах здесь, на строительном рынке, как если бы летом на рыбалке вдруг запахло мандаринами.

— Что ты здесь делаешь? — спросил отец, оглядывая ярко освещенный узкий бокс, заставленный дверными полотнами.

— Работаю, — с неожиданным облегчением честно ответил я.

Он медленно исследовал меня взглядом с головы до ног, пока не сосредоточился на тряпичных кедах, пожелтевших от древесной пыли. Кеды выглядели вызывающе поношенными.

— А университет?

— Бросил, — ответил я, чувствуя, что на лицо так и просится улыбка.

— Давно?

Я только кивнул.

Это случилось два года назад, и это был мой первый настоящий, осознанный поступок. Казалось, я предусмотрел все: у меня был разработан четкий план, согласно которому я рассчитывал прожить еще год, до того дня, когда мне полагалось бы получить диплом. Вместо диплома я намеревался выложить перед отцом его деньги, выделенные на мое образование; деньги хранились на счете в надежном банке. Вместе с деньгами предполагалось выложить правду: с университетом я распрощался, и сделал это без сожаления. Учиться было не интересно. Вписаться в студенческое сообщество у меня не получилось. За два года учебы на дневном отделении я так ни с кем и не сдружился. Дружить было не принято, сама среда университета, не дружеская, но конкурентная, не способствовала возникновению тесных контактов. Сокурсники, по большей части дети состоявшихся и состоятельных родителей, только и делали, что выясняли, кто из них круче; я не мажор, в эти игры не играю. Хотя, теоретически, мог бы.

Мне повезло родиться сыном владельца сети строительных магазинов. Наверное, слово «повезло» следует взять в кавычки: моя жизнь никогда не казалась мне простой. Настоящей нужды я не знал, мать могла себе позволить не работать, полностью посвящая свое время моему воспитанию. Это всерьез тяготило меня: до самого выпуска она лично отвозила меня в школу и забирала после уроков, сопровождая на занятия иностранными языками, которые мне плохо да-

вались, или в спортивных секциях, где я тоже не делал успехов из-за несколько замедленной реакции.

Отцовское разочарование я ощущал буквально кожей. Все, что я мог — как можно реже попадаться ему на глаза. К выпускному классу, когда пришла пора определиться с институтом, обстановка в доме сделалась невыносимой. Если я осторожно заводил речь о своем будущем, отец резко пресекал разговор, говоря, что я слишком посредствен, чтобы самостоятельно решать свою судьбу. Куда мне поступать после школы, выбора не оставляло: отец рассчитывал, что я войду в его бизнес с перспективой впоследствии принять его на себя. Когда я объявил, что не испытываю желания становиться менеджером, в семье разразился скандал. Меня осудили за безответственность, обвинили в отсутствии совести; дело закончилось вызовом неотложки. В результате мне вменили в вину доведение матери до предынфарктного состояния. Вероятно, так оно и было, так что мне пришлось покорно принять свою судьбу, и постараться хорошо учиться там, где мне не хотелось даже появляться.

Усилия были вознаграждены: на восемнадцатилетие я получил в подарок небольшую квартиру по соседству с родительской. Предполагалось, что это научит меня ответственности.

Так и вышло. Едва вырвавшись из-под родительского контроля, я бросил университет и устроился на работу.

Внешне все шло как обычно, я уходил по утрам, и проводил вечера за книгами. Я все же собирался получить высшее образование, пусть даже лишь для того, чтобы не слишком разочаровать свою семью. Поступил на заочное, по единственной интересной мне специальности, и через пару лет должен был получить диплом технолога деревообработки.

Наверное, это генетическое. Я не перенял у родителя ни воли, ни остроты ума, ни скорости реакции, ничего, необходимого хорошему управленцу, но в полном объеме унасле-

довал отцовскую страсть к ручной работе, в особенности, с деревом. Свой редкий досуг отец проводил в пригороде, где за высоким глухим забором в охраняемом поселке своими силами строил дом. Дом не был целью, отец получал удовольствие от самого процесса: он сам создал проект, нашел участок, залил фундамент; сам придирчиво выбирал материалы, сам пилил, сколачивал, тесал и полировал. Это был его способ отдыха. Разумеется, в нашем доме имелся инструмент: пилы и рубанки, перфоратор, шлифовальная машина и даже ручной фрезер. Благодаря отцу я с детства умел им пользоваться, и делал это с таким же удовольствием, как и он. Но он и слышать не хотел о том, что это увлечение могло бы стать профессией.

Я же пошел ему наперекор и со страхом ждал дня, когда мне придется в этом признаться. Я знал, что отец впадет в ярость. Знал, что он обвинит меня в неблагодарности. Будет попрекать легкой жизнью. Станет в сотый раз пересказывать, как тяжело жил он сам, как ему, уже взрослому человеку, пришлось заново учиться, и как трудно было зарабатывать на первую квартиру. Чего стоило открыть свой первый магазин. Как отдавал долги. Как гробил здоровье, зимуя в железных боксах на строительном рынке, как в двадцать пять лет приобрел ревматизм. Он непременно напомнит, что делал все это лишь ради того, чтобы моя жизнь была легче.

Я надеялся, что за оставшееся время смогу придумать, как возразить и оправдаться. Но высшие силы вмешались и повернули дело худшим образом — отец встретил меня именно в узком боксе строительного рынка, пятничным вечером в разгар бабьего лета, когда безоблачное небо уже начало темнеть.

Теперь он стоял прямо передо мной, глядя куда-то вбок от моих коленей. Я ждал, что он начнет задавать вопросы, и я буду на них отвечать. Главное, не позволить ему убедить себя, что я поступил неправильно.

Но он не удостоил меня беседы.

— Совести у тебя нет, — произнес он и вышел, плотно затворив за собой дверь.

К моему лицу прилила кровь. Я выскочил вслед за ним на уже остывающую улицу. Воздух пах свежестью. Отец уже погружался в свой джип. Я придержал дверь:

— Папа...

Он, не глядя на меня, показал жестом — отойди, и я подчинился.

Он уехал, я остался стоять на улице, глядя в сиреневое небо над подсвеченными вывесками торговых точек. Небо, почему ты меня не слышишь? Что тебе стоит расставить звезды так, как я тебя умоляю? Ты же все можешь. Почему же ты никогда не прислушиваешься ко мне? Не исполняешь моих желаний? Я слишком много прошу, или просто — недостоин?

Наверное, у меня и вправду нет совести, раз я пытаюсь вмешать небо в свои земные дела.

К девяти часам рынок окончательно опустел. Теперь я со стаканом разбавленного пива сидел в блинной возле метро. В тесном заведении людно, молодежь стайками теснится за столами, народу больше, чем стульев, многие девушки сидят у парней на коленях. Блинов они не едят, перед ними только напитки, стаканов меньше, чем людей за столом. Темноликая уборщица возит сырость вокруг их ярких кроссовок. Я с завистью прислушивался к взрывам хохота. За те пару часов, что прошли с нашей встречи с отцом, шок прошел, и облегчение от досрочно состоявшегося признания сменилось предчувствием тяжелого объяснения дома. Я слишком хорошо знал отцовскую манеру брать паузу: пока я метался от растерянности к отчаянию, он, попутно заводясь, обдумывал каждое слово, которое собирался произнести, формулируя фразы и выстраивая речь так, что я не имел ни возможности, ни желания возражать. Подготов-

ленная отцовская речь действовала гипнотически, я боялся поддаться и снова угодить в вязкую бытность непутевого студента: слишком привык жить самостоятельно, и как ни давил на меня груз вины за обман, моя новая жизнь мне нравилась. Я знал, что из словесного поединка с отцом я, скорее всего, выйду проигравшим. Но я собирался дать себе шанс, и решил использовать его же оружие — перерыв.

Новый план уже созрел: какое-то время просто не буду попадаться ему на глаза. Вот только как это сделать, живя с ним в одном подъезде? Ночевать на работе? Ему ничего не стоит разыскать меня там, если он того захочет. И тогда он обрушит на меня свой гнев. Нет, не вариант. Остается обратиться к друзьям. Я вытащил телефон — ни одного вызова. Открыл список контактов, прокрутил его раз, другой. И сам себе не поверил. Разве может такое быть, чтобы у человека совсем не было друзей?! В моем списке семь десятков человек!

Десяток бывших одноклассников, десяток бывших сокурсников, пяток нынешних, репетиторы, преподаватели. Несколько контактов по работе. Родня. Отец — рабочий один, рабочий два, два мобильных, домашний. Поликлиника, справка в бассейн. Наталья — училась параллельно, телефон списал из классного журнала, год собирался позвонить, так и не собрался. Теперь уже не хочу. Маша — этой звонил много, и она звонила. Дело прошлое. Телефон можно удалить, да и номер она наверняка уже поменяла. Пара приятелей со двора. Несколько голых номеров, без имен, теперь уже не вспомнить, кому принадлежат. И никого, к кому можно напроситься на ночь.

С горьким чувством я опрокинул в себя остатки пива, и в легком хмеле принялся вновь просматривать записную книжку, пока не уставился на номер, по которому вдруг захотелось позвонить.

Его звали Васей, и это был мой единственный приятель, которого одобрял отец. Сын его бывшего сокурсника, а впо-

следствии и бывшего партнера. Кажется, двадцать лет назад они вместе наживали ревматизм на строительном рынке. Кроме того, по молодости лет их объединяла общая страсть к туризму, и, пока ревматизм не внес свои коррективы, они ежегодно ходили в туристические походы, бывало, что дальние. Со временем их вылазки случались все реже, и к моменту, как я достаточно вырос, они почти прекратились. Но случилось так, что друг отца ушел из семьи, и ушел по-плохому, так, что почти лишился возможности видеть своего ребенка; их трагедия обернулась удачей для меня: ради того, чтобы отец имел предлог забрать сына из дома на целых две недели, походы были возобновлены. В качестве компании для Васи брали и меня.

Он был старше меня на год или два, но отличался взрослой рассудительностью, всегда имел при себе книгу, все свободное время читал, или приставал к взрослому с просьбой поиграть с ним в шашки, компактный набор которых постоянно находился в его кармане. Он был тем сыном, о котором мечтал мой отец. Васиного же отца я почти не помнил, зато помнил его гитару и то, как он пытался научить нас брать простые аккорды: у меня почти ничего не получалось, у Васи же были гибкие пальцы, но не было интереса. Искусствам он предпочитал науки.

Впоследствии именно благодаря Васиной безупречной репутации меня отпустили в первый «взрослый» поход, без родителей, с ночевкой. Отец лично вверил ему мой рюкзак и ответственность за мою сохранность. Это было довольно унижительно, но Вася и не думал смеяться, за что я до сих пор ему благодарен. Поход организовывал Васин давний приятель, цепкий, колючий тип по фамилии Драгин, которого друзья за глаза называли Вождем. Он был старше настолько, что казался мне совсем взрослым, да и характерами мы не сошлись — слишком уж он напоминал мне отца своей манерой решать все и за всех. Однако та поездка стала для меня таким глотком свежего воздуха, что из чувства



благодарности я, стараясь ничем не раздражать Вождя, вел себя послушно и угодливо. Очевидно, Вождь оценил мою покорность: на следующий год меня снова пригласили в компанию. И через год тоже.

Несмотря на тяготы туристической жизни, вроде отсутствия маминой стряпни и вечных расчесов от комариных укусов, эти поездки были для меня настоящим удовольствием. Вероятно, это тоже генетическое, и отец, в общем, понимал меня, хотя и считал, что я не заслуживаю развлечений. Но его доброе отношение к Васе, и тот факт, что мне уже исполнилось восемнадцать, сделали свое дело, так что я получил поблажку.

И теперь выходило так, что Вася оказался, пожалуй, единственным человеком, к которому я мог обратиться, если не за ночевкой, то хотя бы просто поговорить. К тому же, он жил всего в двух станциях от блинной, в которой я окопался. Только бы он оказался дома.

Он оказался, однако сразу сообщил, что говорить ему сейчас неудобно — занят. Спросил, не случилось ли чего. Я не стал выдумывать, сказал как есть:

— С отцом проблемы. Мне бы смыться из дому. Хотел напроситься, но раз ты занят — не буду.

— Надолго? — после некоторой паузы уточнил Вася.

— Напроситься?

— Смыться.

— Чем дальше, тем лучше, — усмехнулся я в трубку.

— Слушай, дуй-ка ты сейчас ко мне, — с неожиданным энтузиазмом предложил Вася, — адрес помнишь?

Конечно, я помнил. Пообещав позвонить от подъезда, я счастливо направился к метро. Неужели, небо меня все-таки услышало? Или, это простое совпадение?

Я помешал — это было ясно с порога, по Васиному озабоченному лицу, по ударившему в нос знакомому запаху дыма и резины, по выставленным в углу прихожей вешалкам.

А еще по тому, что в прихожей меня встретил Драгин. Вот уж, кого не ожидал, подумал я с уколом ревности — очевидно, они только из похода. А меня в этот раз не звали.

— Лаперуза! — звучно воскликнул он, оттесняя Васю, чтобы поздороваться. — Вовремя черт тебя принес! Судьба! Значит, договоримся.

— Привет Вождю, — отозвался я, оглядываясь, — а вы откуда?

— Пока ниоткуда, — ответил Вася, подталкивая меня за плечо в сторону комнаты, — мы только собираемся.

Неподготовленного зрителя вид Васиного жилища мог и шокировать. На первый взгляд, в комнате царил бардак: все свободное пространство было завалено источающим запахи барахлом. На диване разложены выкорчеванные из чехлов новые, пахнущие магазином спальные мешки; на них сверху навалено свежeweыстиранное белье и мохнатые шерстяные свитера, ни разу не бывавшие в стирке. Сложена стопкой одежда, старая вперемешку с новой: торчат джинсовые лохмотья, свисают на тонкой леске бирки. На столе — не отмытые от сажи котлы, от них пахнет котлом, и ряды консервных банок, от них пахнет дачей. Но самый сильный запах источало расчлененное зеленое тело катамарана, раскинувшееся посреди комнаты: пахло болотом, резиной, пластмассой и землей после дождя. А еще пахло куревом: Драгин, не стесняясь, смолил прямо в квартире.

— Вы что, на воду идете? — не поверил я. — Сезон, вроде, уже того.

— Того, — согласился Драгин, выдыхая табачный дым в сторону окна, — только тут такая история... Помнишь, я думал делать бизнес, туристов за деньги выгуливать?

Я помнил. Никогда бы не подумал, что из этого может что-то получиться.

— Ну вот, — продолжил Драгин, — У меня клиент нарисовался.

— Ну, и?

— Едем, — объяснил Драгин. — Причем, на север. Ориентир — Северная Двина.

— Это где? — не припомнил я.

— Эх ты, география, — Драгин швырнул окурок на улицу, — Архангельская область. Там еще метеорит упал позапрошлой зимой. Сечешь?

Я неопределенно пожал плечами.

— Ты вообще телек смотришь? Метеорит, или что-то вроде того, упал в лес. Землетрясение было, магнитные аномалии, там еще звери из заказника разбежались.

— Вроде слышал, — ответил я без уверенности, у нас ведь по центральному телевидению каждую неделю новые сенсации, всех не упомнишь. — Фигня. Из той же серии, что зомби воруют картошку с полей.

— Согласен, фигня. Но человек этот, клиент мой, по ходу, так не считает.

— Драгин, — вмешался Вася, — Ты объясни человеку нормально, что происходит. — А я и объясняю, — Вождь хлопнул форточкой. — Я искал маршруты. Зарегистрировался на форумах по теме, стал с людьми общаться. Сам вопросы задавать, на чужие отвечать, светиться, где можно, ты понимаешь. И вот, вышел на меня один человек. Прислал карту, мне, пишет, надо в одно место попасть, посмотри, что посоветуешь? Я как на карту глянул, сразу понял, дядя этот — любитель аномальщины, и ехать ему приспичило в самый раз туда, куда упал этот как бы метеорит. Чокнутый, короче. А места-то там дикие, населенки нет, дорог — тоже, заповедник. Так что если идти, то только по воде. Причем надо успеть до заморозков. Я ему говорю, зачем? Там сейчас погода никакая, дожди. Тут да бы летом, в июле-августе, а сейчас холодно. Он говорит, очень надо, типа, какой-то научный эксперимент. В общем, надо ему настолько, что он готов платить, чтобы его туда отвезли.

— Бред какой-то. Похоже на розыгрыш. Что за чушь? Если у человека нормально с деньгами, с какой стати он станет морозить собственную задницу? Нанял бы кого-нибудь, да и все.

— А черт его знает. Я же говорю, псих какой-то. Но! Он реально платит. Поэтому я его туда реально везу.

Во мне вдруг шевельнулась смутная надежда.

— Вася, а вы скоро едете? А то, может, я у тебя отсижусь? Буквально дней пять, а?

— Есть встречное предложение, — Вася неуверенно потер подбородок. — Было бы здорово тебе поехать с нами. Странно, что Драгин сразу не предложил. Мы, конечно, и вдвоем справимся, но с тобой будет как-то спокойнее. Клиент этот, странный он, ты понимаешь? Мы же его даже не видели. Мало ли...

— Да вы чего, — опешил я, — куда мне? Я работаю. У меня и денег сейчас нет...

— Ты не понял, Лаперуза, — вступил Драгин. — Деньги — не проблема. Я же говорю, клиент платит. Ну, катамаран наш, но остальное за его счет. Билеты, жратва, палатки нормальные, и вообще все, что надо — его проблема. Сечешь?

— Ты сам-то сечешь? Мало ли, что он обещал. С чего ты взял, что он тебя не кинет?

— Не кинет, — уверенно заявил Драгин, — деньги-то с него я уже снял. Не наличными, правда. Заказал через Интернет палатки, спальники, еще кое-что по мелочи, а он оплатил. Через электронный кошелек.

Тут я уже реально удивился:

— В смысле — оплатил? Что, просто перевел деньги? А если ты его кинешь?!

— Успокойся, Лаперуза, — хохотнул Драгин. — В каком мире ты живешь? Он же на весь форум объявит, что я его развел, и будет искать другого проводника. А мне реально нужна репутация. Это, вроде как, получается мой первый клиент. И вообще, посмотри с другой стороны: чего бы

и не поехать? Ну, свежо, ну, дожди. Есть такое дело. Для того и покупались хорошие палатки. Но в остальном, маршрут ведь получается отличный! Поезд прямой, ехать меньше суток, там кукушкой до воды, и по воде сплав километров — максимум! — двести. Причем по спокойной, хорошей воде, даже на первую категорию не потянет. И зад в тепле, и клешни в покое. И комаров нет!.. Кайф! Реальный, халявный кайф! Неужели, не впечатляет?

Я только покачал головой. У меня и так проблем хватало.

— На самом деле, Саша, — снова вмешался в разговор Вася, — Ты же ищешь, где отсидеться. Вот тебе и вариант. Старт послезавтра, и десять дней тебя нет дома. Все включено.

У меня было такое чувство, точно передо мной, наконец, распахнулась вымоленная у высших сил дверь, но мне недовставало решимости сделать шаг за порог. Я только и мог, что думать о неминуемой расправе, которую отец учинит мне за эту поездку, если я на нее решусь. Я снова отрицательно помотал головой.

— Совести у тебя нет, Лаперуза, — сделал вывод Драгин. — Как тебе по кайфу, ты с нами. А как реально помочь надо — так ты в отказ.

Я посмотрел на Васю. Тот отвернулся. Наверное, теперь мне следовало уйти. Вот только идти было некуда. И если бы я ушел, я потерял бы и этих, последних на планете людей, которым есть до меня хоть какое-то дело.

— Мне подумать надо. Как с работой решить, и вообще, — залепетал я, пытаюсь выбить себе отсрочку.

— Думать некогда, — Драгин решительно сдвинул со стола котелки и раскрыл ноутбук. — Давай паспорт. Надо срочно заказать тебе билет.

И я полез за документом.

Никогда бы не подумал, что со мной может случиться нечто подобное: не прошло и двух дней с того момента, как

отец обвинял меня в бессовестности, и теперь я, вместо того, чтобы вымаливать дома прощение, тряся в купе набирающего скорость поезда, слабо представляя, куда направляюсь. Отступить было поздно, и теперь я действительно ощущал себя бессовестным сыном, не столько потому, что сбежал, сколько от того, что не оставил внятного объяснения куда. Когда родители откроют дверь моей квартиры своим ключом, они обнаружат лаконичную записку: уехал по срочному делу на десять дней. В качестве пресс-папье выступил мой мобильник. Наверное, следовало оставить более развернутый текст, но была поздняя ночь, я устал, и к тому же спешил: у подъезда ждал Драгин, и он не глушил мотор. Я пробыл дома всего несколько минут, которых оказалось достаточно, чтобы распотрошить заначку и покидать в рюкзак белье. Собираясь, я каждую секунду ждал, что отец появится в дверях.

Когда мне удалось беспрепятственно выбраться на волю, я испытал настоящий азарт беглеца; заряда хватило до самого поезда, но теперь я сник. Видимо, это было заметно по моему лицу.

— Чего надулся, Лаперуза? — поинтересовался Драгин.

— Ничего, — отмахнулся я, — надо было хоть мамке сказать, что я с вами уехал. Она же за десять дней свихнется.

— Мамке... — протянул Драгин, и исполнил губами движение, имитирующее сосание. — Тебе сколько лет, Лаперуза? —

— Достаточно.

— Оно и видно. Успокойся, не на войну ушел. Дождется тебя твоя мамка.

Я не стал отвечать.

В купе нас было трое. Драгин объяснил, что его клиент присоединится к нам позже: сядет в этот же вагон на промежуточной станции. Добираться он будет налегке, ведь весь объемный багаж был при нас. В скудном пространстве с тру-

дом разместились набитые рюкзаки и тюки с разобранным катамараном; одна из верхних полок оказалась полностью забита, что вызвало недовольство и без того неприветливого проводника. Он было принялся препираться с Драгиным, но быстро понял, что оно себе дороже, и махнул рукой. Мои спутники пребывали в приподнятом настроении: поезд тронулся, запаса пива должно было с лихвой хватить на сутки, и прогноз погоды не сулил серьезных катаклизмов. Развалившись на полках, мы лениво гадали, каким окажется наш четвертый компаньон.

— Дядька наглухо псих. Даже чеков не затребовал, нормально? — вещал, прихлебывая пиво, Драгин.

— Может, он потом отчет попросит. Так сказать, по факту услуги, — возразил Вася.

— Пусть попросит, — Драгин искренне рассмеялся. Вася тоже заулыбался:

— А может, у него бабла немерено. Может, ему это на семечки, как тебе такой вариант?

— Ни фиги. Он тогда бы в фирму пошел, ему бы там вертолет организовали. Плюс охоту на медведя, баню и ансамбль народной самодеятельности. Вообще не проблема.

— Ну... Решил сэкономить.

— Ага, и нанять неизвестного чувака с Интернета. Я бы реально опасался. Говорю, дядька с головой не дружит.

— Ты уверен, что это дядька?

— Не девка же. Не, точно не девка. Какой-нибудь дедок-профессор. Хрен его знает. А может ботан-переросток, старший заместитель младшего научного сотрудника. Скорее всего, так. Хоть маг Акопян, втроем-то мы, если что, любые вопросы решим. И вообще, не надо заморачиваться. Типа, мы просто идем в поход, чисто для себя, как бы для собственного удовольствия. В конце концов — поржем. Ботаны, случается, бывают забавны.

— Это уж точно.

Мы чокнулись пивными бутылками. Драгин разложил на столе карту. Мы, как великие стратеги, склонили над ней головы. Драгин водил по карте огрызком карандаша, я честно пытался сориентироваться.

— Значится, так. Вот здесь мы завтра должны встать на воду. Отойдем километров на пять-семь. Где-то тут заночуем, упакуемся, и послезавтра с самого утра выйдем на маршрут.

Я уткнулся в карту, но вскоре понял, что это бессмысленно. На воде заблудиться невозможно, а на экстренный случай у Драгина есть GPS. Волноваться решительно не о чем. Жратвы закуплено с запасом, Драгин и Вася рыбаки, у них с собой снастей на целый рюкзак, а еще у нас имеется чистый медицинский спирт, добытый мамой Драгина, хирургической медсестрой, из надежных источников на работе, так что, скорее всего, никто и ничто не сможет омрачить наше путешествие. Я постарался выбросить из головы тяжелые мысли и тревожные предчувствия, и полез на верхнюю полку. От пива меня разморило, я задремал, и проснулся только под вечер; утолил голод быстрорастворимой лапшой, и опять уснул, уже до самого утра.

Проснулись рано, с тяжелыми головами: топили в вагоне на совесть, и в забитом вещами купе было душно, как в пыльной кладовке. Разговаривать никому не хотелось, так что я выпил чаю и принялся глядеть в окно на мелькающие деревья. Сплошной лес, мелкие речушки, да заброшенные платформы станций, на которых поезда не делали остановок с прошлого века. Время ползло. Вася в пятый раз перечитывал купленную на вокзале газету. Драгин выходил курить, как только от него переставало разить после предыдущей сигареты. Когда поезд начал сбрасывать скорость, приближаясь к станции, где нас должен был ожидать клиент, мы все были порядком измучены. Отложив свои занятия, мы расселись на нижних полках.



— Парни, внимание, — обратился к нам Драгин. — У нас с дядей уговор: вопросов ему не задаем. Никаких. Усвоили?

— Что еще? — поинтересовался Вася. — Почему ты не озвучил это сразу?

— А какая проблема? — пожал плечами Драгин. — Ну, забыл.

Поезд остановился. Мы с любопытством поглядывали в окно, высматривая нашего «дядю», как мы уже успели окрестить его за глаза. Платформа пустовала. Я привстал, почти прижался лицом к мутному стеклу, но видно было недалеко. Никого.

— А если он не объявится? — спросил я.

— Ну, значит, нам повезло, — ответил Драгин, точно так же, как и я, прислоняясь лбом к стеклу по другую сторону стола.

Мы молчали. Вскоре поезд вздрогнул, тронулся, и начал набирать скорость.

— Странно, — пожал плечами Вася. — Обманул, что ли, таксиста? Деньги заплатил, а сам не поехал?

В коридоре послышался шум, в следующую секунду дверь купе отворилась, и на пороге возник проводник. Он в очередной раз неодобрительно оглядел заваленное вещами пространство, и, кивая на рюкзак, расположившийся на одной из верхних полок, сурово скомандовал:

— Вещички убираем. Сюда проходите, пожалуйста, — добавил он уже другим тоном, оборачиваясь себе за спину. — Сейчас ребята место освободят. Если что-то нужно, не стесняйтесь, обращайтесь.

Проводник посторонился, и я ожидал, что сейчас к нам в купе войдет симпатичная женщина, или респектабельный мужчина с деловым портфелем — с кем еще хмурый проводник мог бы быть столь любезен? Однако, против моих ожиданий, в дверях появился тот, кого мы, по-видимому, ждали: серьезного вида парень в новенькой туристической куртке. Он благодарно кивнул проводнику и вошел в купе,

забавно прикрываясь своим небольшим рюкзаком, словно это был щит.

Когда дверь за его спиной закрылась, он поставил рюкзак на пол, обвел нас внимательным взглядом, и спокойно, без улыбки произнес:

— Здравствуйте. Меня зовут Артем. Я так понимаю, нам с вами теперь долго по пути.

Драгин неловко, стараясь не удариться головой в верхнюю полку, приподнялся и протянул ладонь:

— Драгин. Рад, наконец, лично.

Артем кивнул, пожал протянутую руку. Следующим поднялся Василий, затем наступила моя очередь.

— Саша, — представился я, и пожал его жесткую узкую кисть.

Есть у меня такая привычка — при знакомстве с новым человеком я сразу оцениваю, что выйдет, случись нам сцепиться. Естественно, это касается только представителей моего пола. Не то, чтобы мне часто приходилось драться, нет. Я парень высокий и в целом не маленький, даже слишком, в детские годы и вовсе был увальнем; в первый класс меня отдали только в восемь лет, и я был на голову выше одноклассников. Задирать меня не решались. К тому же я, если честно, руками махать не люблю и сам никогда не нарываюсь. Но окружающих мужчин я рассматриваю как потенциальных агрессоров, и по своей внутренней «шкале опасности» присваиваю им цвета. Например, Драгин — цвет красный, степень опасности — высокая. Физически он меня не крепче, но у него молниеносная реакция, и он всегда абсолютно хладнокровен. Случись конфликт, он, скорее всего, закатает меня в асфальт.

При первом взгляде на Артема для меня зажглась зеленая лампочка. Он производил впечатление человека хрупкого. Худой, сухой, весь как будто вытянутый, длинные ноги, длинные руки, длинные пальцы; бледное, хорошо очерченное лицо, тонкая до прозрачности кожа. Однако ростом он

был не меньше Драгина, а шириной плеч почти с меня, и держался он прямо, уверенно, твердо.

Когда я выпустил его холодную ладонь, зеленый огонек сменился на желтый.

— Ну что, каков план? — спросил Артем, усаживаясь рядом со мной и обращаясь к Драгину.

Тот в очередной раз разложил на столе карту:

— Через четыре часа будем на месте. Там я беру машину, до воды будет еще минут сорок. До темноты должны успеть собрать катамаран, это несложно, справимся. Спускаемся примерно сюда, — он показал точку на карте, — и здесь ночуем. Завтра с утра нормально уложимся, и в путь. Примерно до этого места, — он провел по карте огрызком карандаша, — тут километров пятнадцать.

Артем некоторое время изучал карту, потом отодвинулся, половчее устроил рюкзак у себя в ногах и сказал:

— Хорошо. Только я пока посплю. Я устал ужасно.

— Давай, для начала уберем наверх твой рюкзак, — предложил я.

— Не надо, я так, спасибо, — придерживая рюкзак за лямку, он прислонился спиной к стене и закрыл глаза.

— Может, ты хочешь лечь? Я пересяду.

— Не надо, спасибо. Я так, — твердо повторил Артём. Через минуту он уже спал. Или делал вид, что спал.

Оставшееся время в пути мы в тишине то дремали, то разглядывали нашего нового знакомого, обмениваясь многозначительными взглядами. Драгин выглядел обескураженным: видно, и вправду рассчитывал увидеть бесноватого дядьку. Я тоже был удивлен и озадачен — этот Артем выглядел слишком просто для хорошо обеспеченного человека. Уж я-то в этом разбираюсь. Никаких супербрендов, крутых часов и всего такого прочего; рюкзак новый, но недорогой, такой можно легко купить в спортивном супермаркете; то же можно было сказать о его одежде. При его средствах он мог бы позволить себе экипировку посе-

рзнее. Уж не преувеличил ли Драгин его платежные способности, подумал я с тревогой: денег на обратный билет мне могло не хватить. Впрочем, добротная обувь, хорошая стрижка и ненатруженные руки нашего компаньона выдавали в нем представителя как минимум среднего класса. На научного сотрудника он вполне тянул. И вовсе не казался сумасшедшим.

За полчаса до прибытия мы начали вытаскивать вещи в тамбур. Барахла у нас было много, поезд же останавливался всего на пару минут, так что следовало готовиться заранее. Пока мы весело сновали с вещами по вагону, Артем так и сидел, молча обнимая свой рюкзак. Он только подвинулся на освобожденное мной место у окна, привалился к стене, и смотрел невидящим взглядом на проносящийся мимо непримечательный пейзаж.

## НИКОЛАЙ ШПИЛЬКОВ

### ИСТОРИЯ О КОТЕ, КОТОРЫЙ ВОЗНАМЕРИЛСЯ НАЙТИ НАСТОЯЩЕЕ

Один замечательный кот однажды вознамерился найти Настоящее. Не будем говорить о его биографии до этого случая: домашний он был, помойный или полуустроенный-магазинный. Факт в том, что вся улица — весь огромный мир расстился перед его глазами, и все это казалось ему ненастоящим.

В один замечательный день Кот проснулся в обычном для себя месте, огляделся и вдруг понял, что страстно желает чего-то. «Может, это голод», — возникло логичное предположение. Голод был, конечно. Но было и что-то другое. Коту, считавшему себя исключительно умным, захотелось разобраться. Поев без всякого интереса, он отправился в поход, «Великий Поход Истины» — как подсказал Коту его красивый, яркий, блестящий (когда-то Кот потратил не один час на подбор лучших определений) Разум.

Кот выбежал во двор-колодец и огляделся: много стен, большая, представительная мусорка («кто только умудрился поставить ее сюда», — негодовало эстетическое чувство Кота) и пустота. Вдруг стало удивительно грустно. И грустнее всего было от непонимания того, почему. Этот двор был давним местом жизнедеятельности Кота, он был родным, своим, близким. Но теперь все в нем было каким-то ненастоящим. Даже запах, стабильно исходящий от могучей

и неправильной мусорки. Все было словно нарисовано на картоне. Долго оставаться было нельзя: если истина не находится круговым взглядом, она находится бегством в новое место. По крайней мере, в этом у Кота была уверенность.

Покинув двор, Кот побежал к мясному магазину, что располагался в двух кварталах. Кот бежал «размеренно, обстоятельно», как он это называл. То есть не гнал изо всех сил, а пародировал лошадиную рысь. Так он казался себе благороднее, величественнее, да к тому же получал возможность довольно внимательно оглядывать окрестности. «Настоящее где-то рядом», — был уверен Кот. Ему казалось, что, найди он что-то одно Настоящее, Настоящим станет и все вокруг, как это было раньше. Наверное, было. Тогда не возникало вопроса!

Дорога оказалась какой-то длинной. Кот успел рассмотреть несколько неестественно спокойных воробьев, сидевших почти на его пути, обсудить с собой их спокойствие, потом увернуться от катящейся в его сторону пластиковой бутылки, мысленно выругаться, попрыгать по непонятно кем и зачем поставленным прямо на дороге ящикам, обсудить достоинства и недостатки собственной грации, погрузиться в глубокую тоску по поводу подозрительности всего вокруг, пережить эту тоску, потом опять вернуться к ней и, в конце концов, прийти опять к мысли о ненастоящем и добежать до мясного магазина.

В мясном магазине с красноречиво гениальным названием «Мясо и мясное» жил рыжий кот Веня, большой мастер положительного восприятия и раздолбайства, сумевший, используя первое, обуздать второе и отлично устроиться. Веню сложно было назвать аристократом духа, коим себя честно считал Кот, однако у рыжего были другие достоинства. Он умел заряжать собеседника прорывным, кричащим оптимизмом, который, если экономно и разумно тратился, давал Коту возможность несколько дней пожить, как сам Ве-

ня: хитровато-счастливо, с толком и чувством, да к тому же нередко — и с прямыми бенефициями, в том числе съедобными. Выпросить еды у человека тоже надо уметь. Выпросить у человека простой любви и желания погладить — много проще. Правда, все это ненадолго.

Веня обычно был добр, гостеприимен и достаточно щедр. Глядя на него, хотелось жить. Разве только иногда случалось у Вени плохое настроение. В таких случаях он становился грубым, терял многословность и являл миру непонятно откуда взявшиеся скупость и злобу. Но такое, конечно, случалось редко.

— Эй, ты чего молчишь? Прибежал — и молчит, что за дело! — прервал размышления Кота возлегающий на ящике Веня.

— А, да, здравствуй. Веня, я к тебе по важному вопросу.

— Ну-ка, излагай. И это, не хочешь сардельку? Я утром был не голоден, а мне кинули. Но, как говорится, кинули — прибережи.

— Нет, благодарю, — Кот аккуратно запрыгнул на край ящика, Веня неохотно подвинулся, — у меня есть проблема духовного плана.

— Опять?

— Стой-стой, Веня, на этот раз очень серьезная!

— Ну, давай уж, — Веня медленно моргнул.

— В общем, все — ненастоящее, а я Настоящее ищу!.. Гм. Как-то коротко получилось.

— Ты знаешь, — Веня фыркнул, — мне тоже сегодня весь день чудится какая-то дрянь. Если ты про это. Вот, понимаешь, не то, чего-то не то — и все тут.

Кот удивился пониманию Вени, который обычно шутил над всеми его причудами. Удивился и все-таки подумал, что Веня говорит о чем-то другом.

— То, понимаешь, — продолжил Веня, — хозяин, заходя в магазин, меня не заметит, то сардельку выкинут так, будто не мне, а просто так выкинули, без уважения! Меня ведь

уважают, ты знаешь! Так вот... и сегодня ни один кот, кроме тебя, не зашел проведать. И это за полдня! В общем, ты видишь: какая-то дрянь. И чувство еще... Мерзостное чувство какое-то, слушай! Как будто все не взаправду. Ты про это?

Сомнения отступали. Веня говорил про ненастоящее. Значит, у них одна проблема!

— Это оно, оно! — крикнул Кот, — я как раз про это и говорю.

— Ты того, не нервничай так. Есть что-то — пройдет. Вон, лучше сардельку возьми.

— Да как же это! Нужно же что-то делать! Вот я, например, пошел искать Настоящее. Вот только найти его, и...

— И! — перебил Веня, — найдешь чего-нибудь, так докладывай, а сейчас-то что. Ты вот лучше сардельку скушай.

— Да чего ты прицепился к этой сардельке?

— Тут, понимаешь, какое дело... У ней форма какая-то странная, что она постоянно укатывается. Я в нее мордой тык — а она мимо.

— Так вот почему ты ее не съел.

— Ладно тебе! Сам попробуй, — Веня указал лапой на сардельку, валяющуюся сбоку от ящика. Кот спрыгнул с ящика и сразу же бросился на нее. Сарделька как будто исчезла из-под лап и оказалась рядом. Кот повторил свои действия в разных вариациях несколько раз, но результат остался прежним.

— Что за черт?! — воскликнул Кот.

— Вот и я говорю, — степенно ответил Веня.

— Это наверняка как-то связано с ненастоящостью! Нужно во всем разобраться!

— Разбирайся!

— А помогать ты мне будешь, Веня?

— Да в чем тебе помогать?

— Ладно. До встречи, — расстроено бросил Кот, убегая.

— Удачи в поисках, — Веня фыркнул и закрыл глаза.



Обрадованный тем, что кто-то испытывает схожие чувства, и обиженный в то же время безразличием Вени, Кот направился к тому, кто почти всегда его понимал, — Александринскому. То был худой черный кот, живший при театре. Жизнь эта не была слишком легкой, но всегда поражала Кота своей возвышенностью, благородным антуражем. Александринский не был театральным котом в полном смысле этого определения. Он использовал театр лишь как одно из мест более-менее постоянного проживания. И нет, театр был не Александринский, как мог подумать проницательный читатель. Наиболее стабильно в последнее время подкармливали кота не актеры и даже не иные работники театра, а крайне интересная пара молодых людей: худой, чуть сгорбленный и почти всегда одетый во что-то бесформенное и будто рваное господин, называвший себя писателем, и его подруга — маленькая хрупкая особа с крашенными в темно-бордовый губами, носившая забавную черную шляпку и называвшая себя поэтессой. Таким образом, Александринский был неразрывно и многопланово связан с искусством, что следовало в нем уважать. И Кот уважал.

Александринского легко было найти: обычно он лежал на маленьком крыльце у заднего входа в театр — предусмотрительно сбоку — и задумчиво оглядывал двор. С того же хода в театр заходила литературская пара, всегда оставлявшая что-нибудь поесть. Именно на этом месте Кот и обнаружил Александринского.

— Здравствуй, добрый друг, — поприветствовал Александринский, — какими судьбами?

— С важным вопросом, дорогой Александринский!

— Что случилось? У тебя растерянный вид!

— Как тут не растеряться! — Кот забрался по ступенькам на крылечко и подошел к Александринскому, — ты разве не чувствуешь? Все — ненастоящее!

— Клянусь тебе, у меня было схожее чувство! — Александринский широко раскрыл глаза.

— Значит, и у тебя!

— Да, что-то в этом роде, странное, — Александринский поднял голову, сам чуть приподнялся и посмотрел куда-то вдаль, — сегодня никто не зашел в театр через задний вход. Удивительно, но обычно такого не бывает. Мало того что я остался без еды, так еще и не поглядел на меня никто, не погладил! Да тут пусто, как бог знает где! — Досада так и сочилась из речи Александринского, — что-то не так. Бежал на улицу: ни одного знакомого лица. Даже писателя нет, хотя он всегда в сквере, что через дорогу, гуляет. Часами. Наверное, безработный... Ох, о чем я?.. А, да. И вот, с утра какая-то грусть ест. Впрочем, может это от голода...

— Я тоже думал, что от голода. Нет, Александринский! Это другое! Я пытаюсь найти Настоящее, — Кот запрыгал на месте, — вот найдем — и разберемся.

— Настоящее... Это что?

— Ну, как тебе объяснить — что-то, что поможет нам разобраться.

— Да-да, я понимаю, да. Слушай, ты прямо сейчас ищешь?

— Да! Пойдем со мной!

— Хорошо, только... сбегаю к тому писателю домой. Да, я знаю, где он живет. Волнуюсь немного. Его уже третий день нет...

— Добрая душа у тебя, Александринский! Как освободишься, беги к Архитектору, я буду там! — Кот спрыгнул с крыльца и мгновенно скрылся за углом. Александринский поднялся, пару минут растерянно походил по крыльцу, а потом тоже спрыгнул и побежал.

Следующей целью похода был двор, в котором нередко гуляла очаровательная серая кошка Минта. Трудно описать ее характер. Она казалась и, наверное, была очень скрытной. Но в то же время любила нередко обронить что-то очень интересное о себе, чтобы другой кот или кошка удивились и заинтересовались. Восхищение, конечно, не было обязатель-

ным. Но интерес, особенно уважительный, желателен был. Минта могла быть дружелюбной и даже ласковой, а иногда — гордой, надменной и жестокой. К Минте очень легко было привязаться. А она любила исчезать на время. И привязавшиеся страдали. Веня, знавший ее давно, утверждал, что она испортилась. А Александринский когда-то неизвестным образом разругался с Минтой и до сих пор избегал ее общества и разговоров о ней. Наш же Кот любил регулярно навещать ее и ценил не меньше, чем, например, друга Александринского. Он видел в Минте какую-то тайну, возможно, многоплановую, и страстно хотел узнать, какая же Минта на самом деле. Со временем он составил качественный привлекательный образ, однако иногда ему казалось, что образ этот сильно переоценен. Минта была обаятельна, Кот понимал это. И продолжал забегать к ней во двор.

— Минта, Минта, где же ты? — негромко кричал Кот, обегая пространство двора и заглядывая в каждый уголок. Минта скоро нашлась. Она спрыгнула с балкона второго этажа и приземлилась на крыльцо справа от Кота.

— О, Минта, какая удача, добрый день! — Выпалил Кот, повернувшись к кошке.

— Добрый. Зачем пожаловал?

— У меня важное дело.

— Излагай.

— Понимаешь, я утром проснулся и понял, что все вокруг — ненастоящее. Как бы тебе объяснить... В общем, я ищу Настоящее, чтобы решить всю проблему. Вот неправильно как-то вокруг. Не то. Ты меня понимаешь? — Кот говорил быстро и немного сбивался.

Минта внимательно посмотрела на Кота и, отведя взгляд, сказала:

— У тебя вечно какие-то странные идеи. Но я, кажется, понимаю, о чем ты. Но. — Минта еще раз глянула на Кота, отвернулась и почти агрессивно добавила: — Я ничем не смогу тебе помочь!

— Как это? Как это? Раз ты понимаешь!

— Может, и не понимаю, может, мы о разном! Я могла бы... что-нибудь поискать, но я спешу, я очень спешу! Спешу! — Минта еще раз глянула на Кота и побежала прочь со двора. Когда Кот понял, что Минта убегает от него, кошка уже была достаточно далеко, чтобы Кот сдался и не стал ее догонять.

— Что ж, пойду к Архитектору, — сказал он вслух, — уж он-то должен не только понимать, но и знать что-нибудь.

Иссера-белый почтенный кот Архитектор жил у владельца квартиры на девятом из девяти этажей. Вкусы этой пары замечательно совпадали: Архитектор любил высоту, и его хозяин любил высоту. Только кот любил ее за «величественность» своего положения наверху, а хозяин — за открывавшиеся сверху виды. Интуитивно осознав, что кот умен и никогда не прыгнет с девятого этажа, хозяин стал отпускать его на крышу, путь на которую всегда (то ли по безалаберности, то ли по злему умыслу) был открыт через лестничную клетку. Одинокий хозяин вообще многое позволял своему коту. Наверное, никого он не любил больше. Так же, как ничто не любил больше, чем вечером глядеть на город с высоты.

Архитектору нравилось часами лежать на крыше, выбрав самую высокую точку. Иногда он специально садился на краю, чтобы видеть город, но обычно ему хватало и вида одной крыши: главное, что он был наверху. К Архитектору часто прибегали за советом разные коты и кошки. Нередко у него засиживались искатели всякого рода истин и премудростей жизни. Веня отзывался об Архитекторе подчеркнуто уважительно, Минта, во время прогулок по крышам с Котом и познакомившая его с Архитектором, предпочитала демонстративно не проявлять интереса к этой личности, а Александринский утверждал, что Архитектор что-то скрывает. Как бы то ни было, Кот видел в Архитекторе источник если не общей мудрости, то какого-то понимания жизни,

которое можно было у него перенять. Архитектор выглядел, как авторитет, говорил, как авторитет, и числился авторитетом. К нему надо было сходить.

Архитектор был найден Котом на привычном месте: серой технической будочке, красовавшейся на крыше родной Архитекторовой девятиэтажки. Кот запрыгнул на будку по удобным «ступенькам» из непонятого материала и, представ перед царственно лежащим статным котом, сказал:

— Здравствуй, Архитектор. Важное дело. Не отвлекаю?

— Нет, — Архитектор потянулся, — можно сказать, что нет. Садись, рассказывай, что такое.

— В общем, я проснулся сегодня утром и понял, что все — ненастоящее! Понимаешь, Архитектор, какое-то не такое. Как будто картонное. Как будто не наш город, а театральная декорация, да похуже, чем те, что у Александринского в его театре.

— Ага. Понял, — лицо Архитектора приняло озабоченный вид. —

И вот, я пошел искать Настоящее. И решил к тебе зайти: спросить, не ощущал ли ты чего-нибудь подобного?

— Знаешь, а ведь что-то ощущал, — Архитектор бросил взгляд в сторону Кота, — что-то такое было. Да, есть. Право слово, какая-то дрянь! Сижу, и как будто крыша не моя, и город не мой. И хозяин какой-то нервный с утра. Все ходил взад-вперед, а потом ушел неизвестно куда из дома. Странно.

— Ты не знаешь, что это такое, Архитектор? Я полгорода обегал, с Веней, с Александринским, с Минтой поговорил — все заметили: что-то не то. И никто не знает, как действовать. И Настоящего я ничего не нашел!

— Я думаю, ты это брось. Посидим-посидим, да и пройдет все со временем. Мало ли что бывает. А страху наводить не надо. Это вредное дело. А то уж и мне как-то не по себе.

Вдруг Архитектор поймал испуганный взгляд Кота:

— Что, что такое, чего ты так на меня так смотришь?

— Ты... Ты наполовину в будке!

— Чего?

— Посмотри!

Архитектор и правда будто бы врос в покрытие крыши, на котором лежал. Только голова, хвост и часть спины остались наверху. Все остальное словно находилось под поверхностью пола.

— Ох, ты! Что это?! Что это?! Как это!!! — Архитектор стал озираясь по сторонам, мотать головой — и вдруг исчез: будто прошел через крышу и провалился вниз. Послышался тихий крик.

Кот на мгновение остолбенел, вздрогнул — и сиганул с будки на крышу. Приземлившись, он обнаружил перед собой грустного и будто бы испуганного Александринского:

— Писателя нет дома! Его нигде нет! Ой... что с тобой? Ты сам не свой!

— Я... я... только что Архитектор провалился вниз!

— Какой ужас!

— Ты не понял! Он не просто провалился! Он... он прошел сквозь крышу, как будто влился в бетон, понимаешь! Он просто исчез!

— Да как это?

— Эй! Со стороны лестницы бежал Веня, — смотрите, как я умею! — Веня разогнался и прыгнул с крыши девятиэтажки, исчез на мгновение — и вдруг поднялся и полетел прямо по воздуху над городом.

Александринский тупо посмотрел на Кота и тоже побежал. Кот погнался за ним, и уже через мгновение они оба, широко раскрыв глаза и боясь всего на свете, летели вслед за Веней над городом.

— Смотри-и! — крикнул Александринский, — там внизу Архитектор, он тоже летит! Кот посмотрел: и правда, вот он: медленно пролетает над трансформаторной будкой.

«Где же Минта?» — пронеслось в голове у Кота. Пара мгновений — и вот: Минта появилась перед ним. Они полетели рядом.

— Что происходит? — спросил у нее Кот.

— Если бы я знала! Если бы я знала! — растерянно ответила Минта.

— Мы были такими одинокими! — вдруг крикнул Александринский.

Никто ничего не ответил. К четверке медленно поднимался Архитектор:

— Наверное, мы не понимали, кто мы такие! — еле слышно через порывы ветра кричал он.

— Смотрите, а вот и писатель с поэтессой гуляют. В парке! Смотрите, ребята! — радостно закричал Александринский.

Все послушно посмотрели вниз. Кот почти незаметно улыбнулся.

— Вот и мой хозяин идет из магазина с пакетом, — громко проговорил почти сравнившийся с котами Архитектор.

— Из мясного! — добавил летевший впереди всех Веня. — Ох! Кажется, заходим на поворот!

Коты резко развернулись в полете и стали, описывая круг, снижаться прямо на городскую площадь. Приземление было мягким.

Никто из стоящих рядом людей не заметил падения котов с неба.

— Мы не понимали, кто мы такие, — задумчиво повторил свою полетную мысль Архитектор.

— И еще чего-то точно не понимали, — добавила Минта.

Какое-то время все молчали.

Вдруг Веня с огромной радостью бросился к рыбешке, уже брошенной ему кем-то (кто не любит прохожих, идущих с рынка?), откусил кусочек и произнес:

— Вот оно, твое настоящее. Самое что ни на есть.

— Но мы же ни в чем не разобрались! — воскликнул, глядя на Веню, Кот.

— Разберемся, я верю, — ответил Александринский. — А сейчас побегу в парк. Хочу попасться писателю!

И Александринский убежал. Веня объявил, что направляется на рынок. Архитектор, сохраняя задумчивость, произнес, что идет проведать хозяина. Минта как-то странно посмотрела на Кота и, медленно уходя, бросила:

— Есть что теперь обдумать, да?

Каждый из котов знал, что в полете ему открылось нечто особенное. Настоящее? Да, несомненно. Но вместе с тем — и странный намек на то, кто он, кот, в этом Настоящем. И каждый из котов знал, что то же самое знает другой. И все боялись сказать.

Проводив друзей глазами, Кот посмотрел на медленно плывущие облака. Потом глянул на памятник, находившийся на другом конце площади, и потихоньку побежал домой.





**Подростки (10—12 лет).  
Мастерская Елизаветы  
Тимошенко (зима —  
весна 2017)**



## АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

### СИНЕВОЛОСАЯ ТРАВНИЦА

Ступает по траве легко, совсем не задевая колоски-стрелы. Лес дикий, темный, и с сотней шепотков внутри, как она могла не заметить огонь — яркие перья феникса внутри него? А сейчас слишком поздно, душный дым обволакивает верхушки синих елей, делая их ало-серыми, деревья тлеют до черных костей.

Слишком поздно, чтобы спастись, чтобы хоть попытаться вытащить кого-то — горят тонкие, колючие веточки зеленого можжевельника, оседают серым пеплом в огненные языки. Идет по сотням иголок, оставшихся от голубых сосен, ощущает пальцами призрачные тени от их исчезнувших стволов, за ней — зеленоватый шлейф из лесных завитков, полупрозрачный и легкий, как паутинка, он цепляется за искры в воздухе и прожигается каплями падающей разгоряченной смолы. Лес живой, со своим именем и голосом, и сейчас он стонет, его крик бьет по ушам и жаром задевает лицо, слезы — горячие искры, взлетающие вверх. Прощаться с ним, в последний раз проходя по кругам из пней и закрученным корням неожиданно холодно, морозно, труха из листьев ложится кельтским узором под ноги.

Ночь сгущается, спорит с огнем и поглощает слишком высоко взлетевшие искры, а те напоминают лишь светлячков, которые обычно роем кружатся где-то над головой. Травница выходит на поле и становится частью темноты, ее

синие волосы тают во мраке, в них путаются осколки-звезды, почти потухшие от яркого пламени. Среди ночи выделяются только белые грани лица, но и они сереют и смазываются, смахиваются тяжелыми ресницами.

Каждая слеза, скатывающаяся с щеки на дымящуюся землю — вспышка-мгновение, втягивающая в себя жар и дым, от каждой капли остается лишь шорох, стертый с травы огонек. С длинного поля от горящего леса можно уйти только в одну сторону — в сторону рассвета, с длинными косами-облаками, края которых постепенно окрашиваются в розовый. Там небо, только небо и ледяной, без капли соли, воздух — только туда она теперь может бежать.

Каждая секунда — быстрый вдох, птица-мгновение треплет ее по щекам, шаги все чаще и чаще, а зеленый плащ взлетает в воздух, образуя своеобразные крылья для ее бега-полета. Смеется, раскидывая руки в стороны, уже не сдерживает безумные огни во взгляде.

Скоро рассвет.

**Подростки. Мастерская  
Олега Швеца (осень  
2016 — весна 2017)**



## МАРИЯ ГЛУШЕНКОВА

### ЧЕТВЕРГ

Лестница в доме была новой, многое было новым, весь дом был новым, и новая станция метро недалеко от него. Мой брат Саша шел по лестнице, он еще не знал, на какой этаж ему нужно, поэтому на каждом останавливался и выглядывал в небольшое окно. Апрель был слякотным. Чем выше по лестнице поднимался Саша, тем красивее блестели лужи на асфальте. Он еще не запомнил номер квартиры, нужно было позвонить и спросить.

Я не услышала телефон, меня разбудило не это, а полка в ванной, которая снова обвалилась. «Не умею я еще прибивать полки, — думала я, со всех ног скача по коридору. — Только бы под полкой не сидела кошка». Когда чуть-чуть поживешь одна, все ночные звуки становятся еще громче, и каждый вдруг начинает что-то обозначать.

Полка разлетелась на кусочки, кошка спала за шторой на кухне, а мне теперь спать не хотелось. Грязная посуда спала в раковине. «Не буду мыть», — твердо решила я. Все было такое тихое, спокойное, мне даже не верилось, что я всего-навсего в своей квартире. Виброзвонок телефона нарушил это спокойствие, он гудел с подоконника. Я подняла.

— Настя, они подтвердили, что вероятность синдрома Дауна высокая, анализы точные... но ведь бывают ошибки? Да и девяносто девять процентов это же не сто, да? Я на лестнице — забыл, в какой квартире ты живешь.



Посуда должна была проснуться, кошка должна была выскочить из-под шторы и убежать в комнату. Но ничего не случилось, я ведь в своем доме. Полка упала, но тут по-прежнему тихая ночь.

Никто не мог открыть дверь за меня, посуда не умеет разговаривать и потому не сможет ничего сказать.

И дверь была новая, она не скрипела, и замок не заедал, можно было спокойно вдвоем уйти из квартиры, не издав ни звука. Я молчала, Саша шел рядом.

Там, за дверью подъезда должен был быть холм, мостик через ручей и теплая долина.

И мы действительно там оказались. Лестница вела прямо на вершину холма, далеко внизу петлял ручей, а дальше — по всей долине капельками блестели лужицы. Долина была наполнена теплом и тишиной, мы были одни на холме, и только ручей бежал внизу под нами. Саша сел на траву и я села рядом с ним. Он по одной вырывал травинки из земли и бросал.

— У нас с Леной будет девочка.

И я как будто увидела маленькую девочку на другом берегу ручья. Она собирала ягоды. Я представила, как маленькие пальчики аккуратно вынимают спящую ягодку из-под мокрой травы и кладут в корзинку.

— Я разговаривал с врачом, он сказал, что нам сейчас главное не думать об этом. Мне нужно постоянно быть с Леной, чтобы она не засыпала и не просыпалась одна. Нужно, чтобы мы втроем просыпались.

Я увидела, что девочка вдруг села на траву, подняла голову и внимательно смотрит на нас.

— Сегодня четверг, завтра поеду к ней. Все эти бумаги с анализами, я ничего в этом не понимаю, Настя, мы так хотели.

Девочка встала и пошла, все дальше и дальше отдаляясь от нас.

— Должны быть выходы. Врачи всегда ошибаются, они

как синоптики.

И тут теплое небо затянуло серыми тучами, начался дождик и девочка, которая почти исчезла из виду, вдруг побежала обратно. Я точно слышала ее смех.

Девочка теперь легла на спину, вытянула руки вверх, и капли били по ее ладошкам.

В долине наступало утро. Дождь прекратился. Девочка еще немного полежала на траве, потом встала, взяла в руки корзинку и побежала домой, к вкусному запаху ягодного пирога. Мне показалось, что там, далеко в долине, есть и мой дом, где спит посуда и кошка, куда медленно идет человек, умеющий прибавить полки.

Саша встал.

— Надо ехать, Лена скоро проснется.

Трава шелестела, ветер гнал по небу облака, начинался дождь. Мы легко открыли дверь и оказались на новой лестнице.

## ДАРЬЯ ЕРМОЛИНА

### ЖАВОРОНКИ

В пустом доме лишь одна комната не была безжизненной. Гостиная, предназначенная для приема гостей и приятных дружеских посиделок, превратилась в подобие рабочего кабинета. На полу — клеенка, измазанная краской. В центре комнаты — маленькая кушетка, которая должна была стоять в прихожей. Большое окно во всю стену выходило на заросший за год газон и белый забор с потрескавшейся краской. Рэйчел хотела посадить яблони во дворе, но из дома она выходить не могла. Рядом с окном стоял мольберт, у кушетки — груды высились книги и пустые бутылки.

Рэйчел спала. Ее волосы клоками свисали с края кушетки. Глаза подрагивали от долгого сна и желания проснуться. Она куталась в кофту морковного цвета, натянутую поверх майки. На краю кушетки лежала книга Джона Берджера «Блокнот Бенто». Книга своим падением разбудила девушку.

В пустом доме звуки казались громче.

Рэйчел поднялась и свесила ноги, уперлась руками в колени, потеряла их и решила впредь спать на полу. Она подняла голову и посмотрела на пол. Вся клеенка под кушеткой была в дырках и царапинах от книг, которые ежедневно будили Рэйчел. «Все равно он когда-нибудь ее заменит», — подумала Рэйчел, перевела взгляд на окно и как всегда увидела только заросший газон. Она потеряла глаза и встала с кушетки. В ноге что-то хрустнуло, Рэйчел пошат-

нулась. Пнув пустую бутылку из-под вина она подошла к мольберту, ощущая привычную ненависть и сухость во рту. Она осмотрела комнату, в надежде найти бутылку с водой, но нашла лишь пустые, вздохнула и сползла, прислонившись спиной, вниз по стене. Часов в доме не было, но Рэйчел была уверена, что скоро он придет.

Стук в дверь был скорее формальностью, она все равно не смогла бы ему открыть. В дом влился поток свежего воздуха. Послышались шаги, бряканье бутылок, вошел мужчина лет пятидесяти в хорошем костюме и шляпе с большими полями. В руках у него были пакеты из дорогого винного магазина. Он прошел в середину комнаты, с кряхтением поставил пакеты и стал собирать пустые бутылки.

— Я же просила белое, — голос Рэйчел из-за долгого молчания был хриплым и как будто лающим, но в то же время безжизненным. Мужчина оглянулся.

— Спасибо бы сказала, неблагодарная.

Рэйчел встала с пола.

— Действительно, за что мне еще тебе спасибо сказать, папочка? — последнее слово она проговорила по слогам. Мужчина развернулся и посмотрел на нее с омерзением и едва заметной жалостью.

— У нас новый заказчик. Сейчас в моде птицы. Он попросил нарисовать картину с жаворонками к концу недели. У тебя три дня.

Рэйчел перевела взгляд на холст, который уже покрылся слоем пыли. Раздражение так сильно ударило в голову, что в глазах потемнело.

— И как ты мне предлагаешь их писать, если за окном у меня эти джунгли? Скоро солнца видно не будет, — Рэйчел старалась сдерживать себя, помня о браслете с электрошокером на своем запястье.

Мужчина улыбнулся, показав зубы. Он достал из последнего пакета книги и бросил их под ноги Рэйчел, не двигаясь с места.

— Это работы малоизвестных фотографов. По поводу авторских прав можешь не волноваться. Хотя кому я это говорю.

Рэйчел посмотрела ему глаза. Она пыталась разглядеть хоть какие-то остатки его прежнего. Каждый раз, когда он приходил, она проделывала эту операцию и каждый раз убеждалась в том, что тот, кого она знала, к ней не вернется. Мужчина вздохнул и демонстративно переместил палец на кнопку пульта. Рэйчел тут же схватилась рукой за браслет и моментально присела, чтобы собрать книги.

Поднявшись, она стала быстро листать книги в поисках жаворонков. Некоторые страницы рвались от спешки. Запах новой книги впитывался в воздух комнаты, которую никогда не проветривали.

— Душно у тебя тут, — мужчина, медленно отошел к окну и достал из внутреннего кармана ключи.

Рэйчел как можно бесшумнее двинулась к бутылкам, продолжая так же торопливо перелистывать страницы. Взяв одной рукой бутылку, она зажала ее локтем и медленно начала подкрадываться к мужчине. Страницы стали липнуть к пальцам. Мужчина тем временем подбирал нужные ключи. Рэйчел осторожно вынула бутылку из подмышки и замахнулась, выронив при этом книгу.

— Подумай о своей матери, Рэйчел, — сказал мужчина и продолжил подбирать нужный ключ.

Рэйчел замерла, ее глаза расширились, она разразилась хриплым кашлем. Она сжала руками бутылку и с криком разбила об пол. Красная жидкость разлилась на клеенке, забрызгав и так заляпанные штаны Рэйчел. Она опустила голову и тяжело дышала, сжимая браслет. Мужчина аккуратно обошел Рэйчел и направился к двери, так и не открыв окно.

— Знаешь что, можешь использовать вино в качестве краски. Это повысит цену картины. Не пропадать же добру, — Рэйчел вздохнула и вскинула голову к потолку. Руки задрожали, а дыхание сбилось, в попытке ответить мужчине.

— Да пошел ты! — громкий крик заполнил комнату. Мужчина не ответил, потом достал пульт и поставил напряжение на максимум. Рэйчел упала и завывала, сжимая браслет еще сильнее.

— Вдохновения тебе, Рэйчел, — мужчина подошел к ней и с отвращением перетащил ее за волосы из винной лужи, ближе к кушетке, а потом обратно. — Это повысит цену.

Веки Рэйчел дрожали. Она ловила воздух ртом и выла. Ей было слишком больно, чтобы сопротивляться. Мужчина удовлетворенно посмотрел на нее и пошел к выходу. Звякнули ключи, и дверь закрылась со звуком, который почему-то показался Рэйчел вскриком жаворонка.

## МАРИЯ РУСАНОВА

### СЛОВА С ЗАВИТУШКАМИ И БЕЗ

#### *Бабские настроения*

Вот бывает такое, что просыпается бабское настроение. И сидишь с дурацкой улыбкой, пальцы пахнут ядерной смесью пудр, помад и всех духов, которые обычно ненавидишь из-за воспоминаний, а тут так красиво капаешь на пальчик, проводишь по шее, запястьям, в наушниках играют Градусы, Йова и даже Брежнева, и хочется мило смеяться серебряными колокольчиками и кокетливо дергать плечиками. Хочется запереться в ванной и помучить ноги воском, чтобы потом с истинно женским садизмом водить руками по бедной гладкой коже. Хочется мозги отключить и смотреть какое-нибудь дурацкое кино с Козловским. Хочется махнуть тонкой ручкой на все проблемы и убежать, обнимать плюшевую игрушку, пить зеленый чай, потому что на диете, наманикюренными пальчиками вытаскивать носовой платок и плакать из-за какой-нибудь мелочи. И обидеться на что-то безумно хочется, и чтобы все бегали, охали, на коленях ползали. А еще большой букет хочется, чтобы розы и, краснея, улыбаться.

А головой думать совсем не хочется. Надоело как-то. Не хочется вспоминать о том, что маникюр нельзя — пианино, диеты тоже нельзя — голова думать должна, цветы обычно жутко жалко, Козловский — гей, а Брежнева — это же вообще попса.

Но нельзя же вечно быть такой серьезной, правда? Хочется слабостей и еще чего-то, только обязательно не знаю чего.

### *Распутаться*

Я давно потерял интерес ко всем этим однотипным вечеринкам, но дни были настолько скучными и тягучими, что вписки и пати были единственным моим развлечением. Ничего хорошего не ожидая от очередной пьянки, я поднялся в квартиру, где гремела музыка, и сразу увидел ее. Она мяла в руках бумажный стакан, в который было налито дрянное дешевое вино из соседнего продуктового, и улыбалась шуткам моего подвыпившего знакомого. Я уставился на нее, как дурак, и никак не мог перестать пялиться, сам даже не понял, почему. Когда я опять вошел в большую комнату, она отвечала на звонок, а потом быстро вышла из дома во двор. Я увидел ее рисующей что-то окурком на стене соседнего дома. Было холодно, она стояла в одной рубашке и ежилась. Я молча протянул ей свое пальто, но она отвернулась. Стучит зубами. Я снял и шарф.

— Мы живем в одиночку и умираем в одиночку. И что бы ни твердили, каждый может один... прожить, — сказала она хриплым голосом после нескольких минут молчания.

— Что ты рисуешь?

— Волка.

— Ты ему нижнюю челюсть не дорисовала.

— А ее вырвали. Потому что он говорил то, что сказала я сейчас, а их это взбесило. Но он же был в стае, он знает, что говорит. Но эту пропаганду прекрасного плена, взаимной зависимости, пут любви и салюта из красных стрингов не остановить, — проговорила она, шмыгнула носом и бросила окурочек.



— Красные стринги — на счастье. Ну, накануне экзамена повесить на люстру, — зачем-то ляпнул я. Все-таки сессии накладывают на человека определенный отпечаток.

Она вдруг начала смеяться, неожиданно заливисто и легко, как будто перенесло ее в прошлые, счастливые времена, но резко замолчала, сняла с правой руки кольцо и ткнула его мне.

— Держи. Хочешь, в ломбард сдай, хочешь себе оставь, мне такого не надо.

Я усмехнулся и достал из правого кармана похожее кольцо. Прошел месяц, я все не мог расстаться с ним. Я положил кольцо ей на ладонь. Она посмотрела на меня, хлопнула по плечу, улыбнулась правым уголком губ, взяла кольцо и ушла.

Так началась история нашего знакомства.

### *Жизнь перед глазами*

Кап-кап. В ушах стоял звон посуды. Ноги коснулось что-то вязкое и горячее.

— Мам, я давно вырос, — попытался начать я. Она стояла в дверном проеме, а справа от нее, по кафельной стене, ручьилась каша. Я не хотел смотреть на нее, и поэтому смотрел на голубые плитки в овсяных брызгах, на затертые до блеска солонки рядом. Небо горело, во рту до сих пор чувствовался след ложки. Она до сих пор берет чайную, ну хоть бы раз покормила большой!

— Саш, или ты ешь, или из кухни не выйдешь, ты меня понял? Нашелся тут взрослый, тебе и...

— Мама! Мне не четыре года, мне тридцать лет! Тридцатник, понимаешь? Это полжизни!

— Саша, — ее голос задрожал. Опасно. — Препере... ты мне хватит это, сядь прямо, я положу завтрак. И не говори ничего больше.

Я сглотнул слюну. Опять она об этом.

— Ну даже если мне и четыре года, дети же в это время едят сами!

— А ты сам есть не будешь. Ты посмотри на свои ручонки, какой худющий! Да все знакомые мамы думают, что я тебя тут голодом морю! — мокрыми руками она убрала волосы, и они противно заскрипели под пальцами. Пахло хозяйственным мылом и скандалом.

Я посмотрел на свои руки. Большие, как у дяди Степы: занимаюсь в фитнес-клубе по вечерам. На правой руке кольцо.

— Все, давай. Давай-давай! Сел и доедаешь, иначе не выйдешь.

Она так и стояла. Оперлась плечом о стену, приложила руку ко лбу и смотрит на меня. А что мне ответить на это? Вызвать наконец наряд? Жалко мне ее, да и медицина у нас хромает хуже больных.

— Мамочка, милая, ну давай я тебе сам чаю налью! Смотри, какая уставшая, еще больше седых... — я осекся.

Ее шея заалела. Она схватила руками предплечья и отвела голову немного влево, так, чтобы я не видел ее взгляда. Цветочный халат, один из тех, которые я называю каменными из-за годков, руки — схватись, и, кажется, осыплются морщинами, волосы под зеленым крабиком.

— Что... что ты сказал?

— Ничего, — мгновенно среагировал я.

— Не ври!

В затылке почувствовался холод, который медленно перешел в шею, потек по пояснице, ужалил, как ремнем, по ягодицам (я вздрогнул!) и обвил ужами пальцы на ногах.

— Ты сказал, что у меня седые волосы, что я старая. Да что ты мелешь?! Это не тебе тридцать, это мне уже за тридцатник! И слово-то такое откуда узнал? Так, все, мы завтра идем к врачу. Кашу можешь не доедать, иди к себе в комнату и не трогай ничего! Что за бес...

— Мамочка, — пробасил я и попытался ее обнять. Она хотела оттолкнуть меня, но не смогла: спортзал сделал свое дело. Я прижал ее к груди, целовал в щеки, в лоб и приговаривал:

— Мамуль, ты только подожди, посиди на диване, я позвоню, и все станет хорошо, мамуля!

— Да почему ты такой...? Это ненормально! От... отцепись, и хватит пищать наконец! — в истерике проорала она и царапнула по предплечью. Я отпустил ее, но она вмиг схватила меня за запястье и потащила в ванную.

— Вот, смотри! Видишь, где у меня седина?! Хочешь сказать, отец ушел от нас, потому что я старая была? Да? Да все вы...

Я посмотрел в зеркало и обомлел. В отражении стоял я, только маленький, уродливый и лопухий, как всегда вспоминал о себе. Рядом рыдала мать, красивая, еще сильная и статная, как скульптура колхозницы на ВДНХ. Я вдруг понял, кого мне так напоминала жена.

— Сил больше нет, понимаешь?! Всю... душу, кровь всю вы из меня высосали! — надрывалась мать, а я стоял и молча смотрел на нас в отражении.

Тут она опустила голову, ударила ладонью по дверному косяку и медленно пошла по коридору, вытаптывая мозолистыми ступнями свои танцы. В квартире вдруг резко запахло закатанными огурцами и скипидаром. А я все стоял и смотрел в зеркало, такими глазками-пуговичками, и с такими заусенцами на пальцах чесал щеку, цыплячьи волосы, тер веки. Что же это такое получается? Жизнь у меня перед глазами проносится?

А на следующий день мы пошли к психиатру. Было апрельское утро, подъезд красили в зеленый — цвет гармонии, рядом шла мать — пустая, иссохшая, даром, что молодая, и я, лягушонок, слабый и жалкий, даром, что со следом кольца на пальце.

*К Лису*

По иронии судьбы, это случилось 14 февраля. Настя сказала:

— Я помню, когда он мне все это сказал, мне так жалко тебя стало.

Улыбается мне сочувственно, сзади стоит ее парень и обнимает ее, а я напротив стою. Одна. Обхватила себя руками и подбородок в шарф прячу.

Во рту пересохло.

— Что сказал? — дрожащим голосом спросила я. По морю пробежала гладь. Всколыхнулось даже на людях, вскарбалось с подкорок, настолько сильно оно было.

— Ну, что он понял, что тянет тебя вниз, что ты такая юная, несформировавшаяся. Поэтому все у вас закончилось.

Улыбнулась по-мхатовски, распрощалась и зашагала к лифту, чтобы вдруг не услышали.

Мне всегда говорят: «Не беги, ну куда ты несешься?». А мне так мыслей не слышно.

Сжимала руки в кулаки так, что на ледяных ладонях оставались следы, дышала прерывисто, без надежды, но только лишь бы не плакать, лишь бы не плакать.

«Тихо, тихо, Пташка. Ну чего ты так распереживалась?» — говорил голос в моей голове. Его голос.

Надела пуховик, сунула нос в шарф, спрятала руки и вышла. Маленькая, смешная наверняка. Взять сигарету. Пальцы дрожали. Белки наверняка почернели. Изогнуться бы не по-людски, и чтобы тысяча дьявольских бабочек вылетело! Человека, который мог бы это остановить, давно нет. Нет больше моего Лиса.

— У вас не найдется сигареты?

И глаза повзрослее сделала. Девушка даже не посмотрела на меня, молча протянула пачку, чиркнула огнем. Тонкие, какая дрянь! Так давайте скорее.

Я летела мимо елей, даже не остановилась вдохнуть боли в дань тому времени. Голова кружилась, дым уносил душу, а тысяча голосов внутри, все, которые были, пели вразнобой над алтарем храма из серого камня, визжали, потом успокаивали, потом кружили голову. Тупой, туманный, обволакивающий холод. Я опять прыгнула вниз, к темноте. А там Хаос — начало и конец, там поглощающее ничего, самое безболезненное, и все равно, что мертво, что потом не выбраться. Я говорила вслух. Даже не шепотом. Даже не прикрывая рот шарфом. Говорила, распахнув руки, потому что ничто уже не могло распять меня. Помню, как мы вместе ходили здесь и всегда болтали о чем-то хорошем. Даже после расставания. Сквозь боль говорили обо всем, но везде параллельно звучали бритвы, оставляли пульсирующие полосы, а рубцы нежно трепетали в такт всем весенним деревьям.

Страшно. Плечи сжимались, инстинктивно старались закрыть сердце, которое тут же начало болеть. Сигарета заканчивалась, почти фильтр, а я не могла заплакать. Я так и не могла плакать из-за него, потому что в один момент запретила себе все воспоминания. Дура! не учла того, что болеть все равно будет, да только коснуться этого ты уже не сможешь.

Его черная рубашка, светлые волосы, в которые я так любила зарывать пальцы, а он мурчал от удовольствия в мои коленки. Я заорала драконьим ревом. Ванильный запах, который долго путался в моих волосах. Баночки кофе и песня Дельфина «Серебро». Все мысли шли в одну точку, и от приближения темнело в глазах. Голоса то ли сливались — все громче, то ли затихали. Ближе, ближе, оно рядом! Удар. Сердечный ли, в точку ли? Живу я или жизнь меня имеет? Забыла все, совершенно все, отрезала прошлое, опасное, полное копьев и роя ос, которые при ненужной мысли заставляли набухать и чуть не трещать по швам. Да только не исчезнут губы с губ, не исчезнет еле заметный за-

пах сигарет и энергетиков, не исчезнет большая обсерватория, которую создали мы вместе в зиму, готовую заточить в кандалы, как только разомкнемся.

Разомкнулись.

Моя искусанная шея. Я провела пальцами. Ущипнула. Хоть что-то не потеряло чувствительности.

«Ну это же было так давно. Ты другая, он другой. Вы же неплохо сейчас общаетесь», — шептал другой голос.

Да, другие мы. Год прошел, и все так крутануло. Да, да, все иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе. Иначе.

Ведь если твердить себе слово несколько раз, оно станет правдой?

Да никто тебе ничего не ответит.

Атака. Так страшно. Я присела на корточки, напрягла мышцы так, что стало больно, скривила рот в крике без звука, надеясь, что вместе с таким выражением лица выйдет хоть немного боли.

Не вышло, конечно.

Кусала пальцы. Если бы можно было шею, кусала бы и шею. Крови так и не появилось.

Холодно. Озноб злобно хихикал и не желал уходить.

Куда деваться, Господи? Скажи мне, куда деваться от этого всего?

Я устала быстро идти. Я устала отгонять от себя плохие мысли и баррикадироваться от всего, что может причинить боль.

Сказала, что устала, и сама пошла медленно, ловила ртом синий воздух. Горько посмеялась над собой.

Тащилась по бесконечной дороге, кашляла от фильтра и не хотела выпускать сигарету, как единственное спасение. Сил не осталось. Голова кружилась.

Я села на бордюр, закрыла глаза, и пусть бы они больше не открывались. Где-то вдали неслись машины, звучали си-

рены, а высоко в космосе молча летали спутники, и все было как надо, мир жил этим вечером, и завтра будет жить, и все будет точно так же. Но только здесь, на краю, сидела я, готовая стать изгнанником, потому что не нужно мне ни это небо, ни эти сосны, ни даже сигареты-воспоминания. Нехватка у меня, ненасытная.

Потом я, конечно, буду ругать себя за эту слабость. Буду кокетничать, накручивать волосы на пальчик, пить чай вместо кофе и, как в кино, не оборачиваются на взрывы, не обращаться на толпу обожателей. Надевать зачем-то каблук вместо кед, и кольцо носить на безымянном пальце и ни на каком другом. А если вдруг взбунтуются мысли, то я же сильная.

## СОФЬЯ СЕРБИНЕНКО

### ДИВАН

Бабушка Марка и Марты всегда была с приветом. Каждый день она придумывала какую-нибудь чепуху и использовала нас для ее исполнения. Из-за этого ни один день в доме не был спокойным. Казалось бы, что в этом такого? Да только на этих «заданиях» она всегда зачем-то назначала меня главной и потом ругала, если мы делали что-то не так. Я не боялась ее, так как чаще всего ругань была без причины, и не понимала, что ей нужно. Мне всегда казалось, что она меня тестирует. Вопрос: зачем ей это? И вообще, что здесь делает мать отца, который ушел? Мама ничего не рассказывала, и мне ничего не оставалось делать, кроме как слушаться ее.

И вот однажды она снова послала нас в магазин, под угрозой, что выставит на улицу, если мы не купим то, что ей надо.

— Итак, отряд, у нас с вами очень важная миссия, от которой зависит, где мы будем сегодня ночевать!

— Ух ты, здорово! А что такое миссия?

— Что ты несешь, Май?

Я обернулась и оглядела свой «отряд». Маленькая и наивная Марта и чуть более взрослый и скучающий Марк. С последним ни одна шутка не прокатит. Но Марту заинтересовала, уже хорошо.



Я развернулась и, с важным видом, как герой из фильма, посмотрела вдаль. Перед нами мелькали люди, коробки, грузовики, и сквозь эту суматоху виднелось большое здание с четырьмя буквами.

— И-ке-а, — прочитала Марта. — А что это такое?

— Магазин мебели, — сказал Марк и взглянул на меня. — А никакая не миссия.

— Там очень интересно, — я взяла Марту на руки.

Она обняла меня и улыбнулась. Интерес не пропал, отлично, ибо магазин «трудный» для ребенка. Хотя, кто знает, я в детстве его своим вторым домом считала.

\*\*\*

— Ух ты! Майя, Марк, смотрите!

Я подняла голову и улыбнулась. Огромные переплетенные ветки деревьев с разноцветными ленточками и большими плакатами с надписями «С Днем Весны и Труда!» под высоким потолком приводили в восторг каждого ребенка.

— Мартёнок, что я тебе говорила про палец?

Девочка тут же разогнула остальные пальчики и улыбнулась. Я засмеялась и погладила девочку по волосам. Хитрюга маленькая.

\*\*\*

— С чего ты взяла, что ей это интересно? Это не магазин игрушек, а...

— Слыш, ты, реалист, хоть при сестре сделай вид, что тебе интересно.

— Кому из детей в Икеа было интересно?! Опустит руку, Майя!

— Я его обожала. Я знаю детей и уверена, что Марте здесь понравится! Да и тебе здесь точно не будет скучно.

Марк хотел было что-то сказать, но пришла Марта с сумкой, больше ее самой, и он замолчал. Чувствую, простым походом в магазин это не обойдется.

\*\*\*

Если я тут все знала, то у Марка и Марты, при виде мебели и всяких погремушек в таком большом количестве глаза стали как у креветок. На входе Марта тут же запросила поход в Детскую комнату, но Марк был против. Взрослых с нами нет, и ответственность за нее несем только мы, поэтому лучше не рисковать.

Но с нами ей тоже не было скучно. На каждом повороте, она с веселым криком падала на какой-нибудь диван и звала нас. Марк всегда оставался в стороне и ворчал, я же садилась рядом и слушала ее восхищения насчет теплого одеяла и мягких подушек.

Моя реакция в детстве была точно такой же. Магазин был похож на лабиринт с кучей мебели вокруг и углами, обустроенными под стиль комнат. Прямо как общая квартира без дверей! Еще и куча разных погремушек в виде щеток, игрушек, ламп и даже посуды. И недорого, главное! Всегда хотела тут жить и даже представляла, как однажды подговорю родителей, спрячусь с ними и переночую здесь — среди кучи кроватей, ванн комнат и детских игрушек. Захотела поспать на двухэтажной кровати — поспала, захотела поиграть — ушла в детскую комнату, захотела посидеть на диване — пожалуйста, целых 100 штук в моем распоряжении. Все для вашего комфорта, как говорится. Жаль, что я уже не такая маленькая.

\*\*\*

Прыгала Марта на все кровати и диваны, а в отделе «Спальня» их было чуть ли не тысяча, некоторые даже стояли на высоких помостах. Но уже на двадцатой Марк поймал сестру, взял за руку и посмотрел на меня взглядом «Ни слова не говори!». Я пожалала плечами и положила в сумку щетку.

— Марки, — крикнула Марта и потянула брата за руку к плюшевым мишкам, — давай купим!

— Марта, нам денег может не хватить... — говорил Марк, и по голосу было понятно, что он не хочет ей отказывать. — Май, ну скажи же?

Я посмотрела на него с видом «А что я?!» и отвернулась. Марк фыркнул и посмотрел на Марту. Та так прижимала к себе мишку, что если бы он был живым, то лежал бы хладным трупиком от передоза любви. Я взглянула на него, Марту, в мыслях пересчитала карманные деньги и положила медведя в сумку.

Скоро мы стали разбегаться. Марта бегала по «комнатам», Марка интересовали светильники, я искала нужные вещи.

Люди, особенно семьи и пожилые, смотрели на нас, как на инопланетян, и провожали растерянным взглядом до следующего отдела. И неудивительно, ведь со стороны мы выглядели, как семья. Но семья до ужаса молодая, так как я выглядела лет на 14, Марк — на 12, а Марта вообще на 7. Тогда получается, я «родила» ее в 7 лет? Не, бред какой-то.

Я перевела глаза с очередной удивленной парочки на список. Следующим был диван... Стоп, диван?!

— Эм, Марк?

— А?

— Нам нужен диван...

— О кей, пойдём.

Мальчик пошел вперед. В разделе «Гостиная» мы подошли к мебели.

- Какие молодые!
- А какая мама молоденькая! Совсем еще ребенок!
- Думаешь, они семья?
- Может, сестры и брат?

Опять что ли? Ну, хоть одна здравая мысль. Я обернулась посмотреть на «здорового» и увидела трех пожилых женщин. Марк тем временем стоял рядом с каким-то диваном и смотрел на ценник. Постепенно его лицо начало приобретать разные выражения: спокойное, удивленное, шокированное.

— Погоди, Май, нам правда надо диван покупать или ты прикольнулась?

— Нам реально надо диван покупать, — я ткнула пальцем в список. — До тебя только сейчас дошло?

- Да... Зачем бабушке диван?
- Я-то откуда знаю?! Какой будем брать?
- Ты издеваешься?

\*\*\*

После «Гостиной» шли отсеки для детской мебели, которые я в шутку называла «детской дорогой». Вот там Марта летала — колибри отдыхают. Марк просто не мог ее удержать: она вырывалась и ныряла в большие решетчатые корзины с мягкими игрушками. Я откапывала ее и едва сдерживалась, чтоб не прыгнуть следом. Но Марк начал закипать, и нам пришлось успокоиться.

— Как в кишках ходим...

— А чего ты по указателям не идешь? Тут же стрелки на полу.

— Тут проще самому найти дорогу, чем эти стрелки искать!

- У кого-то плохо с ориентацией...
- Что ты сказала?
- Вперед, говорю.

На складе мы нашли свой разобранный диван, взяли его по частям и дошли до кассы взвинченные и потрепанные. Но и здесь не обошлось без проблем.

Взгляды добавляли масла в огонь, Марта была непривычно тиха.

Кассирша приняла меня за маму и потребовала паспорт. Хорошо, что он у меня был. Марк чуть не начал материться, и я взяла его за руку и мягко шлепнула по губам. Вот уж точно мама... После «доказательств» началось складывание. Балки и матрасы никуда не умещались, и я понимала, что мы не донесем этого. Но уже все куплено — теперь надо как-то выкручиваться.

Когда дошло дело до игрушки, я сказала:

— Можно мишку оплатить наличными?

Кассирша так взглянула на нас, что мне стало не по себе. Кажется, мы ее довели. Марк облокотился на стол и закрыл лицо ладонями. Уж не знаю, чего он там подумал, но взглянув на него, меня и грустную Марту, от которой игрушку даже клещами невозможно было отцепить, кассирша вздохнула и взяла у меня деньги.

\*\*\*

— И как будем тащить? — спросила я.

— Не знаю, — сказал Марк и протянул мне газировку.

После кассы шло маленькое кафе, где мы с родителями всегда покупали пончики и мороженое в машину. Я не стала изменять традиции и потащила ребят с собой. Кто знает, может, они тоже скоро станут моей семьей.

— Можно поехать на машине! — сказала Марта, сидя у меня на руках и поедая мороженое.

— У нас денег нет, — Марк закатил глаза. — И не примут нас с таким грузом.

Марта посмотрела на две сумки и матрасы с палками и кивнула, хотя по взгляду было ясно, что она ничего

не поняла. Скоро она попросила еще воды и убежала к стойкам.

— Май?

— А? — я подняла голову.

— У нас правда нет денег, чтобы это везти...

\*\*\*

Снова началась паника в рядах. Испугались все, ибо везти нас некому, денег на машину не было с самого начала, а оставаться ночевать в магазине не хотелось. На звонки бабушка упорно не отвечала, и я чувствовала, как начинаю ее ненавидеть. Точно она подставила с диваном. Сто процентов. Слишком сильно она нас не любила. Марк соглашался, что она специально сбрасывает, а Марта утверждала, что «бабушка просто очень устала и спит». В итоге, между ними завязался спор, и пока они внушали свои мнения друг другу, я решила позвонить с телефона прохожего. И, о чудо, бабулька «проснулась»! На мои претензии она ответила ехидством и руганью и в итоге сказала, что пришлет такси.

\*\*\*

— Как это произошло?

— Откуда я знаю?! Я не видела, что в списке стоял диван!

— Она что, не дала денег на машину?! Или ты все на медведя истратила?!

— Она сказала, что можно добраться на метро! Но у нас диван!

— Майя, я тебя сейчас ударю.

— Да за что? Это ваша бабушка!

— И что ты предлагаешь делать?

— Как что — ждать! Она пришлет такси!

Марк выругался, увернулся от моей руки, что опять чуть не проехала по его губам, и отошел к Марте. Я на-

хмурилась, как только увидела на себе сочувствующие взгляды посторонних женщин и стариков. Вот только не надо меня жалеть. И смотреть тоже не надо. Идите своей дорогой. И вообще, это когда-нибудь закончится?

\*\*\*

Мне было шесть лет, когда папа исчез, и восемь, когда мама второй раз вышла замуж. Новый мужчина пришел с шестилетним мальчиком. А потом мама еще и девочку родила. Я всегда хотела братика или сестренку, но сразу двое, да еще и один неродной, меня немного подкосили. Но я старалась быть хорошей старшей сестрой: как только Марк пошел в школу, я стала забирать его, помогать делать уроки, а Марта порой не слезала с моих рук. С отчимом мы, более-менее, сжились, хоть я не могла назвать его папой. Да и сын его не особо любил меня. Отчим вообще больше Марту любил, это было только слепому не видно. Из-за этого Марк ссорился с ним и ревновал его к сестре. Ему нужно было отцовское внимание, которое ему пыталась оказывать я. Мы вместе ходили в лес, чинили свои велосипеды, обсуждали машины, хоть я почти ничего в них не понимала. Это не особо помогало. Марк никак не относился к маме, хоть она и любила его как родного, и считал, что его настоящая мама была куда лучше моей. Я в ответ всегда напоминала ему, что сделала его маман, и он тут же замолкал. Тема мамы всегда была для него большой, и я не любила говорить с ним об этом, но именно это и затыкало его.

Не сказать, что у нас было полное взаимопонимание в доме, но и не сказать, что совсем все плохо. Уж лучше так, чем воевать. Пришло время, и Марк привык ко мне, и я привязалась к отчиму.

И все было хорошо, пока отчим не собрался от нас уходить. Мама узнала об этом от какой-то подруги, а я подслушала их разговор. Я не говорила никому, но все раскрылось

за неделю. Он просто ушел и оставил малых с нами, а потом подал в суд иск об опеке Марты. И началось. Мама постоянно бегала искать адвоката, чтобы отстоять Марту, сама Марта не спала и плакала постоянно, я паниковала и каждую ночь молилась — только бы и эта семья не развалилась до конца.

Для Марка это было хуже предательства. Его словно подменили: он постоянно скандалил, ругался со всеми и дрался с отцом. Я понимала его и всячески пыталась поддержать, но он отворачивался от моей помощи и пытался вертеться сам. Скоро он стал срываться на других людях и так заслужил три похода к директору. Про четвертый знала вся школа: Марк побил сына какого-то прокурора. Это обсуждали все, многие смеялись, за спиной ругали Марка и дразнили.

\*\*\*

— Где Марк?

— У директора. Где ж ему еще быть?!

Я сделала вид, что ничего не слышала и вошла в кабинет. Марк сидел на скамье напротив пустого стола директора и смотрел в пол, теребя в руке ляжку сумки.

— Чего тебе? — спросил он, не поднимая головы.

— Ничего, — сказала я и подошла ближе.

— Разве у вас сейчас не урок?

— Перерыв, пять минут.

Минутное молчание тянулось будто час. Марк чего-то не договаривал, и я ждала. В конце концов, не захочет говорить — не надо. Мы не настолько близки, чтобы рассказывать друг другу секреты.

— Марта осталась с нами.

— Да, я знаю. Это очень здорово. Та женщина, оказывается, очень хороший адвокат.

Марк промолчал и, кажется, еще сильнее нахмурился. Это не то, что он хотел сказать.



— Я очень рада за нашу семью.

— Это не семья. Батя-то ушел. А твоя мама мне никто.

— Во-первых, она твоя мачеха. А во-вторых, ты мне тоже биологически никто. Но нас всех объединяет Марта. Она же и мне частично сестра, и тебе, и настоящая дочка мамы. И я рада, что ты остался с нами.

Марк смотрел на меня с подозрением, но, видимо, ничего такого примечательного в моих словах и взгляде не нашел, поэтому опустил голову и выдал:

— Рано радуешься. Меня исключат.

Я вздрогнула. Неужели все-таки доверился?

— Не обязательно...

— Обязательно. Это был чей-то сын.

— Не волнуйся. Я... Я придумаю что-нибудь. И все будет хорошо.

— Ты? — Марк усмехнулся. — Не уверен я что-то.

— А ты попробуй. Хоть раз в жизни доверься мне. Не любила бы тебя — давно бы убила.

За дверью прозвенела противная трель.

— Это на урок.

— Я знаю, не глупая.

— Чего тогда стоишь? Иди куда шла.

— Я к тебе шла вообще-то.

— Зачем?

— Потому что я на твоей стороне.

Я села рядом, и мы долго сидели одни. Марк кричал, плакал, утыкался мне в плечо и что-то бубнил, и я слушала его и отвечала. Домой мы ушли вместе.

\*\*\*

— Кострома.

— Архангельск.

— Киров.

— Владикавказ.

- Звенигород.
- Еще какао принести?
- Ижевск. То есть, что?

Марк посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и повторил вопрос. Я взглянула на нетронутый стаканчик у ног и помотала головой.

— Май, ты чего? — Марк притянул меня к себе и коснулся рукой лба. — Я тебе про какао, ты мне про Ижевск.

— Прости, — сказала я. — Я слышу только последние буквы.

— Тогда хватит в города. Иначе ты сейчас точно заглочишь.

Я кивнула и отпила остывший шоколад. Мы молчали. На улице постепенно темнело, небо над прозрачной крышей окрашивалось в теплые цвета яркого заката. Магазин пустел: люди выходили с большими тележками и спускались по эскалатору вниз. А мы сидели, как бомжи, на матрасах у кафе и пили какао. Рядом стояла тележка с палками и Мартой, которая играла с новым медведем.

— Бабушка странная, скажи, — сказал Марк и еще отпил.

— К чему ты это? — спросила я.

Марк промолчал. Я уже хотела было забыть это, но тут он снова начал:

— Ее никто не любит. Но она забрала Марту.

— В смысле?

Марк взглянул на сестру и вздохнул. Пальцы, сжимающие стаканчик, побелели.

— У бабушки есть подруга. Была, точнее, но неважно. В общем, эта подруга была очень хорошим адвокатом. Она согласилась по дружбе помочь и смогла перетянуть в суде Марту на нас. Папа не смог ничего сделать и остался без помощников и доказательств, что это типа мама ушла, а не он. Бабушка сказала, что будет жить у нас — так мы сможем отплатить ей за Марту. Мама не хотела, но выхода не было.

— А почему же папа ее не взял?

— Он ее в дом престарелых отправить хотел. А там помереть — проще простого.

— И бабушка пользуется этим...

— Она просто хочет жить. Пусть и таким способом. А в кого, по-твоему, батя такой?!

— Ты до сих пор на него злишься?

— Не знаю, — Марк пожал плечами. — Я видел его новую жену. У нее даже волосы не свои. И она меня бесит. Даже хорошо, что я остался, наверное. Твоя намного лучше.

— Наконец-то ты это понял, — я пихнула Марка в бок, и он ответил тем же и сказал:

— Та, наверняка, даже готовить не умеет.

— Ну, не знаю, что там она умеет, но одно я знаю точно: вкуснее маминых блинов нет ничего.

Марк не ответил, но я видела, что он улыбается. Я тоже улынулась и потрепала его по волосам:

— Ладно, скажу маме, чтобы сегодня напекла, слюни только подбери.

— Нет! Только не волосы! Знаешь же, что я не люблю это!

— Не бойся, малыш, я знаю все твои слабые места! — я засмеялась и получила тычок в бок.

— Ты это еще в громкоговоритель скажи! Да отпусти, ну блин, ну Май!

Мы начали пихаться и толкаться. Скоро к нам влезла Марта с медведем. Какао, города и отчим были забыты.

\*\*\*

— Марта, Майя, Марк!

Мы обернулись, а Марта вывернулась из рук Марка и с громким «Мамочка!» понеслась навстречу маме. Та подхватила ребенка на руки и обняла. Я скрыла удивление и улынулась, а Марк скрестил руки на груди:

— И это, называется, такси?

— Я отпросилась. Узнала от бабушки, куда она вас отправила и сбежала. Не знаю, зачем она заставила вас покупать диван... — она взглянула на матрасы.

— Еще бабушка сказала, что не пустит нас домой, если бы не купим диван, — добавила Марта.

Мама взглянула на нас и покачала головой.

— Надо будет с ней поговорить потом. Хорошо, что я на машине, а то мы бы это не донесли. Да и с работы я сбежала... Потом будет свержплан. Нужно будет с Мартой на канikuлах посидеть... — она посмотрела на меня. — Май, солнышко, сможешь?

— Да, конечно. Привет, мам.

— Привет.

Марк с притворным фырканьем получил поцелуй в многострадальные волосы и зашагал с матрасами на выход. Я обнялась с мамой, взяла несколько сумок, Марту за руку и зашагала следом, и на выходе пихнула Марка в бок и всунула пакет в руки, а сама взяла ребенка на руки — эскалаторов она все еще боится.

\*\*\*

Облегчение и радость медленно растекались по телу. Пусть мы и будем сидеть среди матрасов и палок, но хоть не придется ночевать в магазине. День завершился хорошо. И будет что вспомнить. Марк тоже так считал, ибо на выезде он с трудом отодвинул матрас, разделяющий нас, поцеловал меня в щеку и взял за руку. И вот как после этого на него обижаться?

Марта слезла с рук мамы и перебралась к нам назад.

— Давай еще сходим в... И-ке-а... Там так здорово!

То, как она затормозилась на названии, заставило улыбнуться даже Марка, но он тут же скис на моих словах:

— Обязательно сходим. И в Детскую комнату мы сходим. И даже поживем там. Правда ведь, Марки?

\*\*\*

— Что это вы мне привезли?

— Вы сами сказали купить диван, Велина Владимировна.  
Вот мы и купили.

— Это не диван!

— Это разобранный диван, бабушка Велина. Мы соберем его.

— Как вы его соберете, Марта?

— Тут есть карта.

— Точнее инструкция. Не переживайте, мы все соберем.

— А ничего, что я просила белый, а не серый?!

## СОФЬЯ ФИЛАТОВА

### МЕСТО, ГДЕ Я ХОТЕЛА БЫ ЖИТЬ

Однажды меня, наверное, спросят: «Соня, где бы ты хотела жить?». На самом деле, я никогда об этом не задумывалась, но похоже, что пришло время

Я лежу на пляже. Светит солнце и шумит море. Я в Барселоне. У меня своя маленькая квартира в трех минутах ходьбы от пляжа и собственное кафе на берегу моря, где подают свежеиспеченные круассаны и ароматный кофе. По утрам из кафе мне нравится наблюдать за тем, как местные жители занимаются йогой или бегают по пляжу. Барселона — спортивный город. Тут мало машин и почти все передвигаются на велосипедах. Я — не исключение: если мне надо куда-то добраться, всегда еду на велосипеде.

Стоп. Этого хочет лишь одна часть меня.

Я в огромном мегаполисе со стеклянными небоскребами. Это без сомнений Нью-Йорк. Работа в крупной фирме приносит хороший доход, и поэтому у меня собственная квартира с двумя комнатами, кухней и ванной. Кому-то этого покажется мало, а вот мне — в самый раз. В Нью-Йорке машин в полтора раза больше, чем людей. У меня тоже есть машина — маленький и комфортабельный «Форд». В Нью-Йорке насыщенная культурная жизнь — много театров и музеев. Все самое интересное происходит именно здесь!

Нет. Опять не то.

Я просыпаюсь от криков петухов и спускаюсь со второго этажа моего дома в деревне. Кормлю собаку Беллу, наливаю молоко коту Горелому, который так любит ловить мышей в амбаре, и иду к другим обитателям двора. Выпускаю кур и петухов из курятника, а пока они ищут семена, собираю немного яиц себе на завтрак. Затем иду в сарай, где живут несколько коз, дою их и насыпаю им еды. Готовлю себе завтрак и одеваюсь, чтобы поехать на рынок. Собрал с огорода урожай, я его мою и кладу в корзину. Туда же кладу десяток яиц. Вывожу из-под навеса велосипед и вешаю на его ручку корзину с продуктами. Тут меня осеняет, и я бегу в подвал дома: там же готов козий сыр! Взяв два круга из трех, я заворачиваю их в бумагу и аккуратно кладу в корзинку. Доехав до рынка, я занимаю привычное место и начинаю торговать. Когда все раскупят, можно будет походить между прилавками и что-нибудь купить для себя...

И все же. Где бы я ни хотела жить, мне только тринадцать лет и я живу здесь, в Москве вместе с мамой, сумасшедшей собакой и замкнутым котом интровертом. И будущее мое неизвестно.

## ЕЛИЗАВЕТА ХЕРЕШ

### ЛЕТО В НОРВЕГИИ

Лето в Норвегии — короткое, теплое. Со Скандинавских гор веет ночной прохладой. Озера — овальные зеркала. А речки, юркие и живые, бегут в зелени фьордов.

Недалеко от западного побережья Норвегии есть множество островов, и почти на каждом из них мостятся деревни, которые заканчиваются портом и маяком, похожим на старое пыльное стекло в трещинках.

Четель вырос в Гравдали. У него не было отца, зато было три младших сестры. Четелю в сентябре исполнялось четырнадцать, его нос облезал на солнце. Глаза его, похожие на поверхность озера Смоватнет, где он однажды утопил новые ботинки, слезились.

А Ульвар жил с родителями в центре Осло, на улице Штранден и уже пятый год учился играть на скрипке. Он любил читать книги об арктических исследователях и в жизни не выезжал за город. Поэтому, когда на пятнадцатый день рождения отец подарил ему спортивный велосипед с семью скоростями, мама совершенно не обрадовалась:

— Ты бы ему еще подарил снегоход или собачью упряжку! — говорила она.

От собачьей упряжки бы Ульвар тоже не отказался.

И если бы не бронхиальная астма, и не совет врача о прогулках на свежем воздухе, и не родственница тетя Ханна из Бергена (настолько дальняя, что мама так и не вспом-



нила, на чей свадьбе они встретились), велосипед Ульвара так бы и остался лежать нетронутым.

В ночь перед отъездом к тете Ханне Ульвар не спал до утра. У кровати стоял отцовский чемодан с блестящей застегжкой, который в свете уличного фонаря отбрасывал огромную тень. Розовое небо норвежских белых ночей съедало звезды. Ульвар дождался, пока побледнеет и исчезнет Кассиопея и встал с кровати. В Осло началось утро.

На вокзале пахло мокрыми газетами. Ульвар то и дело проверял, не выпал ли билет на поезд из кармана рубашки. Отец был в хорошем настроении и велел матери не плакать. Она не выдержала, и как только Ульвар зашел в вагон, полезла за платком.

Чудно было ехать по долинам, не похожим на картинки из географических атласов, необъятным, безлюдным. Отец дремал на верхней полке. Сложенный велосипед позвякивал на поворотах. Несколько раз они пронеслись мимо водопадов, и на окне оставалась молочная пена. В тумане виднелись очертания гор Ютунхеймана, похожие на профили американских президентов. Пока поезд ехал через нос Томаса Джефферсона, Ульвар достал фонарик и осветил десяток рыжих длинных сталактитов за окном.

Берген показался Ульвару мрачным. Тучи над городом были похожи на грязную вату. У станции спали бродячие собаки. На скамейке сидела девушка и курила тонкую сигарету. Поезд тронулся, она подняла глаза и подмигнула Ульвару. Он решил никому не рассказывать, что девушка курила.

На окраине Бергена вместо панельных зданий стояли деревянные домики. Поезд выехал из города, и Ульвар заметил, как ветер смахнул с подоконника одного дома мужскую шляпу. Потом Ульвар увидел коров. «Счастливые, — подумал он. — Им точно не приходится заниматься скрипкой каждый день и ходить в школу на каникулах, чтобы исправить тройку по норвежскому».

— На следующей выходим, — сказал отец.

Указатель «Гравдаль» сменился табличкой еще бледнее: «Ольсвик». На перроне стояла одна тетя Ханна в белом платье. Она белела среди вокзала, который пустовал в это сонное воскресенье. В Ольсвик уже давно никто не приезжал. От свежего воздуха и запаха скошенной травы у Ульвара закружилась голова, и перехватило дыхание. Поэтому, когда они подошли к тете Ханне, он растерялся и не поцеловал ее, как следовало сделать. Ульвар пожал ей руку, как пожимал одноклассникам и соседу Йенсену при встречах на лестничной клетке. Тетя Ханна холодно посмотрела на Ульвара, отдернула руку и с непониманием взглянула на отца.

— Ханна, ты его воспитай уж, пожалуйста, — глаза отца в паутине морщинок смеялись.

Тетя Ханна серьезно кивнула. Из-за веса длинных, почти белых волос она слегка поднимала подбородок, и вид ее становился высокомерным. Она приобняла сухими руками Ульвара. Недовольно взглянула на велосипед, но ничего не сказала.

Тетя Ханна шла впереди, высокая и молчаливая. Два ее сына уже выросли, младший уехал учиться в Тромсё, а старший — в Стокгольм на факультет фундаментальной математики. Старшего сына звали Ларс, Ульвар виделся с ним в прошлом году. Тогда Ларс отращивал бесцветную челку и мечтал стать скрипачом. Он обещал тете Ханне поступить в Венскую Академию Музыки и взять мать с собой. Через месяц, по пути в консерваторию, где принимали вступительные экзамены, Ларс попал в аварию. Из-за того, что во вторую неделю декабря выпала месячная норма снега, снегоочистительные машины не успевали расчищать дороги.

— Сыновья всегда уходят, — сказала тетя Ханна и поправила пояс на платье. — Уходят к другим женщинам и уезжают в другие города. Ульвар, хоть и не был сыном тети Ханны, почувствовал себя в чем-то виноватым. Родственники сравнивали его с Ларсом из-за скрипки и цвета волос.

Деревня стояла маленькой и тихой, спящей в объятиях Семи гор Бергена. Улицы будто сошли с рождественских акварельных открыток. У морского порта пахло рыбой и корабельными канатами. На деревянных столиках у причала чернел пепел от сигарет.

Отец уезжал вечерним кораблем, хотя обещал остаться на ночь. Тетя Ханна сказала, что в ее время мальчики возраста Ульвара уже таскали мешки с углем для паровозов или дробили камни в шахтах, а отцу стоит приехать в Осло до шторма, иначе придется ждать пятницы. Тетя Ханна говорила кратко и по делу, поэтому с ней не спорили.

Ульвар до последнего стоял на причале и смотрел за кильватерным следом, пока горизонт не утопил солнце. Земля остывала, и он снял ботинки. Потом повернулся и пошел к дому, споткнулся о кусты брусники. Щеки горели из-за тоски по отцу и незнакомой ранее свободы.

Ночь в Ольсвике была тихой — слышался только далекий гул воды — и звездной. Небо будто засеяли жидкими камнями, которые дрожали при каждом порыве ветра. Тетя Ханна не разрешила Ульвару ночевать на траве в саду, поэтому он вытащил кровать на балкон и долго смотрел на небо, пока не нашел Змееносца, Скорпиона и Геркулеса. Волнующим было спать под блестящими звездами. Ульвару подумалось, что яркая звезда Денеб в созвездии Лебеда наблюдает за ним и оберегает. У веранды стоял велосипед и казался в лунном свете серебристым.

Утром тетя Ханна уезжала в город.

— Дома в семь, — и бросила на стол сорок смятых крон. — Купи муки.

На этом воспитание ее закончилось.

Четель работал в мясной лавке после учебы. Так он помогал семейному ремеслу. Нож-секач выглядел смешно и нелепо в его худых руках, кровь с фартука пачкала одежду. Холодная вода уже не отстирывала пятна с заношенных ру-

башек. Прачечной в Гравдали не было, приходилось ходить в Ольсвик. Две затерянные во фьордах деревни связывала горная тропа. Дальше — камни и холодная, блестящая кромка воды. После купания в озере ботинки совсем расклеились, цвета на них размылись и смешались в одну ледяную голубизну.

Седьмая скорость велосипеда — спортивная, для горных дорог — ждала своего часа недолго. Солнце еще стояло высоко, когда Ульвар выехал из деревни. В тишине слышался только велосипедный звонок, который можно было и не использовать — велосипедистов в Ольсвике не было. Не было и людей — город будто вымер, испарился под летним солнцем и высох от старости. Недвижимые горы были похожи на громадную рептилию с зубчатым хвостом, которая заснула с открытой пастью.

Старый покосившийся забор с белым налетом соли заканчивался на середине дороги. Седой можжевельник, как высохшая чешуя рыбы, свисал с обрыва серебряными клоуьями. Хна на камнях высохла в виде бурых рисунков. В спицах отражались солнечные пятна, и пахло простором.

Четель редко гулял по горной тропе между деревнями. Красота фьордов и заливов не увлекала его: дома Четеля ждали три маленькие сестры и мама. Он, как и любой житель, выросший среди природы, не обращал на нее должного внимания и спешным осторожным шагом шел вдоль влажной из-за морских брызг скалы.

В конце горной тропы скорость дала осечку. Велосипед громко щелкнул, остановился, его повело вправо. Ульвар только успел соскочить с седла, как велосипед свалился с обрыва и зазвенел о круглые серые камни. Через секунды слышался всплеск воды.

— Ты что тут делаешь? — Ульвар обернулся и увидел

незнакомого мальчика в грязной рубашке и джинсах.

— Я тут гуляю, — ответил Ульвар и отвел взгляд, чтобы не заплакать. Велосипед был совсем новым.

— Ты что тут делаешь? — повторил мальчик и нахмурился. — Тут вообще-то гулять нельзя.

— Почему ты тогда тут гуляешь?

— Хочу и гуляю, — зрочки мальчика, казалось, выцветали от яркого света. — И вообще, ты знаешь, что параллельные миры связаны между собою червоточинами?

— Что? — Ульвара в воскресной школе учили, что отвечать вопросом на вопрос — невежливо.

— Червоточина, иначе — кротовая нора. Она соединяет отдаленные точки во Вселенной, а может соединять и точки разных Вселенных. Это как получится. — Ульвар посмотрел на рукава рубашки мальчика в пятнах крови, которая засохла уже давно, и заметил, что у них одинаковые клетчатые рубашки, только та из-за грязи кажется темнее.

Они спускались к воде долго, пока не наткнулись на большой плоский камень, похожий на застывшую рыбу. Под ним тяжело плескалась вода. Мальчик снял рубашку, положил на серую гальку. Ульвар повторил за ним, и увидел на его руках два больших симметричных шрама.

— Ножом задел, — отмахнулся мальчик. — Миров этих бесконечное множество. Различия могут быть совершенно незаметными — попадешь в другой мир и даже не заметишь. Например, — кивнул он на одежду, которая высыхала на гальке. — Тут у нас одинаковые синие рубашки. А в другом мире — одинаковые черные. И так со всем. Этих различий бывает очень много, но только с червоточинами мы попадем из одного мира в другой.

— И много их, червоточин? — от соленой воды больно щипало руки.

— Бесконечное множество, их нужно просто уметь находить. — мальчик растянулся на камне и прикрыл глаза с белесыми ресницами. — Я вообще Четель.

И Ульвар подумал, что, может, даже здорово, что в их вселенной у них одинаковые синие рубашки, а не черные.

И даже если этих миров бесконечное множество, то этот мир — две рубашки с высохшей морской солью на закатанных рукавах и две тощие фигурки на нагретом широком камне — самый лучший.



**Автобиография.  
Мастерская Екатерины  
Ляминой (зима — весна  
2017)**





## ИРИНА БАЗАЛЕЕВА

### ВЕРЕВКА

Я ее до сих пор помню — ту историю. Может, и не хотела бы, да как забыть?

Мне — семь, брату — пять. Мы в гостях у бабы Тони. Отец говорит с ней о подводке газа — они в ту пору всегда об этом говорят, мать, наверно, слушает, брат в песочнице-коробке что-то лепит, и только мне скучно, я болтаюсь по асфальтированной веранде. Веревка с бельем — нельзя, запрещено висеть на веревке. И почему только всем кажется, что мы дураки и всерьез решим на ней повиснуть?

Я держу веревку между пальцами, подпрыгиваю и делаю вид, что лечу. А и вправду. Если смотреть вдаль, над грядками, дальше яблони «белый налив», дальше антенн соседских крыш, то видны облака над горизонтом — далеко-далеко, вот бы улететь!

— Игорь! — зову я брата. — Смотри, я лечу, прям в облака!

Брат, вытирая лапы о штаны, подбегает и хватается за веревку.

— Игорь! Ты понарошку, ты не держись взаправду! Нельзя, порве...!!!

Страшное. Веревка рвется, и Игорь летит головой в асфальт. Я леденею от его крика.

Я. Опять я. Виновата.

Отец со страшным лицом, мать с испуганным, баба Тоня суетится.

— Ты зачем его позвала? Играл себе и играл! Все ей кто-то нужен, скучно ей, видите ли! — мать вываливает на меня страх.

Орущему брату обтирают голову, обвязывают бинтом. Я трясусь, присаживаюсь на завалинку.

— А ну встань! Смотри на меня! Смотри, тебе говорят! Ты что наделала?! — отец не останавливается.

Я вскакиваю — ноги дрожат, живот сводит, июльское солнце бьет в глаза. Я убила Игоря? Покалечила? Они так считают.

Они втроем собираются в травмпункт. От калитки отец бегом возвращается:

— Если с ним! Что-то! Случится! Если он дураком будет! Мы тебя навсегда здесь оставим! Ты поняла меня? — он снова бежит к калитке.

Я, наконец, сажусь на корточки и стекаю по стене.

— Не обтирай стены, — буркает баба Тоня и уходит в дом.

Меня мутит. Так уже было, мне кажется, и так еще будет много раз, я всегда и за все в ответе.

Идет время, солнце идет за высокую сосну. «Веймутова сосна», — зачем-то думаю я. Хочется пить. Но я не должна пить, ведь я покалечила брата. Вдруг он станет дураком? Тогда меня оставят здесь, у бабы. А кто меня в школу поведет, мне же в первый класс? — приползает мысль. Я представляю бабу Тоню, как она с руганью отводит меня в школу и обратно, и понимаю, что лучше с родителями. Мне стыдно, что я думаю о школе, когда я покале...

— Иди поешь, — с крыльца зовет меня баба.

— А как же Игорь?

— Придет ваш Игорь, куда он денется.

Я ем, кажется, оладушки, как их зовет баба Тоня. Вкуса не чувствую. Слезы капают в чай, но баба сурова, не любит слез. Я глотаю слезы и чай.

Возвращаются родители с Игорем. У него перевязана голова, он тараторит без остановки и полон впечатлений

от травмпункта и от своей повязки. Я стараюсь стать невидимой. На меня не обращают внимания.

«Пусть, — думаю я, — лишь бы домой взяли». И не шевелюсь, чтобы не вызвать ярости.

— Ты чего не обуваешься? Да что ж это за человек такой, все назло делает?! — это опять мать.

Отец угрожающе поворачивается, но ничего не говорит. Уже наученный «не обращать внимания на дураков» Игорь делает вид, что меня не существует.

Мне тошно, но меня взяли домой. Я плетусь, говоря себе, что, конечно, заслужила все, раз ненавижу брата.

Мы идем частным сектором, вдоль домов и овражков. Я считаю: «Если до красного забора меньше десяти шагов, то все обойдется». Широю шаги, но нет — двенадцать.

За спиной слышен мотор машины. «Если белая, то обойдется», — я оборачиваюсь. Белая. Только мне по-прежнему муторно и тело — ватное, как чужое.

Я договариваюсь с собой, что раз сегодня плохой день, то завтра будет хороший, так всегда бывает! А если завтра вдруг будет еще хуже, значит, сегодня не такой уж и плохой.

— Ну, слава Богу, все обошлось, — облегченно вздыхает мать.

— Мам, а мы и во двор так зайдем, чтобы я в повязке? — интересуется Игорь.

— Да конечно, конечно, — они все посмеиваются.

«Сейчас скажут, что мне всегда плохо, когда другим хорошо», — меня крочит от боли, но я стараюсь хотя бы держать голову прямо. Отец тут же замечает:

— Это чего это она нос задирает?! Радостная, что брат чуть не разбился?!

Жить не хочется. Слезы текут без остановки.

— Да оставь ее в покое, может теперь задумается о том, что натворила, — мать берет меня за руку, чтобы перейти улицу...

— А мы вас в субботу из окна трамвая видели, — скажет нам потом родственница. — Идут такие дружные, за руки — из гостей, наверное. Молодцы!

## МАРИЯ ВАРДЕНГА

### АГОВНА

Аговна была бабушкой из моего детства, а бабушек из детства помнят всю жизнь. Я тогда была маленькой — такой маленькой, что звонок ее коммунальной квартиры оказывался намного выше моей протянутой вверх руки. Я мечтала когда-нибудь вырасти и дотянуться до него. Когда звонил звонок, из глубин аговниной квартиры раздавались шаркающие шаги, потом скрежетал замок, а потом в дверях появлялась она сама.

Аговна была высокая статная старуха с пучком седых волос и твердым, решительным взглядом. Звали ее в действительности Зинаида Агеевна, но я не умела выговаривать ее отчество и потому звала ее собственным странным именем, не понимая, почему при этом все улыбаются.

Аговна жила на первом этаже нашего подъезда, и мама иногда просила ее взять меня с собой погулять. Дело было в том, что в любую погоду Аговна гуляла четыре часа в день. В снег, в дождь и во время ветра. Она невозмутимо наматывала круги по двору. Каждый день.

Во дворе Аговна пользовалась непререкаемым авторитетом. Идучи с ней за руку, я снизу вверх рассматривала женщин, жаловавшихся Аговне на мужей, и старух, вздыхавших ей об одиночестве.

Сама Аговна никогда ни на что не жаловалась и никогда не плакала. Она вышагивала железные круги. Четыре часа

каждый день. Каждый день — четыре часа.

У Аговны был настоящий чугунный уют, старый-пре-старый резной буфет и телевизор с линзой. Такие предметы нигде больше не попадались мне на глаза. Я обожала прибе-гать к ней, садиться с ногами на диван и смотреть на пыльную линзу сломанного телевизора.

На телевизоре стояли фотографии — двое улыбающихся юношей и мужчина. Однажды я спросила, кто это. «Это сыновья и муж мой, — строго ответила Аговна. И добавила торжественно, — На войне».

— Воюют? — восхищенно спросила я.

— Пали, — тяжело отрезала Аговна.

«Пали» было непривычным словом. Я его не знала. Короткое, как выстрел, и тяжелое, как удар. От него почему-то становилось больно в животе.

— И ты теперь без них живешь? — спросила я. В пять лет не знают, что есть вопросы, которые не нужно задавать.

— Я не без них живу, — осекла Аговна. — Я живу за них.

И гордо вскинув голову, приказала: «Чего расселась? Гулять пошли».

И мы пошли наматывать круги.

Обычно Аговна на прогулке рассказывала истории. Я их не очень понимала. Например, она рассказывала, что провела революцию в каких-то тифозных бараках (сразу три непонятных слова).

По ночам я, закрывая глаза, представляла себе синеголовую собаку с глазами-тарелками. Ее звали Революция. На ней сидела огромная Аговна с белыми руками. Синяя собака везла ее мимо малюсеньких игрушечных домиков, где, перевязанные полотенцами, лежали крошечные больные тифы.

Аговна обычно повторяла, что пенсия в 53 рубля и комната в коммуналке — это слишком за такую жизнь. Но я не понимала слова «пенсия».

Однако в тот день, когда Аговна произнесла трудное слово «пали», мы шли молча. Шли и шли. Аговна шумно вдыхала морозный воздух и молчала.

Я чувствовала что-то страшное, огромное. Не зная способа его заглушить, посреди дороги стащила с Аговны варежку и крепко поцеловала ее большую руку. Рука находилась ровно на уровне моего носа.

— Дура, ты что такое сделала? — вдруг страшно закричала Аговна, резко оттолкнув меня прочь.

Я чуть не упала в сугроб. Крик показался тем более оглушительным, что Аговна при мне никогда не повышала голос. — Дура какая! Ишь чего надумала!

— Аговна... — испугалась я.

— Не смей, — жестко ответствовала Аговна. — Никому больше не смей рук целовать. Никогда.

— Почему? Это что, плохо? — не понимала я.

— Для тебя плохо, — отрезала Аговна, и, опустившись передо мной на колени, начала суетливо затягивать мой шарф. — Нежная ты больно. Не для этой жизни.

С этими словами она вдруг со всей силы сжала меня в объятьях и четко проговорила куда-то в затылок:

— Замуж пойдешь за того, кто сам руки тебе целовать станет. Обещай.

— Обещаю, — непонимающе прошептала я, испуганно утыкаясь в залатанное серое пальто.

Мне не было пяти лет. Я не очень понимала слово «замуж».

— Вот тебе все завещание мое, — закончила Аговна. — Помни.

Она поднялась, отряхнув от снега старое серое пальто с каракулевым воротником, и резко потащила меня вперед, в метель.

Аговна научила меня вязать. Вязать в моей семье не умел никто: ни мама, ни бабушка. А Аговна мастерством этим владела в совершенстве. Говорила, что вязанье —



очень полезное занятие, оно помогает ждать, а ждать есть главное умение в жизни.

Ждать, говорила Аговна, нужно назло всем, упрямо. Никто вокруг не ждет, а ты жди, говорила она мне. Жди, никого не слушай. До последней минуты.

Аговна показывала мне разные петли на рыжих старых спицах с желтыми бубенцами на кончиках. Однажды у меня получилось повторить. Аговна на радостях подарила мне спицы с бубенцами — учиться дома. Вот, будешь помнить меня, сказала.

Я училась старательно. Хотела показать результаты, но в этот момент Аговна исчезла. Вместо нее дверь открыл сосед-татарин. Открыл, молча повернулся и ушел к себе.

Я вошла в знакомый коридор. Дверь Аговны была закрыта. Аговна растворилась в воздухе. Никто не знал, куда она пропала.

Я спрашивала соседей, но они прятали глаза. Смущенная мама после нескольких недель расспросов, наконец, сказала, что Аговну увезли в больницу.

— Где эта больница? — приставала я. — Я хочу туда поехать.

Увы. Оказалось, мама никак не может вспомнить ни номер, ни адрес больницы. Что-то случилось с ее памятью.

Тогда я решила связать теплый шарф. Вязание ведь поможет ждать, пока Аговна выздоравливает.

Я научилась вязать с ужасной скоростью и в результате в семь лет вязала быстрее всех опытных старушек во дворе. Выходила, садилась на лавочку — и упрямо вязала перед аговнинными окнами на первом этаже.

Я ждала в точности по словам Аговны — никого не слушая, упрямо.

Потом увидела, как окна в ее комнате заклеивают газетами. В этот самый момент я поняла, что Аговна не вернется никогда.

И еще я навсегда поняла, как выглядит смерть. Смерть — это заклеенные газетами окна, где никто никого больше не ждет.

Аговнины желтые спицы с круглыми бубенцами до сих пор лежат в моем столе.

## ЮЛИЯ ВИНОГРАДОВА

### ОБНАЖЕННЫЙ БОГ КРОНОС

В редакцию газеты, где я работаю в отделе культуры, я в тот день приехала рано. Как обычно, открыла на рабочем компьютере электронную почту. Среди рассылки от разных музеев и пресс-релизов новых выставок — неожиданное письмо. Имя отправителя: Anastassia Stadler-Makeev. Тема: My father. Письмо прочитать я не успевала, пора было идти на утреннюю планерку. Пока мои коллеги обсуждали новости и темы для свежего выпуска газеты, я вспоминала.

Анастейша Макеева — старшая дочь моего давнего знакомого. Первый раз Андрея Макеева я увидела, когда после окончания искусствоведческого факультета пришла работать в небольшую художественную галерею. Произведения искусства, которые в музеях казались святынями, здесь называли «картинками», таскали из угла в угол, небрежно заталкивали в тесный запасник. Оценивали в реальных деньгах и продавали. Среди коллекционеров и дилеров встречалось много странных и необычных людей.

Андрей не вошел — влетел в галерею, крепкий, подтянутый, старше сорока, но насколько старше — не определишь. Темноволосый, загорелый — не слыша его чистейшего русского, можно подумать, что итальянец или француз (действительно, и во Франции, и в Италии он жил по многу лет и прекрасно говорил на обоих языках). Поздоровался с ди-

ректором галереи, махнул рукой моей напарнице Маше, а меня — новенькую — не стесняясь, оглядел с головы до ног.

— Это кто? — тихо спросила я у Маши.

— Макеев, — не поднимая головы от компьютера, ответила она, — дилер из Вены, покупает трофейное искусство, старых мастеров.

Маша уже шесть лет как была счастливо замужем, и лучезарными улыбками ее было не провести. Мне было 22, и меня легко было провести даже кривой ухмылкой. Андрей пришел через несколько дней забирать понравившиеся ему листы графики. Вместо приветствия он кинул мне через стол небольшую коробочку. В ней оказался флакон Chanel и записка с телефоном. Я позвонила.

В следующий раз он приехал только в ноябре. Привез мне в подарок длинный голубой шарф, французский путешественник по Испании и билет на самолет до Мадрида — предложил вместе полететь на зимние каникулы. Я долго выбирала новогоднее платье и разноцветными закладками, как на уроках литературы в школе, отмечала интересные места в путеводителе.

В Мадриде мы остановились в том злачном квартале, который показывает в своих фильмах Альмодовар. Под окнами гостиницы прогуливались толстопопые испанские проститутки, у входа встретился напугавший меня трансвестит в блестящем трико. Мы зашли в ближайший бар выпить с дороги. Народу битком, мы с трудом пробирались к стойке. И тут только я заметила, что в баре нет ни одной женщины, а все мужчины смотрят не на меня, а на моего спутника.

— Андрей, — тихо потянула я его за рукав, — кажется, это геи.

Он только ухмыльнулся и заказал два бокала вина и тапас.

Мы тронулись в путь и к вечеру 31 декабря добрались до небольшого городка Сеговия на севере Испании. Андрей

попросил комнату с двумя кроватями. Я удивилась, но хозяйин частной маленькой гостиницы удивился еще больше — на родственников мы не похожи; на любовников, выходит, тоже. Все рестораны и магазины оказались закрыты из-за праздника. В забегаловке с уже наполовину задвинутыми рольставнями нам удалось раздобыть бутылку вина, которое мы пили из пластиковых стаканчиков на ступеньках местной церкви, заедая апельсинами, купленными у фермеров по дороге. Нарядное платье осталось валяться в чемодане вместе с романтическими фантазиями.

— Ты гей? — осторожно спросила я, допив свое вино.

— Нет.

— Тогда почему мы...

— *Compagnon de route*<sup>1</sup>. Мне нужен только *compagnon de route*. И больше никто.

На Новый год он подарил мне старую гравюру. На ней был обнаженный бородатый бог Кронос с песочными часами и косой на плече. Вокруг него сидели грудастые нимфы, петух и сова. Но было в гравюре что-то странное — картинка оказалась перевернутой, словно смотришь на нее в зеркало; я даже не сразу разобрала римскую дату — 1617 год. «Кто-то хотел сделать копию оригинального листа, — пояснил Андрей, — сначала сделал зеркальное отображение, а потом скопировал его. Смешная гравюра. Редкая». На обороте он аккуратно написал: «Дорогому, всем интересующемуся человеку. Скоро пробьет 24. Кронос».

Весной я взяла отпуск на три недели и полетела в Вену, где прежде никогда не бывала. Андрей жил в одном из центральных районов в двухкомнатной квартире с собственным садом. Я бродила по городу, изучала музеи, каталась на его велосипеде по Шенбруннскому парку, иногда по его просьбе ходила в венские галереи отдать на комиссию ка-

<sup>1</sup> Попутчик (*франц.*).

кие-то картинки. Несколько раз приходили его друзья, глядя на меня, подмигивали Андрею — *Schöne*<sup>1</sup>! А в первое же воскресенье он объявил, что мы едем встречаться с его дочками.

— С дочками? — удивилась я, — у тебя есть дети?

— Три девочки. Две в школе учатся, а младшей 9 месяцев.

— 9 месяцев?!

— Бывшая жена захотела еще одного ребенка. А я не против, я детей люблю.

Я сказала, что не поеду, но он убедил, что никаких проблем нет, встретимся в милом старинном хойригере<sup>2</sup>, выпьем вина. Однако о том, что приедет не один, никого, видимо, не предупредил. Особенно обрадовалась моему появлению его бывшая жена Даниэла. Она говорила исключительно на немецком, на котором я не понимала ни слова, и бросала на меня настолько уничижительные взгляды, что мне хотелось кричать: «Да я сплю на матрасе у него в гостиной! Я ему никто!»

За несколько дней до отъезда я узнала, что в Москве умер мой старший коллега и добрый друг. На похороны я не успевала. И Вена с ее буржуазной красотой, и Андрей с его вечно бравурным видом казались неуместными и глупыми. Хотелось домой.

В следующий раз мы увиделись только через год. Я рассталась с молодым человеком и хотела сменить обстановку, и тут получила редкий мейл от Андрея. Писал он как всегда — лишь несколько строк, латиницей, без заглавных букв, словно в телеграммах: «yul'ka kak dela? poleteli v stambul. davno tam ne byl. pishi». Предложение оказалось очень кстати, и мы полетели.

<sup>1</sup> Красотка! (*нем.*)

<sup>2</sup> От нем. *Heuriger* — питейное заведение в Австрии, где подают молодое вино.

В городе мы почти не общались — каждый гулял по своему маршруту. Только вечерами встречались в соседнем с гостиницей ресторане и за ужином обсуждали впечатления. Обратнo Андрей улeтал на день раньше меня, и накануне мы пошли на стамбульский рынок: глазели на безделушки и ели прямо на рынке. Ночью мне стало плохо — чем-то отравилась. К утру я не могла выползти из кровати от слабости, но Андрей спешил в аэропорт. «Бедняга», — только посочувствовал он и закрыл за собой дверь.

До дома я добралась благодаря русским женщинам, оказавшимся в этой же гостинице и снабдившим меня лекарствами.

После этого Андрей писал еще много раз. Так же лаконично и пусто: «юлия, госпожа вино, как живешь. давно не виделись. много читаю. приезжай. купил под венoй дачку. поживем вместе». Отвечала я редко. У меня давно были другие отношения, потом родилась дочка. Мы не виделись больше десяти лет. Шарф, который он мне когда-то подарил, я потеряла во время по-настоящему романтической поездки. Исписанные заметками путеводители раздарила подругам. И только гравюра, та самая, с перевернутым временем, до сих пор лежит в каком-то из ящичков моего письменного стола среди бумаг.

После планерки я помчалась к компьютеру и открыла мейл. «Я пишу вам, — начинала свое письмо Анастейша, — потому что нашла в папином компьютере ваши письма. С грустью сообщаю, что он ушел от нас 17 апреля 2015 года. Ему было 57».

Я вспомнила, что полгода назад Андрей прислал мне сообщение через фейсбук: «приезжай с дочкой. заживем вместе. хоть цель в жизни появится. а то живу бобылем. самому больно. столько ошибок в жизни допустил. меланхолия на меня напала какая-то». Я ничего не ответила тогда.

Чуть позже от общих друзей я узнала, что Андрей покончил с собой.



## ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА

### ОТРОДЪЕ

— Ка-а-атък, — первая начала Ленка.

— Что-о-о? — в тон ей ответила я.

— Знаешь, — лицо у Ленки сделалось нервным. — На самом деле я ничуть не Паршина. В детстве меня украли цыгане, а мама меня просто удочерила.

Я посмотрела на Ленкины уши. Одно ухо лопоухое, другое — нормальное. В роддоме дура-медсестра повязала Ленке чепчик так, что одно ухо оказалось завернутым. Детский тоненький хрящик это запомнил.

Лопоухое ухо — ко мне ближе, оно медленно багровело, пока не стало раскаленным.

Я знала Ленку с первого класса, она совершенно такая же, как ее мать — маленькая, розовая, звонкая, со светлыми завитками у лба. Отца у Ленки, как и у меня, не было.

В тот день мы с Ленкой дежурили в рекреации. Это значит — в коридоре. В рекреации дежурить стремно, даже хуже, чем на лестнице. Самые крутые места — в столовой, в гардеробе и с омоном: пропускаешь все уроки. Особенно, конечно, с омоном. В гардеробе и столовке все-таки надо что-то делать, а здесь сиди на первом этаже с охранником и все. С омоном дежурили сестры Таер. Ленка говорила, это потому что они евреи и везде влезут без мыла.

В коридоре стены были окрашены бежевой краской, в торце — стайка нарисованных школьников шла с цветами.

У всех голубые глаза и русые волосы, у всех в руках сирень. Пахло хлоркой и потом. Смысл дежурства в рекреации — останавливать лбов, чтобы не бегали. Но лбы здоровые, а мы — семиклашки. Поэтому мы просто стояли у окна, от-вернувшись от коридора.

— Чего-чего? И кто твои настоящие родители? — я по-смотрела на Ленку, как будто видела ее впервые в жизни.

— Я думаю, что мой отец — Николай Сванидзе, ведущий, я на него похожа. — Ленка говорила еле слышно.

Конечно, Ленка не похожа ни на какого Сванидзе, Ленка похожа на свою мать.

— Ленк, ты охре...? — начала я и осеклась. Ленка повер-нула ко мне красное лицо, темные глаза были подозритель-но влажными.

— Вообще, что-то есть, — стушеввалась я под Ленкиным взглядом. — А настоящая мать?

Ленка молчала.

— Пошли, — я дернула Ленку за рукав, — на биологию опоздаем.

На следующий день я проснулась с температурой. Это значит, никакой школы. Бабушка принесла мне чай с мали-ной и тут же умчалась орать на деда, который сослепу что-то расколотил на кухне. Я положила на живот большую шершавую черную книгу Гайдара, сверху белое вафельное полотенце, на него — чашку и блюдце. Чай был горячим, а малиновые косточки застревали в щели между передни-ми зубами.

Гайдар, конечно, служил только для сервировки, чита-ла же я Брэма, III том. «Отряд пучкожаберные. *Lophobranchii*. Рыбы, принадлежащие к этому отряду, имеют особое строе-ние, отличающее их от других отрядов костистых. Интерес-но, что заботится о потомстве всегда отец».

— Жалко, что я не пучкожаберная рыба, — кажется, произнесла это вслух. Я отложила Брэма с Гайдаром

и провалилась в обморочный, прерывистый сон. Во сне я стояла перед большим аквариумом. Мимо меня задумчиво проплывали люди. Пузатый толстяк с усами и тросточкой, вытянутый поджарый хлыщ в полосатом костюме, красавец Кларк Гейбл. Где-то среди них — и мой отец. Я не могла его узнать, ведь когда он ушел, мне не было года.

Через несколько дней болезнь растворилась в бесчисленных чашках чая с малиной, и нужно было идти в поликлинику за справкой. Пока я болела, зима закончилась, и с пятого этажа стало прекрасно видно и быстрые ручьи, и молодое солнце, и хитрых, веселых птиц.

— Я надену куртку! — крикнула я из коридора.

Бабушка мгновенно пришла в ужас:

— Как же так, только выздоровела, какая куртка, надевай шубу!

— Шубу! Какая шуба, там и снега-то нет! — возмутилась я, схватила весеннюю синюю куртку и выбежала в коридор, захлопнув дверь.

Я дошла до лифта, когда меня начали подгрызать сомнения. Вернулась, погладила обитую дерматином гнедую дверь, тихонько повернула ключ и вдруг услышала, как бабушка жалуется деду: «Пошла все-таки в куртке! Вот жидовское отродье!».

Я так же тихо закрыла дверь и побрела к поликлинике.

В школе наша Людмила сказала, что надо всем принести свидетельство о рождении.

Я попросила его вечером у мамы. И долго трогала желтую бумажную книжечку перед сном, пока мама, бабушка и дед в другой комнате смотрели кино. Обычно я прикладывала ухо к розетке со своей стороны и так слушала телевизор. Но тут мне было не до розетки. Я включила настольную лампу и смотрела:

Мать: Владимирова Ирина Олеговна, русская.

Отец: Пресман Аркадий Григорьевич, еврей.

Походила по комнате, открыла шкаф — на внутренней стороне зеркало. В зеркале — бледное треугольное лицо, темные кудри. Я провожу пальцем по горбику носа. Вот интересно, у меня еврейский нос или не еврейский? А еврейский — это вообще какой?

На другой день я несла с собой документальное свидетельство моего позора, и оно прожигало мне лопатки через заднюю стенку рюкзака.

Я поймала Людмилу у гардероба после всех уроков, когда рядом уже никого не было. Она стояла в пальто и торопливо повязывала персиковый платок.

— Людмила Николаевна, — произнесла я деревянным голосом.

— Да, Владимирова.

— Я хотела отдать свидетельство.

— Ты видишь, что я уже уйду домой? Завтра!

— Сегодня, — взмолилась я, — сейчас.

— Ну, хорошо, давай сейчас, — Людмила посмотрела на меня удивленно, ее тонкие карие брови взметнулись высоко-высоко.

Я вышла из школы и сразу же увидела Ленку. Она сидела на ограде палисадника и явно ждала меня:

— Ты чего так долго?

Я села рядом. Черные стволы торчали среди тающего снега, солнце светило изо всех сил, какие-то птицы кричали, свихнувшись. Я грызла ногти.

— Катька, ты чего?

— Лен, мне нужно тебе кое-что сказать. Понимаешь, я — еврейка, — с головой бросаюсь я в ледяную воду. И еще раз повторяю для верности: «Еврейка».

## ИРИНА ЖУКОВА

### ГАРНИЗОННЫЕ СКАЗКИ

Девять ступеней вниз со двора, по дороге на холм, мимо озера в кленовый парк. Там, в самой его глубине, где умытые майским дождем кроны смыкались над длинной аллеей, прятался маленький замок, с эркером и двумя резными башнями. В нем жили Молчаливый Страж, Добрая Фея и Настоящая Колдунья. Маша дернула плечиками и отправилась в путь, стуча каблуками стоптанных башмаков по шлифованному булыжнику. Таяла в кармане плаща карамель в мятом фантике, в руках раскачивался клетчатый футляр со скрипкой: четвертинка, из золотистого дерева, с цельной нижней декой и изящным темным завитком. Натирая канифолью белый конский волос, натянутый от головки до колодки тонкого смычка, Маша всегда представляла себе хозяйку волшебной пряжи, белую кобылицу. Изящная голова, тонкий стан, свободный быстрый галоп. Маша пустилась бегом по дороге на холм, перепрыгивая через теплые лужи.

У озера старые ивы полоскали серебристую листву в темной воде. Ветер качал гибкие ветви, и они плыли, словно длинные косы, разметавшись по водной ряби. Старое дерево, седое, неохватное, протянуло к середине озера тяжелую ветку, словно хотело зачерпнуть костлявой рукой живой воды из самого источника. С годами ветка становилась все толще, и однажды в непогоду, не выдержав тяжести, дерево развалилось пополам, открыв глубокое дупло. Его провал

был хорошо виден с аллеи, ведущей через парк, и, проходя мимо, Маша не спускала глаз с загадочной темноты, точно пытаясь взглядом удержать внутри то, что смотрело на нее оттуда древними глазами.

Путь в замок лежал мимо Молчаливого Стража. Когда-то к графской усадьбе пристроили гарнизонный дом офицеров, с концертным залом и административным комплексом, а старинную часть здания отдали музыкальной школе и библиотеке. Маша не любила дом офицеров — уродливую бетонную коробку со стеклянным фасадом, через который виднелись стол скучающего дежурного, вялая пальма в рассохшейся кадке и неизменный аппарат с газировкой. Пристроив футляр на коленке, Маша достала из заднего кармашка белый пропуск с поплывшей печатью и цифрами «1991», и, демонстрируя документ стороной со смешным улыбающимся фото без переднего зуба, вежливо произнесла: «Здравствуйте». Молчаливый Страж рассеянно кивнул и снова опустил глаза в книжку, обернутую желтым газетным листом. Маша спрятала пропуск обратно в футляр и зашла в замок.

Через французское окно, выходящее на заброшенный розарий, сквозь старую облупленную раму щедро лил полслеполуденный свет. Солнечные квадраты на полу медленно плыли к широким мраморным ступеням, поднимавшимся к тяжелым дверям. Маша на цыпочках прошла мимо лестницы, словно оттуда в любой момент могла появиться хозяйка второго этажа, Настоящая Ведьма. Прижимая к груди мягкий клетчатый футляр, она с облегчением ступила в боковой проход под потемневшую от времени медную вывеску «Музыкальная школа №1».

В кабинете скрипки было просторно и светло. Склонив голову набок и чуть покачиваясь в такт, словно в глубоком раздумье, Маша легко водила смычком по струнам. Звук уходил под потолок, копился там и весело разливался из арок окон прямо в кленовый парк. Учебный год заканчи-

вался, программа первого класса давно выучена, экзаменационный концерт Ридинга готов и отточен. Ирина Григорьевна, в легком белом платье, с волной пшеничных волос, перекинутых на одно плечо, походила на Добрую Фею. Воздушную, золотистую. И скрипка у нее была такая же, светлого дерева, покрытая прозрачным лаком, с нежным, мягким голосом. У Машиной скрипки голос тонкий, звонкий, не такой.

На последнем такте Ирина Григорьевна захлопала в ладоши:

— Молодец, и темп хороший! На выходных еще раз пройди всю программу, и в понедельник — на отчетный концерт. Позови маму и папу.

В холле, на мраморных ступенях, Машу всегда ждали. В углу, у окна, лежали пакеты с нотами и инструменты: Галя — скрипка и Гришин — гобой. Пианист Вадик носил только ноты. Маша аккуратно поставила футляр со скрипкой, села на край ступени и свесила ноги между балясинами.

— Ты чего так долго? — спросила Галя. — Всех пораньше сегодня отпустили. Наконец-то каникулы, закину скрипку на шкаф, и никто не заставит меня достать ее до осени.

— А я обещала бабушке взять на лето скрипку с собой, буду ей играть.

— Летом? Играть?!

— Ну да, ей нравится симфоническая музыка.

— Симфо... Что?! — Мальчишки переглянулись.

— Чокнутая, я вам говорила, — Галя закатила глаза. — Ладно, пойдем домой.

— Подождите, — вспомнил Вадик. — Гришка весь год хвастался, что пойдет наверх, к ведьме, да так и не сходил. Что, трусил?

— И пойду, — насупился Гришка. — Только она не ведьма, она этот, диссидентр! Так папа говорит.

— Нет такого слова! — засмеялся Вадик.

— Моя бабушка сказала, что у нее все умерли, поэтому она такая грустная, — печально проговорила Галя.

— Да ведьма она, а наверху у нее там склад, мыши в банках, змеиные жала в спичечных коробках, точно вам говорю! — Вадик поднялся. — Давай, Гришка, иди, расскажешь потом, что видел.

— Там библиотека, — вдруг сказала Маша, — мама часто туда ходит. Ее зовут Анна Прокофьевна, и она библиотечарь. Мама всегда приносит книжки домой и говорит: «Анна Прокофьевна настоящая волшебница!» Только я думаю, что не волшебница она, а Настоящая Колдунья. У нее там, я знаю, хранятся тайные книги про магию и чародейство. И если вы ее разозлите, она превратит вас в тараканов.

— Понял, Гришка? В таракана! — под смех остальных Гришка ухватился за перила и неловко поднялся.

Там, наверху, никогда не включали свет. Где-то в высоте угадывался потолок с лепниной вокруг старинной люстры. Резные хрустальные медальоны на длинных медных цепочках, потревоженные бесцеремонными сквозняками, чуть покачивались с мелодичным перестуком. Последний пролет лестницы восходил к галерее, с одной стороны которой протянулась мраморная балюстрада, а с другой — ряд одинаковых дверей. За одной из них и жила Настоящая Колдунья.

Гришка остановился на первой ступени и неуверенно оглянулся.

— Я покажу, — внезапно решила Маша. — Я туда уже много раз поднималась с мамой, но еще ни разу не заходила в библиотеку.

Поднявшись по лестнице, дети медленно, стараясь не шуметь, шли к последней двери. Снизу доносились голоса и музыка.

«И-и-и, в третью! *Plié! Adagio*, мягче», — в танцевальном классе строгий голос преподавателя отсчитывал такт.



«Доминантсептаккорд строится на пятой ступени, он состоит из четырех звуков, расположенных по терциям», — где-то диктовал учитель сольфеджио.

«Аллегро, господи, аллегро! Улитки бегают бодрее, чем твое аллегро!» — Чи-то неверные, непослушные пальцы выводили этюд на фортепиано.

Маша и Гришка остановились у входа в библиотеку и неуверенно переглянулись.

— Давай, я приоткрою дверь, и заглянем. Посмотрим, тихо закроем и — назад, — прошептал мальчик.

— Давай. Только аккуратно, она тяжелая.

Гришка медленно потянул на себя бесшумную, вопреки ожиданиям, дверь, и они с любопытством заглянули внутрь.

— Заходите, раз пришли!

Машино сердце пропустило удар. На мгновение захотелось дать деру, но давно сдерживаемое любопытство победило, и Маша прошла в библиотеку. Где-то за спиной сдавленно охнул Гришка. Помедлив, он вошел следом.

Ведьма сидела за письменным столом, затянутым вытертым зеленым сукном. На ней было темное платье, аккуратно причесанная седая голова склонилась над стопкой карточек.

— Давайте знакомиться, — произнесла она низким, глубоким голосом. Несмотря на то, что говорила она спокойно, удивительный этот голос густо заполнял библиотеку, словно был частью обстановки. Маша робела, но и отступить было некуда, за спиной с тихим стуком захлопнулась дверь. — Меня зовут Анна Прокофьевна.

— Я Котова. Мария.

— А, Машенька! Скрипка, Концерт Ридинга Си-минор. Очень, очень хорошо. И темп замечательный. А вы, молодой человек?

— Григорий Чубукин, — представился Гришка. Он уже немного освоился, и голос его звучал увереннее.

— Ах, Чубукин. Гобой, — протянула Анна Прокофьевна, и взгляд ее враз сделался острым и чуть насмешливым. —

Моцарт, Алегретто. Послушайте, юноша, вы что, боитесь своего инструмента? Еле дышите в трость. И ритм! Слушая ваше исполнение, я уже через минуту начинаю в досаде отстукивать ритм ногой.

Гришка опустил глаза на носки своих ботинок. Вступить в пререкания явно было непозволительно.

— А откуда вы нас знаете? — спросила Маша и сама испугалась своей смелости.

— Я не знаю вас, но я знаю ваши способности к музыке, так как я ваш вынужденный слушатель. — Анна Прокофьевна на мгновение задумалась и продолжила этим своим удивительным голосом. — Без ложной скромности, я всех знаю в нашем гарнизоне. Вам этого пока не понять, но жители военной части, и семейные, и, в особенности, одинокие, прибывая служить, все рано или поздно оказываются перед моим столом. Знаете, что они берут с собой, отправляясь по месту распределения? — Маша и Гришка синхронно покачали русыми головами. — Документы, два комплекта формы и тарелку в фуражке. Какие уж тут книги. Те, кто любят читать, приходят сразу, раньше, чем заводят карту в медсанчасти. А те, для кого это непривычный досуг, перезимовав единожды, все равно оформляют постоянный читательский билет. — Анна Прокофьевна подошла к картотеке. — Посмотрим... Котова Надежда. Долгов нет, конечно. Обождите минуту, Мария, я черкну записку для вашей матери. Так-так. Теперь Чубукина Маргарита. Три тома Дюма, разумеется. Просрочено на семь месяцев. Что ж, юноша, и для вашей матери будет письмо. — Анна Прокофьевна строго посмотрела на мальчика, глазевшего по сторонам, и разом сникшего под ее прямым взглядом. — Не потеряйте.

— Спасибо, Анна Прокофьевна! — робко улыбнулась Маша.

— На здоровье, девочка. Привет маме.

— Спасибо. До свидания, — буркнул Гришка.

— Всего доброго, — чуть насмешливо произнесла она. — Ритм, юноша! — рывкнула напоследок Анна Прокофьевна, захлопывая за детьми дверь.

— Вы чего так долго? — взволнованно встретили их Галя и Вадик.

— Ничего там нет. Просто библиотека. Моя мама три книжки должна, — недовольно протянул Гришка.

По дороге домой Маша вынула из кармана записку Анны Прокофьевны. Прочсть ее было невозможно: мелкие буквы, все в изящных петлях и длинных дугах, мало походило на каллиграфический почерк, которому учили Машу в школе, и который она едва научилась различать. Мама же, получив послание, прочла: «Наденька, зайдите на неделе. Есть „Доктор Живаго“ Пастернака. Ваша, А.П.»

— Живаго, Пастернак! — по слогам произнесла мама, покачав головой. — Ах, Анна Прокофьевна, волшебница, — она всплеснула руками и, улыбаясь, вернулась к своим делам.

«Жи-ва-го-пас-тер-нак, — повторяла про себя Маша снова и снова, и зачарованные буквы искристым ворохом мурашек рассыпались между лопатками. — Так и знала. Заклинание! Настоящая колдунья. То есть, нет — настоящая волшебница».

## ДАРЬЯ МИНАКОВА

### ВОЛКИ. НАЧАЛО

Мы с Машей проснулись в темном плацкартном вагоне, когда все еще сопели и похрапывали. Поезд тяжело и скрипуче вполз в предрассветную тишину Старой Торопы и выплюнул несколько сонных фигур, кутающихся в куртки и пальто в надежде спрятаться от холодной мороси северной осени. Мы сели в такси и помчались по ухабам провинциальной дороги, извивающейся среди лесов, прудов и маленьких деревень. Я удивлялась храбрости Маши, так доверчиво позволившей втянуть себя в эту авантюру, ведь я и сама толком не знала, куда мы едем, и что нас ждет, но от предвкушения едва могла усидеть на месте. Старенькая «Нива» громыхала, взрезая утреннюю тишину, вытрясая из нас остатки сна, пока мы, наконец, не добрались до деревни, встретившей нас деревянным мишкой у дороги с надписью «Бубоницы». Нас высадили у дома с широким крыльцом, уставленным сапогами да калошами, и флюгером в виде петуха, вычерченного на фоне светлеющего неба. Мы прошли через сени в тепло, где пахло оладушками и свежесваренным кофе, и где с изучающим любопытством в глазах нас уже ждали Владимир и Наталья. Пока мы завтракали, я осмотрела комнату: с люстры свисали игрушечные «бабки-ёжки» да домовята, на столе у окна клетка с волнистым попугаем, спрятавшим голову под крыло, на каминной полке семейные фотографии и отпе-

чатки волчьих лап на керамических плитках, на стенах фотографии волков, на диване кошки, свернувшиеся в две пушистые круглые подушки.

— У нас сейчас в вольере два полугодовалых волчонка, — сказал Владимир. — Хотите посмотреть?

Конечно, хотим! И Владимир повел нас к вольеру. Всю дорогу говорили о волках, о том, почему нужно сохранять их популяцию в природе, почему Владимир этим занимается. Я представляла себе вольер в виде небольшого загона, возможно, с решеткой или сеткой, через которую я надеялась разглядеть волчат. Шли сначала через лес, по тропинкам, то в горку, то с горки, потом через торфяное болото. Резиновые сапоги месили тесто из прошлогодних сосновых иголок, листьев и земли. Я так старалась идти след в след за Владимиром, что не сразу заметила высокую железную сетку, огораживающую довольно большой участок леса. Владимир подошел к ней, отвинтил кое-где проволоку и карабины и, нагнувшись, пролез в небольшой проход. Я нерешительно последовала за ним, и как только мы с Машей обе оказались внутри, будто из ниоткуда прибежали два волка размером со взрослую овчарку и стали прыгать вокруг Владимира, поскуливая, прижимая уши и мотая хвостами. Я замерла. Волки, улыбаясь во всю свою волчью пасть, подбежали ко мне, застывшей с глупой гримасой на лице, потом к Маше, ошарашенно взиравшей на эту суету. Волки бегали между нами, не зная, кто же им больше интересен. Суетливо обнюхивая мои руки, они то ластились, то терлись о ноги боками и мордами, то прыгали, пытаясь достать до лица и лизнуть в губы. Стащили с меня шарф, я едва успела выхватить его, скомкать и запихать в карман. Тогда они стали хватать и тянуть за свитер. Пришлось застегнуть пальто. Они стали хватать за подол пальто. Я едва успевала выполнять указания Владимира: не тянуть одежду, а уверенно и с силой надавить на верхнюю губу волчьей пасти, чтобы отпустили, не давая на себя прыгать, отталкивая коленом.

Пока я осваивала все эти премудрости, он рассказывал о волках, которых он вырастил, и о волках, которых встречал в дикой природе. Схватив в охапку одного из волков, Владимир показал перепонки между пальцами на лапах. Поймав серую морду, пытавшуюся его лизнуть, он показал клыки и как сильно волк может разинуть пасть. Постепенно я так освоилась, что, не прекращая беседу, могла не глядя нащупать пасть волка, кусавшего мое пальто, просунуть в нее руку и надавить на губу. Пасть с досадой разжималась, и волк начинал искать новые забавы. Маша, придя в себя от первого шока, непрерывно щелкала огромным фотоаппаратом, пытаясь поймать хоть один хороший кадр в бесконечном движении неутомимых тел.

Все это происходило как будто в другой реальности: сказочный лес с мшистыми стволами деревьев, запахом сырой листвы, грибов и остатков летней зелени, спокойный голос Владимира, рассказывающего о волках с любовью, спрятанной за напускной ленцой, бесконечное щебетанье птиц, звенящая и блестящая прозрачность вокруг, ворон, по-хозяйски раскинувший крылья в небе над лесом, и волки, осторожно, чтобы не поранить, кусающие яблоки прямо у меня из рук. Их можно было трепать за ушами, гладить по морде, обнять, завалить на землю, почесать, похлопать. Все как с собакой, но все же совсем не так. В них чувствовалась самость, сила и в то же время щенячья нежность. Они были заискивающе покорны, но при этом как будто постоянно нас прощупывали. Серая, хитрая волчица подбегала ко мне и заваливалась на спину, подставляя круглый детский животик и не спуская с меня внимательных глаз. Волк был чуть крупнее и белее. Если не приглядываться, издалека его можно было принять за лайку, только хвост не кольцом, а «поленом», с небольшим черным пятнышком. Он заглядывал мне в лицо доверчивыми глазами на пушистой светлой мордочке и, добившись поцелуя, убегал, заплетаясь в собственных лапах и сияя от счастья.

Когда сумерки стали накрывать нас прохладным покрывалом, мы направились домой, провожаемые двумя парами грустных глаз. В сумеречной тишине лес приобрел мистический облик, как будто все это происходило во сне. И только редкие бело-серые волоски на моем пальто доказывали, что нам все это не приснилось, что это было на самом деле. Внезапно передо мной открылся новый необъятный мир, куда более реальный, чем тот, в котором я жила до сих пор.

Впереди меня ждала дружба с Владимиром и его семьей и редкие поездки к волкам. Меня ждали знакомства с новыми людьми, которые занимаются исследованиями волков, выращиванием и выпуском их в дикую природу, пытаются научить нас сосуществовать с ними и лучше понимать их. Меня ждали поездки в Тбилиси и Саламанку, десятки прочитанных книг и статей, просмотренных фильмов и, наконец, работа над собственной книгой.

Конечно, о волках.

## АНАСТАСИЯ НАУМЕНКО

### ДЕДУШКИН ГОРОДОК

Калужское направление электричек я знаю с детства: каждое лето ездила к бабушке с дедушкой. С тех пор мало что изменилось, разве что сейчас езжу я туда в основном зимой, в дни, когда умер дедушка.

Отправление с Киевского вокзала. Ненавижу его всю жизнь: бомжи, грязь, от метро идти нужно рядом с пыльной дорогой, потом подниматься по высокой лестнице, из последних сил таща чемодан. Но раньше хотя бы не было турникетов. Теперь же, чтобы пройти, ты должен с поклажей в руках как-то исхитриться и сунуть в щель клочок тонкой бумаги, называемый билетом. Рук не хватает, в вертушку чемодан не проходит (какой дурак ее придумал).

Выбираешь электричку до Малоярославца, а не до Калуги, чтобы поменьше народу. Стараешься сесть к окну и по ходу. Читать не получается: весь путь мешают торговцы, продающие товары первой и последней необходимости (задаюсь вопросом: чем они мотивируют свой выбор?). Поэтому слушаешь музыку и два часа смотришь на провода: они то сходятся, то расходятся, выше-ниже, выше-ниже. Есть время передумать всю свою жалкую жизнь.

А что там проплывает за окном? Сначала Парк Победы, потом заводы, Переделкино, где все знаменитые дачи, Лесной городок. Раньше после этого начинались густые леса, сейчас Москва растет, все вырубается. Апрелька — полпу-



ти, Нара — две трети. Обязательный забег «зайцев»: сначала по вагону в одну сторону, потом, на станции, бегом в другую. Иногда по два раза. Вот Балабаново — в народе Балансбург. Здесь тоже живут мои родственники. Город мирового значения, где делают спички, состоит из одной улицы Лесная.

И, наконец, Обнинск. Высокий забор и турникеты — еще одно препятствие для «зайцев». Но наш народ неисправим: легко берет и такую высоту.

Обнинск — очень милый зеленый городок. Про него говорят: «Город в лесу, лес в городе». Летом прохлада от деревьев, зимой просто свежий воздух и белый рассыпчатый снег. Две главные улицы — Курчатова и Ленина — сходятся в одной точке, образуя стороны треугольника, основанием которого служит проспект Маркса и «далекий» 51-й квартал. Есть еще старый город и парк, но они «там, за вокзалом». Пока не развелись маршрутки, по городу ходили два основных автобуса с местными названиями «двойка» и «тройка». Город молодой, построен в сравнительно недавнее советское время, но все дома такие опрятные, что тоска не берет, как от стандартной советской архитектуры.

Тут мало что меняется. Разве что вывески магазинов да новые дома, но я легко узнаю все улочки, даже если приезжаю раз в год. Поскольку я жила в большом городе, то, признаться, всегда относилась к Обнинску снисходительно, но он был мил моему сердцу. Однако с уходом бабушки город опустел и как будто потерял свою прекрасную суть. Поэтому я больше не могу там находиться. Прихожу только на могилу, и мы с бабушкой вместе плачем. В этот раз он обнимал меня мягким снегом.

Бабушка был умный, решительный, волевой, но при этом добрый, заботливый и ласковый. Он любил шутить, но это был добрый уютный юморок. С ним так хорошо было гулять тихим подмосковным вечером по городским аллеям, и мы даже пели песни, когда вблизи никого не было. Я так

любила его руки, курносый нос, густые вьющиеся волосы, самые добрые голубые глаза и мягкую улыбку. Только его объятия были такими крепкими и теплыми. Мне кажется, после его смерти я потеряла само это ощущение надежности и никак не могу его обрести. И только он звал меня «Настенькой».

Командир части в Эльтоне, организовавший эту часть с нуля, учредитель дачного общества, сам построивший домик и посадивший не одно дерево, а целый сад, залезал в колючий малинник и собирал для любимой внучки ягоды. До сих пор помню эту крупную, янтарную малину. Красная была сладкой, но желтая — всегда вкуснее. Еще мы заваривали чай из смородиновых листочков прямо на даче, и оба не любили, но понуро собирали сами ягоды.

В сотый раз я прошу бабушку рассказать, как дедушка ухаживал за ней, как сделал ей предложение и увез с собой, несмотря на то, что ее не хотели отпускать с работы. Был конец сентября, уже начался учебный год, и заведующая сказала ему: «Коля, тут у нас женихов немного, ничего не случится, приезжай весной, когда закончится учебный год» (бабушка была учительницей). Дедушка возмутился, пошел в суд, добился разрешения ее забрать, но заведующая все равно не отпускала. И тогда он просто взял и увез ее с собой. Я всегда знала, что он любил ее. Помню, как уже в последние годы его жизни, когда мы с бабушкой сидели поздно вечером и играли в картишки, он приходил пожелать нам спокойной ночи и целовал бабушке ручки.

С его смертью все разрушилось в нашей семье. Начались скандалы, имущественные тяжбы. Уже семь лет прошло, и все только хуже. И я теперь всего лишь осколок.

## ЕКАТЕРИНА НИГМАТУЛИНА

### ТОЧКА ОТСЧЁТА

Февраль. До весны еще долго. Я хожу по длинному бревну на площадке детского сада туда-сюда, туда-сюда и посматриваю на окно нашей квартиры на шестом этаже унылого серого панельного дома. На мне пухлая пятнистая шуба, доставшаяся от старшей сестры, и шапка с помпонами. Я хожу не просто так, я в свои четыре года профессионально занимаюсь телепатией.

Обед. Опять жуткие котлеты, пахнущие то ли поварихой бабой Нюрой, постоянно собирающей все, что не съели дети, на корм пороссятам, которых она разводит, то ли крысами, которых у нас в подвале хоть отбавляй. Я давлюсь едой. Все давно уже съели второе, а я скребу по дну тарелки с как бы борщом оловянной ложкой. Еще и дежурная, как назло. Встать из-за стола, не доев все с тарелки, приравнивается к государственной измене. Вдруг телепатия срабатывает, я слышу голос нянечки: «Катя, иди скорее, за тобой бабушка пришла».

Весна. Везде лужи. Мы не уходим со двора с утра до ночи. У меня есть подружка, Олеся. Она рыжая. Мы с девчонками пытаемся доказать ей, что она рыжая, она не соглашается. Спорим так долго, что решаем пойти к моей бабушке, которая работает лифтером на первом этаже соседнего дома, чтобы она вынесла вердикт. Я уверена, что моя бабушка скажет, что Олесья рыжая. Бабушка внимательно выслуши-

вает гул пяти голосов, смотрит на Олеся и говорит: «Ну, какая же она рыжая?! У нее волосы золотые, разве вы не видите?!» Я ничего не понимаю: почему бабушка соглашается с очевидной неправдой?

Май. Скоро каникулы. Я хожу гулять за дом босиком. Бабушка дает нам мелочь, и мы с девчонками бегаем в киоск мороженого, покупаем вафельные стаканчики по десять копеек. Вечером мы с бабушкой берем большие пакеты и идем собирать одуванчики. Дед раньше разводил кур, а теперь принялся за кроликов.

Июль. Жарко. Я бегу со всех ног на шестой этаж, не дожидаясь лифта. Буську, мою младшую сестру, схватил охранник в детском саду, куда мы полезли воровать смородину. Ее пугают крысами в подвале, которые ее съедят. Бабушка бросается в сад. Я никогда не видела ее такой разозлившейся. А влетает почему-то не нам, а охраннику.

Осень. Промозгло. Я сижу на белой разваливающейся табуретке на кухне и сплю. Бабушка причесывает меня и заплетает косы. Родители спят, они никогда не встают, чтобы проводить меня в школу.

Зима. Ночь. Электричка в институт уходит в 5:58. Бабушка жарит мне омлет, дедушка надевает свой необъятный тулуп, берет посох и собирается провожать меня до маршрутки на вокзал. Я живу с бабушкой. Когда нам с родителями наконец дают квартиру, мне уже тринадцать. Я пытаюсь жить с ними, но сбегая к бабушке.

Июнь. Сессия. Опять получаю пятерку. Звоню бабушке, а потом маме. А чаще только бабушке.

Сентябрь. Десятое число, и светит солнце. Я из ЗАГСа бегу к бабушке в неудобном свадебном платье. Бабушка уже семь лет не выходит из дома.

Осень. «Бабушка, почему у тебя такие синие глаза?» — «О, это очень просто! Я всегда смотрю на небо».

Декабрь. Все, что произошло за последние двадцать дней, мне кажется ночным кошмаром. У нас умирает

дочка. Она рождается с синдромом Эдвардса и живет девятнадцать дней. Я в первый раз выхожу из дома. Я одна, а на улице режущий белым цветом глаза снег. Я иду к бабушке. Если я пойду куда-то еще, я никогда не дойду. Я залезаю в старое, провисшее кресло на кухне и обнимаю свои ноги. Бабушка молчит и наливает мне чай. Я плачу. Я постоянно тогда плачу. Так проходит год. Позже я понимаю, что в момент падения важно вернуться в свою точку отсчета, чтобы опять встать и попытаться быть счастливым.

Июнь. Тепло. Окна раскрыты настежь. Бабушка рассказывает Никите сказку про Колобка. Он сидит за столом на кухне. Ему два года. Они лепят с бабушкой пельмени. Бабушка замешивает тесто локтями, потому что пальцы давно превратились в узловатые ветки старого дерева и не слушаются.

Август. В Москве жуткий смог, горят торфяники. Я звоню бабушке и говорю, что у меня родилась дочка.

Вновь весна. Март. Заледенелая земля. Все вокруг ровно на один день становится белым, а в тот миг, когда я вижу ее в последний раз, солнце выбивается из зимы и слепит глаза.

Вечером я заезжаю к бабушке домой и долго стою, уткнувшись в серый пуховый платок, который пахнет моим детством, лекарствами и счастьем. Я забираю испуганного бабушкиного кота, ее письма и пару учебников. Мы едем в маленькой красной машине в Москву. Укроп осторожно вылезает из сумки и устраивается на сиденье рядом со мной. Светит яркое солнце.

## ЗИНА ФЁДОРОВА

### «К МИШЕНЯМ!»

«К мишеням!» — командует Сей Саныч. Пацаны срываются с мест и бегут смотреть, сколько очков кто выбил. «Сей Саныч, десятка!» — Данька с гордостью протягивает мишень. «Ну, а это чё? У-у-у-у, не ожидал от тебя», — Сей Саныч показывает, что один раз Данька попал «в молоко», то есть не в черный круг, а выше или ниже. Но Данька не расстроен — он бросает мишень на стол и бежит наверх, на вахту, за мелом. В мел попасть очень сложно. Если попадешь — сразу две пятерки в журнал. И это невероятно красиво: мел подлетает, взрывается и превращается в белое облако, которое медленно оседает на пол. Вообще я стреляла во все, что только можно: в пластиковые бутылки, коробочки из-под патронов, в монетки — но в мел мне все никак не удавалось попасть.

Из девочек почти никто не стреляет, все занимаются своими делами: кто-то болтает, кто-то переписывает домашку, кто-то пытается уснуть сидя, обняв рюкзак. Я сижу и доделываю на коленках геометрию. Вот Данька принесет мел, тогда встану.

Так уютно и хорошо здесь! Что-то я в последнее время все чаще думаю о том, как же я буду жить без этого родного школьного тира, где всегда пахнет пылью (сколько бы мы с Катюхой здесь не мыли и не подметали) и железом, где такие низкие потолки, что приходится ходить, склонив голову

набок, где Сей Саныч кричит своим зычным голосом «Огонь!», где стена исписана разноцветными маркерами: «Сей Саныч, мы вас любим», «11В навсегда», «Ненавижу геометрию».

Кстати, геометрию я доделала. И Данька принес мел. Надо вставать! Стреляем в один мел по очереди. Данька промахивается. Я тоже. Так длится минут пять. Я уже думаю садиться обратно — ну не получается сбить, и все тут. Ладно, последний раз.

Прицеливаюсь... спуск... и попадаю! Мел разлетается, как салют, и бесшумно падает на пол. Урааа! «Сей Саныч, две пятерки!», — кричу я и прыгаю от радости. «Ну, Федорова, я в вас и не сомневался», — Сей Саныч пожимает мне руку. Тут ко мне подбегает Ксюха: «Зин, можно я у тебя геометрию спишу?» Я от радости начинаю петь: «Конееечно, бери все, что хоооочешь! Там, в рюкзаке найдешь». Так, надо поставить новый мел и постараться попасть еще разок. Мы истратили уже патронов двадцать, но второй раз за урок сбить мел — это уж слишком. Его сбивает Сей Саныч под наши аплодисменты.

«Зин, а я не очень поняла, ты тут о ком написала? И про меня не совсем понятно, ты мысль не закончила». Что? Кто это? О чем речь? Ксюха протягивает мне мой блокнот. Мой блокнот. Блокнот, куда я записываю свои мысли. Я пишу туда то, что не могу сказать никому. И я его специально беру с собой в школу, чтобы дома никто случайно не прочитал. «Ксюх, погоди, ты где его взяла? Ты что, его прочитала?!» — я очень осторожно вытягиваю из ее рук блокнот. «Ну, я беру тетрадь по геометрии, а рядом лежит такая красивая тетрабочка, решила прочитать, но я там половину не поняла», — Ксюха смотрит удивленно и говорит очень спокойно.

Я запрокидываю голову назад и больно ударяюсь ею о потолок. Упираюсь в него руками, стучу и начинаю шипеть. Наверное, я выгляжу очень смешно, потому что пацаны хохочут, а Данька говорит: «Зин, смотри не пробей пото-

лок, там столовка, тебе таракан на голову свалится». Ксюха смотрит испуганно, трогает меня за плечо: «Я не думала, что ты так отреагируешь, я не знала, что это твой личный дневник...» — «Это не дневник. Это блокнот с мыслями», — я говорю шепотом.

Разворачиваюсь и иду к мишеням. «Федорова, куда без команды?!» — кричит Сей Саныч. Я быстро ставлю блокнот на щит, куда вешается мишень, возвращаюсь, беру винтовку и стоя стреляю. Блокнот падает. Бегу, поднимаю. Мне почему-то жалко блокнот. Зачем я это сделала? Листаю странички. Глупо. Как будто они больше не мои.

«Федорова, вы звонок слышали?» Надо идти на геометрию.





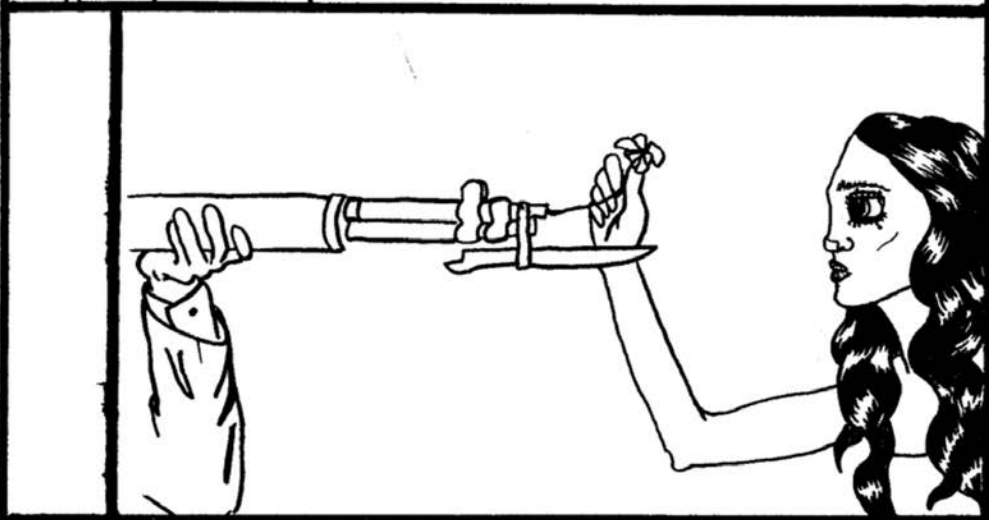
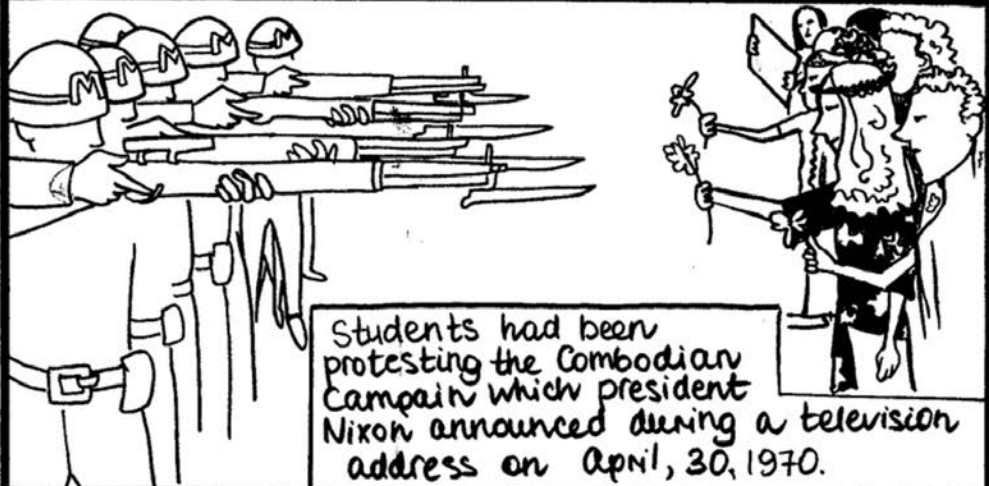
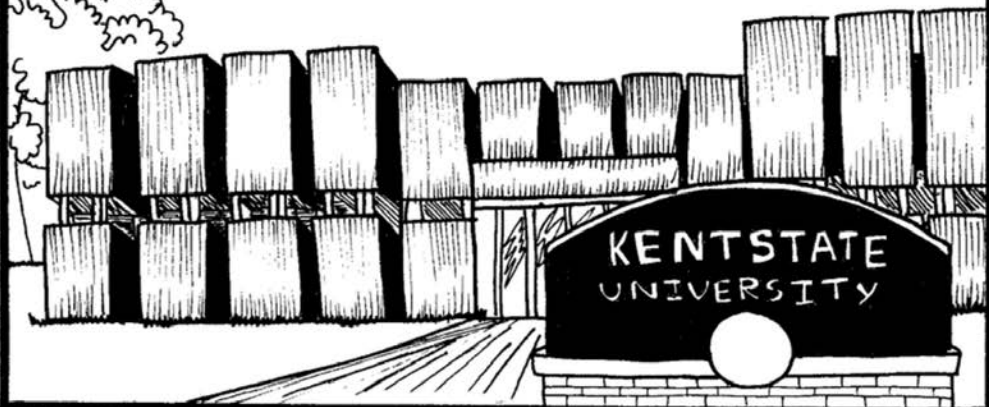
**Графический роман.  
Мастерская Елены  
Авиновой (лето 2016,  
2017)**

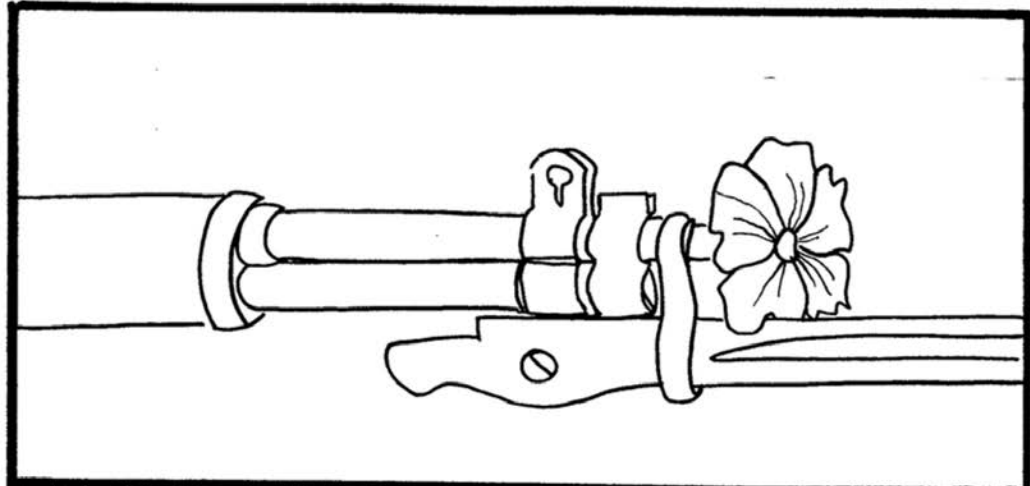


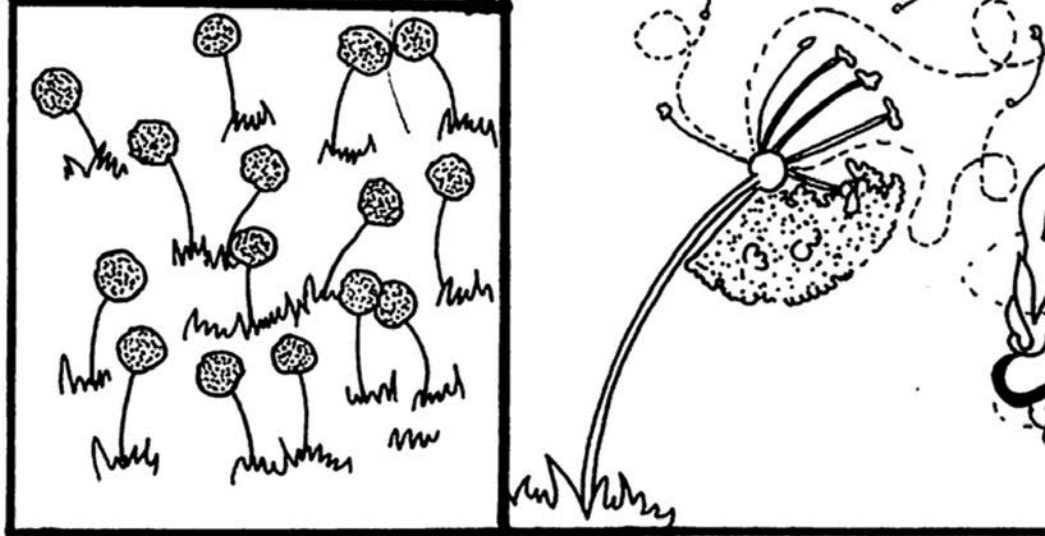
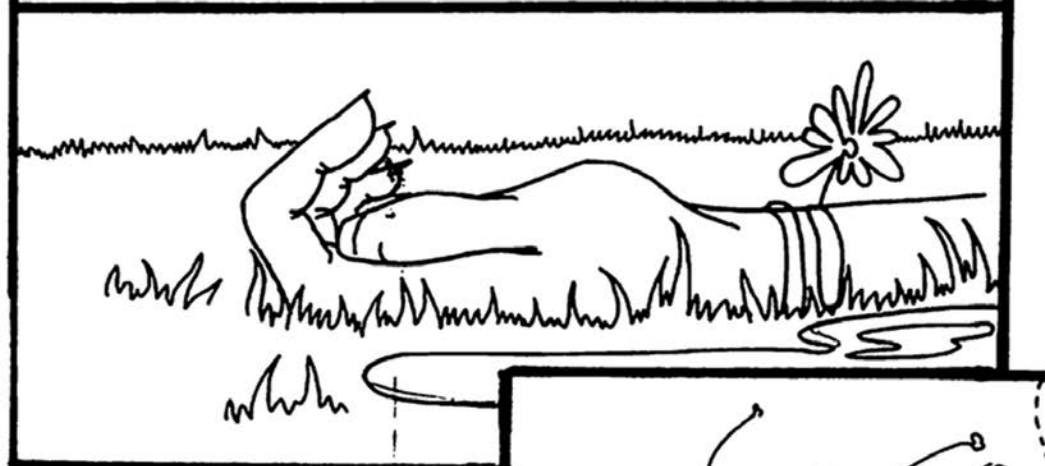
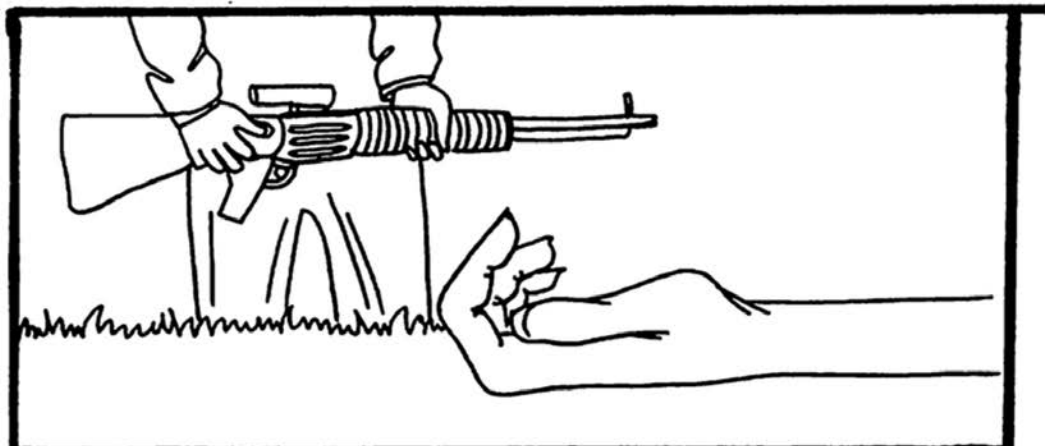
КСЕНИЯ АНАНЬЕВА

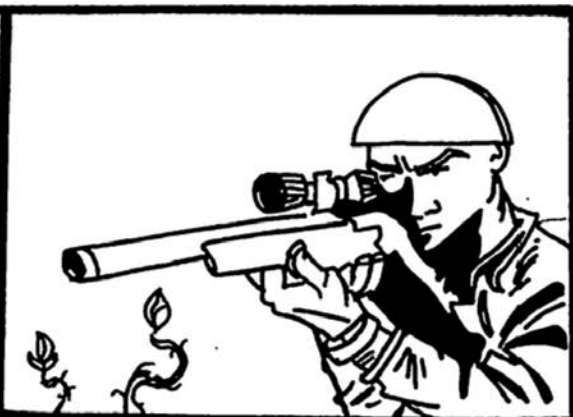
FLOWERS  
VS  
GUNS

Kent, Ohio, USA. May 4, 1970.

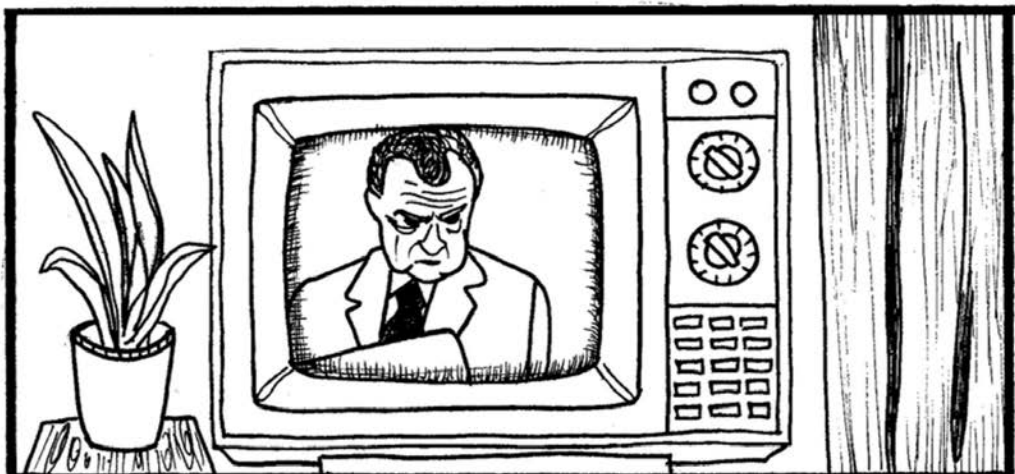
















АЙСЫЛУ САДЕКОВА



СМС ОТ ПАПЫ











ЗНАЕШЬ, КИРА,  
К ТВОЕМУ СОЖАЛЕНИЮ,  
Я ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНЫЙ ТИП.  
И Я ХОТЕЛ БЫ УСЛЫШАТЬ  
ТВОЮ ИСТОРИЮ.

БЛА



БЛА

НО ДЛЯ ЭТОГО  
МЫ ДОЛЖНЫ  
ПОДРУЖИТЬСЯ,  
ТАК?

НАДЕЮСЬ, МЫ  
"СПОЕМСЯ"

Я НЕ ДУМАЛА,  
ЧТО ОН ВСЕРЬЁЗ.  
РАНЬШЕ ЛЮДИ  
ОКОЛО МЕНЯ  
НАДОЛГО НЕ  
ЗАДЕРЖИВАЛИСЬ.  
А ЭТОТ ВООБЩЕ  
НЕ ОТЛИПАЛ,  
ПРЯМО КАК  
РЕБЕНОК...



КИРА, ДАВАЙ  
ПО РОЛЯМ  
ЧИТАТЬ!

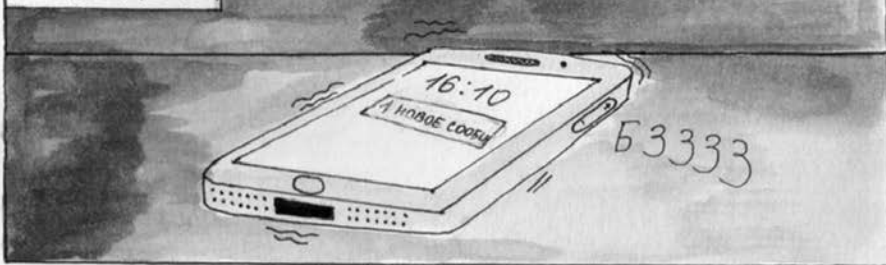


... НАВЕРНОЕ, ОН И БЫЛ ПО-ДЕТСКИ НАИВЕН.  
УЛЫБКА НИКОГДА НЕ СХОДИЛА С  
ЕГО ЛИЦА. ОН КА К БУДТО БЫЛ ТО-  
ТОВ СМЕЛО ШАГАТЬ ПО ЭТОМУ МИРУ,  
НИЧЕГО НЕ ОПАСАЯСЬ.

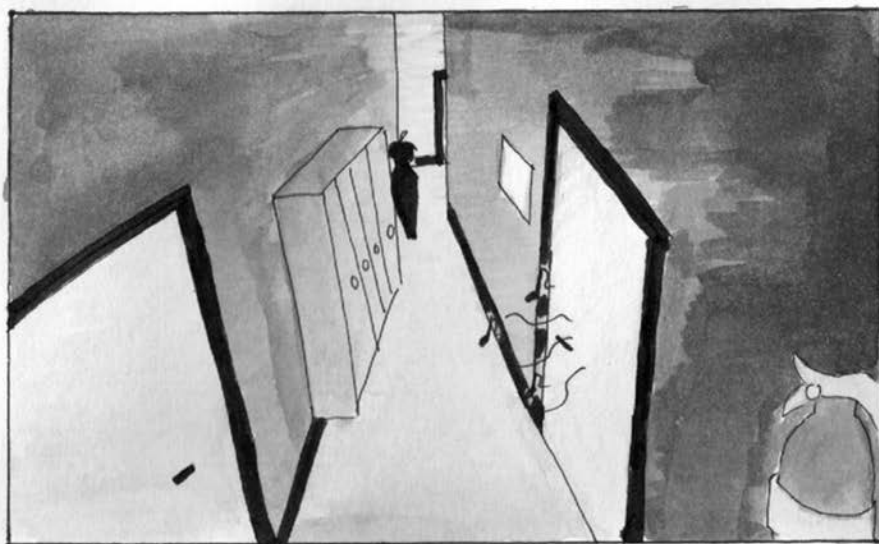


ЭТО РАСПРОСТРАНИЛОСЬ И НА МЕНЯ.  
С НИМ Я ПЕРЕСТАЛА БОЯТЬСЯ ТОГО, ЧТО  
МЕНЯ ОКРУЖАЕТ. ПЕРЕСТАЛА БОЯТЬСЯ МИРА.  
ОН СМОГ НА ВРЕМЯ ВЫТАЩИТЬ МЕНЯ ИЗ КОКОНА!

НО ЛИШЬ НА ВРЕМЯ













ТЫ ВСЕ ВРЕМЯ ЖИЗНЕРАДОСТНЫМ. ВСЕГДА УЛЫБАЕШЬСЯ. НЕ ДУМАЮ, ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ЗНАТЬ, ЧТО СЕЙЧАС ЧУВСТВУЮ



КОГДА МНЕ БЫЛО ШЕСТЬ, МОЙ ОТЕЦ УМЕР. МЫ С МАМОЙ ЖИЛИ БЕДНО. ИНОГДА НАМ НАЕДУ НЕ ХВАТАЛО. С 12-ТИ Я НАЧАЛ ПОДРАБАТЫВАТЬ И ПАРАЛЛЕЛЬНО УЧИЛСЯ. НО ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ЗАКОНЧИЛАСЬ. МАМА НАШЛА ХОРОШУЮ РАБОТУ, И МЫ ЗАЖИЛИ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ.

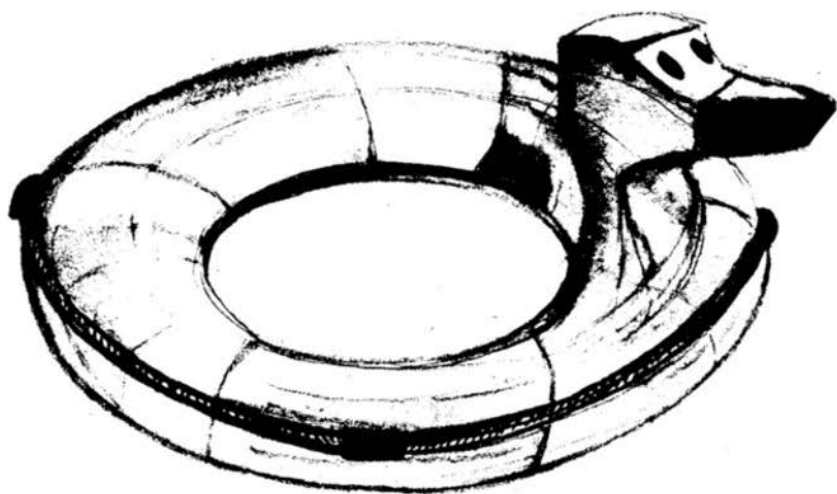






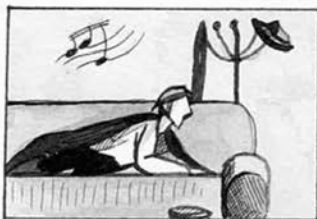
ВИКТОРИЯ МАНЮХИНА

# УРОКИ ПЛАВАНИЯ



ЭТО БЫЛ САМЫЙ ОТРАДНЫЙ ВЫПУСКНОЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ.





... УТРОЧИТЬ СОБСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК.





Если бы я решил позвать на свой праздник достойных гостей... Я бы позвал УТОС.



НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ. ОН ПРИШЕЛ ПОСМОТРЕТЬ ПРО ПОБЕДУ, СЛАВУ, ЗАБЫЛ С ПЕРНИКОВ ПЕРЕСТАЛ КАК-ТО НА МЕНЯ ВЛИЯТЬ. Я НЕ ЗНАЮ.



ПОЧЕМУ Я НИЧЕГО НЕ УМЕЮ ДЕЛАТЬ, СКАЖИ, ЧТО НИКОГДА НЕ СЯНУ ЧЕМПИОНАМ, ТОГДА КАК ДЛЯ ОДНОКЛАССНИКОВ ЭТО БЫЛО ПОТОВАЩИЕЙ ДЛЯ НОВОЙ ПОБЕДЫ...



Я НЕ УМЕЮ ДИСОВАТЬ.



ПРИДУ ОТВАРИТЕЛЬНЫЕ СПИЖИ И БЕССВЯЗНЫЕ ТЕКСТЫ.



Я НЕ УМЕЮ ИГРАТЬ НИ НА ОДНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ.



НИКОГДА НЕ ДЕЛАЮ ХОРЕ И НЕ ИГРАЛ В ШКОЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЯХ.



Я НИЧЕГО НЕ УМЕЮ.

КОГДА-ТО МАМА СПРОСИЛА МЕНЯ:



ЧЕГО ЖЕ ТЫ ХОЧЕШЬ?



ТОГДА Я ЕЙ НЕ ОТВЕТИЛ, ХОТЯ СЕЙЧАС, НАВЕРНОЕ, МОГ БЫ.



Я БЫ ХОТЕЛ ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО КРАСИВОЕ, ЧТОБЫ СМОТРЕЛИ, КТО СМОТРЕЛ, ИЛИ ЧИТАЛ, ИЛИ СЛУШАЛ ТО, ЧТО Я СДЕЛАЛ, ДУМАЛ, ЧТО ЭТО УЖАСНО КРАСИВО.

ВОТ ТЫ ГДЕ. АЗ УЖЕ ДУМАЛА, ЧТО НЕ НАЙДУ ТЕБЯ.







И Я ДРОЖУ В ПРЯДЕ? УМЯ В НЕБЕ, НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ...

ВСЕ СЛУШАЮСЬ... УТО БУДЕТ ЗАСТАТ... ЧТО-ТО ДРУГОЕ НЕ ЗНАЮ...

ТОЛЬКО ХОРОШО, ЧТО Я ЦЕЛЫЙ, СМЯС С ВОДОЙ... И ЭТО НИКАК НЕ ОТНЯТЬ.

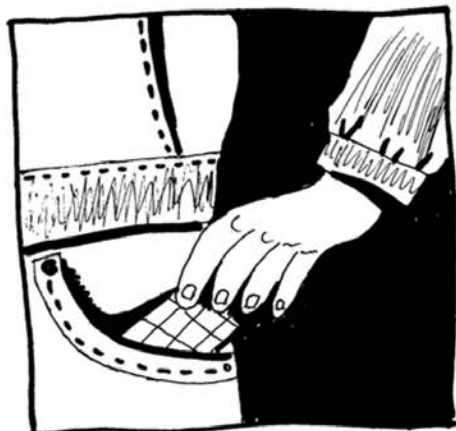
А НЕГО В ПРЯДЕ КАК, ТАМ, ПРЯД В НЕБЕ... ЭТО НИЧЕГО... ПРЯДЕ...

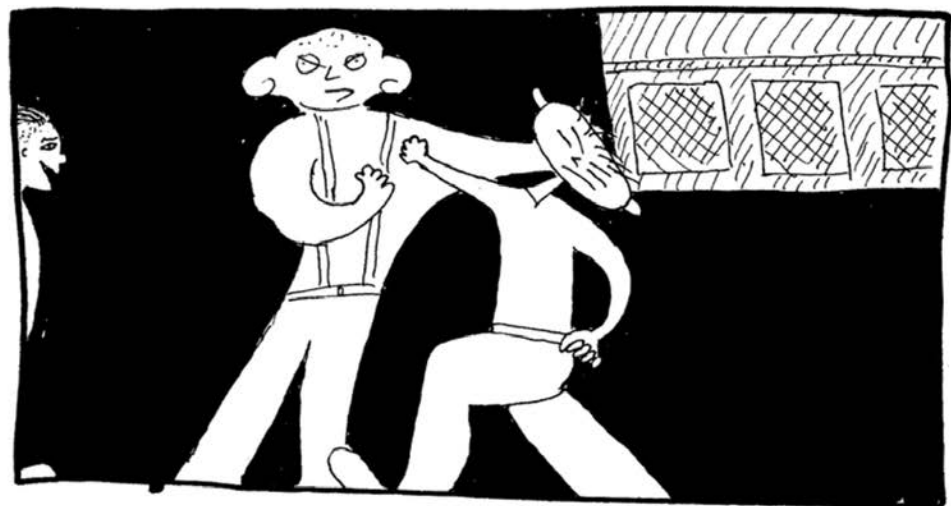


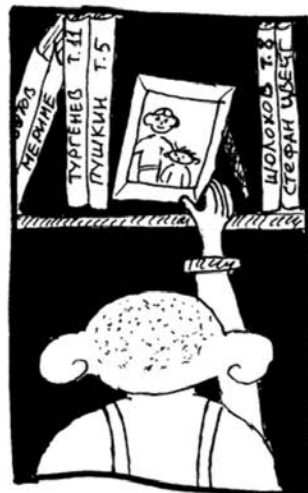
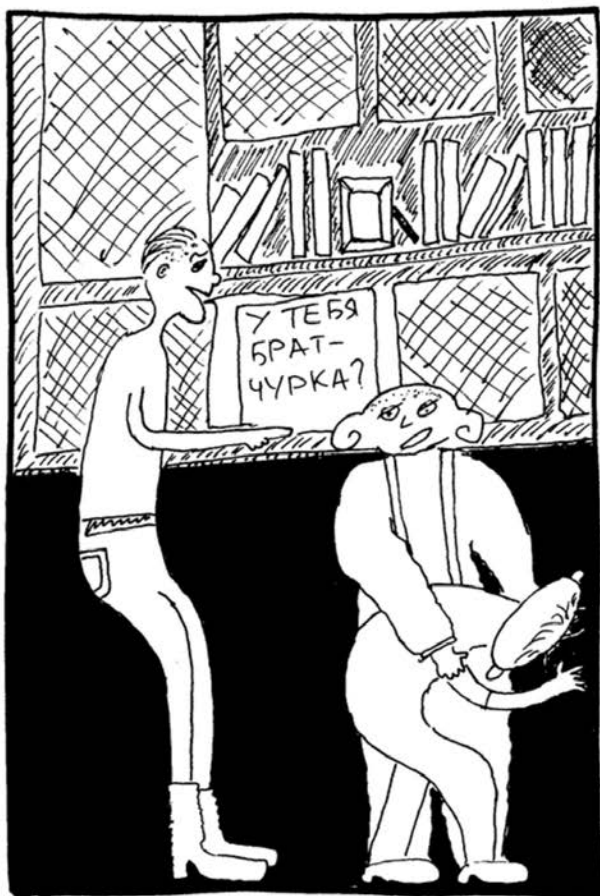


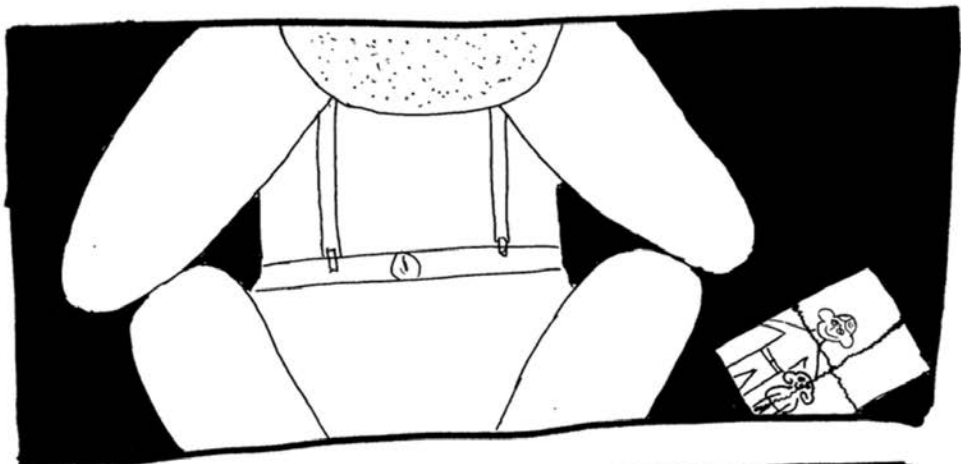
Георг Анна Мюрсон

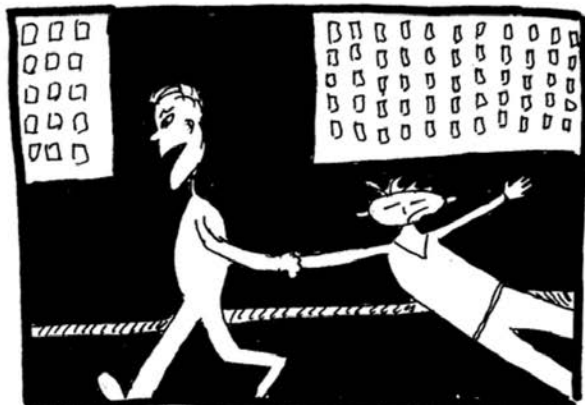


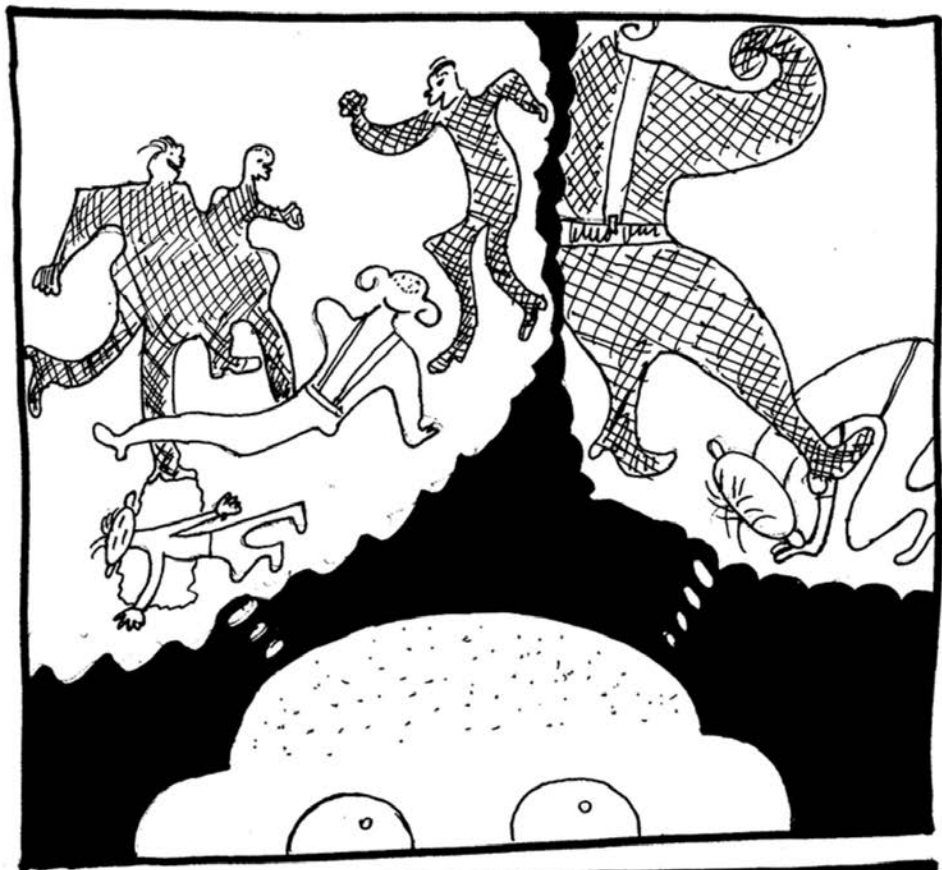




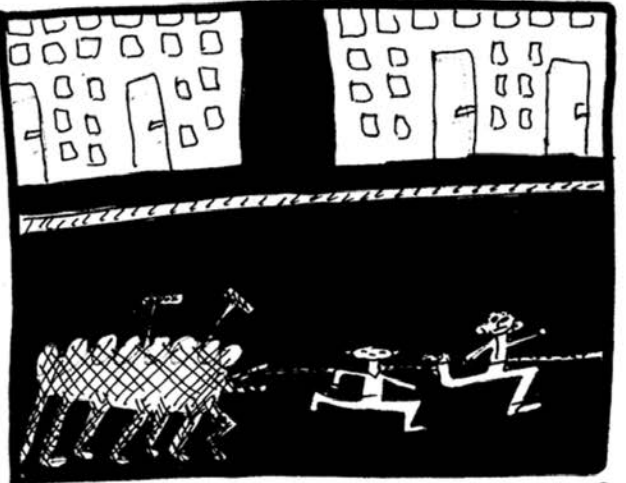
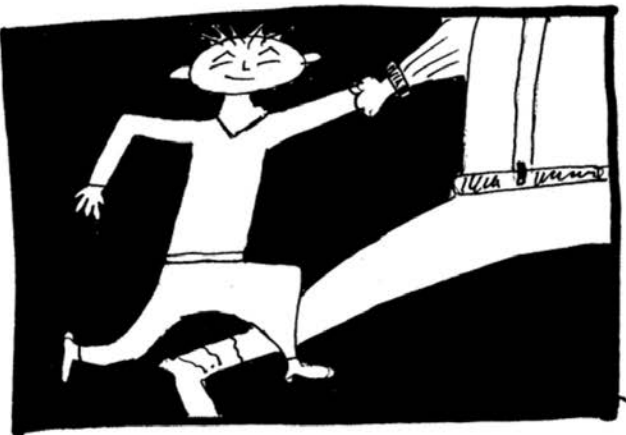
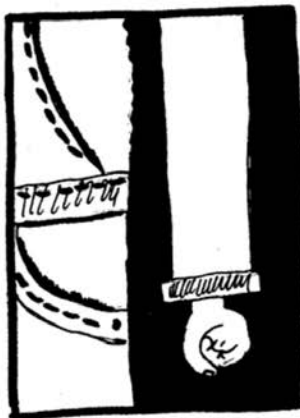












# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Проза. Мастерские Ольги Славниковой (осень 2016 – весна 2017)</b> .....	15
Наталья Веселова .....	17
Тореро .....	17
Юлия Геба .....	24
Десантник .....	24
Нонна Гудиева .....	29
Поэзия .....	29
Александра Диас .....	41
Вы оштрафованы .....	41
Андрей Загоруйко .....	47
Город П .....	47
Елена Каменцева .....	54
Ненавижу метро .....	54
Надежда Клепалова .....	59
Сочинитель .....	59
Константин Кожухин .....	65
Опухоль .....	65
Евгения Корелова .....	79
Цветок лотоса .....	79
Евгения Костинская .....	88
Бабушка .....	88
Ольга Лушникова .....	98
Ничего .....	98
Федор Людоговский .....	103
Грустный пакет .....	103
Кристина Невская .....	108
Африка .....	108
Екатерина Оськина .....	119
Чертовы взрослые .....	119
Халимат Текеева .....	129
Сестры .....	129

Стефан Хмельницкий .....	136
Живой .....	136
Иван Якунин .....	149
Последний вагон .....	149
Наталья Янтер .....	155
Горошины .....	155
<b>Проза. Мастерские Марины Степновой (весна — осень 2017) .....</b>	<b>163</b>
Ирина Базалеева .....	165
Да обитают в нем ангелы... ..	165
Любовь Барина .....	175
Лето Евы .....	175
Алина Винокурова .....	190
Не то .....	190
Лилия Волкова .....	199
Вот такие пироги .....	199
Улита Горлич .....	207
Над безднами .....	207
Юлия Дудник .....	218
Ярмарка .....	218
Юлия Жукова .....	225
Ба-га-ло-ди-си-де-ва-ла-ду-си .....	225
Полина Иванушкина .....	233
Полузимник .....	233
Лилия Кадацкая .....	244
Ключи .....	244
Татьяна Ковалева .....	257
Камень .....	257
Михаил Кузнецов .....	262
Выше ноги от земли .....	262
Андрей Мучник .....	269
Бладикавказ .....	269
Анастасия Наумова .....	280
Особенный день .....	280

Анна Неклюдова	286
Знакомство	286
Наталья Рубцова	292
Конкурс	292
Александра Сапронова	303
Детские игры	303
Юлия Сеина	308
Обещание	308
Ксения Суетинова	319
Жить	319
Маргарита Удовиченко	324
One way ticket	324
Ксения Удулякова	336
Печать зла	336
Лида Утёмова	343
Спасибо Бродскому	343
Ольга Фатеева	348
Жора, Аня и котлеты	348
Анна Филиппова	358
Сказка о Небесном Царствии	358
Ольга Чвилева	368
Васька	368
Ольга Чука	378
Мансуровы (отъезд, 1918)	378
Лада Щербакова	386
В поисках Коли	386
Екатерина Яснопольская	397
Ты меня слышишь?	397
<b>Non-fiction. Мастерская Алексея Вдовина (зима — весна 2017)</b>	<b>405</b>
Анастасия Боряк	407
Дайсаку Икэда: японский миротворец и его поднебесная империя	407
Андрей Никифоров	418
Умберто Эко: дарованный небесами	418

<b>Фантастика. Мастерская Андрея Рубанова (зима — весна 2017)</b> .....	423
Мария Орлова .....	425
Маяк .....	425
Николай Шпильков .....	444
История о коте, который вознамерился найти Настоящее .....	444
<b>Подростки (10—12 лет). Мастерская Елизаветы Тимошенко (зима — весна 2017)</b> .....	457
Александра Смирнова .....	459
Синеволося травница .....	459
<b>Подростки. Мастерская Олега Швеца (осень 2016 — весна 2017)</b> .....	461
Мария Глушенкова .....	463
Четверг .....	463
Дарья Ермолина .....	466
Жаворонки .....	466
Мария Русанова .....	470
Слова с завитушками и без .....	470
Софья Сербиненко .....	479
Диван .....	479
Софья Филатова .....	493
Место, где я хотела бы жить .....	493
Елизавета Хереш .....	495
Лето в Норвегии .....	495
<b>Автобиография. Мастерская Екатерины Ляминой (зима — весна 2017)</b> .....	503
Ирина Базалеева .....	505
Веревка .....	505
Мария Варденга .....	509
Аговна .....	509
Юлия Виноградова .....	514
Обнаженный бог Кронос .....	514
Екатерина Владимировна .....	520
Отродье .....	520

Ирина Жукова .....	524
Гарнизонные сказки .....	524
Дарья Минакова .....	531
Волки. Начало .....	531
Анастасия Науменко .....	535
Дедушкин городок .....	535
Екатерина Нигматулина .....	538
Точка отсчёта .....	538
Зина Фёдорова .....	541
«К мишеням!» .....	541
<b>Графический роман. Мастерская Елены Авиновой</b> <b>(лето 2016, 2017) .....</b>	<b>545</b>

Пашня  
Альманах. Выпуск 2. Том 1

*Художественное оформление, обложка* Елена Авинова  
*Выпускающий редактор* Юлия Виноградова

Литературные мастерские Creative Writing School, основанные в 2015 году писателем Майей Кучерской и филологом Натальей Осиповой, помогают начинающим авторам освоить приемы писательского ремесла и обрести собственный голос. Во второй выпуск Альманаха «Пашня» вошли лучшие работы выпускников Creative Writing School сезона Осень 2016 – Весна 2017 года. Первый том составили работы очных мастерских прозы Ольги Славниковой и Марины Степновой, non-fiction Алексея Вдовина, фантастики Андрея Рубанова, автобиографии Екатерины Ляминой, прозы для подростков Елизаветы Тимошенко и Олега Швеца, а также графического романа Елены Авиновой. Подробнее о Creative Writing School на сайте [litschool.pro](http://litschool.pro)



**Внимание!**  
Книга содержит  
**нецензурную**  
**б р а н ь**